



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ
ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

1/2013

Журнал
«Семь искусств»

Январь 2013

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2013

Журнал

«Семь искусств»

Январь 2013

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Габриэль Мерзон	
Эффект Чудакова	5
Леонид Нейфах	
«Судьба и наука»	13
Василий Демидович	
Ю.И.Журавлев	43
Григорий Никифорович	
Вершина. О романе Фридриха Горенштейна	85
Артур Штильман	
Большой театр в Вене. 1971 год	100
Надежда Кожевникова	
«Смерти не страшусь, но к жизни привязан»	110
Борис Рохленко	
Книга началась с названия: Шагал и Израиль...	123
Галина Подольская	
Ной Троицкий и Виктор Кинус	133
Семен Резник	
История с биографией	145
Борис Тененбаум	
Испанская Партия	173
Геннадий Несис	
Вернуться в прожитую жизнь	187
Алла Цыбульская	
«Наш городок» Т. Уайлдера	219
Игорь Ефимов	
Опять о Бродском	224
Ася Лapidус	
Так все и было	230
Анатолий Абрамов	
Человек Альберт Швейцер	236
Зоя Мастер	
«Нам кажется, что мы ещё успеем...»	355
Анатолий Добрович	
Из блокнотов туриста	369
Борис Юдин	
Пейзажики	381

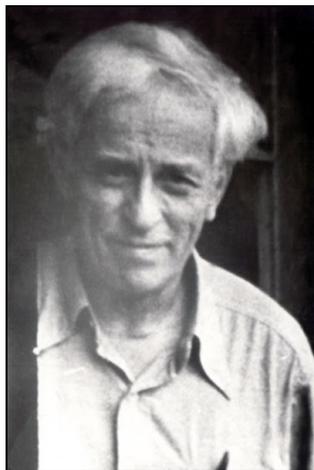
Александр Костюнин
Пёрышки 387
Алексей Борычев
Прогулка 393
Михаил Ландбург
На холмах, где мшистые валуны 400
Эмиль Дрейцер
Косноязычие любви 403
Моисей Борода
Три танца Жар-Птицы 425
Рахель Торпусман
Переводы плюс 432
Илья Корман
В строку упала звездочка 439
Михаил Юдсон
Котлован наизнанку 455
Виталий Аронзон
Десять дней на Аляске 461
Об авторах **485**

Габриэль Мерзон

Эффект Чудакова



созвездии замечательных ученых, внесших непреходящий вклад в развитие физики космических лучей, Александр Евгеньевич Чудаков, бесспорно, принадлежит к звездам первой величины. Своим поразительным умением смотреть вглубь явлений, воспринимать природу как единое целое, генерировать неожиданные идеи, умением находить неординарные решения разнообразных физических проблем он заслужил не только признание, но восхищение и уважение своих современников.



Александр Евгеньевич Чудаков

Мне не пришлось работать вместе с Александром Евгеньевичем или быть близко знакомым с ним. Я наблюдал его как бы издали: на физических семинарах и совещаниях, на ученых советах, иногда обращался к нему за советом. Но его необычайно яркая творческая личность проявлялась даже в мимолетных контактах. И если я отваживаюсь поделиться своими

воспоминаниями об А.Е. Чудакове, то они ни в коей мере не продиктованы желанием продемонстрировать близость к этому замечательному учёному (которой, вообще-то говоря, и не было), но лишь стремлением воздать должное его светлой памяти.

Где-то в середине 1950-х годов у входа в ФИАН я повстречал высокого чуть сутулого молодого человека лет на 5-7 старше меня. Его взгляд был устремлен вдаль, и весь вид выказывал отрешенность от мирской суеты. Это был взгляд Иисуса Христа, размышлявшего о вечном. (Годы спустя я замечал такой же взгляд у Андрея Дмитриевича Сахарова.) С этим образом резко контрастировала сетка-авоська в его руках, откуда выглядывали две двухсотграммовые мерные бутылочки с молоком, которые в то время выдавали для младенцев в детских молочных кухнях. Всё говорило о том, что молодой человек недавно стал отцом.

Вскоре мне назвали его имя: Саша Чудаков, и я стал встречаться с ним на еженедельных семинарах Лаборатории космических лучей. На этих семинарах он выступал редко, но задавал неожиданные вопросы, с горячностью спорил, не смущаясь чинами и званиями докладчиков. В те годы уже появились первые советские фотоэлектронные умножители (усилители света), и А.Е. Чудаков предложил применить их для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) т.е. каскадов космических частиц по излучаемому ими черенковскому свету. (Он возникает, когда космические лучи движутся со скоростью, превосходящей скорость света в атмосфере.) Для этого А.Е. Чудаков поместил фотоэлектронный умножитель в фокус направленного в ночное небо большого вогнутого зеркала, которое было установлено на Памирской высокогорной научной станции. Кажется, это была первая попытка такого рода, поскольку в те годы излучение Вавилова--Черенкова, как весьма слабое оптическое явление, считалось не методом исследования, а скорее, его объектом. Несколько лет спустя в пионерских экспериментах, проведенных в Крыму, группа физиков ФИАН, руководимых А.Е. Чудаковым, использовала в качестве вогнутых зеркал списанные военные прожектор. Их оптические оси были направлены на некоторые созвездия (Лебедь-А и др.) с целью зарегистрировать идущие оттуда сверхэнергичные гамма-кванты, порождающие ШАЛ. Как рассказала мне участница этих экспериментов Н.М. Нестерова, измеренный сигнал превышал фон на две среднеквадратичные ошибки. Однако А.Е. Чудаков, чрезвычайно строго относившийся не только к чужим, но, прежде

всего, своим собственным результатам, посчитал их недостаточно убедительными и публиковать отказался.

Впоследствии он предложил использовать черенковское свечение широких атмосферных ливней, рассеянное снежным покровом Земли, которое можно было бы наблюдать в ночное время с аэростатов, самолетов или спутников, для регистрации и измерения энергии ШАЛ. Другая замечательная идея А.Е. Чудакова заключалась в регистрации ионизационного свечения (фосфоресценции) атмосферы – физического явления, вызванного возбуждением молекул воздуха при каскадном размножении частиц ливня. Все эти методы широко используются в наши дни при изучении ШАЛ.



Прожекторы, использованные А.Е. Чудаковым, для измерения черенковского свечения широких атмосферных ливней космических лучей в атмосфере

Для А.Е.Чудакова были характерны новаторский подход, стремление немедленно разобраться во вновь открытых физических явлениях, применить их для познания природы. Хороший тому пример – переходное электромагнитное излучение релятивистских заряженных частиц при пересечении ими границы сред с различной диэлектрической проницаемостью. Его предсказали теоретически еще в 1946 г. физики ФИАН В.Л. Гинзбург и И.М. Франк. Как признавался В.Л. Гинзбург, в то время они имели в виду чисто оптическое излучение. Об этом недвусмысленно говорится и в Нобелевской лекции И.М. Франка, опубликованной в 1958 г. в журнале Успехи Физических Наук. Это физическое явление первоначально не вызывало интереса у

экспериментаторов. Однако в 1969 г. Г.М. Гарибян в Армении показал, что подавляющая доля энергии переходного излучения сосредоточена в рентгеновском диапазоне частот, а полная интенсивность пропорциональна лоренц-фактору частицы (её энергии, делённой на массу покоя). После этого в разных лабораториях мира, в том числе и в ФИАН, рентгеновское переходное излучение в слоистых средах стали использовать для идентификации ультрарелятивистских электронов. Каково же было мое удивление, когда, занимаясь этой проблемой, я неожиданно узнал, что первая экспериментальная попытка исследования (оптического) переходного излучения была предпринята в начале 60-х годов в дипломной работе студента МГУ Михалыка, выполненной под руководством А.Е. Чудакова!

Ещё одним примером может служить другой интереснейший физический эффект, обнаруженный А.Е. Чудаковым. Он показал, что различные по знаку электромагнитные поля близко идущих компонент электрон-позитронной пары высокой энергии частично компенсируются. Поэтому начало следа пары выглядит как трек одной частицы с пониженной ионизирующей способностью. Подобный эффект можно экспериментально наблюдать в ядерных фотоэмульсиях. Он является единственным примером физического явления, когда ионизация, производимая совместно двумя релятивистскими заряженными частицами, оказывается меньше, чем минимальная ионизация, вызванная одной такой частицей. Это явление, справедливо названное эффектом Чудакова, имеет общефизический характер и проявляется также в физике адронов, как взаимное экранирование «цветных» кварков, вылетающих из ступки возбужденной ядерной материи.

В 1960 годы одним из основных направлений научной деятельности А.Е. Чудакова было исследование мюонной (проникающей) компоненты космических лучей. Для этой цели на территории ФИАН было построено двухэтажное деревянное здание, которое за его необычную форму прозвали «шестигранником». Внутри шестигранника помещался бак в форме усеченного конуса с диаметром основания 6,5 м и высотой 5 м, наполненный очищенной водой. По его стенкам располагались фотоэлектронные умножители, просматривавшие объем бака. Ниже была установлена большая камера Вильсона: трековый детектор частиц для поиска групп одновременно идущих мюонов космического излучения. Подобный водный черенковский детектор предвосхитил ряд экспериментальных установок,

созданных много лет спустя, для поиска распада протона или регистрации нейтрино высоких энергий.

Однако наиболее яркие результаты в тот период были достигнуты при изучении околоземного космического пространства радиационно-чувствительными приборами, установленными на высотных ракетах и спутниках. Об этой стороне деятельности А.Е. Чудакова совместно с другим корифеем исследований космических лучей С.Н. Верновым их коллеги знали немного, поскольку в те годы значительная часть информации была закрыта для посторонних. В экспериментах на первых советских спутниках было зафиксировано новое физическое явление: резкое возрастание интенсивности космических лучей на высотах 200—400 км, известное теперь под названием радиационного пояса Земли. К сожалению, из-за неувязок с обработкой результатов измерений мир узнал об этих поясах уже после работ американского исследователя Альфреда Ван Аллена, сделанных двумя месяцами позже. В связи с этим в зарубежной литературе ближний (электронный) радиационный пояс зовется его именем, а не поясом Вернова-Чудакова.

Как-то в конце 19 50-х меня остановил работавший тогда в ФИАН (до переезда в Дубну) М.И. Подгорецкий.

«Знаете ли Вы, – спросил он, – что Чудакову присвоена докторская степень без защиты диссертации?»

«Слышал», – ответил я.

«По причине триппера», – пошутил он.

«То есть как?» – смутился я.

«Очень просто, – объяснил Подгорецкий, – *honoris causa*: honoris – гоноррея, т.е. триппер, causa – причина!»

Шутка мне не очень понравилась, но за А.Е. Чудакова я был искренне рад. Кто, как не он, заслужил признания его выдающихся заслуг и высочайшего интеллекта!

Разговор этот происходил около стенда, где вывешивалась ежемесячная красочная стенная газета ФИАН «Импульс». (Эта традиция с началом перестройки, увы, утрачена.) В тот раз газета посвящалась встрече нового года и изобиловала шуточными новогодними пожеланиями. Одно из них было адресовано А.Е. Чудакову и в шутливой форме предлагало ему превратить Атлантический океан в гигантский черенковский счетчик. Пожелание (автором которого был, кажется, Б.М. Болотовский) оказалось поистине пророческим. Через несколько лет (в 1968 г.) на одной из научных конференций академик М.А. Марков физически обосновал возможность глубоководной регистрации черенковского излучения каскадных ливней от высокоэнергичных

нейтрино, идущих с обратной стороны Земли. Идея М.А. Маркова дала толчок развитию глубоководных проектов «Дюманд», «Байкал» и им подобных.

При общении с Александром Евгеньевичем казалось, что он столь пристально погружен в свои мысли, что почти не замечает окружающей действительности. Вспоминаю один характерный эпизод. Зимой в начале 1970-х в московском Доме ученых состоялся семинар по проблеме распада нестабильных элементарных частиц -- каонов. Собираясь на семинар вдвоём с коллегой, мы встретили у ворот ФИАН А.Е. Чудакова, который пригласил нас поехать вместе. Мы сели в его автомашину, продолжая обсуждать предстоящий семинар, тронулись и поехали практически вслепую, поскольку ветровые стекла были плотно запылены снегом. Александр Евгеньевич продолжал что-то оживленно рассказывать, Я же с интересом наблюдал за тем, что будет дальше. Наконец, он закончил рассказ и только после этого, на повороте у выезда на оживлённую улицу включил дворники. Их первое же движение смело снежную плену на стекле, дорога стала видна, и доехали мы вполне благополучно.

В то время научные интересы самого А.Е. Чудакова переместились в сторону изучения мюонов и нейтрино очень высоких энергий, проникающих на большие глубины вещества. Он искал наиболее дешёвый и адекватный этой задаче детектор и остановился на жидкостных сцинтилляционных счетчиков, каждый из которых просматривался фотоэлектронным умножителем большого диаметра. Помню, как после приезда из США Александр Евгеньевич сетовал, что вазелиновое масло, в котором американские исследователи растворяли сцинтиллирующий состав, отличается прекрасной прозрачностью, а отечественное масло имеет желтоватый оттенок и сильно поглощает свет. Поиски подходящего растворителя, проведенные молодыми сотрудниками его лаборатории О. Ряжской и В. Дадькиным, привели к простому и эффективному решению. Был найден недорогой прозрачный растворитель: уайт-спирит, что позволило наладить массовое изготовление детекторов для экспериментов в туннеле Баксанской подземной нейтринной обсерватории, созданной в 1970 годы при определяющем участии А.Е. Чудакова.

К моему большому сожалению, мне ни разу не удалось там побывать, и мое знакомство с этим живописным уголком Кавказа ограничено впечатлениями студенческих лет, связанных с путешествием на мотоциклах через Баксанское ущелье к Эльбрусу, подъемом к «Приюту одиннадцати» на высоту 4250 м и спуском

оттуда по узкому горному серпантину. Поэтому я воздержусь от обсуждения результатов научных исследований, выполненных на Баксанской станции, о которых мне известно из научных статей, а также понаслышке, Куда лучше б этом расскажут их непосредственные участники. Я же вспомню эпизод, касающийся того времени, когда работа по сооружению Баксанской станции была в самом разгаре, и в Москве в ФИАН отмечали 60-летие А.Е. Чудакова. Вечер этот вел его ученик и коллега А.В. Воеводский. После многочисленных теплых поздравлений, приветствий и подарков с ответным словом выступил сам юбиляр. Как бы в предостережение себе он прочитал замечательные стихи Федора Тютчева:

«Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, –

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир...»

Справедливости ради скажу, что в последующие годы Александр Евгеньевич не всегда следовал своему призыву и, порой, в его суждениях оптимистические надежды уступали место скепсису.

Поскольку мы работали в одном здании и поблизости друг от друга, я иногда приходил к нему за советом, в чем он никогда не отказывал. Общение с ним всегда было плодотворно. Он обладал поразительным умением сразу схватывать суть дела и высвечивать его подчас с неожиданной стороны. От него я уходил обогащенным, с новым видением проблем, к которым, казалось, иногда было трудно подступиться.

Зная интерес Александра Евгеньевича к методике ядерно-физических экспериментов, я попросил его быть официальным оппонентом моей докторской диссертации, посвященной некоторым парадоксальным эффектам при измерениях ионизации в реальных детекторах частиц. Однако от этого предложения

Александр Евгеньевич отказался. Не знаю, что было тому причиной, но до сих пор жалею, что не услышал его критики. Уверен, что она была бы для меня весьма полезна.

В последние годы жизни здоровье Александра Евгеньевича ухудшалось на глазах, и мы с тревогой замечали, как он осунулся и согнулся. Не менялся только его взгляд. Как всегда он был устремлен вперед и вдаль. Его могучий интеллект не смогли сломить никакие болезни.

Несомненно, он был выдающимся ученым. И самый замечательный "эффект" Чудакова – тот непреходящий след, который он оставил в сердцах своих современников, коллег и учеников.

1999



Леонид Нейфах

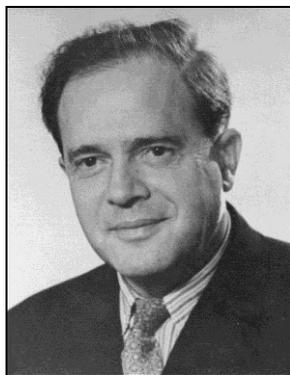
«Судьба и наука»

«Для каждого значительного человека его нравственные качества гораздо важнее, чем профессиональные»

А. Эйнштейн



изнь ученого в России нельзя правильно понять вне исторического фона. Судьба поколения, к которому принадлежал мой отец, совпала с периодом тяжелейших потрясений, обрушившихся на страну в 20 веке. На долю его сверстников и коллег пришлось две мировые и одна гражданская войны, две (или три?) революции, сталинский террор, лысенковщина и нравственная деградация «застоя». Каждое из этих явлений в той или иной мере отразилось на его жизни и профессиональной деятельности.



С.А.Нейфах (1909-1992)

И все же он устоял среди этих испытаний и ушел из жизни, будучи известным ученым, создателем научной школы и, главное, человеком с безупречной научной и нравственной репутацией. Что же помогло ему сохранить столь редкие качества

в столь неблагоприятных условиях? Конечно, не последнюю роль сыграли культурные и нравственные традиции среды, из которой он происходил; способствовали и близкие люди и окружение, в выборе которого он был чрезвычайно щепетилен. Но, прежде всего, - его личные качества, такие как приверженность истине, тяга к самообразованию, способности и трудолюбие. Широкий кругозор и научная интуиция в сочетании со скрупулезным вниманием к мелочам, самокритичность в оценке результатов определили характер его научного творчества.

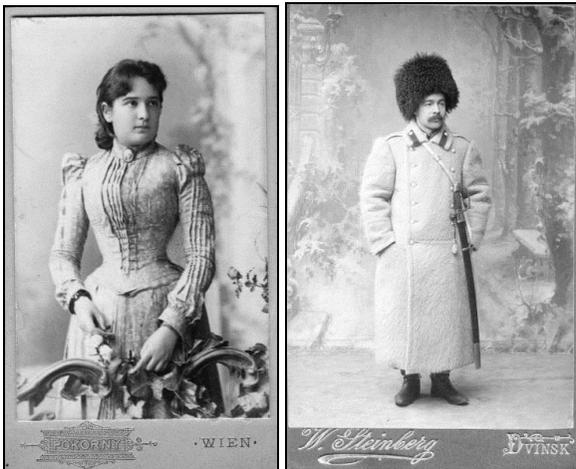


Витебск в начале XX в.

Соломон Абрамович Нейфак (в дальнейшем – С.А.) родился в Витебске в 1909 году в семье земского врача. На рубеже XIX-XX веков провинциальный и малочисленный Витебск (население составляло около 80 тыс. чел.) был, тем не менее, одним из центров еврейской культуры в России, давшим целый ряд имен, внесших существенный вклад в ее развитие. Достаточно назвать группу художников, эмигрировавших на Запад, и сыгравших существенную роль в формировании так называемой «парижской школы» авангардного искусства (среди них наибольшую известность получил М. Шагал). С детства отца окружали образованные люди с разнообразными интересами, совмещавшие профессиональную и общественную деятельность. К примеру, его дед Ю.А. Нейфак, живший в Минске, входил в организацию, целью которой было спасение еврейских реликвий при наступлении немцев в годы Первой мировой войны. Его отец – А.Ю. Нейфак врач-отоларинголог по специальности состоял одновременно членом Литературно-музыкального общества и входил в Попечительский совет местного Коммерческого училища. Среди предков, а их имена известны с XVIII века, поддерживалась традиция изучения богословия и толкования Талмуда. И хотя это

весьма непростое занятие не было их профессией, а, как сейчас выражаются, «хобби», оно воспитывало с детства изощренность ума и направляло его к ценностям высокого порядка.

Мать Л.С. Кунина происходила из семьи, насчитывавшей 12 детей. В обычаях того либерального времени их отправляли учиться за границу в университеты Германии, Швейцарии и Австрии, где они проходили курсы медицины, химии и философии. Мой дед А.Ю. Нейфах окончил медицинский факультет Киевского университета (кстати, тот самый, где позже учился писатель М. Булгаков). После стажировки в Вене он вернулся в Витебск и, работая в городской больнице, приобрел репутацию не только как врач, но и как общественный деятель – организатор бесплатного лечения для бедных. Потомки свидетелей тех времен, ныне разбросанные по всему свету, до сих пор вспоминают его имя с благодарностью. Он лишь раз отлучился из дома, а именно, когда отправился на Русско-Японскую войну в качестве военного врача. Сохранились открытки, которые он присылал домой из Порт-Артура.



Л.С.Кунина (мать). Вена, 90-е гг. XIX в. А.Ю.Нейфах (отец) в годы Первой мировой войны

С началом Первой мировой войны благополучное и ровное течение жизни семьи нарушилось и более уже никогда не возвращалось. А.Ю. был призван на фронт. Через город потянулись воинские части. С.А. вспоминал, как народ приветствовал царя, проезжавшего к армии. Мать с детьми, спасаясь от немцев, эвакуировалась в Ростов-на-Дону. Но и там

они не нашли покоя. Случилась революция и последовала гражданская война. Город не раз переходил из рук в руки, и каждая новая власть пускала «красного петуха» и кого ни будь, да расстреливала. С.А. вспоминал, как в доме, где они жили, в один из очередных «захватов» расположилась красная воинская часть. Командиру приглянулся славный мальчонка (отцу было 9 лет), и он стал брать его с собой на партсобрания, которые проходили в подвале под гром белогвардейской канонады. Там он сажал отца рядом с собой и говорил: «Ну, мы, конечно, не доживем до коммунизма, а вот он, – тут он тыкал в отца заскорузлым пальцем, – вот он доживет!». Не пришлось.

Судьба деда складывалась драматично. После Февральской революции он был избран солдатским депутатом. С 1918 года служил в Красной армии на Кавказском фронте в должности начальника эвакуационного пункта и скоропостижно скончался молодым во время эпидемии в 1921 году. С этим резко изменившим судьбу семьи событием связана одна справка, столь замечательная, что было бы грех ее не процитировать.

«Дана гражданке Л.С. Нейфах (то есть матери) в том, что муж ее А.Ю. Нейфах бывший главный врач Центральной Амбулатории Ростовского-на-Дону эвакуационного пункта служил три года в Красной Армии на ответственных должностях и умер на своем ответственном посту, при исполнении возложенных на него обязанностей по борьбе с холерой, заразившись последней.

Имущество семьи не подлежит ни реквизиции, ни конфискации, а квартира освобождается от всякого уплотнения и выселения».

Управление Эвакуационного
Кавказского фронта 11-VII-1921 г.

Итак, кормильца не стало и семья, несмотря на благосклонное отсутствие «реквизиции и конфискации» в 1922 году вынуждена была переехать в Петроград, где ее приютили родственники, жившие там издавна. Они поселились в старинном доме на Лиговской улице, недалеко от Московского вокзала. На парадной лестнице еще лежал роскошный ковер, а в нишах стояли статуи и вазы с цветами (позже все было украдено). Квартира уже «уплотнилась», но следы былого величия давали о себе знать: лепные потолки, изразцовые печи, портрет маслом императора Александра 111 и т.п. Так начался Петербургский период в жизни моего отца.

Еще в Ростове С.А. начал учиться в школе. Переехав в Ленинград (с которым связана вся его последующая жизнь), он поступил в Тенишевское училище на Моховой (сейчас в здании

училища находится Театральный институт). До революции это было привилегированное заведение для детей из хороших семей вроде Милюкова или Юденича, и в котором обучались многие известные личности, например, В. Набоков и О. Мандельштам. В «амфитеатре» училища устраивались лекции и концерты, на которые было традицией приглашать популярных жрецов науки и искусства. Среди лекторов были такие светила как Блок или Маяковский. Но после революции традиции претерпели изменения. Для изгнания буржуазного духа и усиления пролетарского училище было преобразовано в Советскую трудовую школу, которую отец и окончил в 1926 году. Но, несмотря на перетряску, остались прекрасные педагоги прошлых времен, да и подбор учеников был не случайный. С некоторыми из однокашников – среди них известные: лингвист В.Г. Адмони и биолог-эволюционист К.М. Завадский отец сохранил дружеские отношения на долгие годы.



Ученик 15-й Советской трудовой школы (б. Тенишевского училища). С.А. - в нижнем ряду, третий слева, 1924-25

С пребыванием в училище связан один забавный эпизод. Там же учился некто Степка Радомысльский – сын Г. Зиновьева, тогдашнего полновластного хозяина Ленинграда, выросший «на коленях у Ленина». Степка был любимцем публики, так как охотно водил товарищей в кино без билета. При входе он показывал билетерше удостоверение своего отца, где значилось: «Такой-то, такой-то... Председатель 3-го Интернационала». При виде «такого» билетерша лезла от ужаса под стол, и вся орава беспрепятственно проходила на сеанс. Ничего не скажешь –

боевые двадцатые! А уже в тридцатые Степка и его родители были, как известно, расстреляны.

Но настала пора думать о поступлении в институт, что оказалось не так просто. В институт не брали без направления общественности. Требовалось продемонстрировать «рабочую косточку», и С.А. начал работать в подшефной школе воинской части, в так называемой «Военно-ветеринарной учебной кузнице» (до сих пор не знаю, что это такое). Но для поступления в институт и в самом деле пригодилось.

С.А. решил стать врачом. Затрудняюсь сказать, почему он выбрал именно эту профессию. Вероятно, сказалась семейная традиция: старшие братья, как и их отец, тоже стали врачами. В 1926 году в возрасте 16 лет он был принят во 2 Ленинградский мединститут. Поступил с трудом. Не хотели брать, во-первых, по молодости лет, а, во-вторых, все же из-за происхождения. Решило проблему то обстоятельство, мать стала персональной пенсионеркой союзного значения за заслуги покойного мужа и этим отчасти реабилитировала абитуриента в глазах приемной комиссии.

2 Мединститут (тогда он назывался ГИМЗ - государственный Институт медицинских знаний) был основан до революции по инициативе Бехтерева и в те годы еще хранил отпечаток золотых лет русской медицины. Среди профессоров были такие светила как Р.Р. Вреден, О.О. Гартох, В.А. Оппель, Н.Н. Петров и др. Помимо того, что все они были блестящими клиницистами и педагогами, они сохранили лоск старой университетской интеллигенции и уже своим вкусом и манерами воспитывали молодых. Для С.А. они остались мерилем высокого служения ученого и врача, и впоследствии он по ним оценивал людей, с которыми у него складывались рабочие или личные контакты (не в пользу последних, как правило). Некоторые из них с годами превратились из учителей в коллег. Так, с выдающимся онкологом Н.Н. Петровым у него поддерживались теплые отношения вплоть до самой кончины Н.Н. Продолжительное сотрудничество с онкологическим институтом (С.А. много лет был там членом ученого совета) в значительной мере объяснялось влиянием Петрова.

Именно учителя пробудили в нем интерес к научной работе, так как на первых курсах он хотел стать лечащим врачом. Помимо учебы С.А. начал принимать активное участие в работе СНО и вошел в состав редакции институтской малотиражки, кажется, она называлась «Профилактик». Он стал помещать в ней заметки на тему материалистических (других в то время не

существовало) предпосылок познания. Уже в ранние годы у него проявилась склонность к методологии науки, к широким обобщениям, которую впоследствии отмечали многие знавшие его.

В институте отец познакомился со своей будущей женой и моей матерью А.А. Громовой, которая училась с ним на одном курсе. Мне бы хотелось несколько подробнее остановиться на этом сюжете, чтобы уж больше к нему не возвращаться. Если об отце сохранится хоть какая-то память, то о ней - никакой. А между тем без А.А. его ученая карьера была бы невозможна. Она дважды выходила его во время тяжелой болезни и самоотверженным уходом буквально спасла от смерти. В ее судьбе так же вполне сказались чудовищная мясорубка XX века, перемоловшая народы и сословия. А.А. родилась в Риге и принадлежала к старинному старообрядческому роду Громовых, которые поселились в Прибалтике в XVIII веке. Как известно, старообрядцы, не принявшие новшества Петра I, бежали в те края, спасаясь от преследования царских властей. В Риге селились в так называемом Московском форштадте. Имели репутацию людей грамотных и трудолюбивых. Их характерным отличием была святость честного слова – на него можно было абсолютно положиться. Отец Громов был активным членом религиозной общины и воспитывал детей в строгих традициях. Но пришла гражданская война и разметала семью матери. Оставшись без родителей, она с братом, еще дети, бежали в Москву к родственникам. Бежали, по ее словам, «под вагоном». В Москве она воспитывалась в семье А.А. Пороховщикова – изобретателя и конструктора известного рядом оригинальных проектов в различных областях техники, в том числе проекта первого русского танка (в 40-е годы А.А. был расстрелян). От предков мать унаследовала свой уникальный характер, в котором сочетались железная стойкость, самоотверженность и абсолютное бессребреничество. Бросив работу врача, она целиком посвятила себя семье, превратившись, как сама говорила, в повара, портного, бухгалтера, воспитателя и лекаря. Этим она полностью освободила С.А. от тяжелого советского быта, предоставив возможность целиком отдаться науке. Ее самоотверженность привела к полному забвению собственных интересов. Вот пример. Я не помню случая, чтобы она пошла в магазин и купила что-нибудь для себя, хотя, будучи женой профессора, вполне могла это себе позволить. Так и проходила всю жизнь в одном и том же стареньком пальтишке.

Союз родителей представлял собой любопытное сочетание: он – потомок талмудистов, она – старообрядцев. Как дети двадцатых годов они не были религиозными в точном смысле

слова, но относились с глубоким почтением к любой религии, а мать никогда не расставалась с иконкой преподобного Тихона. Навязшая ныне в зубах тошнотворная тема толерантности в интеллигентных семьях вообще никогда не существовала. А.А. пережила namного мужа и скончалась в возрасте 99 лет в 2008 году.



Анастасия Александровна Громова-Нейфах, 1927

Однако пора вернуться к основной линии рассказа. Последние курсы института стали для С.А. годами самообразования и формирования мировоззрения. Страну охватило послереволюционное оживление культурной мысли, возникали новые направления в науке и искусстве. В Ленинграде находилась Академия наук, здесь сосредотачивались культурные ценности и выдающиеся личности. Записные книжки С.А. двадцатых годов сохранили биение пульса того времени. Записи «классовой борьбы по Бухарину» чередуются с расписаниями занятий и семинаров, схемы приборов с перечнем книг первой необходимости. Книги по искусству соседствуют с сугубо научными. Любопытно, что среди последних – «Наследственность» Филиппченко. Как признавался С.А., уже в те годы он заинтересовался генетикой. Однако вернуться к первой любви смог, по известным причинам, лишь 30 лет спустя.

В 1931 году С.А. окончил 2ЛМИ и был оставлен как интерн при отделе биохимии института Питания и, одновременно,

начал работать ассистентом кафедры биохимии 2ЛМИ. Отдел биохимии находился тогда при кафедре, которой руководил некто А.Ю. Харит – посредственный ученый, но зато большевик с дореволуционным стажем. Руководитель из него был никакой, и С.А. пришлось работать совершенно самостоятельно. Он установил научные связи с кафедрой биохимии Университета, которой руководил Е.С. Лондон, и где применялись новейшие методы исследования. Проводил прикладные исследования на предприятиях: заводе им. Сталина и у текстильщиков. Стал членом Секции профсоюза научных работников. Появились первые публикации.

Но ситуация в стране накалялась. Обстановка приобретала все более зловещую окраску. Волна сталинских репрессий докатилась и до 2ЛМИ. Неожиданно выяснилось, что Харит «в составе крепко спянной банды подлых негодяев, троцкистов и зиновьевцев ведет в институте подрывную контрреволюционную работу». Банда была разоблачена, исключена из партии, уволена и ликвидирована (физически). Одновременно (по случайному совпадению) были арестованы двое родственников С.А.. Снаряды падали все ближе и оставаться на кафедре стало небезопасно. Кстати: в разоблачении «банды» решающую роль сыграл аспирант кафедры К.Г. Конопелько, доносчик-профессионал, отправивший на тот свет не одну жертву. С этим «биохимиком» отцу еще придется встретиться, и с ним будут связаны самые драматические перипетии его научной деятельности. Но об этом позже.

Пока же С.А. принял решение перейти на кафедру биохимии 1ЛМИ, которой руководила Ю.М. Гефтер – профессор и педагог старого закала, великолепно образованная (окончила университет в Мюнхене) и с высокими нравственными критериями. Она внесла много передового в научную работу кафедры и придавала большое значение деятельности СНО, одним из руководителей которого назначила С.А.

Отец считал Ю.М. первым своим подлинным наставником и в науке, и в науке жизни. Незадолго до смерти она передала институту свои личные сбережения для премирования лучших студенческих работ. На кафедре биохимии С.А. проработал до 1941 года, то есть до отправки на фронт.

Одновременно с работой в 1ЛМИ в 1935 году С.А. поступил в отдел экспериментальной онкологии ВИЭМ, куда его пригласил руководитель отдела Л.М. Шабат, впоследствии академик АМН. С этим институтом судьба связала отца более чем на полвека вплоть до самой кончины в 1992 году. С ним связаны и его научные успехи, и разочарования. Но в предвоенные годы

ВИЭМ был одним из крупнейших исследовательских медицинских центров в стране, а по некоторым направлениям и в мире. Достаточно сказать, что С.А. еще застал И.П. Павлова и присутствовал на сессиях 15 Международного физиологического конгресса, проходивших в Ленинграде в 1935 году. В отделе онкологии («раковой лаборатории», как его тогда называли) С.А. занимал сначала должность научного сотрудника, а с 1938 – заместителя заведующего.



В Отделе экспериментальной онкологии ИЭМ, 1940

Тогда же определился круг его научных интересов, а именно, молекулярный механизм образования злокачественных опухолей. Идея заключалась в том, что в животных тканях от природы заложены предпосылки образования злокачественных опухолей. Для обнаружения канцерогенных веществ им были применены оригинальные для того времени методы спектроскопического и фотохимического анализов. Первые публикации по этой тематике получили всесоюзный резонанс. Благодаря своим глубоким по содержанию и блестящим по форме докладам в обществах патологов и физиологов С.А. становится широко известен среди ленинградских клиницистов. Со многими из них у него устанавливаются научные контакты на долгие годы. Появились и публикации за границей, что было для того времени редчайшим исключением. Вот как отзывался о его ранних исследованиях руководитель отдела Л.М. Шабад. «Эти работы, в

которых С.А. Нейфах показал себя прекрасным экспериментатором и вполне зрелым талантливым научным работником открывают новые пути исследования, которые, несомненно, будут продолжены как самим С.А. Нейфахом, так и другими авторами» (1939 г.). В 1939 году С.А. защитил кандидатскую диссертацию по онкологической тематике, а 30 мая 1941 года сделал свой последний предвоенный доклад. До начала войны оставался месяц.

Война имела для отца неоднозначные последствия. Конечно, он видел в ней тяжелейшее испытание для народа и считал святым долгом встать на защиту Отечества. Но лично для него она стала избавлением от почти неминуемого, судя по ряду признаков, ареста. В июле 1941 года он был призван в ряды РККА и оказался на Ленинградском фронте сначала в должности химика-аналитика, затем помощника начальника санитарно-эпидемиологической лаборатории. В 1944 году уже в чине капитана он был назначен начальником эвакуационного отдела Череповецкого узла. В его функцию входили военно-санитарное снабжение, лечение и обслуживание раненых в санитарных поездах, и эпидемиологические мероприятия. Вот что сказано в воинской характеристике того периода. «Будучи начальником эвакуационного отдела, обнаружил большие организаторские способности в руководстве лечебно-эвакуационной работой. Во время операций по прорыву блокады Ленинграда при обеспечении операций других фронтов умело организовал сортировку поступающих контингентов, четко обеспечивал эвакуацию в тыл и своевременное продвижение военно-санитарных поездов через Череповецкий узел». Я плохо помню отца-военного. Мы с матерью жили далеко, в эвакуации в Чистополе. Но однажды приезжали на короткое время в Череповец на свидание с отцом. В память врезалась гимнастерка с ремнем через плечо, и, что больше всего поразило, пистолет «КТ» на боку. С пребыванием в Череповце связан один эпизод. Мы жили рядом с хлебозаводом, который отделялся от нашего двора высоким забором в два кирпича. Оттуда всегда пахло свежим хлебом, большой редкостью для того времени. Раз мы с соседским мальчиком играли во дворе и вдруг слышим за забором какие-то вопли и видим: по гребню забора бежит человек с буханкой хлеба в руке (то есть ловят вора). Вор в страхе бросает буханку и спрыгивает куда-то в бурьян. Буханка попадает в меня. Я беру ее вожделенно-ароматную, и мы с мальчиком несем ее ко мне. С.А. задумчиво смотрит на буханку, потом режет пополам и половинку отдает соседу.

После снятия блокады С.А. перевели с Ленинградского фронта в 3 Воздушную армию, которая воевала на 1 Прибалтийском и 2 Белорусском фронтах. Победу он встретил в Кенигсберге в звании майора и в должности главного эпидемиолога армии. Во время войны в полной мере раскрылись его организаторские способности, которые пригодились позже, когда пришла пора возрождать разрушенную лысенковцами биологию. В армии он впервые сформировал передвижную лабораторию, которая стала методическим центром всей противоэпидемиологической работы. «В период наступления наших войск на территории Литовской и Латвийской ССР, в период прорыва обороны противника в Восточной Пруссии и взятии города и крепости Кенигсберга обнаружил и ликвидировал ряд опасных инфекционных очагов, обеспечив выполнение частями боевых заданий. В Армии не было ни одной вспышки инфекционных заболеваний» - отмечалось в его представлении к боевой награде.



Главный эпидемиолог 3-й Воздушной Армии. Кенигсберг, 1945

Со штурмом Кенигсберга связан другой любопытный эпизод военной эпопеи. В уличных боях наши части вошли в плотное соприкосновение с немцами. Укрываясь от огненного шквала, отец забежал в какой-то брошенный дом, где все еще

дышало благополучием хозяев. Он оказался в прекрасной библиотеке. Случайно взгляд его упал на раскрытую книгу. Это была «Генетика» Моргана. Отец схватил ее и начал жадно читать. Тут он почувствовал, что сзади кто-то есть. Обернувшись, он увидел направленное на него дуло автомата в руках вооруженного до зубов немца. «Конец!» – мелькнуло в уме. Но немец вдруг сказал (по-немецки, разумеется) – «Что, Моргана читаешь? Ну, читай, читай» – и исчез столь же мгновенно, как и появился. «Так Морган спас мне жизнь» – заканчивал свой рассказ С.А. Из Германии отец привез трофей, что называется, культурного человека: фотоаппарат, пишущую машинку и микроскоп, то есть вещи, которые у нас в то время были редкостью. А еще он привез мне в подарок кинжал необычайной красоты. Кинжал пришлось вскоре уничтожить, когда начались преследования за хранение оружия, с чем наша власть всегда последовательно боролась.

Война закончилась, но С.А. продолжал оставаться с войсками в Германии, так как его ни за что не хотели демобилизовать. Возвратиться в Ленинград и вернуться к научной работе помогло ходатайство ВИЭМ по представлению В.А. Энгельгардта. Этот замечательный ученый занимал особое место в жизни отца, его он считал своим подлинным учителем. Они познакомились в 1932 году на кафедре биохимии Ленинградского Университета. Отец был начинающим сотрудником, а В.А. уже известным ученым. Он только что переехал в Ленинград из Казани и поселился прямо в помещении кафедры.

«Передо мной – вспоминает С.А. – был высокий красивый человек нордической внешности с респектабельными манерами. Нас, молодежь, особенно привлекало его красноречие, его изысканный и богатый литературный язык. В каждом слове, в каждом обороте речи чувствовалась высокая культура и хороший вкус». В середине тридцатых годов в связи с переводом в столицу учреждений АН СССР В.А. переехал в Москву. Но, как было тогда принято, продолжал возглавлять отдел биохимии ВИЭМ и лабораторию в институте физиологии им. Павлова. Раз в месяц приезжал на неделю в Ленинград, привозя сотрудникам свежие журналы, реактивы и даже приборы. Не забывал он и об их личных нуждах. В нелегкое послевоенное время, например, просил отдавать им зарплату, которую получал в ВИЭМ и которой тяготился. Посещая Ленинград, В.А. бывал у нас дома. К этому времени мы уже вернулись из эвакуации и жили там же у Московского вокзала, в той же квартире, но теперь уже заселенной 20 жильцами. Только что были вставлены окна (в блокаду у ими

топили (!) печку), кухня была общая, а ванная забита коммунальным хламом. А так как уборная не работала, то для отправления естественных потребностей приходилось посещать Московский вокзал. К слову сказать, отдельную квартиру С.А. получил только в 1963 году. До этого комната была для него и рабочим кабинетом (у окна), и столовой (в середине), и спальней (за книжным шкафом). И вот в такой квартире появился «нордический» В.А. и произвел на меня, тогда ребенка, неизгладимое впечатление своим каким-то совершенно несоветским видом. Тем более что вокруг него витала аура (непроверенная) потомка Энгельгардта – директора пушкинского Лицея.

В архиве С.А. сохранились отрывочные записи, относящиеся к той поре. Мне остается только пересказать их, соединяя разрозненные фрагменты и дорисовывая на свой страх и риск недостающие звенья. Итак, война закончилась, и сотрудники с воодушевлением приступили к восстановлению отдела биохимии, разоренного блокадой. Вскоре он стал биохимическим центром города. Продолжая традиционное направление исследований, начатых Энгельгардтом, С.А. в 1948 году защитил докторскую диссертацию.

С послевоенным периодом связан самый драматический эпизод в жизни С.А. Сталинский маразм переходил в решающую фазу. Наступило время разгула партийного мракобесия и разгрома передовых областей науки: биологии и кибернетики. Волна его докатилась и до ВИЭМа. Были закрыты целые отделы и изгнаны талантливые ученые. Коснулась эта вакханалия и непосредственно С.А.. В отдел биохимии в качестве парторга и докторанта Энгельгардта был внедрен «органами» уже известный читателю К.Г. Конопелько. Он принес с собой атмосферу доносов, склок и увольнений. Распоясавшийся НКВДэшник вызывал сотрудников поодиночке для допросов, а С.А. прямо обвинил в «троцкизме» и связи с американским империализмом. Не выдержав напряжения, Энгельгардт заболел, уволился из ВИЭМа и окончательно остался в Москве. С.А. открыто вступил в борьбу с клеветником, но тщетно. Руководство института в глубине души поддерживало С.А., но боялось поднять голос. Тогдашний директор Л.Н. Федоров вызвал отца к себе и по секрету посоветовал мгновенно уволиться и уехать из города. Опасность подступала и на домашнем фронте. Соседка «Валька» как официальная осведомительница составляла списки приходивших к нам в гости. Арестовали соседа за стенкой. Сквозь перегородку было слышно, как у них всю ночь шел обыск. Дворник (он же «стукач») Колька

возбужденно сновал по коридору, вынося «ценные вещдоки». Под утро опричники заглянули и к нам, под каким-то предлогом. Главный, критически осмотрев стены, спросил: «А где портрет товарища Сталина?». Стало ясно, что пора готовиться к «депортации». Но небеса смилостивились и даровали избавление. Умер Сталин, обстановка в институте, как и во всем государстве, изменилась на 180 градусов, и докторант Конопелько исчез как по мановению волшебной палочки.

Хотя Энгельгардт в отдел уже не вернулся, связи с ним никогда не прерывались. Бывая в Москве, С.А. всегда навещал его. Встречались они и на конференциях и различных «школах». В 50-е годы В.А. стал одним из первых посланцев советской науки за рубежом и по возвращении неизменно выступал в Ленинградском физиологическом обществе (биохимического тогда не было) с подробными докладами и великолепными диапозитивами. Привозил и оригинальные сувениры, например, лозу с виноградника Пастера. Одним из первых он посетил Индию, где был принят Д. Неру и увенчан традиционным венком. По случаю какого-то юбилея сотрудники отдела биохимии задумали изготовить ему в подарок куклу-марионетку В.А. в виде индуса. Куклу заказали в театре Деммени. Но как ее правильно одеть? Ведь в те годы Индия была «терра инкогнита». И вот С.А. отправился к известному актеру Н. Черкасову, который незадолго до того тоже был в Индии, и срисовал у него костюм и венок. В 1956 году С.А. организовал в ВИЭМ конференцию, посвященную 25-летию открытия, прославившего Энгельгардта, а в 1974 году, когда торжественно отмечалось 80-летие В.А., сделал доклад на конференции, посвященной этому событию. Энгельгардт особенно доверял отцу и, покидая ВИЭМ, оставил ему архив отдела. Позднее С.А. предал его в московский институт Молекулярной биологии, где приступили к сбору материалов, посвященных жизни и творчеству В.А.

Смерть Сталина перевернула страницу истории: начался новый этап в жизни страны. Отступил тотальный страх, дышать стало чуть свободнее. Хрущев сделал доклад на XX съезде с разоблачением культа личности. До С.А. его содержание дошло раньше, чем оно стало широко известно, и он не скрывал своего воодушевления и надежд на лучшее. У него и раньше не было никаких иллюзий относительно Отца народов. Смешно слышать, когда некоторые говорят до сих пор про сталинизм: мы, дескать, ничего не знали, мы верили и пр. А вот С.А. все знал и в докладе Хрущева не нашел для себя ничего нового. Когда страна рыдала

по поводу великой утраты, он говорил: «Радоваться надо, а они плачут».

Пришла оттепель 56-го года и люди с жадностью устремились утолять культурный голод. Прогревели как гром «Не хлебом единым» Дудинцева и «Один день» Солженицына. Едва только произведения, приоткрывающие правду, появлялись в печати (а иногда и раньше) С.А. доставал их и прочитывал запоем. Новая волна, помимо литературы, затронула все области культуры – кино, изобразительное искусство, архитектуру, музыку – и породила явление ныне известное как «60-е годы».

Изменения коснулись и науки. Яростные нападки карьеристов-мракобесов на биологию и медицину пошли на спад. Железный занавес слегка приподнялся и глазам советских ученых открылись замечательные достижения западной науки. «За последние 25 лет – писал позднее С.А.,- мировая биологическая наука достигла огромного прогресса и вошла в первый ряд естественных наук. Эти успехи не замедлили сказаться на развитии смежных областей: медицины, химии, физики и др. С горечью приходится констатировать, что между развитием мировой науки и нашей биологией за прошедшие четверть века возник зияющий разрыв, вызванный явным отставанием нашей науки и отсутствием подлинной научной школы в области биологии».

Стало совершенно очевидно, что пришла пора наверстывать упущенное. С.А. полный творческих замыслов с энтузиазмом погрузился в мир новых идей. Еще с довоенных лет он был близок с С.Е. Бреслером – разносторонне одаренным ученым: физикохимиком, биологом, биофизиком – прекрасно осведомленным об успехах мировой науки в различных областях. Как раз в это время у С.А. установили «комнатный», то есть личный, телефон по особому ходатайству свыше. Аппарат раскалялся докрасна от их с Бреслером многочасовых бесед исключительно на научные темы, которые превращались в подлинные «телефонные» семинары. Другим любимым времяпровождением друзей были совместные прогулки по вечерам, также целиком отданные науке. В этих непрерывных обменах мнениями и спорах оценивались научные достижения и вызревали собственные планы.

Будучи в курсе новейших экспериментов в области биологии и обладая даром научного предвидения, С.А. правильно определил направление дальнейших исследований. Еще в довоенных работах проявился его интерес к физико-химическим основам жизни, который теперь получил подтверждение в ходе

развития мировой науки. В 1956 году С.А. предложил создать в ВИЭМ лабораторию энзимологии как самостоятельное подразделение с целью изучения механизма, который регулирует энергетический обмен клетки. Создание лаборатории независимой от отдела биохимии (работу последнего он считал малоперспективной) стоило колоссальных трудов и было продиктовано высоким стремлением к познанию нового, а отнюдь не карьерными, как это нередко бывает, соображениями. Для успешной работы С.А. была нужна организационная самостоятельность, фактическая была всегда. Итогом исследований, выполненных в лаборатории энзимологии, явилась «мембранная» теория регулирования клеточного обмена и был открыт неизвестный ранее белок киназин. Полученные результаты позволили провести в ВИЭМ в 1958 году симпозиум «Фосфорелирование и функция».

Новое научное направление получило широкий отклик. С.А. избирается членом Центрального совета Всесоюзного биохимического общества. Он возглавляет секцию энзимологии на 5 Биохимическом конгрессе, входит в Оргбюро I Всесоюзного биохимического съезда. Становится членом Центрального совета всесоюзного биохимического общества, членом редсоветов журналов «Вопросы онкологии» и «Лабораторное дело». В дальнейшем идеи о механизме метаболического контроля были суммированы в коллективной монографии сотрудников лаборатории «Механизмы интеграции клеточного обмена» в 1967 году.

Годы «застоя» (то есть когда власть, по выражению С.А., не очень «долбала» народ) стали самыми плодотворными для него в научном отношении и самыми благополучными в личном. В 1960 году ему присваивается профессорское звание, а в 1963 его избирают членом-корреспондентом АМН СССР. За этими скупыми данными, уместными скорее для справочника, нежели жизнеописания, скрываются драматические перипетии в судьбе науки и напряженная творческая работа ученого. Лысенко и его последователи продолжали функционировать и, хотя и с частично вырванными зубами, оказывали вредное влияние на развитие современной науки в стране.

В 60-е годы С.А. наряду с В.А. Энгельгардтом стал одним из первых исследователей в области молекулярной биологии в СССР. То, что он обратился к этой области науки, было отнюдь не случайно. Мне уже приходилось отмечать его интерес к физико-химическим основам жизни, обнаружившийся в ранних работах. В его архиве сохранилась примечательная запись, относящаяся к

довоенному периоду. В ней содержится ссылка на высказывание Павлова, где речь идет о «той физиологии, которая должна сменить нашу современную органную физиологию, и которую можно считать предвестницей последней ступени в науке о жизни – физиологии живой молекулы» (1897 г.). Как всегда ведомый скорее интуицией, нежели логикой, С.А. создал новое направление молекулярной биологии – молекулярную генетику наследственных болезней человека, которой тогда не существовало в стране. Необходимо было консолидировать исследования отдельных сохранившихся подлинно научных лабораторий. Он сблизился и установил научные контакты с видными генетиками и цитологами: В.Я. Александровым и В.П. Эфроимсоном – героическими борцами с лысенковщиной, Ю.М. Оленовым, А.А. Прокофьевой-Бельговской, И.А. Раппопортом, Н.В. Тимофеевым-Рессовским и др.

В 1963 году, проделав огромную организационную работу, С.А. добился преобразования лаборатории энзимологии в лабораторию биохимической генетики, впоследствии ставшую ядром отдела Молекулярной биологии ИЭМ. Задача лаборатории, по его замыслу, состояла в изучении механизма наследственных болезней и применении методов геной инженерии к изучению генов человека и диагностике наследственных болезней. Теоретические исследования находили практическое применение. Так как демографический анализ показывал, что среди заболеваний все большее значение приобретают наследственные, было проведено массовое обследование умственно отсталых детей и появились рекомендации по диагностике. Была разработана программа по специфическому лечению наследственных заболеваний путем направленной доставки здоровых генов в клетки. С.А. предвидел, что в лечении все большее значение будут приобретать наследственные факторы и медицина будущего станет индивидуальной.

К тому времени вокруг С.А. сложился деятельный коллектив и сформировалась подлинная школа биохимической и медицинской генетики. Как известно, можно быть хорошим ученым, но не иметь школы. Какие же качества руководителя помогли С.А. ее создать? Прежде всего, к нему привлекала оригинальность и новизна в постановке проблем, он любил и поощрял в людях фантазию. Избранное им направление бурно развивалось. Для него самого биохимия заключалась не только в использовании биохимических методов, но, скорее, была средством для поиска новых путей в решении биологических и медицинских проблем. Ученики ценили окружавшую их

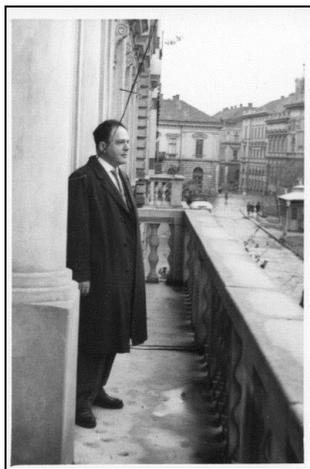
творческую атмосферу. «Я Вам на всю жизнь обязан тем особым мироощущением, оценками, особенно в науке, любви к слову, языку науки, чему Вы учили нас каждый день» - писал впоследствии один из его учеников В.С. Репин. Работая в лаборатории, молодые сотрудники получали надежный фундамент для самостоятельной деятельности, развивая умение обобщать и умение предсказывать ход процесса. Вместе с тем, благодаря глубоко продуманным и хорошо организованным связям с клиницистами, они получали возможность внедрить в практику свои теоретические исследования. Чрезвычайно внимательно просматривая статьи, подготовленные для печати и внося исправления, руководитель не только учил сотрудников, но и учился у них. Возникал живой обмен мнениями, когда ученик ставил неожиданный вопрос, на который учитель должен найти ответ. Мне приходилось слышать: «Такой-то спросил интересную вещь, а я не знаю, что сказать. Придется подумать и порыться в литературе». Надо заметить, что он имел право через АН СССР выписывать из-за границы новейшие издания, которыми щедро делился с учениками. Заботился о том, чтобы лаборатория располагала современным оборудованием и препаратами, а сотрудники - возможностью публиковать свои результаты в солидных журналах. Хорошая школа та, которая учитывает индивидуальные склонности и предоставляет возможность развиваться способностям учеников. Недаром С.А. подготовил многих докторов и кандидатов наук, и не только в Ленинграде, а в Союзных республиках и за границей. Его ученики сами стали крупными учеными и руководителями, профессорами, членами-корреспондентами и академиками АМН, такие как В.С. Баранов, В.С. Гайццоки, О.И. Киселев, В.С. Репин и др. Известный канадский ученый Ч. Скрайвер, посетив лабораторию биохимической генетики в 1987 году, так суммировал свои впечатления: «Вас окружают люди, о которых Вы заботитесь, работающие в лучших возможных условиях, и которые любят Вас».

С.А. полагал, что дело ученого не закончено пока его идеи не получили широкого признания, не вошли в научный обиход. Он стремился повысить статус проблемы путем ее широкого обсуждения. По его мнению, наши крупнейшие биохимики академики А.Е. Браунштейн и В.А. Энгельгардт не стали нобелевскими лауреатами только потому, что были изолированы железным занавесом от западных коллег. Поэтому считал обязательным участие свое и сотрудников в конференциях и съездах, в особенности международного масштаба, где происходит

живой обмен идеями и определяется подлинный вес ученого по гамбургскому счету. В 60-е – 70-е годы им были организованы два Всесоюзных симпозиума и два Международных, сыгравших важную роль в объединении генетических исследований в стране и в ознакомлении зарубежных ученых с достижениями отечественной науки. Тогда же он стал заместителем председателя Научного совета по медицинской генетике и председателем Проблемной комиссии по биохимической и молекулярной генетике при Президиуме АМН СССР.

Научная и организационная деятельность С.А. приносит плоды и получает международный резонанс. В 1967 году его приглашают принять участие в работе Научной группы ВОЗ в Женеве по исследованию наследственных болезней, а в 1968 он становится экспертом ВОЗ и выполняет исследования по контракту ВОЗ с ИЭМ. С 1973 года С.А. региональный редактор международного журнала «Молекулярная и клеточная биохимия». У него устанавливаются прочные деловые и дружеские контакты с представителями западной науки.

Контакты с зарубежными коллегами – отдельная и весьма заметная страница биографии С.А. , рисующая как его самого, так и положение ученого в советской системе.



На балконе квартиры нобелевского лауреата
А.Сент-Дьерди в Сегеде, Венгрия, 1965

Тогдашние связи с заграницей в атмосфере всеобщего страха, подозрительности и сыска заслуживают специального исследования. Поэтому я коснусь лишь некоторых моментов,

которые касаются непосредственно героя нашего рассказа. Начиная с конца 50-х годов, появилась возможность, хотя и под присмотром недремлющего ока, обмениваться письмами и оттисками с зарубежными коллегами. В 60-е возникли уже личные контакты: иностранцы стали приезжать в СССР, а наши ученые – выезжать за рубеж. С.А. стали «выпускать», правда, в составе делегации и только в соцстраны, начиная с 1963 года. Расскажу забавный случай, связанный с вояжами отца. Как-то его предполагали послать в Англию, но в последний момент «органы не дали добро». Не зная об этом (контора работала с накладками) к нему явился «искусствовед в штатском», чтобы дать особо важные инструкции, как себя вести в Англии. С.А. терпеливо выслушал до конца, а потом сказал: «Так я же не еду». Бедолага-искусствовед в панике метался по комнате, причитая: «Что делают! Что делают! Наломали дров!». На таком фоне контакты складывались непросто. У всех на памяти были Венгерское восстание, Польские события и Пражская весна. Советские ученые оказывались в затруднительном положении, так как воспринимались отчасти как оккупанты. Понимая свое бессилие, народы Восточной Европы мечтали о «революции в Риме», то есть в Москве. С.А. был, конечно, душой на их стороне. Он не дожил до наших дней и не знал, что освобожденные народы могут быть неблагодарными и вести себя не очень хорошо. Но в те годы ученые соцстран высоко оценили его сочувствие, что, несомненно, помогло наладить взаимовыгодные рабочие отношения с лабораториями Венгрии, Польши и Чехословакии. Цель их состояла в проведении совместных исследований и обмене сотрудниками, в обоюдном участии в конференциях и симпозиумах. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с Л. Ковачем (Братислава), Л. Войчаком (Варшава) и Штраубом (Будапешт). Когда С.А. посещал с докладами или лекциями Прагу, Берлин, Варшаву или Будапешт его встречали как доброго друга, старались показать лучшее, знакомили с историческими достопримечательностями и культурными ценностями. Так, в Варшаве его познакомили с выдающейся актрисой И. Каминской, получившей мировую известность после фильма «Магазин на площади». Дарили книги, которые в СССР отсутствовали по определению, главным образом, исторического и философского содержания.

Участие в работе ВОЗ расширило круг его знакомств. На С.А. легла непростая миссия посланца своей страны. Надо было найти этические критерии общие для представителей культуры, близких по духу, несмотря на все различия, которые существовали между странами. Растущее противоречие между политическими

лагерями, и, в то же время сходство в сущности гуманитарного кризиса, их охватившего, позволяли найти общие подходы к проблемам общечеловеческого характера. В число его корреспондентов попали видные генетики: американцы Э. Рэкер и Г. Шейнберг, уже упоминавшийся канадец Ч. Скрайвер и др. С ними он состоял в многолетней дружеской переписке, а книга Э. Рэкера «Механизмы биоэнергетики», которую считал чрезвычайно актуальной, была по его инициативе и с его предисловием переведена на русский язык.

Особенно теплые отношения установились у него с Ч. Скрайвером (они звали друг друга Чарльз и Соломон). Коллеги обменивались не только научной информацией, но обсуждали по почте широкий круг проблем: от русской истории до музыки Шостаковича, от творчества Пушкина до Булгакова. «Чарльз» неоднократно бывал в Ленинграде, в том числе в лаборатории медицинской генетики, которую считал «лучшей в мире в области биологии церулоплазмينا», а «Соломона» - «одним из выдающихся советских ученых».



Ч.Скрайвер и С.А.Нейфэх в группе сотрудников
Лаборатории биохимической генетики ИЭМ, 1987

Желая поделиться с сотрудниками лучшим, что есть на Западе, С.А. всегда стремился приглашать знаменитых иностранных ученых в свой институт. Когда Ленинград прибыл отец кибернетики Н. Винер, отец посетил его в гостинице «Европейская» и уговорил прочитать лекцию в ИЭМ. С этой же целью был приглашен в 1976 году (и именно к нему приехал) в ИЭМ нобелевский лауреат Говард Темин.

Международные контакты С.А. растапливали лед взаимного недоверия и способствовали, как сейчас сказали бы,

толерантности и взаимопониманию. Об авторитете, каким он пользовался у иностранных ученых, свидетельствует один примечательный факт. В 1978 году в Москве проходил 14 Международный генетический конгресс, вокруг которого разгорелись нештучные политические страсти.



Г.Темин и С.А.Нейфах в группе сотрудников НИИ онкологии,
Ленинград, 1976

Иностранные ученые бойкотировали его в знак протеста против преследования инакомыслящих в Советском Союзе. Но на секцию, которую курировал С.А., приехали многие им лично приглашенные, чем и он, и сотрудники по праву гордились. Таким образом, он проводил вполне современную «международную» политику, с той только разницей, что на сорок лет раньше.

Профессиональная деятельность ученого (как, впрочем, и любого человека) представляет собой лишь внешнюю, всем видимую часть постройки. Однако у всякой постройки есть фундамент, от которого зависит ее надежность и архитектурный блеск. Я имею в виду внутреннее, интимное, сокровенную работу над собой, комплекс интеллектуальных и нравственных критериев, который определяет индивидуальность личности. Картина была бы не полной без этих сторон натуры, о которых, мне кажется, бесполезно узнать современному поколению ученых.

Как известно читателю, уже в ранних работах С.А. проявились в полной мере его способности к критическому анализу, обобщению материала и постановке новых вопросов. Однако более всего ценил он в ученом интуицию и фантазию. «Теория,- любил он цитировать А. Эйнштейна, – не может быть построена как результат наблюдений, она может быть только изобретена». Про себя говорил, что наиболее удачные решения

приходят к нему не путем логических выкладок, а «изнутри». Хотя придти они могут только к уму подготовленному, который многое уже логически «перелопатил». Поэтому надежным фундаментом знания должны быть не отдельные вспышки, а 8 свойств классического ума, «по Павлову», как говорил он.



На XIV Международном генетическом конгрессе. Москва, 1978

Эти свойства (они были выписаны на отдельную карточку) следующие:

- 1) Сосредоточенность мысли
- 2) Беспристрастие (ум не должен быть в плену у привычки)
- 3) Абсолютная свобода мысли
- 4) Познательность (путем упорного труда ученый приближается к «осозанию» действительности)
- 5) Привязанность к истине (той идее, которой ум интересуется)
- 6) Детальность мысли (внимание к мелочам)
- 7) Простота и ясность
- 8) Смирение (скромность) И.П. Павлов, 1918 г.

Другим важным свойством ума был для него эстетический момент. Он был убежден, (может быть, цитировал?), что «настоящая теория кроме идеи и логической последовательности должна содержать элементы красоты, то есть неожиданность, законченность, гармоничность и легкость построения». В свою очередь идея получает законченность только тогда, когда она выражена в красивой литературной форме. Поэтому придавал огромное значение языку и филигранно отделявал свои доклады и статьи, сочетая изящество со строгостью и ясностью. Образчиками

научного стиля были для него Дарвин и Павлов, а из современников – Энгельгардт и Любищев (о последнем еще пойдет речь). Этим же качеств он требовал от сотрудников и с горечью наблюдал, как язык науки становится все более примитивным или, по его выражению, «комсомольским».

Широта кругозора С.А. лишний раз подтверждает, что ученый не должен ограничиваться чисто профессиональными знаниями. Ибо знания, полученные из смежных наук или других областей, например литературы и искусства, могут дать совершенно неожиданный толчок фантазии и поворот научной идеи. В его записных книжках, наряду со специально научными, можно встретить выписки из трудов китаиста Алексеева, историка Гревса, физика Гейзенберга или писателей Кипплинга и Пруста. В этих беглых заметках прочитывается невидимая для окружающих, но сосредоточенная внутренняя работа. Возможно, что подобная широта интересов выработала в нем ту способность к обобщениям и научному предвидению, которую отмечали знавшие его. Его охотно приглашали выступать на философских семинарах ИЭМ. Так, однажды он даже прочитал лекцию на тему «Эстетические воззрения Н.А. Добролюбова». Его доклад на тему «Методологические аспекты современной генетики» не был рядовым отчетом для галочки, но запомнился слушателям как глубокая и дальновидная, намного опережающая свое время программа. Интересовался историей своего института и, по просьбе польских коллег, собрал материал о работе Ненцкого в ИЭМ и передал его в архив института им. Ненцкого в Варшаве. Интересовался историей науки вообще и в конце жизни хотел написать воспоминания о том, что видел, а видел он многое. К сожалению, этим планам не дано было осуществиться. Остались только отдельные, хотя и блестящие, отрывки об интересных людях, с которыми довелось встречаться. Кстати, из них (и из его переписки с этими людьми) я почерпнул многое для своего очерка.

С.А. происходил из той среды, для которой образцом была русская интеллигенция XIX века, классические герои Чернышевского и Достоевского, с их стремлением к истине и справедливости. Нормой поведения в этой среде были трудолюбие, порядочность и скромность, а их антиподами – стяжательство и карьеризм. Сам отличался исключительной скромностью. Склонность к приобретательству у него полностью отсутствовала: не имел ни машины, ни дачи. Я не помню случая, чтобы он говорил на какие либо меркантильные темы. Во главе угла всегда была наука. Он и не преподавал, и не работал по совместительству, чтобы полностью отдаться деятельности исследователя.

Однако, советская система вырабатывала совершенно другой тип человека, который югославский журналист М. Михайлов удачно окрестил «хомус советикус», подразумевая рабскую психологию и стремление выжить любой ценой. Думать одно, говорить другое и делать третье – вот его кредо. В условиях разгула лысенковщины выбор общественной и нравственной позиции ученого имел исключительное значение. Он мог стоять ему не только карьеры и благополучия, но и судьбы. Полностью избавиться от влияния системы не представлялось возможным. С.А. выбрал такую линию жизни, которая наносила бы минимальный ущерб совести и убеждениям. Я бы охарактеризовал ее словом «не». Не участвовать в подлых сборищах, не подписывать подлых «обращений», не отказываться от своих убеждений и не каяться, когда, по выражению его друга В.Я. Александрова ученый был лишен не только права голоса, но и права молчания. Зато, когда дело касалось науки, С.А. прямолинейно выступал против порожденной системой формации беспринципных рвачей-карьеристов. Это была самая презираемая им категория людей. «Ну вот, опять было «явление Хлоста народу» - говорил он после доклада очередного бездарного приспособленца. Как-то во время домашнего застолья, на котором присутствовали два остроумнейших собеседника – С.Е. Бреслер и В.Я. Александров, зашла речь о покойном «Косте Быкове» (академик К.М. Быков). Последний снискал насмешки и презрение порядочных ученых своим поведением во время Павловской сессии 1950 года, которая нанесла огромный вред науке. Бреслер предложил тост: «За тех червей, которые гложут кости Кости!». «За здоровье тех червей» - поправил его Александров.

Когда С.А. пришлось обследовать институт экспериментальной биологии, директором которого был Н.Н. Жуков-Вережников, один из представителей упомянутой формации, он дал отзыв, заканчивавшийся таким оригинальным выводом: «Для пользы дела необходимо поставить Жукова-Вережникова в рамки рядовых научных работников и исключить возможность контроля с его стороны над большим научным коллективом». Его рецензия на книгу еще одного «героя» - Н.И. Майского заканчивалась так: «Книга может принести вред, распространяя недостаточно грамотные и просто ошибочные сведения по важнейшим вопросам биологии и медицины». И, наоборот, всячески поддерживал честных ученых. Так, не колеблясь, дал положительный отзыв на книгу Ж. Медведева «Очерки по истории биолого-агрономической дискуссии», разоблачавшего антинаучную деятельность Лысенко.

У него никогда не было никаких иллюзий относительно политической системы. В ходу была дежурная шутка: «А ну-ка, посмотри в окно, стоит ли милиционер? Не ушла ли от нас советская власть?». Живо интересовался политикой и прекрасно в ней ориентировался. Любил обсуждать эту тему (с людьми достойными доверия, конечно) и верно предсказывал ход событий. Само собой разумеется, никогда не состоял в рядах КПСС. И хотя неоднократно получал туда лестное приглашение, всякий раз отказывался под каким-нибудь предлогом. Думаю, что именно такая «антиобщественная» позиция помешала ему занять то положение в научной табели о рангах, которого он заслуживал.

Широта кругозора, свойственная С.А., и нравственный стиль его поведения, сказавшиеся в его профессиональной деятельности, в значительной мере обязаны его окружению, людям, с которыми он был близок. Нельзя забывать, что в те годы страна жила в атмосфере интеллектуальной блокады и тотальной лжи. Поэтому интересные, порядочные люди были редчайшей отдушиной в буквальном смысле, то есть теми, с кем можно поговорить от души. С.А. всегда стремился быть в их круге, который был чрезвычайно узок. Мне уже приходилось упоминать талантливых ученых С.Е. Бреслера и В.Я. Александрова. Последний пользовался особым уважением отца, не только как знаток своего дела, но и благодаря своему гражданскому мужеству. Он был одним из соавторов антилысенковского «Письма 300 ученых» в президиум ЦК КПСС.

Летний отпуск отец любил проводить в Доме творчества писателей в Комарово. Это место привлекало его тем, что здесь имелась возможность общения с представителями чуждого ему, а потому особо интересного мира. Его постоянным собеседником был старый товарищ по Тенишевскому училищу, видный лингвист В.Г. Адмони, блестяще образованный и исключительно информированный человек. У «писателей» можно было послушать «закрытое», то есть в деревенском сарае, выступление А. Галича. Там же С.А. познакомился с тогда еще малоизвестным писателем Ф. Абрамовым, который давал ему читать свои рассказы в «теплом» виде, прямо с машинки.

Некоторые замечательные люди, сыграли столь значительную роль в формировании его мировоззрения, что заслуживают того, чтобы посвятить им отдельные строки. Общение с ними создавало подлинную интеллигентную научную атмосферу, ныне утраченную, но о которой бесполезно знать и нынешним ученым. Одним из частых собеседников был профессор П.Г. Светлов – биолог и, одновременно, человек

широко образованный в области гуманитарных наук: истории, философии и религии. У него имелась прекрасно подобранная библиотека литературы серебряного века, тогда редкой, а то и запрещенной. Помимо увлекательных бесед, у П.Г. всегда было что почитать из «самиздата» или «из-за кордона».

От Светлова отец впервые узнал о биологическом энциклопедисте А.А. Любищеве. А.А. никогда не занимал в науке официальных позиций и жил в Ульяновске крайне скромно, почти бедно на профессорскую пенсию. Это не помешало ему получить всесоюзную известность и стать основателем целой школы методологии науки. Не имея возможности публиковать свои сочинения, он рассылал их в виде писем своим друзьям, в том числе Светлову. Так С.А. познакомился с одним из главных его трудов «Линия Платона и Демокрита в истории культуры» и, естественно, был заинтригован. Это было так непохоже на все, что делалось в советской науке. Поэтому, когда отцу представилась возможность поехать в Ульяновск, он первым делом направился к Любищеву.

Вот как сам он описывал свой визит. «Над всем господствовала свободная мысль хозяина. Наш диалог часто прерывался большими монологами Любищева, полными неожиданных оригинальных и глубоких парадоксов и бесконечного богатства и разнообразия материала. Здесь были и древняя история, и средневековье и события, пережитые нашим поколением, и эволюция русской общественной мысли, и проблемы современной биологии, и философия науки, и русский народный эпос и поэзия, и наши общие знакомые и «герои». Удивительно было при этом, что, несмотря на то, что эти материалы доносились совершенно точно, со всеми деталями и противоречиями и часто в совершенно новой интерпретации, эти монологи не были ни тяжелыми, ни утомительными, ни огорчительными. Секрет «колдовства» состоял в том, что наряду с основательностью и глубиной мысли в его речах пленяла и легкость импровизации, и юмор и добродушие, а главное – полная искренность и непосредственность. Это было пиршество, на котором богатство и роскошь соседствовали со скромной обстановкой дома, с простотой обращения и радушия хозяев».

Их беседы продолжались неделю, по несколько часов в день. На С.А. произвела глубокое впечатление широта диапазона Любищева. Он считал его подлинным творческим исследователем в области нескольких биологических дисциплин и в области философии науки, наделенным способностью обобщать идеи «далековатые».

Судьба распорядилась так, что последние годы С.А. совпали с событием мирового масштаба – крахом коммунистической системы. Ребенком он присутствовал при ее рождении и ушел из жизни, наблюдая ее конец. На его глазах прошел тяжелейший этап истории России и закончился, по выражению Ахматовой, «некалендарный, настоящий XX век». Начало «перестройки и гласности», как и «оттепель» 50-х, стали порой общественного подъема и надежд. Казалось, рухнули плотины, и хлынул поток долгожданной свободы. В газетах и на радио появилась информация столь ошеломляющая, что привычные «вражеские» голоса вроде Би-Би-Си показались в сравнении с ней детским лепетом. С.А. даже начал слушать радио и смотреть телевизор, чего ранее никогда не делал. Зарубежные коллеги поддерживали в нем это эйфорическое настроение. Так, он и Скрайвер обменивались восторженными откликами на первый телемост СССР-США через спутник. В 1991 году он с волнением следил за событиями, связанными с ГКЧП, и с облегчением вздохнул с его падением. Казалось, вот она - «звезда пленительного счастья»

Но довольно скоро наступило отрезвление. Стало очевидно, что меняется только вывеска, а бал по-прежнему правят извечные человеческие страсти, причем верх берут худшие из них. Если ранее опальный Сахаров предсказывал конвергенцию, то есть соединению лучшего, что есть в социализме и капитализме, то на деле произошла конвергенция в обратном смысле: соединилось худшее, что было в обеих системах.

Да и в институте, которому С.А. верно служил более 50 лет, его ждали испытания.

Его детище – лабораторию биохимической генетики постигла организационная перетряска. Незадолго до того он перенес тяжелую операцию, да и годы давали себя знать. В 1988 году он оставил должность заведующего и перешел в консультанты. Удовлетворение находил лишь в том, что в конечном итоге его дело перешло в достойные руки – его ученика и многолетнего сотрудника В.С. Гайцхоки.

За свою долгую жизнь отец стал свидетелем исключительных по драматизму событий, происходивших в советской науке и, шире, в русской культуре. Перед его взором прошел уникальный ряд характеров во всем многообразии страстей – от самых высоких до самых низменных. Сегодня, в пору победного шествия прагматизма и холодного расчета, безразличия к культурным интересам и презрения к высшим ценностям, его судьба дает свои уроки и свои предостережения.

Его жизнь – пример того, как можно сохранить достоинство в тяжелейших условиях, послужив своей стране и науке и оставив о себе добрую память в сердцах. «Ведь, в конце концов, самое главное, чтобы была оправдана и украшена жизнь порядочных, добрых и способных людей. Именно в этом, по-моему, состоит прагматизм», - писал он одному из зарубежных коллег незадолго до смерти.

Соломон Абрамович Нейфах скончался 27 февраля 1992 года.



Василий Демидович

Ю.И.Журавлев

Из сборника «Мехматяне вспоминают: 3»



кадемик Российской Академии наук, заместитель директора ВЦ РАН, заслуженный профессор МГУ Юрий Иванович Журавлёв без колебаний согласился на интервью со мной ещё осенью 2011 года. Но так получилось, что реально оно состоялось лишь в январе месяце 2012 года, во время студенческих зимних каникул.



Нашу встречу Юрий Иванович назначил в ВЦ РАН, в своём кабинете. Пролитав бегло мои вопросы, он сразу же изъявил готовность на них отвечать. Я включил диктофон. И началась наша неторопливая беседа, продлившаяся часа полтора.

Расшифровку диктофонной записи этого разговора мы ниже и приводим.

ИНТЕРВЬЮ С Ю.И.ЖУРАВЛЁВЫМ

Ж.: Я родился в тысяча девятьсот...

Д.: Нет, нет! Сначала я задам Вам вопрос.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас, Юрий Иванович, что Вы согласились на нашу беседу.

В интернетовской свободной энциклопедии, в Википедии, я прочитал, что родились Вы в тридцать пятом году в Воронеже, а среднюю школу окончили в пятьдесят втором году во Фрунзе, ныне это город Бишкек. Но... Расскажите немного о Вашей семье. Как звали Ваших родителей, чем они занимались, и были ли у Вас братья, сестры, и если да, то кем они стали по профессии.

Ж.: Спасибо, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Действительно, я родился в Воронеже, и моя мать, и мой отец закончили воронежские вузы. Мать по специальности врач, а отец - зообиолог.

Мать происходила из такой, довольно известной до революции, семьи отдалённых выходцев из Польши. Из Польши они «вышли» ещё до Екатерины Великой, так что, конечно, там польской крови осталось немного. Но в этой семье было довольно много известных людей. Далеко не все её ветви потом сохранили достаточно высокое положение в России, но многие сохранили. А даже и среди не сохранивших тоже было довольно много замечательных людей. Ну, например, один из известнейших русских лётчиков Первой мировой войны был прямой родственник моей бабушки. Это Заборовский.

Д.: Заборовский?

(Примеч. Д.: Позже по Internet'у я выяснил, что Сергей Алексеевич Заборовский (1886-?) родился в Воронежской губернии, окончил реальное училище, Михайловское артиллерийское училище и Севастопольскую военную авиационную школу. Будучи отважным офицером-авиатором, он в годы Первой мировой войны был удостоен рядом боевых наград и дослужился до звания подполковника.)

А Вы, кстати, польский язык немного знаете?

Ж.: Я знаю не немного, а, как мне поляки говорят, я его знаю хорошо. Потому что мне пришлось работать в Польше. Кроме того, в какой-то степени, немножко это и семья поддерживала. Так что польским я владею довольно неплохо. Я там один раз руководил семестром в математическом центре Банаха, много раз читал лекции. Так что польский я знаю довольно свободно.

Д.: И в Варшаве хорошо ориентируетесь, да?

Ж.: В Варшаве, естественно, я совершенно свободно ориентируюсь, потому что я там, в общей сложности, прожил больше года.

Ну вот, надо сказать, что у родителей судьба сложилась очень несчастливо. Дело в том, что отец, в знаменитые тридцать седьмой – тридцать восьмой годы, был арестован по совершенно... Ну... Статье, которая, конечно, никакого отношения к нему не имела - за так называемую "контрреволюционную пропаганду и агитацию"...

Д.: Пятьдесят восьмая статья, да?

Ж.: Совершенно верно, но там, в пятьдесят восьмой статье, были пункты...

Д.: Своего рода «подпункты»...

Ж.:...Да, так вот его пункт был самый легкий. Поэтому он в лагерях, так сказать, жил, не имея дополнительных притеснений.

Там самое страшное, если к пункту еще добавлялась буква "Т". А буква эта означала «Троцкизм», и с этой буквой люди, практически, не выживали.

Были тогда ещё статьи совершенно потрясающие. Но наибольшее впечатление потом, когда я с этим знакомился, на меня произвела статья "Недоказанный шпионаж". Согласитесь, по такой статье любого наперед заданного человека можно осудить... (смеются).

Так вот, отцу статья была предъявлена, в общем, «лёгкая». Он выжил, но выжил на Колыме. Свой срок он отбывал на Колыме на золотых приисках. Потом, после недолгой вольной жизни, его арестовали второй раз.

Д.: Это уже в пятидесятые годы, да?

Ж.: Нет, это был конец сороковых годов.

Д.: А, новая волна.

Ж.: Да, это была так называемая «Новая волна». Но здесь, поскольку у его статьи «подстатья» была нестрашная, то... В общем, каторгу и тюрьму ему не дали, а дали так называемую «Административную ссылку».

Его сослали в южный Казахстан, Джамбульскую область - сейчас она как-то по-другому называется. Ну, в общем, в Джамбульскую область, Красногорский район, где его, специалиста-зообиолога очень высокой квалификации, сделали младшим зоотехником овцеводческого совхоза. Он, в рамках одного района одной области, был свободным человеком, но раз в неделю должен был отмечаться в органах безопасности. А так, в остальном, он мог вести совершенно свободную жизнь, но не занимать никаких более-менее ответственных должностей.

Д.: Значит, детство Вы провели в Казахстане?

Ж.: Нет-нет-нет, чуть сложнее. Мать переехала к нему, но там учиться мне было негде. Мне надо было идти в восьмой класс как раз, а там это исключалось. А ближайшим городом был Фрунзе. Ну, нынешний Бишкек. Поэтому матушка помогла мне там устроиться. Сняла комнату. А дальше я оказался, в общем, один в этом городе: родители были, ну-у, не очень уж близко, прямо скажем, ...

Д.: То есть Вы жили, по существу, в интернате?

Ж.: Я жил в маленькой комнате снятой у местных жителей, тогда это было там недорого. И мне, в общем, пришлось самому зарабатывать на хлеб, начиная с восьмого класса. Но, к счастью, у меня там прорезались некие спортивные способности, и яв результате получал разного рода стипендии за спортивные, так сказать, выступления. Так что, в общем, более-менее на скромную жизнь хватало.

Д.: А бытовые условия? Надо было самому готовить?

Ж.: Бытовые условия... Кое-что делали вот эти хозяева, у которых я жил, но это только где-то процентов на тридцать. Процентом на семьдесят мне приходилось все делать самому. Ну там были ещё столовые, для тех, кто занимался спортом. Да, были для них отдельные столовые. Иногда приезжала тетушка, сестра матери, ... Ненадолго, лишь посмотреть, как я живу. Её семьи репрессии не коснулись, поэтому она могла свободно приезжать. Но редко приезжала, лишь присматривала... Так что я, фактически, три года жил один.

Д.: И братьев, сестер у Вас не было?

Ж.: Не успели!

Д.: А, понял: появиться не успели.

Ж.: Да, не успели! Дело в том, что отца забрали в первый раз, когда мне было два года. Ну извините.

Д.: Да, да, всё понял.

Ж.: О чём говорить! А потом, простите, наступили пятидесятые годы. Это, знаете ли, во-первых, немножко поздно, а, во-вторых, мать уже болела ... Она ведь перенесла очень много всего ... Я уж не буду рассказывать, хватило удовольствий... В результате она очень рано заболела раком и рано умерла...

Я учился в самом центре Фрунзе, в школе для очень высокопоставленных. Для детей местного, так сказать, крупного начальства. Но дело в том, что это была другая республика. А республики Казахстан и Киргизия между собой практически... Ну, у них отношения всегда были...

Д.: Не дружескими?

Ж.: Не были очень тесными. И то, что я был сыном ссыльного, никто не знал. Поэтому я учился совершенно спокойно, никаких проблем у меня не возникало. Но именно вот только по этой причине.

Я понимал, что при моей биографии я должен учиться хорошо. Поэтому учился я очень хорошо. Надо сказать, что тяга к математике проявилась у меня довольно поздно, до девятого класса я математикой, в общем-то, не слишком интересовался. Хотя, конечно, я очень легко всегда всё решал, что давали в школе. Обычно, если была контрольная, я ещё и успевал помочь всем вокруг (а тогда были мужские школы). Но особой любви к математике не испытывал.

В девятом же классе пришла новая учительница, Ольга Ивановна, к моему величайшему стыду, я забыл её фамилию. Она как-то раз, увидев, что я быстро всё решаю, вместо обычной контрольной дала мне специальную контрольную - как позже выяснилось, это были олимпиадные задачи. Так из трёх задач, которые она мне дала, за один урок – всего в сорок пять минут - две я решил полностью, а для третьей наметил, как её решить, но не закончил её решение. Я был в очень смятенном состоянии духа, поскольку впервые не сделал всю контрольную работу, и думал, что получу за неё лишь трояк. Но дальше всё произошло наоборот. Она, попросив меня остаться после уроков, сказала: «Юра, у тебя талант в математике. Ты знаешь, какие задачи ты решал?» Оказалось, что это были задачи из Московской олимпиады, причем самого высокого уровня. Дала мне, ну вы наверняка эту книжку знаете, Куранта и Робинса «Что такое математика» прочитать. Потом дала мне знаменитый сборник задач Моденова. И мне всё это так понравилось, что с тех пор, с конца первой четверти девятого класса, у меня уже больше никаких интересов не было, кроме как заниматься математикой. Я стал ходить в математический кружок местного университета. Даже решил там одну, правда, совсем тривиальную, комбинаторную задачу, которая, тем не менее, формально считалась новой. Ну, в общем, с тех пор я занимался только математикой.

Д.: Теперь, у меня в связи с этим следующий вопрос. По окончании средней школы Вы сразу поступили на Мехмат МГУ? И были ли Вы медалистом?

Ж.: Да, сразу.

Я был серебряным медалистом ... Ольга Ивановна, к сожалению, умерла, и в десятом классе у нас была уже совершенно другая учительница математики. Не знаю уж, по какой причине, но она ко мне относилась не очень хорошо. В

результате в аттестате у меня была четверка по одной из математик, хотя я всегда всё решал...

Д.: Значит, при поступлении на Мехмат МГУ было лишь собеседование?

Ж.: Но собеседования бывают разные! По существу у меня это был экзамен ... устный экзамен по математике.

Д.: И как всё происходило?

Ж.: Я приехал из Фрунзе в Москву в бесплацкартном вагоне...

Д.: Это был какой год?

Ж.: Пятьдесят второй.

Д.: Пятьдесят второй... Сталин ещё был жив...

Ж.: Да.

Так вот, в бесплацкартном вагоне ехал я пять суток – тогда скорый поезд из Фрунзе в Москву пять суток шёл. Здесь на меня, когда я сдавал документы, посмотрели большими глазами: явился в МГУ из какой-то глухой дыры, с четвёркой по математике, да ещё и на Мехмат (смеются)!

Поэтому вот это самое так называемое «собеседование» проходило для меня крайне непросто. То есть мне пришлось решать огромное количество самых разных задач.

Д.: И кто проводил собеседование?

Ж.: Вот! Я думаю, что, тем не менее, хотя я всё решил – всё, что мне давали, – могли меня и не принять. Но руководил комиссией старший Бахвалов, отец Коли Бахвалова...

Д.: Сергей Владимирович...

Ж.: Да, Сергей Владимирович Бахвалов.

Так вот, он был председателем комиссии. Как мне позже сказали, именно он настоял, несмотря на все мои «биографические радости», чтобы меня приняли. И не просто приняли, а с общежитием! Это было ещё старое здание МГУ, где с общежитиями было трудно, поэтому приём с общежитием означал совершенно другой уровень жизни.

Правда, на первых порах моё общежитие было кошмарным. Это была отнюдь не Стромынка, но, тем не менее, жить было можно...

Так я поступил на Мехмат МГУ и начал на нём учиться.

Д.: Понятно!

Вашим факультетским сокурсником был Владимир Михайлович Тихомиров, до недавнего времени заведующий кафедрой ОПУ, на которой и я работаю... В интервью он мне говорил, что лекторами первого курса у него, а, стало быть, и у Вас, были: по математическому анализу – Лев Абрамович

Тумаркин, по алгебре – Александр Геннадьевич Курош, по аналитической геометрии – Павел Сергеевич Александров. Остались ли у Вас какие-нибудь воспоминания об этих лекциях?

Ж.: Нет.

Дело в том, что мы с Володией Тихомировым начали учиться вместе со второго курса, а на первом курсе я попал в группу, так сказать, «специальную». Володя сразу попал в группу, по внутреннему рейтингу более привилегированную, а я в чуть менее сильную группу. Там был проведен какой-то предварительный отбор. Это потом всё было «снивелировано». Я прекрасно сдал сессию, и больше уже проблем не было. Меня перевели в ту же группу, где был Володя Тихомиров, и мы учились вместе. Там же был и Юля Радвогин...

Д.: Юлиан.

Ж.: Юлиан, да-да-да!

Так вот, на первом курсе в моём потоке лекции по математическому анализу читал Лаврентьев Михаил Алексеевич, по аналитической геометрии - как раз тот самый Бахвалов Сергей Владимирович, который принимал у меня экзамены. И лишь высшую алгебру нам тоже читал Александр Геннадиевич Курош - как-то так получилось, я уж не знаю, как.

Д.: Кстати, как читал свой курс Михаил Алексеевич Лаврентьев?

Ж.: Лаврентьев читал очень хорошо, если только вы могли самостоятельно потом изучить его лекции. Он, в общем, не обращал внимания на технику, а некоторые вещи ему было просто скучно излагать. Ну, например, я приведу один такой смешной пример, который, конечно, никак не компрометирует Михаила Алексеевича, потому что в целом лекции он читал блестяще.

Он вычислял объём эллипсоида. Должно быть «четыре третьих пи а бе це», все, конечно, знают. Но вот, понимаете, при вычислении тройного интеграла у него эти «четыре третьих» никак не получаются. Он говорит: «Давайте мы всё сотрём, и начнём сначала». Опять где-то ошибается в арифметике, снова всё стирает и опять не получается. Наконец, он не выдерживает и говорит: "Ну всё, мне это надоело. Вы объём шара знаете?" Мы дружно кричим: "Конечно, «четыре третьих пи эр куб»!" "Ну, правильно. А что такое эллипсоид?" И, руками показывая, он поясняет, что «это тот же шар, который мы так сожмём, так сожмём и вот так сожмём. Получится «четыре третьих пи а бе це». Поняли?" Все дружно кричат: "Поняли!"

Вот такие вещи у него бывали. Поэтому приходилось, помимо лекций, самим восстанавливать технику доказательств. А

для этого пользоваться и учебниками тоже. Но, надо сказать, восполнялось сие, с огромным, так сказать, перехлестом, Зоей Михайловной Кишкиной.

Д.: Она вела у Вас практические занятия?

Ж.: Да, она у нас вела практические занятия. И уж она-то нам «давала жару»! Она нас так научила интегрировать, дифференцировать и всем этим вещам, связанным с матанализом!

Я вам скажу так, что из нашей группы с первого раза ей сдали зачёт то ли три, то ли четыре человека. Причём, начиналось это так.

Вы входите, садитесь рядом с Зоей Михайловной, и вам, в виде разминки, даётся такая задачка. Представьте себе дробно-линейную функцию, где вместо x стоят логарифмы и тангенсы, и всё это в такой же степени, а иногда ещё есть и «третий этаж» – это я как простейший пример привожу, а можно ещё и усложнить. Так вот, вы должны были взять производную, не отрывая руки, не думая ни секунды. Если вы этого не делали, то вам говорили: "Ну, придёшь в следующий раз"...

В общем, если сравнивать с армией, то это, знаете ли, классический курс молодого бойца. Только вместо приказов старшин и лейтенантов такие вот вещи.

Д.: Это на всю жизнь запоминается.

Ж.: На всю жизнь. Я до сих пор могу, лишь меня разбудите, молниеносно просто всё это проделать. Готов на пари.

Дальше больше. На втором курсе, на дифурах обыкновенных, я попал к Наталье Давыдовне Айзенштадт!

Д.: Пойдите-ка, Наталья Давыдовна ведь с кафедры матанализа. Она, что, тогда и дифуры вела?

Ж.: Да, у нас она вела дифуры.

Д.: О, как интересно... А лекции кто читал по дифурам?

Ж.: Дифуры у нас читал Немецкий.

Д.: Виктор Владимирович.

Ж.: Да.

Так вот, она... Это было продолжение Зои Михайловны Кишкиной, в чистом виде. Всё то же самое.

Д.: Ну, понятно. Одна школа.

Ж.: Я хорошо помню, как, в аудитории 14-08, мы сдавали на втором курсе экзамен по матанализу, и в одном конце сидела Зоя Михайловна, в другом конце - Наталья Давыдовна. А где-то часа через два они перекликались: «Зоенька, сколько у тебя двоек?», «У меня четыре», - «Зоенька, отстаёшь, у меня уже шесть» (смеются).

Так что должен Вам сказать, что, конечно, может быть, тогда нам это казалось несколько излишним, но потом я это очень высоко оценил. Потом мне приходилось работать отнюдь не только в области дискретной математики, но и в разных других организациях. В том числе в таких, где приходилось решать обыкновенные дифференциальные уравнения... уравнения в частных производных... и так далее... И знаете, мне это очень пригодилось в жизни. Да. До сих пор не жалею, что мне пришлось пройти такую школу.

Д.: Понятно.

Ж.: Ну, а лекторы, конечно, были блестящие. Плохих лекторов на Мехмате не было.

Д.: Хорошо.

Как указано в Википедии, уже в 1953 году Вы выполнили свою первую научную работу по проблеме минимизации не всюду определённых булевых функций, впоследствии опубликованную в трудах МИАН. Это, видимо, была Ваша курсовая работа на втором курсе? И под чьим руководством Вы её писали? Под руководством Алексея Андреевича Ляпунова?

Ж.: Да, формально это верно: задачу поставил Алексей Андреевич Ляпунов.

Но дело было так. Вы, наверное, знаете, что тогда ещё был большой шум вокруг компьютеров, вокруг кибернетики...

Д.: Конечно!

Ж.: Кибернетика у нас была ещё вообще «лженаукой». Я, если будет интересно, чуть позже могу рассказать подробнее, что тогда происходило... Так вот, был я тогда на втором курсе и, подойдя к Алексею Андреевичу, попросил дать мне задачу...

Д.: Простите, он не читал ничего у Вас, и Вы просто к нему сами подошли?

Ж.: Но он читал спецкурс для студентов четвёртого курса...

Д.: Понял! А Вы – второкурсник - этот спецкурс посещали.

Ж.:...Он как раз тогда придумал... Собственно, на самом деле, всё современное программирование идёт от Ляпунова...

Д.: Согласен, в России это так.

Ж.: Да не только в России! Просто на него не ссылались. Лишь только недавно это было оценено на всемирном уровне, и он получил высшую награду, которая присуждается по информатике. Такую же, какая есть у математиков...

Д.: Почти как Филдсовская премия?

Ж.: Да, почти как Филдсовская премия. Только в области информатики.

Ведь Алексей Андреевич первым понял, что классическое определение алгоритма по Маркову, машина Тьюринга и тому подобное - всё это хорошо в теории, а для того, чтобы решать реальные задачи, не годится. Ну, попробуйте, например, вот эту комнату описать, перечислив все молекулы, её составляющие. И он предложил так называемый «крупноблочный подход». Но это только название, а за этим названием стоят довольно тонкие вещи. Вот обо всём этом он читал свой спецкурс на четвёртом курсе...

У Алексея Андреевича были аспиранты - Андрей Петрович Ершов, Юрий Иванович Янов и другие. А я был всего лишь студентом второго курса. Но я, всё-таки, к нему подошёл: «Алексей Андреевич, дайте и мне задачку».

Он сначала мне дал задачку просто по программированию. Но на так называемое «экономное программирование» так называемых «многозначных шкал». И её я очень быстро сделал. А заодно изучил компьютеры и научился работать на «Стреле», что для «чистых» математиков, пожалуй, не было стандартом. Так вот это было моей курсовой работой.

Д.: Кстати, кроме машины «Стрелы» была уже и «БЭСМ»?

Ж.: Нет, в МГУ кроме «Стрелы» тогда была лишь «М-2»...

Итак, это я сделал довольно быстро. И после этого стало ясно, что моя задача приводится, далее, к той самой проблеме «минимизации не всюду определённых булевых функций».

Вообще, минимизация булевых функций, в разных видах, была тогда сверхмодной тематикой. Гарвард тогда изо всех сил ею занимался, целая куча людей из Гарварда... Многие другие. А у нас этим занимался Сергей Всеволодович Яблонский. Не прямо этой задачей, но где-то близко. Поэтому Алексей Андреевич посоветовал мне обратиться за дополнительной консультацией к нему.

Так вот, консультируясь и у Алексея Андреевича, и у Сергея Всеволодовича ... Правда, именно консультируясь: на Мехмате, как Вы знаете, консультация есть консультация, а решай сам... Я и решил эту задачу о минимизации не всюду определённых булевых функций.

Так что эта работа не была моей курсовой на втором курсе - из курсовой «выросла» лишь первая часть этой работы.

Надо сказать, что примерно тоже, но значительно меньше, сделал один американец. Меньше того, что сделал я. Кроме того, я у этого американца несколько ошибок нашёл, много чего там было...

А мою работу сразу не напечатали по следующим обстоятельствам. Тогда ещё все эти работы считались не совсем закрытыми, но для публикации требовалось...

Д.: Получить гриф «Для служебного пользования»?

Ж.: ...Требовалась некоторая, так сказать, процедура. Вот она и не была опубликована очень быстро. Хотя в Доклады Академии Наук её представил Сергей Львович Соболев.

Но то, что такая работа мною, по существу второкурсником, сделана, на Мехмате стало широко известно. И на следующий год я как-то открываю газету «Московский Университет», а там написано, что эта работа получила Премию первой степени на Всесоюзном конкурсе научных студенческих работ.

Д.: То есть, про свою Премию Вы узнали только из газеты?!

Ж.: Да, именно так.

Д.: И никто не позвонил предварительно?

Ж.: Ну, потом звонили...

Д.: Потом-то понятно...

Ж.: Но узнал я, впервые, из газеты... Потом и деньги дали...

Д.: Отлично!

Какие ещё спецкурсы и спецсеминары Вы посещали студентом?

Ж.: Очень многие. Ведь Алексей Андреевич Ляпунов отличался необычайной широтой... Он же последний из «Лузитании»...

Д.: Да, я знаю.

Ж.: Он был последним учеником Лузина...

Д.: А не Александр Семёнович Кронрод?

Ж.: Нет. По-моему, реально, всё-таки, Алексей Андреевич. Потому что он был «прямой лузитанин». Кронрод был, всё-таки, чуть-чуть немного сбоку...

Д.: Да, может быть, даже ближе к Петру Сергеевичу Новикову?

Ж.: Ближе к Новикову, совершенно верно.

Так вот, Алексей Андреевич вообще считал, что человек, который не пройдёт всё, что только можно пройти на Мехмате, вообще не имеет права на существование.

Д.: Круто!

Ж.: Поэтому я слушал и топологию, теоретико-множественную и алгебраическую. У Ширшова я слушал и самую,

что ни на есть, абстрактную алгебру, и теорию колец в очень большом объёме. Слушал я и уравнения в частных производных...

В общем, я, наверное, до десятка спецкурсов из самых разных областей математики прослушал. Это было просто необходимым условием жизни...

Д.: Да, замечательная старая школа...

Ж.: Мехмата. То есть считалось, что если Вы этого не делаете, то ... услышите: «Я, Юра, с Вами работать не буду. Вы это должны были знать». Вот так. Разговор проходил именно таким образом.

Но зато человек, который это всё проходил ... Я вот, например, за это получил, так сказать, «право неограниченного доступа к нему». Я имел право приезжать к нему домой и получать там консультации сколько угодно времени. Даже иногда я этим злоупотреблял. Ведь Ляпунов был человеком очень разносторонним - поэтому он, заодно, научил нас и генетике, и теории Вернадского, и ещё Бог знает чему...

(Примеч. Д.: Напомним, что естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) являлся основоположником комплекса современных наук о земле (геохимии, биогеохимии, радиологии, гидрогеологии и др.). Он разработал целостное учение о биосфере (живом веществе, организующим земную оболочку) и эволюции её в ноосферу (новое состояние биосферы, в котором человеческий разум и деятельность становятся определяющим фактором развития, мощной силой, сравнимой по своему воздействию на природу с геологическими процессами). Его усилиями были созданы Радиевый институт (1922) и Биогеохимическая лаборатория (1928) (ныне Институт геохимии и аналитической химии РАН имени В.И.Вернадского).

Владимир Иванович был академиком Петербургской АН (1912), РАН (1917), АН СССР (1925), профессором Московского университета (1898-1911) (ушёл из университета в отставку в знак протеста против притеснений студенчества). Он - один из создателей и лидеров политического объединения либеральной интеллигенции «Союз освобождения» (1904-1905), «Конституционно-демократической партии» (1905-1917), министр народного просвещения Временного правительства).

Д.: Да, Алексей Андреевич очень широко образованным был человеком.

Ж.: И он, знаете, вот такой небольшой группе тех, кто выдерживал всю эту очень тяжёлую, конечно, нагрузку, давал ещё параллельно вот такие вещи более широкого охвата!

Летом я приезжал к нему в летний лагерь на Урал, где Тимофеев-Ресовский (они были большими друзьями) читал курсы, например, по биологии. Но по какой биологии – по «математической» биологии! Я там тоже слушал эти курсы. И пока Тимофеев-Ресовский был в опале, Ляпунов приезжал к нему на лето на Урал. А мы, несколько его студентов, помогали там в работах (неквалифицированных) и слушали эти лекции. Вот тогда-то я усвоил довольно много из биологии, медицины, общей теории Вернадского, как я уже говорил. И это мне очень облегчило, в дальнейшем, изучение разных прикладных задач ... (Примеч. Д.: Судьба выдающегося российского биолога и генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского(1900-1981) была сложной.

По приглашению немецкого Общества кайзера Вильгельма он с супругой в 1925 году переехал на работу в Германию, где вскоре стал руководителем отдела генетики и биофизики в Институте исследований мозга в пригороде Берлина Бухе. В 1930-е годы Николай Владимирович, совместно с будущим лауреатом Нобелевской премии Максом Дельбрюком /Max Ludwig Henning Delbrück/ (1906-1981), разработал там первую биофизическую модель структуры гена и предложил возможные способы его изменения. В конце 1930-х годов он, совместно с эмигрировавшим из России в 1919 году во Францию биологом Борисом Самойловичем Эфрусси (1901-1979), организовал там (при поддержке Рокфеллеровского фонда) небольшой международный семинар физиков, химиков, цитологов, генетиков, биологов и математиков для обсуждения фундаментальных проблем генетики и теоретической биологии (позже подобные неформальные «школы» он старался организовать везде, где сам работал).

Весной 1937 года советское консульство отказалось продлить Тимофеевым-Ресовским паспорта, тем самым предлагая им вернуться в СССР. Однако, по словам Николая Владимировича, его учитель, член-корреспондент АН СССР, биолог Николай Константинович Кольцов (1872-1940) предупредил его, что по возвращении их, скорее всего, ждут «большие неприятности»: ведь двое братьев Николая Владимировича уже арестованы (в 1938 году оба они были расстреляны). Николай Владимирович отказался вернуться в Советский Союз и продолжил работу в гитлеровской Германии, за что после Второй мировой войны он был в СССР осуждён как «невозвращенец».

Во время Второй мировой войны сын Николая Владимировича – Дмитрий – стал членом подпольной антинацистской организации под названием «Берлинский комитет

ВКП(б)», созданной полковником РККА Николаем Степановичем Бушмановым (1901-1977), но был схвачен гестапо и погиб в концлагере (необычная судьба самого Н.С.Бушманова, вкратце, такова: фашистский плен, мнимое «согласие на сотрудничество с победоносной армией фюрера», работа переводчиком в ведомстве Гимлера с утверждением в чине «полковник СС», позволившая создать указанный «комитет» и установить связь с Москвой, героическая деятельность этого комитета, провал комитета из-за излишней «лихости» его членов и фашистский концлагерь, освобождение американскими войсками, радужное возвращение на Родину с немедленным заключением в ГУЛаг, наконец, долгожданная реабилитация). Потеряв сына, Николай Владимирович мужественно продолжал выдавать различные справки «остарбайтерам», бежавшим с немецких фабрик.

Весной 1945 года Николай Владимирович отказался от предложения перевести свой отдел на запад Германии и сохранил весь коллектив, с оборудованием, до прихода советских войск. В апреле 1945 года советская военная администрация назначила его даже директором Института исследования мозга в Бухе в связи с бегством прежнего директора профессора Хуго Шпатца /Hugo Spatz/ (1888-1969). А в сентябре 1945 года Николай Владимирович был арестован опергруппой НКВД города Берлина, этапирован в Москву и помещён в тюрьму. Приговор к 10 годам лишения свободы ему был вынесен в июле 1946 года.

Свой срок Николай Владимирович отбывал в одном из уральских лагерей ГУЛага. Но в 1947 году, в связи с советскими работами по созданию атомной бомбы, его, как специалиста по радиационной генетике, перевели из лагеря на «Объект 0211» в Челябинской области (теперь – город Снежинск) для проведения исследований по проблемам радиационной безопасности (к этому времени он был при смерти от голода). На «Объекте 0211» Николаю Владимировичу поручили заведовать биофизическим отделом.

В 1951 году Николай Владимирович был освобождён из заключения, в 1955 году с него была снята судимость. В 1955-1964 годы он заведовал отделом биофизики в Институте биологии УО АН СССР в Свердловске. Одновременно он читал «циклы лекций» по влиянию радиации на организмы и по радиобиологии на физическом факультете Уральского университета, а также работал на биостанции, основанной им на озере Большое Миассово в Ильменском заповеднике.

Докторскую диссертацию Николай Владимирович смог защитить в Свердловске лишь в 1963 году, а докторский диплом

получил в 1964 году после смещения Н.С.Хрущёва и реабилитации генетики.

В 1964-1969 годы Николай Владимирович заведовал отделом радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске (Калужская область). С 1969 года он работал в Институте медико-биологических проблем в Москве вплоть до своей кончины в 1981 году.

В 1987 году младший сын Николая Владимировича – Андрей - потребовал посмертной полной реабилитации своего отца. Но Главная военная прокуратура, вместо реабилитации учёного, выдвинула против него новое обвинение – «переход на сторону врага», и в июле 1989 года вынесла постановление об отсутствии оснований для реабилитации Николая Владимировича. В феврале 1991 года Прокуратура СССР отменила это постановление Главной военной прокуратуры, посчитав его «недостаточно аргументированным», и поручило Следственному управлению КГБ СССР провести дополнительное расследование. Шестнадцатого октября 1991 года Следственное управление КГБ СССР выдало справку, согласно которой «дополнительных сведений в отношении инкриминируемого Тимофееву-Ресовскому состава преступления получено не было». В этот же день Генеральным прокурором СССР был внесён по делу протест в Пленум Верховного Суда СССР на предмет прекращения дела за отсутствием в действиях Тимофеева-Ресовского состава преступления. Однако протест не был рассмотрен в связи с ликвидацией Верховного Суда СССР.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский был полностью реабилитирован лишь в июне 1992 года Верховным судом РФ.)

Д.: Ясно.

Я слышал, что, помимо добросовестной учёбы и продуктивной научной деятельности, Вы активно занимались общественной работой. Не вспомните ли Вы про жизнь мехматян в Ваши студенческие годы? Ну, всё-таки, это было время двадцатого съезда КПСС...

Ж.: Нет, общественной работой во время учёбы (как в университете, так и в аспирантуре) я вообще не занимался.

Д.: Вот это да!

Ж.: Ни в какой степени. У меня просто на это не было времени.

Д.: Понятно.

Ж.: Помимо всего прочего, надо, понимаете... Стипендия, конечно, вещь хорошая, и повышенная особенно. Но даже на

повышенную стипендию так не проживёшь. Поэтому приходилось ещё подрабатывать. У меня, к счастью, была первая судейская категория – вот я и ходил на разные стадионы судить там соревнования...

Д.: По какому виду спорта?

Ж.: По лёгкой атлетике.

Д.: То есть Вы и сами лёгкой атлетикой занимались?

Ж.: Да, у меня был высокий уровень. Я, так сказать, выиграл несколько крупных соревнований там, в Средней Азии.

Д.: Это ещё в школе?

Ж.: Да, ещё в школе. За это мне деньги платили. Я на это жил тогда. Ну, не только на это, но, в общем, это было большим подспорьем.

Д.: Надо же!

Ж.: Так что, нет, общественной работой я начал заниматься гораздо позже. И, если интересно, могу об этом Вам рассказать.

Д.: Хорошо, но, всё-таки, сначала тот же вопрос про «мехматский период».

Ж.: Повторяю: на Мехмате ни студентом, ни в аспирантуре, я не вёл никакой общественной работы. Кроме самой примитивной.

Д.: Типа комсорга?

Ж.: Даже не это - типа в стенгазету что-нибудь там написать.

Д.: Понятно. В пятьдесят седьмом году Вы окончили Мехмат МГУ, получив, наверное, диплом с отличием?

Ж.: Да. Д.: И поступили в факультетскую аспирантуру по кафедре вычислительной математики, руководимой тогда Сергеем Львовичем Соболевым?

Ж.: Совершенно верно.

Д.: Как проходили Ваши вступительные экзамены в аспирантуру и кто Вас экзаменовал?

Ж.: Очень легко. Экзаменовала команда с кафедры Сергея Львовича Соболева.

Д.: Андрей Николаевич Тихонов тоже там был?

Ж.: Нет, Тихонова там не было. Я, пожалуй, сейчас уже точно и не вспомню, кто там был... Помню, что там был Жидков...

Д.: Николай Петрович.

Ж.: Да, Николай Петрович. Помню, что был Березин...

Д.: Иван Семёнович.

Ж.: Да, Иван Семёнович... Знаете, кто-то там был с кафедры Андрея Андреевича Маркова. Только не помню, кто.

Д.: Но не сам Андрей Андреевич.

Ж.: Нет, не сам Марков, кто-то другой...

Д.: Может, Николай Макарьевич Нагорный?

Ж.: Или Нагорный, или Успенский, вот кто-то был из них.

Сейчас я уже не помню кто.

Д.: Да, Владимир Андреевич Успенский тоже мог быть.

Ж.: Естественно, ведь все эти вещи к математической логике... довольно близки.

Так вот, там сидела целая группа принимающих экзамен. Но поскольку у меня к этому времени были уже три опубликованные работы - две в Докладах, и одна, довольно толстая, в Трудах Стекловки - то, конечно, приёмный экзамен в аспирантуру был чистой фикцией. Мне задали парочку тривиальных вопросов, на которые я молниеносно ответил. И мне сказали, что я свободен (смеются).

Так что в аспирантуру я поступал, в отличие от поступления на первый курс, очень легко.

Д.: Без проблем.

Ж.: Абсолютно.

Д.: В аспирантуре Вашим научным руководителем был Алексей Андреевич Ляпунов?

Ж.: Да.

Д.: Судя по статье в Википедии, свою кандидатскую диссертацию - я даже выписал название её: «Алгоритмы упрощения дизъюнктивных нормальных форм» - Вы защитили досрочно, вначале 1960 года. А где происходила её защита? И кто были оппонентами?

Ж.: Защита происходила в институте Стеклова в Отделении прикладной математики то, что потом выделилось в отдельный институт ИПМ. Но тогда это было ещё подразделением Стекловки.

Д.: И руководил этим отделением Мстислав Всеволодович Келдыш?

Ж.: Да, руководил Келдыш. Но Совет был, так сказать, «Стекловский».

А первым оппонентом у меня был Андрей Андреевич Марков. Если интересно, я могу рассказать чуть подробнее.

Д.: Интересно.

Ж.: Андрей Андреевич был параллельно назначен первым оппонентом у Андрея Петровича Ершова и у меня.

Диссертацию Андрея Петровича Ершова, который тоже потом стал академиком, и весьма известным, он продержал больше года. А после этого написал, что ничего в ней не понял, и попросил освободить его от её оппонирования.

Что же касается меня, то он дважды призывал меня к себе домой, детально расспрашивая разные вещи. В конце концов, он выдал отзыв, сопроводив его следующим комментарием, который, если Вы позволите, я здесь приведу в силу его крайней оригинальности: «Я Вам написал отзыв на семнадцать страниц. Я отовсюду изгнал это совершенно неприемлемое слово «множество» и переписал все теоремы без употребления этого термина на восьми страницах. На оставшихся девяти страницах я на шести страницах Вас хвалю, а на трёх – ругаю. Следовательно, отзыв надо считать положительным» (смеются).

Д.: Значит, шесть страниц всё перетянули.

Ж.: На самом деле отзыв был очень хороший. Это просто входило...

Д.: В стиль Андрея Андреевича?

Ж.: ...Да, в его стиль. Тем не менее, на моей защите он нашёл способ, так сказать, «повеселить Совет».

Ну, в самом деле, я в одном месте, сдуру конечно, ввёл такое обозначение – трёхэтажный индекс. Вверху «а готическое», внизу «и», а ещё ниже «йот». Можете себе представить такую конструкцию. Андрей Андреевич выписал это на доске, картинно подошёл к доске и спросил: «Что ЭТО такое?!» Ну, был общий хохот. Как Вы понимаете, никакого отношения это к голосованию не имело. Голосование было единоголасным. А защитился я, действительно, в шестидесятом году. Хотя диссертацию представил раньше. Я ведь в аспирантуре учился два года с небольшим.

Д.: Я так и понял, что Вы, по существу, аспирантуру закончили досрочно.

Ж.: Просто я представил работу и уехал с Сергеем Львовичем Соболевым в Новосибирский Академгородок. Он меня очень звал туда, и я поехал.

И ещё про эту мою весьма успешную защиту. Я был вторым после Олега Борисовича Лупанова из первого поколения, так сказать, «дискретчиков», кто у Маркова «прошёл» совершенно без каких бы то ни было трудностей. Это было связано с тем, что предварительно на его семинаре произошла одно событие, которое он очень запомнил. Думаю, если бы оно не произошло, то с моей защитой всё было бы гораздо сложнее. Не думаю, что он бы

отказался дать на неё положительный отзыв, но всё происходило бы значительно сложнее.

У Андрея Андреевича кафедра была очень своеобразной. Там, как только Вы начинали доклад, тут же из задних рядов кто-нибудь, типа Есенина-Вольпина, выскакивал и начинал что-нибудь, так сказать, «кричать». Вот когда и я только стал рассказывать, выскочил некий человек – не буду называть его фамилию, он известный человек - с криком: «Зачем Вы нам тут рассказываете эту чепуху. Хорошо известно, что минимизация в этом смысле эквивалентна минимизации в значительно более простом смысле, что доказано в трудах Гарвардского университета». Но, к счастью, у меня на это возражение была «заготовка»: это ещё не было мной опубликовано, но уже было сделано. А поскольку он произнёс слова: «Начнём с того, что ...», то я, будучи человеком «с не простым детством», но довольно упёртым характером, уверенно возразил: «Начнём с того, что это не верно: Гарвард ошибся». Раздался общий, гул...

Д.: Ну, Андрею Андреевичу, я думаю, это понравилось.

Ж.: Да. А дальше я говорю: «Вот, рассмотрим функцию одиннадцати переменных», – рисуя на доске. И показываю, что это не так. Всё! На этом всё кончилось. Больше ни один человек не сказал ни единого слова. Доклад прошёл в полной тишине. Андрей Андреевич в заключение сказал только: «Спасибо!»

Я думаю, это было решающим, что он благосклонно отнёсся к моей диссертации.

Д.: Я понял, да.

Кстати, Вы упомянули про Александра Сергеевича Есенина-Вольпина. Значит, он ходил к Маркову на семинар?

Ж.: Ходил, очень часто.

Д.: И Марков его, в общем-то, хвалил за науку?

Ж.: Да, конечно, Есенин-Вольпин был авторитетным человеком. На семинаре.

Д.: Хорошо.

В той же статье из Википедии сказано, что в пятьдесят девятом году Вы переехали в только что созданный Новосибирский Академгородок.

Ж.: Да, именно так.

Д.: Там и произошла Ваша, на мой взгляд, стремительная научная и общественно-организационная карьера.

Начав в пятьдесят девятом году с должности младшего научного сотрудника, Вы в шестьдесят первом году уже стали заведующим Вами же созданного Отдела теории вычислений Института математики Сибирского отделения Академии наук, в

шестьдесят шестом – заместителем директора этого института. А ещё в шестьдесят втором году и в шестьдесят шестом году на XIV и XV съездах ВЛКСМ Вы избирались членом ЦК ВЛКСМ. А кроме того, в шестьдесят седьмом году Вы были первым председателем Всесоюзного Совета молодых советских учёных.

Я никогда не был в Новосибирском Академгородке и не знаю, было ли это типичным для работавшей там инициативной талантливой молодёжи, или просто так сложилась Ваша судьба?

Ж.: Ну, сказать, что это было совсем типично, всё-таки нельзя.

Д.: Но там карьеры быстро делались?

Ж.: У кого как.

Д.: А-а-а...

Ж.: В общем, были разные люди. Карьер моего типа было, в общем, не много. Но были. Вот прекрасный второй пример - это Юра Ершов. У него тоже была очень быстрая карьера.

Д.: Он жив-здоров?

Ж.: Да-да, жив-здоров. Он ученик Мальцева.

Д.: Да, я знаю

Ж.: У меня это получилось в большой степени случайно. Я продолжал заниматься дискретной математикой. У меня уже были намётки...

Д.: Да, кстати, термин «дискретная математика» придумал Ляпунов?

Ж.: Ну, не знаю кто.

Так вот, у меня уже были намётки на докторскую диссертацию. Работа шла довольно успешно, я много публиковался. Наверное, я бы довольно быстро получил старшего научного сотрудника, но вряд ли больше.

Но произошли две вещи, которые, по-видимому, решили мне, в какой-то степени, возместить то, что происходило раньше. Два случая.

Случай первый. Лаврентьев Михаил Алексеевич, основатель Сибирского отделения Академии наук, заключил с очень высокопоставленными лицами Советского Союза договор на проведение работ, которые требовали, скажем так, приобщения...к праву читать некоторые документы.

Д.: Полузакрытые данные?

Ж.: Документы, которые не каждый мог читать.

Д.: Понимаю.

Ж.: В результате получилась вот такая штука. Договор-то был заключён, и работу должен был делать Институт математики. Но когда стали смотреть, а у кого в Институте математики есть

такое право, то таковых оказалось всего три человека (смеются). А именно, начальник первого отдела, который, вы понимаете, при всём глубоком уважении к этой должности...

Д.: Хоздоговор не вытянет...

Ж.: Это не простой хоздоговор, а огромный комплекс работ.

Вторым был сам Сергей Львович, который от всего этого был далёк. Ну, а третьим был Ваш покорный слуга, который получил такое право совершенно случайно.

Д.: Любопытно!

Ж.: Дело в том, что я проходил преддипломную практику как раз в келдышевском институте, в ИПМ.

Д.: В Москве.

Ж.: Да. А чтобы туда попасть, надо было пройти вот эту...

Д.: Процедуру оформления...

Ж.: Именно. А я там делал работу, мягко говоря, не имеющую ни малейшего отношения к какой бы то ни было секретности. Алексей Андреевич мне дал задачку построить алгоритм игры в крестики-нолики на бесконечной плоскости...

Д.: Я знаю эту игру.

Ж.: Причём выигрывается, если выстраиваются...

Д.: Пять штук подряд.

Ж.: Да, пять штук. Тактам алгоритма поведения игрока нет.

Д.: И до сих пор нет?

Ж.: Нет. Там надо было придумать... эвристику.

И я придумал некую эвристику, которая «обыгрывала» всех, кто играл. Но это была довольно сложная программа, поскольку алгоритм был довольно сложным.

Как Вы сами понимаете, (смеётся) к закрытой части это ни малейшего отношения не имело. Но тем не менее, требуемая «бумажка» у меня была оформлена.

Д.: Как я понимаю, требовалось построить алгоритм «чтобы не проиграть».

Ж.: Да, совершенно верно. Но иногда можно и проиграть. Если плохо играть.

Но там не всё так просто. Бывают разные варианты. Можно играть бесконечно.

Д.: Да, да!

Ж.: А можно и проиграть...

Так вот, вызывает меня Михаил Алексеевич Лаврентьев и говорит: «Юра, - он меня, естественно, звал по имени, разница в возрасте ведь огромная, - будешь заниматься теперь вот этим». Я в

ответ: «Михаил Алексеевич, Вы извините, но я к этому не имею ни малейшего отношения, никогда в жизни даже близко не подходил!» Он говорит: «Ну, ...»

Д.: «Надо, Юра, надо!»

Ж.: Да, долго он меня... уговаривал...

Михаил Алексеевич, вообще говоря, человек был жёсткий... В конце концов он сказал: «Ну, вот что! Мне надоело тут с тобой разговаривать, это приказ. И ты сейчас, конечно, можешь отказаться, но запомни: если ты откажешься, то в ближайшие десять лет самое большее, на что ты сможешь рассчитывать, это место ассистента в самом плохом педагогическом ВУЗе Сибири. Понятно?». И я ответил: «Всё понял!» (смеются).

Но при этом добавил: «Михаил Алексеевич, разрешите хотя бы подучиться!» Он сказал: «Хорошо, несколько месяцев тебе дам подучиться».

А о том, как я учился, рассказывать не буду: это лучше оставить пока «за кадром»...

Д.: Да, вот как бывает!

Ж.: Да, так.

Но в результате под эти работы был создан большой отдел, в который меня поставили, и я стал заведовать этим отделом в двадцать шесть лет. Там почти все сотрудники были старше меня.

И мы всё, что полагалось по этому договору, сделали. Причём, договор был очень, так сказать, «существенным», затрагивал самые высокие круги тогдашней деятельности...

Всё было сделано точно в срок. Это потом ещё много лет продолжалось и «заглохло» лишь с развалом Советского Союза...

Д.: Здорово!

Ж.: Это было, так сказать, одно.

А дальше вот что. Оформив работу по этой части - там была довольно тяжёлая математика - я принёс её Лаврентьеву со словами: «Михаил Алексеевич, можно я по этому делу докторскую защищу?». Ответ был очень интересным. Он мне сказал: «Её можно защитить, но я не дам тебе это сделать...»

Д.: Надо же!

Ж.: «...Если ты защитишь совсем прикладную докторскую, то потом тебе об этом всю жизнь будут напоминать. Ты мальчик не глупый. Ты сядь и параллельно сделай нормальную докторскую».

Так что мне пришлось писать «нормальную» докторскую. И здесь на меня оказали влияние уже другие... Я даже не знаю, чьё влияние было большим... Думаю, что максимальное влияние

здесь было Мальцева и Глушкова. И это уже была больше алгебра, чем...

Д.: Чем логика?

Ж.: Да, чем логика. Хотя, в целом, и логика, и алгебра. Но профессора я получил потом по кафедре алгебры.

Д.: Понятно.

Ж. Теперь про случай второй.

Был в Новосибирском Академгородке физик, Дмитрий Ширков, он сейчас академик в Дубне (примеч. Д.: имеется в виду физик, академик РАН Дмитрий Васильевич Ширков (р. 1928)).

Д.: Да, знаю.

Ж.: Так вот, вызывает меня с ним Михаил Алексеевич Лаврентьев и говорит: «Ну вот что, молодые люди, поскольку вы себя хорошо зарекомендовали, то у меня возникла идея: давайте вместе по всей Сибири отбирать инициативную, толковую молодёжь по математике и физике. Давайте-ка организуем Всесибирскую физико-математическую олимпиаду». Потом это выросло в школу, в знаменитую Физматшколу при Новосибирском Государственном университете.

В начале организации этого дела нас было три человека - Лаврентьев, Ширков, Журавлёв – и за нашими тремя подписями в центральной прессе была опубликована большая статья по этому поводу. Потом, когда это всё было поставлено уже «на накатанные рельсы», мне было разрешено от этого дела отойти.

Лаврентьев, при этом, сказал: «Ну, чем мне тебя наградить? Ладно, я придумаю».

И вот что он придумал: он договорился с тогдашним первым секретарём обкома партии, что меня сделают членом ЦК ВЛКСМ от Новосибирской области. В поощрение за эту самую работу по организации первых Всесибирских физико-математических олимпиад.

Д.: Да, у Вас же ещё комсомольский возраст был! Вам ведь ещё не было двадцати восьми лет!

Ж.: Не было.

Меня вызвали на беседу в обком комсомола, посмотрели со всех сторон. Ну, а я молодой человек был довольно бойкий. Поскольку, как Вы понимаете, при моей биографии, языку меня был подвешен весьма неплохо. И меня утвердили.

Так я поехал делегатом на четырнадцатый съезд ВЛКСМ, и меня избрали там членом ЦК ВЛКСМ.

Д.: Потом ещё и на пятнадцатом съезде ВЛКСМ!

Ж.: А к тому времени я придумал Всесоюзный совет молодых учёных. Его не сразу утвердили, а придумал-то я его почти сразу.

Д.: Так значит, Вы «отец» этой организации?

Ж.: Да-а! И Устав Совета я, в основном, сам написал!

Нет, была, конечно, небольшая инициативная группа, но я был её главным организатором. Мы предложили и эти премии Ленинского комсомола для молодых учёных. Написали соответствующее «Положение».

Потому я и был переизбран в состав ЦК ВЛКСМ на второй срок. На пятнадцатом съезде ВЛКСМ, как руководитель Всесоюзного совета молодых учёных.

Но потом, скажу Вам откровенно, потом мне стало скучно ...Я десять лет ровно отработал в Новосибирском Академгородке. Это очень хорошее место. Но, знаете, ну, стало мне там скучно.

Д.: Тошно?

Ж.: Не тошно – нет. Но скучно!

Тут ещё разные семейные обстоятельства наложились. Они, правда, не имели существенного значения.

Д.: Нет?

Ж.: По крайней мере, они не сыграли ведущей роли. В общем, мне захотелось уехать.

Лаврентьев был очень обижен моим отъездом. Ведь к тому времени им под меня уже институт создавался. У меня даже есть удостоверение его будущего директора, так сказать (показывает удостоверение). Институт только-только начал создаваться, а я сказал, что уезжаю.

Д.: Это институт кибернетики? И кто потом его возглавил?

Ж.: Никто. Его таки не создали. Лаврентьев сам «закрыл» его создание.

Д.: Если не под Юру, то не будем и создавать?

Ж.: Скажем так: в тот момент реального директора для такого института не нашлось.

Д.: Понятно.

Ж.: Вот. А я переехал сюда в Москву. Причём, с огромной потерей статуса. Потому что поначалу в Вычислительном центре, где я нахожусь сейчас, получил лишь крохотную лабораторию из трёх человек.

И, собственно, всё начал сначала.

Д.: Надо же!

Теперь я хочу ещё чуть-чуть поговорить про преподавание. Ведь Вы ещё в Новосибирске, одновременно с

активной научной и общественной деятельностью, стали преподавать на кафедре алгебры и математической логики Новосибирского Государственного университета, возглавляемой тогда Анатолием Ивановичем Мальцевым?

Ж.: Совершенно верно.

Д.: А с Вашей «Alma mater» - Мехматом МГУ, Вы тогда поддерживали контакт? Скажем, приезжали на конференции, выступали на семинарах и т.п.

Ж.: Конечно!

Д.: То есть на Мехмате МГУ Вы были частым гостем?

Ж.: На Мехмате МГУ я появлялся довольно часто и в самых разных качествах. И не только на Мехмате МГУ. И в Академии наук, и в Институте Стеклова я также появлялся.

А Мальцев меня сразу привлёк к преподаванию. Произошло это ещё в пятьдесят девятом году, и жил я тогда в самом Новосибирске, поскольку в Академгородке ещё не было ничего построено.

С шестидесятого же года я стал жить уже в самом Академгородке. А с шестьдесят первого года я начал преподавать в Новосибирском университете как раз на кафедре алгебры.

Д.: И начали читать общий курс алгебры? Или, всё-таки, что-нибудь «своё»?

Ж.: Отнюдь не сразу. У Мальцева школа была жёсткая.

Д.: Да-а?

Ж.: Я начал с упражнений.

Д.: Ясно.

Ж.: Потом он дал мне вечерников.

Д.: Тоже понятно.

Ж.: И, при этом, посетил первые мои две лекции, а потом провёл подробнейший их разбор.

Потом он по одному из своих курсов сделал меня дублёром. То есть, когда он уезжал в командировки, или ещё там куда-то, я читал за него.

Д.: А сам-то он любил читать лекции?

Ж.: Да-а! Он читал прекрасно!.. И только потом я получил самостоятельный курс.

Д.: Сурово!

Ж.: Так что я прошёл все вот эти стадии.

И на каждой стадии Анатолий Иванович следил за тем, как всё это происходит. Ну, и поскольку мне неудобно хвалиться, скажем так: у меня всё «получалось». Иначе... ничего бы не было.

Плюс ко всему, совершенно неожиданно, Мальцев выдвинул меня на Ленинскую премию.

Это была чисто его инициатива. Я тогда сделал серию работ, в общем, простите за похвальбу, абсолютно пионерских. Это, по существу, были первые исследования, где было показано, что есть задачи, которые, при очень слабых ограничениях, не решаются без... так сказать... сложности не просто экспоненциальной, а с экспонентой в третьем этаже.

Д.: Ух ты!

Ж.: Вот. Потом американцы по этому поводу много чего писали, но нас они как-то долго старались не вспоминать.

Д.: К сожалению, такое бывает.

Ж.: Но нами всё было опубликовано, поэтому тут уж никуда не денешься. Исследования эти очень высоко оценены.

Ну, а по докторской как раз они и были моими оппонентами.

Д.: Вот, в связи с докторской.

В шестьдесят пятом году Вы подготовили докторскую диссертацию под названием «Локальные алгоритмы вычисления информации». Так?

Ж.: Да.

Д.: Причём Ваша диссертация была одной из первых по специальности «Математическая кибернетика».

Уходили ли Вы для её написания в официальную докторантуру? Или всё это было «параллельно»?

Ж.: Конечно не уходил! Это всё шло параллельно с моей прикладной деятельностью.

Д.: И её Вы защитили в том же шестьдесят пятом году?

Ж.: В том же шестьдесят пятом году.

Д.: И ещё. Согласно статье из Википедии, оппонентами по ней были как специалисты по кибернетике (Виктор Михайлович Глушков, Алексей Андреевич Ляпунов, Олег Борисович Лупанов), так и алгебраист Асам Дабсович Тайманов.

Так что, на автореферате Вашей докторской, вместо положенных трёх, были указаны четыре оппонента? И где проходила её защита?

Ж.: Да, были указаны четыре оппонента.

Дело в том, что диссертация была довольно толстой, а доказательство одной теоремы занимало там, на машинке через два интервала, шестьдесят страниц. Причём техника жутчайшая - когда даю разобрать её самым сильным студентам, то, и сейчас, не все до конца в ней могут разобраться. И доказательство этой теоремы, до сих пор, не упрощено. Такая вот штука.

И когда Мальцев увидел эти вещи, то он сказал: «Пожалейте старика. Я с удовольствием бы оппонировал, но пусть лучше всё проверит Тайманов».

Д.: Он таким тщательным человеком был, да?

Ж.: Да, он был очень тщательным человеком. Я всё время опасался, что, вдруг, в диссертации им обнаружится какая-нибудь мелкая ошибка?

Д.: Хорошо Вас понимаю.

Ж.: Но Тайманов всю работу прочитал, разобрал, и сказал, что «всё правильно».

Д.: То есть, дал «добро»?

Ж.: Да, и потому он был оппонентом. Д.: Доказательство теоремы на шестидесяти страницах – это сильно! Теперь немного про Москву. В шестьдесят девятом году Вы переехали в Москву и стали работать в Вычислительном центре Академии наук СССР, ныне ВЦ РАН. Возглавили там Лабораторию проблем распознавания, преобразованную впоследствии в два отдела: Отдел проблем распознавания и методов комбинаторного анализа и Отдел вычислительных методов прогнозирования. Отделом проблем распознавания Вы руководите и сегодня, одновременно являясь заместителем директора ВЦ РАН...

Ж.: Нет, Отделом уже не руковожу.

Д.: Нет?

Ж.: Сдал своему ученику, а сам остался только заместителем директора. Но это произошло совсем недавно.

Д.: А-а, недавно...Кстати, легко ли Вам работалось с директором, Анатолием Алексеевичем Дородницыным? Говорят, он очень не любил самостоятельных подчинённых.

Ж.: Это неправда.

Д.: Неправда?

Ж.: Во всяком случае, со мной ничего подобного не происходило.

Д.: То есть у Вас никаких трений с ним не было?

Ж.: У меня была абсолютная самостоятельность.

Дело в том, что в самый последний период моей работы в Новосибирском Академгородке, опять же по заданию тогдашних довольно крупных руководителей, нам было поручено вместе с геофизиками и геологами попробовать создать математическую теорию для поиска очень редких полезных ископаемых...

Д.: Ну, скажем, золота, да?

Ж.: Например, крупные месторождения золота.

Вот, скажем, месторождений золота «южноафриканского типа» известно во всём мире всего семь. Они описываются

примерно... ну, где-то, сейчас я уже не помню точно, если совру, то чуть-чуть... ну, примерно ста пятьюдесятью признаками. Вот и представьте себе функцию от такого числа переменных...

Да, и, кроме того, известно лишь до десятка мест, где такое золото долго искали – по признакам вроде бы похожие места.

Так вот, для такой функции от ста пятидесяти переменных, известной только в семнадцати точках, предлагается новый набор точек. И надо сказать, чему равно значение этой функции в точках предложенного набора: единице или нулю (т. е. «есть» или «нет» там золото).

Причём, это лишь в простейшем случае функция имеет лишь два значения: «единица» или «ноль». На самом деле, для такой функции можно полагать и большее число значений: какова концентрация и так далее. Может идти речь, даже, и не обязательно о дискретной функции.

Естественно, что в рамках чистой математики такую задачу решить невозможно. Как говорят немцы в таких случаях: «Polizeilich verbitten» (примеч. Д.: то есть «Полицией запрещено»)!

Д.: Да-а-а.

Ж.: Ну, вот, так...

А приказ есть приказ. И вот я, с геологами Лёшей Дмитриевым и ныне покойным Фёдором Петровичем Кренделевым, ставшим потом членом-корреспондентом Академии наук по Сибирскому отделению, сели и начали думать: что делать?

И тут мне пришла в голову некая эвристика. Алгоритм, который был более или менее обоснован лет, так, через тридцать пять, а тогда он был совершенно необоснован Виктор Михайлович Глушков его называл «шаманским алгоритмом». Но он работал! И давал ответ!

Много позже выяснилось, что этот алгоритм я просто угадал. Ну, угадал!

Д.: Да-а, и так бывает.

Ж.: И в результате получился, совершенно неожиданно, мощный прикладной эффект. По этому поводу я даже потом докладывал Председателю Совета министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину. Один на один! И принимал он меня часа полтора!

Кстати, Алексей Николаевич был очень неплохо образованным человеком...

Д.: Да, это известно.

Ж.: И он понял всё, что было сделано. Поэтому, переехав сюда, я уже занимался именно этими вещами.

А что далее? Когда я понял, что вот на такой, казалось бы совершенно недоказанной, вещи можно получать эффект, меня заинтересовало: а не было ли такого рода вещей и в других науках, в других областях?

У меня под рукой было тогда довольно много подчинённых. Я попросил их по всем доступным журналам посмотреть материал на этот счёт. И оказалось, что таких эвристик, для успешного решения прикладных задач, было к тому времени наделано несколько десятков: в медицине, в геологии, в биологии. Бог знает где! На самых разных языках! Иногда вообще вроде бы и без математики, хотя на самом деле, конечно, с математикой.

Вот всё это было собрано. А дальше мне удалось сделать первую вещь, с которой, собственно говоря, и начался «второй этап» моей научной деятельности. Именно, мне удалось построить многопараметрическое пространство, в котором все вот эти эвристики задавались наборами параметров...

Д.: Интересно.

Ж.: ...Причём можно было окружить это всё континуумом, где каждая точка континуума порождала свою эвристику. А дальше вы могли, если у вас была хоть какая-то предыстория, «ходить» по этому континууму и получать результат максимально точный на предыстории. И если, при этом, ещё выполнять определённые статистические ограничения, то мы могли спокойно выдавать соответствующие практические рекомендации.

И это пошло!.. пошло! В экономику пошло, в медицину...

Д.: Конечно!

Ж.: ... в геологию пошло, везде!

Таким образом, на этом была создана совершенно новая... ну, абсолютно, ничего даже близкого ранее не было... новая теория оптимизации. Это было совершенно новое пространство, а в нём надо было уметь оптимизировать определённого рода функционалы.

Вот, чтобы было понятно математику-классику, я могу сказать, что один из шагов этой оптимизации означает следующее: для системы билинейных неравенств... вообще говоря, несовместной, ... требуется найти максимальную совместную подсистему. И это всего лишь один шаг. А такой задачей нынешний Екатеринбург до сих пор занимается... Там до сих пор ещё осталось много того, что не до конца сделано...

Д.: Понятно.

Ж.: И это только один шаг. Там, в самом деле, получилась огромная теория.

Ну, а дальше произошёл последний шаг. После него были, конечно, ещё работы, но уже не такого уровня.

Так вот, дальше мне пришла в голову, совершенно случайно, одна штука. Оказывается, если вы имеете дело с алгоритмами, которые отвечают на одни и те же вопросы, как в данном случае типа «да-нет», и, при этом, вопросы не меняются, то есть «строго фиксированы», а число ответов на каждый вопрос конечно, то такие алгоритмы, независимо от того, с какой начальной информацией они начинают работать, полностью «похожи на числа». Точнее, можно их складывать, умножать, делить, умножать на константы, а значит, можно строить и полиномы от этих алгоритмов.

Д.: Вот как?

Ж.: Да, можно рассматривать полином от многих переменных, в котором вместо «иксов» стоят отдельные алгоритмы.

И оказалось, что, вместо того чтобы делать чудовищную оптимизацию, требующую, даже на сверхсовременных компьютерах, огромного времени, в рамках полиномов над вот такой структурой можно наилучший для данной предыстории алгоритм выписать в явном виде. Как полином.

Д. Надо же.

Ж. Вот это была работа, на которой до сих пор «сидят» огромное количество людей. Потому что затем оказалось, что над такими алгоритмами можно делать ещё более сложные операции. Потом, естественно, была поставлена задача: а как найти полином минимальной степени?

Д.: Интересно.

Ж.: Я, конечно же, в первой своей работе не ставил целью исследовать все эти задачи сразу. Это сделал один из моих учеников. Совсем молодой человек, в тридцать два года ставший доктором наук, имеющий уже две медали молодых учёных. Правда, на последних выборах в Академию он не прошёл, но набрал очень много голосов. Так что, я думаю, он где-то в свои сорок-сорок пять лет непременно станет членом Академии...

Так вот, созданные мною в ВЦ РАН два отдела, про которых Вы упомянули, и развивают эти две последние вещи. В разных направлениях, добавляя и статистические методы, и новомодные там генетические методы, и прочие...

Д.: Хорошо-о.

Ж.: И всё это «вылилось» в огромный круг задач, охватывающий, в том числе, огромное количество приложений.

Могу Вам сказать, что когда, в начале девяностых, учёным стало трудно жить, то первой такой «внешней» работой, позволившей мне не допустить массового отъезда наших ребят за границу - а предложения были очень соблазнительные - была работа для Московской Межбанковской Валютной Биржи. Мы сделали им прогноз. По результатам, так сказать, «наблюдений».

Д.: Несомненно, что данная работа была оценена по заслугам – она же сразу принесла, наверное, «живые деньги»!

Ж.: Да, и нам очень неплохо за неё заплатили. Всем исполнителям заплатили.

Д.: Отлично.

Ж.: Мы спрогнозировали, в том числе, возможный сговор: кто с кем...

Д.: Да-да, понимаю.

Ж.: ...вступит в союз и с кем будет бороться. А эта информация, как Вы сами понимаете, имела для них огромное значение.

Это была тогда наша первая «внешняя» работа.

Д.: Ко всему прочему, важная для «финансовой математики».

Ж.: А вот последнюю работу мы сделали с медиками, с клиникой Центробанка. У них очень хорошая клиника, в том смысле, что у них много техники и легко получать информацию. И везде компьютеры стоят ... Мы, например, занялись вот такой прикладной работой: это выбор оптимального варианта операции на позвоночнике... Если раньше уровень риска, точнее уровень неблагоприятных операций... при определённых заболеваниях... был на уровне сорока процентов, то мы довели его до десяти процентов.

Д.: Резко минимизировали уровень риска.

Ж.: Да, довели до десяти процентов.

Вот так. Ну, ... об этом можно рассказывать ещё сколько угодно.

Д.: Нет, но уже и так понятно, что это очень много кому нужно.

Ж.: Да, так.

Но надо сказать, что ко всей этой деятельности Дородницын относился... Ну, в общем, он никогда такими вещами не занимался.

Д.: И не всегда Вас в этом поддерживал, да?

Ж.: Но, во всяком случае, он никогда ни в чём мне не мешал. Я объездил весь мир с докладами, был там везде...

Кстати, он, и Глушков, в шестьдесят пятом году, меня выдвинули одним из ведущих докладчиков на Всемирный конгресс ... всемирной федерации ... по обработке информации. У меня был один из основных докладов там.

Ну и потом, где я только не был...

В Финляндии, например, я прогнозировал движение рыбных стад в океане. Причём, теми же самыми методами (смеются). Это Академия наук заключила такое соглашение. Меня туда послали, и я там полгода «просидел», так сказать. И сделал всё, что требовалось.

По этим работам в европейских странах... за исключением карликовых ... я везде читал лекции.

Д.: Вот в связи с преподаванием.

С семидесятого года Вы стали преподавать в МФТИ.

Ж.: Да.

Д.: Но в том же году в Московском государственном университете организовался, под руководством Андрея Николаевича Тихонова, «Факультет вычислительной математики и кибернетики» - ВМиК. Вас, уже всемирно признанного специалиста, Андрей Николаевич не приглашал преподавать там?

Ж.: Приглашал.

Д.: Вот тогда же, в семидесятом?

Ж.: Да, тогда же.

Но вот что произошло. Примерно тогда же, в конце шестьдесят девятого года, Никита Николаевич Моисеев создал в МФТИ «Факультет управления и прикладной математики» - ФУПМ. И в семидесятом году Никита Николаевич пригласил меня там преподавать. Причём, приглашение от Моисеева последовало на неделю раньше, чем от Тихонова.

Д.: А-а-а. Всё понял.

Ж.: Вот. Уже нельзя было отказывать Никите Николаевичу. Я же дал ему слово.

Но я поддерживал самые тесные контакты с ВМиК. И с Мехматом тоже. Связь с МГУ у меня не разрывалась никогда. Но основные курсы я, всё-таки, читал на Физтехе... Вплоть до... другого года, когда лично Садовничий не пригласил меня...

Д.: Вот это, как раз, затрагивает мой следующий вопрос.

В 1997 году Вы организовали и возглавили на ВМиК МГУ кафедру «Математические методы прогнозирования».

Ж.: Это по личному приглашению ректора.

Д.: Да. При этом педагогическую деятельность в МФТИ Вы себе оставили?

Ж.: Оставил, но лишь в небольшом количестве.

Д.: Значит, на Физтех Вы, всё-таки, ещё ездите?

Ж.: Да, на Физтех я, ещё езжу ... Меня там сделали «куратором» вот этого самого Факультета управления и прикладной математики. Поэтому я на Физтех езжу, немножко там читаю лекции.

Д.: А раньше кто был куратором этого факультета – Никита Николаевич Моисеев?

Ж.: Первым куратором был, конечно, Моисеев. Потом академик Петров Александр Александрович. Он недавно умер, и после него таким куратором стал я.

Д.: Стали Вы. Понятно.

Ж.: Это общественная должность. За неё денег не дают, но, так сказать...

Д.: Да-да, почётно.

Ж.: Да, почётно.

Но создать кафедру на ВМиК МГУ было личное приглашение ректора. Он выделил ставки, хотя это было довольно сложно. И мы открыли кафедру, которая на факультете пользуется очень большой популярностью.

Д.: Понятно... Ну, а следующий вопрос у меня такой. Ваша неутомимая научно-организационная деятельность поражает! Помимо сказанного, Вы с 1989 года член Исполкома Международной ассоциации по распознаванию образов. С 1990 года – член Бюро отделения «Информатики, вычислительной техники и автоматизации» РАН. С 1991 года Главный редактор международного журнала «Pattern Recognition and Image Analysis». И ещё в 1998 году Вы стали председателем Научного совета по комплексной программе кибернетики при Президиуме РАН. А, кроме того, Вы являетесь председателем Экспертного Совета по присуждению учёных степеней и званий в области управления, вычислительной техники и информатики ВАК Российской Федерации. И наверно, многое другое.

Как у Вас на всё хватает энергии? Может быть, с молодости у Вас сохранилась спортивная закалка?

Ж.: Это трудно сказать, я и сам не знаю.

Может быть дело в том, что все мои родственники ... особенно по отцовской линии, начиная с деда ... жили долго. Правда, сам отец не дожил до семидесяти – двух месяцев не хватило. Но тут особые обстоятельства – ссылка, сами понимаете, здоровья не прибавляет...

А вообще... как мне значительно позднее стало известно... моё происхождение, так сказать, «донское»... Из донского казачества мы... Это по отцовской линии.

По материнской же линии, как я уже говорил, у меня очень известная фамилия. Во всяком случае, с одной стороны. Могу Вам сказать, что среди людей, которые принадлежат к этой линии... там было несколько ветвей, и детали я здесь приводить не буду... были крупные генералы. Например, один из них первым перешёл Балканы. Ещё до Суворова, при Румянцеве. Он был командующим кавалерийским корпусом...

Д.: Предок Ваш?

Ж.: Да, совершенно верно, один из моих предков.

Как я уже упоминал, один из знаменитых лётчиков-героев первой мировой войны, награждённый именным георгиевским оружием, что тогда считалось высочайшего класса наградой, тоже мой прямой родственник.

Так что, вот, понимаете, какая у меня наследственность...

Я несколько раз болел... Два раза я болел... Но всё обошлось...

Д.: А у Вас долгожители были в роду? Скажем, «под девяносто»?

Ж.: Вот по казачьей линии и были...

Мне недавно казаки нашли мою родословную. Притащили её мне ... Их недавно сделали государственной организацией, и они мне тут же мою родословную разыскали... Кроме того, они наградили меня казачьим орденом.

Так вот, оказывается, что у меня «хорошие корни»!

А что касается моей нагрузки, ну, как Вам сказать, ...

Д.: Скажем, ВАК много требует времени?

Ж.: ВАК относительно не много. ВАК – это всё-таки раз в две недели. Ну, требует, конечно, некоторого времени. Как и всякая работа такого типа. Потому что там... бывают и скандальные ситуации...

Д.: И их надо «разруливать»...

Ж.: Да, их надо «разруливать»...

В Академии у меня должность сейчас немножко выше, чем та, которую Вы сказали. Я сейчас руковожу секцией «Прикладная математика и информатика».

Д.: А!

Ж.: В Академии была... большая реформа. То, что раньше называлось «секцией», стало называться «отделением» и наоборот.

Значит, вот, у нас теперь есть Отделение математики, состоящее из двух секций: секции «чистой» математики – ею сейчас руководит Фаддеев Людвиг Дмитриевич, и секции прикладной математики и информатики – руководит ею Ваш покорный слуга. Причём, это с 2001 года.

Ну, кроме этого, я являюсь одним из организаторов вот этого... Всероссийского фонда...

Д.: РФФИ?

Ж.: Да, РФФИ... Устал, честно говоря, от этого дела - я там с самого первого дня ... Я там отбыл все срок и по времени...

Д. Вы там с самого создания этого Фонда?

(Примеч. Д.: Постановление Правительства РФ о создании РФФИ было издано в ноябре 1992 года, причём Директором-организатором этого Фонда был назначен Андрей Александрович Гончар. Руководство Фондом осуществляли: с 1993 по 1997 годы Владимир Евгеньевич Фортов, с 1997 по 2003 годы - Михаил Владимирович Алфимов, с 2003 по 2008 годы - Владислав Юрьевич Хомич. С 2008 года по настоящее время Фонд возглавляет Владислав Яковлевич Панченко.)

Ж.: Да ... И у меня уже все сроки кончились. Больше уже нельзя...

Д.: Да-да, ясно.

Ж.: Так что, вот так ... И это Вы ещё не всё перечислили.

Д.: Я и сказал: «Наверное, ещё многое другое» (смеются).

Ж.: Вообще-то, я иногда и сам удивляюсь. Но пока на всё хватает сил...

Д.: А, может, как раз наоборот: когда много обязанностей, время, как-то, само собой рационально распределяется?

Ж.: Да, болеть просто некогда. Хотя... я дважды сильно болел. У меня было два периода, когда у меня были очень большие неприятности с давлением.

Д.: Да, я помню, Вы как-то говорили мне, что у Вас «скакало давление».

Ж.: Да, скакало давление. Причём здесь мне таки не сумели поставить диагноз.

Д.: Надо же!

Ж.: А диагноз мне поставили в Польше. Я как раз поехал читать лекции в Центр Банаха.

Д.: Знаю этот Центр, бывал там.

Ж.: Там присутствовал профессор-медик из... Академии Войска Польского. Посмотрел на меня и сказал: «Приходите-ка к нам в клинику. У нас новый прибор есть, и мы Вас быстренько продиагностируем». А когда я к ним пришёл, то услышал: «Ой, господа, да это же совершенно простая вещь. Вот Вам таблетки и через неделю обо всем забудете».

Д. «Jeszcze Polska nie zginęła» (смеются)...

(Примеч.Д.: Напомним, что это – первая фраза (в русском переводе означающая «Ещё Польша не погибла») композиции

«Мазурка Домбровского», созданной (после исчезновения в 1795 году с политической карты Европы «Речи Посполитой») в ритме мазурки (с использованием польской народной мелодии) на слова польского писателя и политика Юзефа Выбицкого (1741-1822) в 1797 году. Композиция стала национальным гимном восстаний 1830 и 1863 годов, а в 1926 году – государственным гимном Польши)

Ж.: Да, так.

Но это не только в Польше знали - и вся Европа уже знала.

Д.: Но не наши медики?

Ж.: Да, по крайней мере в нашей академической клинике не знали...

И был у меня второй, тоже неприятный, криз ... Ну, это долго рассказывать... В общем, я два раза сильно болел... Но, Вы знаете, оба раза происходило полное излечение...

А сейчас... как Вам сказать... я делаю себе «один выходной день». Один день в неделю. Иногда это бывает суббота, иногда воскресенье.

Д.: Проводите его на даче?

Ж.: Да, но не просто сижу на даче. Я делаю там «марш-бросок»: если погода не очень хорошая, то десятикилометровый, а если хорошая, то и побольше.

Д.: И это пешком?

Ж.: Да-да, именно пешком.

Д.: И зимой не на лыжах, а пешком?

Ж.: Да, я ходоk. На лыжах я тоже умею. Но больше люблю ходить пешком.

Д.: А лёгкой атлетикой уже не занимаетесь?

Ж.: Нет, ну что Вы! (смеются)

Я, вообще-то, про неё никому в Москве не говорил. А когда поступил в МГУ, то я только для того предъявил значок «ГТО второй ступени», чтобы освободиться от физкультуры.

Д.: Понятно.

Ж.: И меня сразу от физкультуры освободили, потому что...

Д.: Ну да, ну да.

Ж.:... значок «ГТО второй ступени» означал, что все нормы мною уже были выполнены. И по физкультуре мне сразу просто поставили все зачёты.

А так у меня, по нескольким видам спорта, были разряды. Но я ни слова никому об этом не говорил.

Д.: (Смеется)

Ж.: Потому что, если бы я сказал, то мне бы заниматься математикой не дали. Меня бы тогда...

Д.: Да, загребли бы...

Ж.: ... на соревнования всякие стали бы гонять.

Д.: Да-да, понятно.

Ж.: У меня ведь был... в том числе и по шахматам... первый разряд. А в шахматы я играл довольно долго. Последний крупный успех у меня был в шестьдесят втором году. Тогда проходило командное первенство институтов Сибирского отделения Академии наук. Так за Институт математики я играл на второй доске.

Д.: Хорошо!

Ж.: А на первой доске играл, по-моему, кандидат в мастера... Вообще, на первой и второй досках ниже первого разряда никого не было. И были даже два гроссмейстера на первых досках – Анохин из Института геологии и ещё кто-то...

Так вот, в этом командном первенстве шестьдесят второго года участвовала «чёртова дюжина» институтов - ровно тринадцать. Я сыграл там двенадцать партий. И, знаете, набрал «двенадцать из двенадцати» очков! Я считаю это своим крупнейшим достижением.

Д.: Хорошо!

Ж.: Причём, я там обыграл даже Льва Овсянникова... Такого академика. Он играл тоже на второй доске. Вот я его обыграл.

В общем, я набрал «двенадцать из двенадцати». Но на этом всё и кончилось. Больше я никогда не садился за шахматную доску. Разве что так, иногда... И бывали случаи смешные с этим связанными... Но это уже, как-нибудь, я расскажу в другой раз...

Д.: Хорошо.

Мои вопросы уже подходят к концу. Но, тем не менее, ещё осталась пара вопросов.

В статье из Википедии указывается, что среди Ваших учеников более 100 кандидатов, 26 докторов, в том числе один академик и два члена-корреспондента РАН. А помните ли Вы, кто был первым защитившим под Вашим научным руководством свою кандидатскую диссертацию?

Ж.: Конечно, помню.

Д.: И кто же?

Ж.: Ну, во-первых, про число кандидатов... Я в разные справочники, когда меня спрашивают, даю, действительно, это число: «более 100». На самом деле кандидатов было больше.

Д.: Да-а?

Ж.: И докторов было больше.

Д.: Так что, сказанные мною числа, заведомо, заниженные?

Ж.: Да, это заниженные числа. Скажем, у меня ведь ещё были доктора не только по математике - я же был научным консультантом и по медицине, и по геологии.

Д.: А, понятно!

Ж.: Вот. Так что там, на самом деле, числа «побольше». Хотя это и не важно...

А самым первым, кто у меня защитил кандидатскую диссертацию, был Рошаль Нигматуллин. К сожалению, он прожил недолгую жизнь... Это был очень талантливый математик... Он защитился у меня ещё в Новосибирске. Я ещё и сам был, так сказать, не доктором. Но вот он был самым первым. Он был... из Татарстана. И его защита произвела там сильное впечатление - по каким-то причинам, мне не известным.

Д.: Интересно.

Ж. Ну, про защиту им диссертации даже газета «Правда» писала. Что, дескать, в Татарстане появился замечательный молодой учёный и тому подобно...

Д.: А год это какой был... где-то пятьдесят девятый?

Ж.: Ну, я сейчас точно не помню. Но нет, не пятьдесят девятый, более поздний...

Д.: Шестьдесят с чем-то?..

Ж.: Да, шестьдесят с чем-то. Я сейчас боюсь наврать... Можно было бы поискать его автореферат...

Д.: Ну, ладно...

Ж.: Да, он был моим самым первым.

Д.: Хорошо, что помните. Потому что некоторые фамилию своего первого ученика даже и не могут вспомнить (смеётся).

Ж.: Ну, что Вы, что Вы... Он потом написал несколько очень хороших монографий.

Вообще шёл очень быстро. Но вот судьба...

Д.: В Новосибирске он не хотел остаться?

Ж.: Нет, он в Казань вернулся. Причём очень быстро стал профессором Казанского университета...

Думаю, что... если бы Господь Бог продлил бы ему жизнь, то наверняка он и дальше пошёл бы... Но вот... не судьба.

Д.: Так.

Ну, разрешите ещё личный вопрос. Кто по профессии Ваша супруга? Если можно, её имя-отчество. И есть ли у Вас дети. Если да, кто-нибудь стал ли математиком?

Ж.: Ну, у меня эта жена вторая...С первой женой мы разошлись довольно рано...

Д.: И обе они – математички?

Ж.: Нет, вторая не математик.

Д.: А-а.

Ж.: Вот. От первой жены у меня есть дочь...

Так вот, моя первая жена защитила кандидатскую диссертацию у младшего Лаврентьева, сына Михаила Алексеевича...

Д.: Понятно: математик...

Ж.: Да. А дочь наша, также математик, защитила диссертацию по уравнениям математической физики.

Д.: Хорошо.

Ж.: Потом она долго работала у Келдыша в институте.

Д.: Уже в Москве.

Ж.: Да, в Москве А потом дочь ушла в коммерцию, где добилась очень больших успехов. Скажу Вам откровенно, точного названия её должности я не знаю, но знаю, что она очень успешна.

Д.: То есть, занялась бизнесом.

Ж.: Да. У неё уже есть свои дети. Значит, у меня есть внук и внучка. И даже один правнук.

Д.: Понятно.

Ж.: Вот.

Теперь про мою вторую жену, с которой мы живём уже больше сорока лет.

Мой первый брак был очень, скоротечным... Недолгим. А со второй женой я живу больше сорока лет. Она - доктор исторических наук, профессор.

Д.: А, историк!

Ж.: Точнее, профессор-востоковед... Свободно владеет двенадцатью иностранными языками, включая хинди, урду и т.д.

Д.: Здорово!

Ж.: Из европейских же языков у неё совсем хорошие английский и испанский. И польский, потому что у неё тоже есть польские корни. Вот с немецким у неё как-то... похуже.

Кстати, сейчас она находится на конгрессе, где-то на Востоке, с докладом. Где-то в районе Эмиратов. Четвёртого февраля должна вернуться.

Д.: Хорошо!

Ж.: Она профессор Московского гуманитарного университета. И на полставки профессор МГУ, на факультете стран Азии Африки.

Д.: Точнее, в ИСАА МГУ?

Ж.: Да-да, в ИСАА. Совершенно верно: он институтом называется. Но, по существу, это факультет.

А в Московский гуманитарный университет она, в своё время, пошла потому что тогда это было единственное место, где можно было читать лекции на хинди...

Д.: Надо же!

Ж.: ...Не забывать язык. Она довольно долго читала там на хинди и на испанском...

Д.: Нет, ну выучить европейские языки я ещё понимаю. Но восточные?!

Ж.: ...Её основная специальность, первичная, - это международник-востоковед... Несколько лет она была очень успешным телевизионным политическим обозревателем. Даже имела собственную телевизионную программу.

Д.: Понятно.

После брака она Вашу фамилию взяла, или осталась со своей?

Ж.: Она взяла мою. Её же собственная фамилия - Гнёнская. У неё мать украинка, отец - поляк.

Д.: А зовут её как?

Ж.: Елена Семёновна.

Д.: Ясно. Мне всё это очень интересно слышать.

И последний традиционно мой вопрос. Довольны ли Вы, как сложилась у Вас судьба? Не хотели бы Вы в ней что-нибудь изменить?

Я всем задаю этот вопрос. Некоторые говорят, что вот, иногда я недооценил, так сказать, влияние родителей. Другие говорят, что вот, шефа недооценил... А у Вас были такие мысли? Что-то вспоминается, что можно было бы и подправить? Или всё сложилось более-менее нормально?

Ж.: Нет, таких мыслей не было. Хотя, знаете, я должен Вам сказать, что, думаю, смог бы добиться неплохих успехов и не в математике. У меня довольно неплохо шли гуманитарные дисциплины, и покойная матушка направляла меня именно туда.

Д.: Любопытно!

Ж.: Я на местном киргизском уровне даже писал очень неплохие «стишата»... Вот.

Д.: Но по-русски, не по-киргизски?

Ж. По-русски, конечно.

Нет, ну киргизский я тоже учил в школе. Я на нём... хотя сейчас уже с трудом... могу даже говорить.

Д.: То есть, если попадёте в Бишкек, то сможете на нём изъясниться?

Ж.: И на киргизском, и на казахском. Но уже, конечно, с трудом...

Д.: Во всяком случае можете спросить, как пройти на такую-то улицу?

Ж.: Ну, это безусловно. Но, конечно, теперь «с акцентом»... А когда учился в школе, то это сдавалось, как обязательный предмет. И довольно легко.

Да, наверно я мог бы и по гуманитарной линии пойти. Но я не жалею, что туда не пошёл. Я потом много встречался с представителями этих профессий. Должен Вам сказать, что... математический мир лучше!

Д.: Лучше и чище.

Ж.: Да, я в этом уверен...

Д.: И к тому же, менее зависимый.

Ж.: Да. Даже сейчас, когда формально мы находимся скорее «внизу» ... И, всё-таки, наш мир лучше!

Д.: Согласен.

Ж.: Вот у меня была довольно неудачная вещь с избранием в Академию. Я, так сказать, был некоторое время «патентованным неудачником». Я два раза подряд, на выборах в членкоры, не добирал один голос.

Д.: Дважды не проходили в членкоры – разве это много? По семь, восемь раз некоторые не проходили.

Ж.: Нет, дважды подряд, не добрав всего одного голоса!

А вообще, в первый раз, я набрал совсем мало голосов. Вот во второй раз я не добрал уже только один голос: надо было двадцать девять голосов, а я набрал их двадцать восемь. Потом, в третий раз, снова, я не добрал, опять же, всего один голос: надо было тридцать один голос, а я набрал их тридцать.

Понимаете, когда это произошло два раза подряд...(смеются).

Но, надо сказать, пусть нехорошо о себе так говорить, у меня, в некотором смысле, очень лёгкий характер. Я к этому относился очень спокойно.

Д.: Ну и правильно!

Ж.: В конце концов, не хлебом единым жив человек... А потом, ведь о хлебе вообще речь не шла... Но это... чуть-чуть царапало моё самолюбие... Но потом я прошёл почти единогласно. Вот так!

Д.: Понятно.

Ж.: Так что мне жалеть не о чем.

Д.: Отлично!

Ж.: Мне, скорей, даже везло.

Вы знаете, вот эти два случая в Новосибирске...

Д.: «Лаврентьевские»? Ж. Да, «Лаврентьевские»: договор с большой прикладной работой, и организация Всесибирских олимпиад с последующим созданием Физматшколы. Ведь Лаврентьев мог ко мне и не обратиться - я же там был отнюдь не один. А вот он обратился именно ко мне.

Так что мне по жизни, скорее, больше везло.

Д.: Понятно.

Ну, что ж, Юрий Иванович, я очень рад, что у нас состоялась эта беседа.

Ж.: Я старался быть с Вами искренним, Василий Борисович.

Д.: Да! Я как раз хотел Вас поблагодарить за то, что наша беседа была очень содержательной и искренней.

Ж.: И куда Вы её собираетесь «поместить»?

Д.: А вот в третий выпуск моей серии «Мехмятые вспоминают». Предыдущие два выпуска я же Вам подарил.

Ж.: Да-да.

Д.: А сейчас я «набираю» третий выпуск этой серии...

Январь, 2012 год.



Григорий Никифорович

Вершина. О романе Фридриха Горенштейна «Попутчики»¹



оследний роман Фридриха Горенштейна названный, по свидетельству Мины Полянской, «Веревоочная книга», по-прежнему лежит в рукописи в Бременском архиве: пять папок плюс папка с зачеркнутыми вариантами. О чем и в каком жанре он написан, известно пока очень немного; но писатель Горенштейн, как справедливо сказал о нем однажды Евгений Попов, *«умел ВСЕ»*. Проза и драматургия Горенштейна, созданная в эмиграции, весьма разнообразна: от повести «Муха у капли чая» (1982 год) и «философско-эротического» романа «Чок-чок» (1987 год), в которых чуть ли не впервые после Серебряного века в русской литературе упоминаются проблемы, связанные с нетрадиционными сексуальными ориентациями, до фундаментальной исторической хроники времен XVI века «На крестцах» (1994-97 годы). Поэтому трудно назвать какое-то одно произведение, наиболее характерное для творчества Горенштейна; но есть книга, где писатель Горенштейн отразился полнее всего: это «Попутчики», изданные впервые на русском в Швейцарии в 1989 году.

«Попутчики» не слишком хорошо укладываются в обычные литературоведческие стандарты. По ограниченному размеру это скорее большая повесть. Но по полноте сюжета, по охвату событий, по сложности связей между персонажами это полновесный роман. В нем есть и судьба человека от юности до пожилого возраста, и то, что определило судьбу – коллективизация, голод, война, лагерь, послевоенное время, – и любовь, и смерть, и поразительные по глубине наблюдения автора. Соответствует ограничению и отшлифованный язык: лишних слов нет, мелодия и ритм тщательно выверены и, вместе с тем, звучат

¹ Глава из книги «Открытие Горенштейна», М., «Время», 2013.

совершенно естественно, что, как считал Горенштейн, и есть главное для прозы:

«Если не поймешь ритм прозы, то, как бы ты ни был умен, какие бы ни были у тебя мироощущения, ты прозу не напишешь, ты напишешь эссе... Ритм это колебание души, колебание сердца. Как сердце стучит, должен быть ритм».

В «Попутчиках» сердце писателя и сердце читателя стучат в едином ритме. Роман был переведен на французский, немецкий и английский языки, притом на французском он появился даже раньше, чем по-русски. Еще до выхода переводов Горенштейн отмечал в беседе с Джоном Глэдом:

«... "Попутчики", которые написаны здесь, пока во всяком случае, легче воспринимаются здесь. Очевидно, как-то помимо моей воли вливается дополнительно какой-то воздух Запада. Хоть я пишу о России».

Роман читается легко – не быстро, а легко; он получился сжатым, но не тесным: авторские отступления раздвигают рамки рассказанной истории и создают ощущение эпичности. А история сама по себе проста донельзя: ночной разговор двух случайных спутников.

Фридрих Горенштейн написал «Попутчиков» в 1983 году и дополнил в 1985 году. А в 2011 году на одном из интернетовских форумов под названием «Моя последняя прочитанная книга» содержание романа было изложено так (орфография и пунктуация сохранены):

«Речь идёт о двух послевоенных попутчиках. Ехали они всю ночь, а один из них успел рассказать почти всю свою жизнь. И в основном эта "жизнь" была в оккупированной территории Сов. Союза. Как ел человеческое мясо, как спал с женщиной о которой и не мечтал в жизни нормальной, как потерял всех и как будучи калекой выжил в этом аду».

Профиль пользователя форума, скрывшегося за ником Aga! подсказывает, что это написала двенадцатилетняя девочка, сообщившая о своих жизненных предпочтениях кратко, но выразительно: «пофигистка». «Попутчики» - непростое чтение для девочки-подростка, родившейся через пятьдесят четыре года после окончания войны. (Для сравнения расстояний во времени – за пятьдесят четыре года до рождения Горенштейна как раз завершилась русско-турецкая война: генерал Скобелев чуть было не взял Стамбул.) Однако фабула романа изложена верно: значит, пофигистку не оставили равнодушной события, происходившие

когда-то с поколением ее прадедов, и эмоциональный заряд, заложенный в роман писателем Горенштейном, не пропал зря.

Изложена верно – но это фабула, а не сюжет. Сюжет же – в переплетении двух характеров, калеки-провинциала Олексы Чубинца и благополучного столичного жителя Феликса Забродского. В обычной жизни их встреча маловероятна, но в романе, в пустом спальном вагоне почтово-пассажирского поезда номер двадцать семь «Киев – Здолбунов», при свете *«месячной украинской ночи»*, выясняется, что эти два непохожих человека необходимы друг другу и даже невысказаны один без другого.

Олесь Чубинец – неудачник. Ему не повезло уже малым ребенком: свалился в колодец и навсегда остался хромым, по уличному прозвищу - *«Рубль двадцать»*. А в четырнадцать, по возрасту чуть старше читательницы-пофигистки, попал в мясорубку Голодомора и, хоть страшной ценой, но выжил, один из всей семьи. Олекса бежал в город, и даже, за год до начала войны, окончил семь классов вечерней школы рабоче-крестьянской молодежи. В то лето в городе гастролировал поразивший его воображение московский театр, и юный Саша Чубинец написал пьесу *«Рубль двадцать»* о любви хромого к молодой красавице и, окрыленный надеждой, послал ее в Москву. Он теперь больше говорил по-русски и уже успел прочесть кое-что из классики, особенно запомнив произведение *«Записки идиота»*. Отказ пришел двадцать второго июня сорок первого года – в день начала войны. Через неделю в городе были немцы, а к зиме снова заработал местный городской театр. И мечта молодого драматурга сбылась: его пьеса - в переделанном виде – наконец была принята к постановке. Но поставлена она не была; зато центральная любовная сцена между неуклюжим калекой и недоступной, не предназначенной ему женщиной – примой местной труппы Лелей Романовой – осуществилась наяву, пусть всего однажды. А потом жизнь снова повернула на привычный путь неудач: Чубинца отправили на работы в Германию, по дороге он бежал, вернулся в город после отхода немцев, за службу в театре при оккупантах был осужден, отсидел семь лет в северных лагерях и с тех пор мыкался на должности младшего администратора в провинциальных театрах. Измордованный судьбой ущербный человек, малограмотный графоман с вечной тягой к прекрасному – даже в лагерном цеху развел цветы на подоконниках – таким увидел Олексу Чубинца его попутчик в полутьме вагона:

«...возникло лицо утончённое, какое обычно бывает у вырожденцев, отступников, лишённых своего и не обретших

чужого. Такие лица, вернее мордочки бывают у воспитанных в неволе лесных зверьков, которые в домашних условиях не могут обрести уверенности кошки или собаки, однако которым в родном лесу ещё хуже. Но как раз в этом и состоит их нераздумная духовность...»

Попутчик, Феликс Забродский, не графоман, а профессиональный писатель. И писатель неплохой, как можно судить хотя бы по только что приведенному описанию спутника. Он преуспевает: живет в центре Москвы в известном доме, где находится ресторан «Армения», у него есть жена, дача и красивая мебель *«вплоть до белого рояля, на котором упражняется его малолетняя дочь»*. Все это добро он заработал на поприще сатиры и юмора; он говорит сам о себе:

«...автор многочисленных эстрадных скетчей, ревью, фельетонов, сценариев, телекомедий и театральных водевилей. Нет нужды говорить о том, что он любим публикой и обласкан начальством».

Впрочем, этого автора зовут **Владимир** Забродский – а Феликс Забродский, когда он не прикрывается псевдонимом, человек серьезный и широко образованный. В его роскошной квартире на полках стоят *«...и Библия, и Каббала, есть зарубежная и русская классика, есть философ Шестов, есть Розанов и такие книги, как том французского психолога прошлого века Тена, французский же публицист и историк Алексис Токвиль, русский историк Татищев, немецкий психолог и философ-идеалист Вильгельм Бунд...»*. Забродский умен, в меру самокритичен (*«мои поступки мне лично чаще не нравятся, чем нравятся»*), но главное – абсолютно циничен:

«А как же, спросите вы, с такими книгами в библиотеке и такими интересами работать в области советской сатиры и юмора? Отвечу по-китайски: кУсать хОуца».

Рассказ в «Попутчиках» ведет Забродский, и у читателя может возникнуть соблазн не различить Феликса Забродского и Фридриха Горенштейна – тем более, что несколько мелких юмористических зарисовок Горенштейна были когда-то опубликованы на шестнадцатой полосе «Литературной газеты» за подписью Феликса Прилуцкого – так назвала его мать, пытаясь укрыть своей девичьей фамилией сына врага народа от бдительного ока органов. Совпадают и кое-какие другие детали: родным городом Забродский считает Бердичев, хотя прожил там *«всего четыре года, не в детстве даже, а в ранней юности»*, а в молодости он, как и Горенштейн, *«бегал с одного стройобъекта на другой»* по пескам киевского предместья Дарницы. Горенштейн,

со своей стороны, подписался бы, наверное, под многими высказываниями Забродского, например, таким:

«...я вообще детали и подробности в человеке люблю больше, чем самого человека в целом. Потому что, как мне кажется, детали в человеке Божьи, а общая конструкция дьявольская».

Но, конечно, автора «Попутчиков» Горенштейна нельзя отождествить с рассказчиком Забродским. Дело обстоит сложнее: по сути, автор перевоплощается в особый персонаж - рассказчика, выполняющего предназначенную ему в романе роль. И роль эта – не говорить, а слушать.

Необходимость совместного творчества Рассказчика и Слушателя для создания литературного произведения – стержневая идея конструкции романа. Мысль не новая; но в «Попутчиках» обычное представление об иерархии писателя и читателя – Писатель рассказывает, Читатель слушает – оказывается перевернутым. Согласно Горенштейну, творец – как раз Слушатель: именно он придает услышанному от Рассказчика смысл и форму, только благодаря которой рассказ и можно сохранить. Но важен и Рассказчик: он должен, не боясь, открыть Слушателю свою душу, и не просто открыть – отдать. Не всякий Рассказчик готов на это, и не каждый Слушатель заслуживает откровенности. Зато, согласившись, Рассказчик получает шанс заглянуть в самого себя:

«Люди разделены и человек безлик, когда у него нет Слушателя. И всегда Слушатель должен объяснить Рассказчику, кто он есть в самом деле и чем он отличается от других».

Кто это говорит: Слушатель Забродский о Рассказчике Олексе Чубинце, или автор романа Горенштейн, который слышит рассказ самого Забродского? Неизвестно, да и не так существенно: все трое, Горенштейн, Забродский и Чубинец уже вовлечены во взаимное перевоплощение:

«Где кончается душа Рассказчика и начинается душа Слушателя? В живом творении, в живом творчестве стучит единое сердце и трепещет единая душа. Потому я не буду в угоду литературным правдолюбцам отделять себя от человека, который ещё недавно, ещё на участке между Ставищем и Богуйками путал Гоголя с Достоевским. Кто важнее – добытчик алмаза или ювелир, оградник?»

При этом Слушатель – не Мефистофель, легко выманивающий у Фауста душу за посул вечной молодости и счастья, он – друг, не щадящий себя. Ему нужно понять

Рассказчика и воссоздать его жизнь, чтобы, в свою очередь, стать Рассказчиком самому:

«Пока я слушаю Чубинца, то сам умираю, и Чубинец, как оборотень, высасывает мою материальную кровь для оживления тени своей, которой он был для меня, пока я не стал его слушать. Однако, тень эта имеет свои разветвления и перекачивает кровь мою ещё далее, оживляет другие, ещё более далёкие от меня тени, находившиеся в полной мгле, тени, которые, расходясь пучками во времени и пространстве, обретают контуры причудливого растения, соединяя живых с покойниками. Тени теней. Постоянный обмен Слушателя, Рассказчика и Персонажа телами, лицами и голосами».

Так выглядит процесс литературного творчества по мнению Забродского (или все-таки Горенштейна?). Страшновато, и как-то уж слишком физиологично. Приходится по этому поводу объясняться специально:

«А где же, вы спросите, святость творчества, где его Божественность? Не ищите в творчестве святости. Силы, которые воспроизводят бытие из небытия или имитируют такое воспроизводство от святости, исчезают. Не в творчестве святость, а в любви к уже сотворенному, в бесплотной, я бы даже сказал, бездарной любви».

Постоянный обмен голосами между Автором, Слушателем, Рассказчиком и Персонажем вызывает и чисто технические трудности:

«...обнаруживается странная ревность, его, автора, к собственным персонажам, которые могут оттеснить автора и сказать публике вовсе не то, чего он, автор, желал бы. Например, я, Забродский, всё время ловлю себя на желании поправить, перебить или даже заговорить вместо Александра Чубинца».

Тщательно выстроенную хореографию романа создает взаимодействие сразу нескольких пар Рассказчиков и Слушателей, меняющих амплуа при переходе из пары в пару. В паре Горенштейн-Забродский рассказчик - Забродский, а слушатель – Горенштейн. В то же время Забродский – слушатель по отношению к Чубинцу. Но и Олекса Чубинец тоже не просто поставщик материала для творца-слушателя, он сам творец: пусть неудачный, но драматург! Однако в этом сложном балете Автора, Рассказчика и Слушателя полная гармония достижима лишь при участии еще одного действующего лица – Читателя. Только он может замкнуть магическое кольцо своим прямым контактом с Автором, и тогда общая кровеносная система романа заработает в полной мере. Поэтому с первых же страниц читатель втягивается в

систему художественных образов как один из ее основных, хотя и невидимых элементов. Благодаря мастерству писателя, просто читать роман «Попутчики» нельзя – в нем надо жить наравне с остальными персонажами.

Если жизнь главного героя Александра Чубинца описана детально, то другие персонажи, окружающие его, показаны двумя-тремя выразительными штрихами. О родном отце, например, у Олеся осталось только такое воспоминание:

«Бил меня батька до трёх ведер. Это значит, первый раз сознание потерял – он на меня ведро воды. Второй раз сознание потерял – опять ведро воды. Так до трёх раз».

А спас Олексу в Голодомор его однофамилец Григорий Чубинец, бывший красноармеец-инвалид, которого жизнь научила бороться до конца и с жертвами не считаться:

«У нас в гражданскую было правило: половина погибает, половина побеждает. Первая половина на колючую проволоку ложится, а вторая по их телам Перекоп берёт. Вот и сейчас, в борьбе с голодом одна половина народа должна жертвовать собой ради другой половины, чтоб всем не погибнуть».

Вот где, оказывается, истоки жестокой блатной поговорки: «Ты умри сегодня, а я завтра». Григорий не видит другого спасения, кроме как убивать ослабевших от голода и перерабатывать их жареное мясо в котлеты с чесноком для продажи и собственного потребления. Кормит он ими и ничего не подозревающего мальчика-калеку – до тех пор, пока не подходит очередь и Олексе ложиться на проволоку. Но подросток отбилсЯ и убежал, а Григорий не выдержал – удавился на ветке старого дуба: до настоящего безжалостного урки вчерашнему крестьянину было все еще далеко.

В городе же юноша, мечтающий теперь о славе драматурга – в юности кошмары прежней жизни забываются быстро, - попадает под влияние сразу двух совершенно различных наставников: заведующего читальным залом городской библиотеки старичка Салтыкова и преподавателя пединститута Цаля Абрамовича Биска. Старичок Салтыков, впервые познакомивший Сашу с русской классической литературой, – убежденный противник *«тирании чудо-коммунистического интернационала»*, а Цаль Абрамович, проповедник пролетарской драматургии – Киршона, например, -- прямо-таки олицетворяет для него этот самый интернационал. И конечно, Салтыков с радостью встретил немцев и пошел служить в городскую управу: как он надеялся, *«...русским людям, русскому народу предстоит с*

помощью Европы связать прерванную иудо-большевизмом связь времён». Биску же, по счастью, удалось в последний момент эвакуироваться вместе с женой, над которой любила подсмеиваться супруга Салтыкова Марья Николаевна, изображавшая, как «жена Цаля Абрамовича, Фаня Абрамовна, зовёт мужа пить чай: “Цаль, иди кушай навидлох”».

Но самое большое впечатление на романтика Чубинца произвели три нечаянно встреченные им женщины. Первая из них, московская артистка, показалась ему неземным созданием, и даже странно было потом Саше, что «...я не просто её видел, я говорил с ней, отвечал ей, когда она что-либо меня спрашивала». Со второй заговорить так и не пришлось, но и она запомнилась навсегда: пассажирка поезда дальнего следования, увиденная раз на станции, «...держа в одной руке кисть розового, крымского винограда, второй рукой ощипывала ягоды и клала их в ротик. Весь облик её соответствовал популярному романсу: золотой локон и синие, бездонные глаза...». А третьей была сероглазая Лена из Ленинграда, на свидание с которой судьба отвела «не более пяти минут» - а дальше полицией отогнал Чубинца от проволоки, и Лена навсегда осталась по ту сторону, среди других евреев, обреченных на смерть. Шла осень сорок первого года, первая осень немецкой оккупации.

О жизни под немцами историки предпочитают писать глухо даже сейчас: анкеты со зловещей графой «находились ли на оккупированной территории» давно исчезли из обращения, но страх, вызываемый когда-то этим вопросом, остался в подсознании. Миллионы людей долгие месяцы вынуждены были подчиняться гитлеровским порядкам: как они жили в это время? Раньше школьный учебник истории рассказывал все больше о борьбе великого советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Теперь каждое из государств постсоветского пространства пытается утвердить собственную историю войны: Россия свою, наиболее близкую к бывшей советской; Украина свою – о вооруженном сопротивлении бандеровцев и немцам, и Советам; Латвия свою – о доблестных латышских дивизиях СС, защищавших на фронте независимость родины; Беларусь – свою, о героических подвигах партизан. Есть от чего запутаться двенадцатилетней пофигистке.

В «Попутчиках» история войны и послевоенного времени тоже своя, но не подогнанная к нуждам текущей идеологии, а максимально честная: она пропущена через восприятие персонажей романа, а всякая фальшь в художественном

произведении всегда заметнее, чем в тексте учебника. Олекса Чубинец может ошибаться, но в намеренном обмане или в излишней фантазии его не заподозришь: он рассказывает лишь о том, что видел сам.

В Чубинцах, родном селе Олексы, немцев поначалу приняли радостно, но когда выяснилось, что колхозы не разгоняют, а только слегка реорганизуют, отношение к новой власти изменилось. Вскоре стало ясно также, что договориться с немецким надсмотрщиком не получится: *«Там, где советский уполномоченный ещё предварительный выговор делает, он уже бьёт»*. Местное население немцы за людей не считали:

«Я позднее ещё более убедился и на своей шкуре и на чужой: любой немец при желании мог кого угодно из населения за что угодно ударить, покалечить, убить, и ему ничего за это не было. И пожаловаться некому».

Но сопротивления не было, разве что Олекса с приятелем Ванькой неудачно попытались стащить продуктовые посылки с немецкого армейского грузовика. Олекса, хоть и хромой, как-то сумел убежать, а Ванька получил удар по голове и еле уполз. В селе Чубинцы о партизанах и о подъеме всенародной борьбы с оккупантами не слыхали – да и бороться бы пришлось за то лишь, чтобы поскорее попасть из огня да в полымя.

Так было в деревне; но в городе, по мнению Олексы, *«...всё-таки вражда между немцами и украинцами не чувствовалась так, как в селе. Работало кино, где шли немецкие и заграничные фильмы и куда ходили как немцы, так и горожане. Театр всегда был переполнен, особенно когда шли оперетты»*. Для автора пьесы «Рубль двадцать» театральная жизнь, конечно, важнее всего – и о культурной политике гитлеровцев Чубинец рассказывает в подробностях. Политика эта, собственно говоря, не отличалась от знакомой советской установки: содержание искусства должно быть идеологически выдержанным, а для этого искусство надо строго контролировать. Самодеятельность, пусть даже верноподданническая, вредна, поскольку может привести к непредвиденным проколам.

Вот, например, едва лишь бургомистр города пан Панченко поддержал стихийно возникший музыкально-драматический кружок польских украинцев, как они запели под аккордеон:

«...Музыка пана Яцука, слова пана Сашинского: «А пан Сталин и пан Гитлер Польщу полоньлы...»

Пан Панченко рассчитывал их в немецких госпиталях использовать, для развлечения раненых, а они подобные песни

поют. Ну какой уважающий себя начальник районного отделения гестапо или начальник районного отделения НКВД позволит петь такие песни, даже тайно?»

Пришлось гестаповцу герру Ламме кружок разогнать, а панов Ящука и Сташинского отправить в лагерь – *«правда, не концентрационный, а трудовой».*

Театральный репертуар пан Панченко определял лично, а у него был свой любимый драматург – местный учитель, – и лирическая трагедия «Рубль двадцать» не прошла бы контроль бургомистра. Поэтому ведущий актер театра Леонид Павлович Семенов и Саша Чубинец улучили момент и через голову бургомистра представили пьесу самому гебитскомиссару, когда он посетил театр – этот высокий чин немного понимал по-русски. Рассказывая о безнадежной любви калеки к недоступной красавице, Саша очень волновался, лицо гебитскомиссара перед ним множилась, двоилось и троилось, он чуть не разрыдался, но вдруг услышал здоровый немецкий смех:

«– Хромой, – трясясь от смеха, говорило множество ртов, – любит красивая фрау... Яволь... это русский юмор... Это унтергальтунг... Хромой на сцене должен танцен... Это очень комиче драма...»

Но, несмотря на поддержку любящего посмеяться большого начальства, репетиции пьесы не увенчались премьерой – при первой возможности завистливый пан Панченко их запретил. А драматурга назначили «добровольцем» на работу в Германию, поскольку в военное время должны работать и инвалиды. Немцам же стало тогда не до культурной политики – линия фронта уже двигалась на запад.

А в первый период оккупации появлялись даже надежды на начало новой жизни. Украинцы поверили, что под защитой немецких штыков им удастся основать национальное государство. Ту же иллюзию питали и белорусы. И тех, и других, правда, немцы вскоре арестовали и загнали в лагеря – им требовались не союзники, а подчиненные. Но в России, например, под эгидой немецкого войскового командования целый округ с центром в селе Локоть Орловской области и населением более полумиллиона почти два года был полностью самоуправляемым: работали предприятия, школы, больницы... Оставленные бежавшей армией на произвол пришельцев, люди в массе своей продолжали жить и под немцами – трудно, голодно, но жить.

Кроме тех, у кого право на жизнь отобрали с самого начала.

Одной из причин, способствовавших успеху Холокоста на Украине, иногда называют особую интенсивность украинского антисемитизма, подтверждаемую долгой историей еврейских погромов – от Хмельницкого до Петлюры. (Хотя Прибалтика, например, где погромов никогда ранее не было, воспользовавшись Холокостом, очистилась от своих евреев намного тщательнее, чем Украина.) Но даже циник Феликс Забродский, чья историческая родина – город Бердичев, не обвиняет в случившемся всех подряд украинцев:

«...я между словом украинец и словом антисемит чёрточки не ставлю, даже если просто украинцы среди украинцев-антисемитов составляют абсолютное меньшинство. В конце концов время идёт, и соотношение может измениться. Или уменьшится число антисемитов, под влиянием прогресса, или евреи в Бердичеве станут музейной редкостью».

Не антисемит и Олекса Чубинец: еще до войны ему одинаково приятно было лакомиться и малиновым вареньем Марьи Николаевны Салтыковой, и фаршированной рыбой Фани Абрамовны Биск. Сердце его переворачивается от жалости и любви к сероглазой Лене, нежной красавице за колючей проволокой, которой суждено погибнуть – а Олекса может лишь отдать ей кусок хлеба, припасенный для себя. Избитый за это полицаем, он возвращается в деревню, и напарник Ванька спрашивает его по дороге:

«– Зачем ты евреев жалеешь? Мы на них трудились, пока они в городах жили.

– Я не евреев жалею, – отвечаю, – я людей жалею.

– А мне людей не жалко, – говорит Ванька, – мне детей жалко, которые за проволокой».

А вот полицаю Дубку, бывшему секретарю комсомольской организации, никого из евреев не жалко – они получили заслуженную кару:

«Не всё же им жареных петушков жевать. Когда мы в коллективизацию умирали, они в городе пайки получали».

Тема созвучия Холокоста и Голодомора возникает в «Попутчиках» ненавязчиво, исподволь, но на первых же страницах: глядя в окно отходящего от Киева поезда на песчаные холмы, пересеченные оврагами, Забродский замечает: *«...здесь множество естественных могил, облегчающих технологию массовых расстрелов и захоронений».* Ассоциация с расстрелами в Бабьем Яре неминуема; но массовые похороны на Украине начались еще до войны, в коллективизацию. Немцы убивали

евреев только за то, что они были евреи; партия большевиков заставила крестьян умирать от голода только за то, по существу, что они были крестьяне. В Холокосте погибли не менее полутора миллионов ни в чем не повинных украинских евреев; потери от Голодомора на Украине, по различным оценкам, – от трех до шести миллионов смертей. Масштабы этих трагедий делают сегодняшний спор о том, признавать ли Голодомор геноцидом украинцев – как Холокост признан геноцидом евреев, – воистину кощунственным: ведь за прошедшие десятилетия оба народа еще не успели даже оплакать своих мертвых.

Прямого сопоставления Холокоста и Голодомора в романе нет, но есть страшная общая деталь – жареное человеческое мясо. Служивец Саши Чубинца актер Пастернаков рассказывает ему о сожжении немцами – живьем – сотен евреев в Одессе, а он не может избавиться от своих наваждений:

«– Пастернаков мне про запах палёной человечины рассказывает, – продолжал Чубинец, – а я жареную человечину времён коллективизации вспоминаю. Немцы, правда, пока ещё человечину не ели. Вот если б Гитлер окончательно мир покорил, может, начали бы жрать».

Это – о сходстве преступлений двух режимов; но Чубинец понимает и их различие:

«Немцы-гитлеровцы ведь были расисты. Мы знаем, как они издевались над другими народами, как они истребляли другие народы, но им было непонятно, как это можно было издеваться над собственным народом и так его истреблять».

Жизни евреев и украинцев, живущих на одной земле, в первой половине двадцатого века были исковерканы двумя разновидностями тоталитаризма – но было ли это неизбежно и предопределено? Чубинец по необразованности далеко назад заглянуть не может, но его «двойник» Забродский позволяет себе фантазировать о возможных вариантах истории Украины. Например, о несбывшемся прочном объединении не с Россией, а с Польшей:

«Ведь существует протестантско-католическая Германия, почему же не могла существовать западнославянская православно-католическая Украина-Польша? Может быть, такое обширное европейское государство было бы выгодно и России. Может быть, Россия, находясь далеко на востоке, за спиной Украина-Польша сумела бы отсидеться вне зоны духовного и материального германского напора, может, спаслась бы она от своей кровавой судьбы».

На самом деле, скорбно отмечает Забродский, получилось совсем по-другому:

«...как поступал Богдан Хмельницкий, присоединивший Украину к России? За два года, 1648-1649, бандами Хмельницкого было с жестокостью убито более шестисот тысяч евреев: женщин, стариков, детей и грудных младенцев. Так что русско-украинская дружба скреплена еврейской кровью».

И все же Украина позволила возникнуть «призрачному городу Бердичеву, вражескому городу на собственной территории». Призрачный он потому, что это город «...рассеянный по стране и по миру, город, жителями которого являются даже люди, нога которых не касалась бердичевских улиц: московский профессор, нью-йоркский адвокат, парижский художник», город – символическая столица российского еврейства, даже если сейчас евреев в Бердичеве совсем немного. Впрочем, по наблюдениям Забродского, «...в Бердичеве все украинцы говорят по-русски с еврейским акцентом».

Писатель Горенштейн написал о еврейском Бердичеве свою самую любимую пьесу «Бердичев»; в романе же «Попутчики» с любовью описан и Бердичев православно-украинский. Это и ряд «...стройных елей вдоль дороги, не уступающих по красоте кремлёвским»; и бердичевское православное кладбище, «сад, полный ароматов и птичьего пения»; и былая гордость горожан «...ныне покойная, знаменитая бердичевская водонапорная башня, сложенная из серого, старинного кирпича». И, наконец, в Бердичеве можно отведать лучшего в мире украинского сала, засоленного его жительницей, старой Гуменючкой, ведущей род из самого Тульчина, а уж тамошнее сало – лучшее на всей Украине. Но о сале у Горенштейна-Забродского разговор особый:

«Если когда-нибудь состоится международный конгресс по солению сала, а такой конгресс был бы гораздо полезней глупой и подлой болтовни нынешних многочисленных международных конгрессов, если б такой конгресс в поумневшем мире состоялся, то его следовало бы проводить не в Женеве, не в Париже, а в Тульчине, Винницкой области. И, конечно же, делегатом от демократической Украины на этом конгрессе должна бы была быть Гуменючка. Я её помню, лицо с красными щёчками, доброе и туповатое, а руки умные. Попробуйте сала, созданного этими руками, и вам в хмельном приступе благодарности захочется эти сухие руки старой украинки поцеловать, как хочется иногда поцеловать руки Толстого или Гоголя, читая наиболее удачные страницы, ими созданные».

Новая «демократическая Украина» не расслышала этот гимн старинному украинскому наследию. Она сначала посмертно присвоила звание Героя Украины Роману Шухевичу, одному из руководителей батальона «Нахтигаль», обвиняемого в убийствах евреев во Львове и на Винничине в период медового месяца дружбы украинцев и нацистов, а потом отменила награждение. Время осознания сходства обеих катастроф – Голодомора и Холокоста – для потомков их жертв еще не наступило.

В романе «Попутчики» можно найти многие мотивы, когда-либо звучавшие в творчестве Фридриха Горенштейна, в том числе и самый главный из них – сложность и трагичность человеческого характера. Но если трагизм судьбы, скажем, Гоши Цвибьшева из «Места» обусловлен не столько внешними условиями его жизни, сколько внутренней червоточиной, беды Александра Чубинца, казалось бы, зависят лишь от обстоятельств, в которые он поставлен. Он не виноват в том, что он калека, что он бездарный драматург, что не умеет по-настоящему любить женщину, что все, кто хочет, помыкают им, – словом, он жертва в чистом виде. И все же девочка-пофигистка завершает свой интернетовский комментарий признанием: *«И как то не жалко его. Не знаю почему...»*

Девочке еще предстоит прочесть роман «Псалом» и узнать, что беззащитность в мире Горенштейна – тоже вина, и не только перед Господом, но и перед людьми: беззащитный человек – обуза для того, кто возьмется его пожалеть. На последних страницах «Попутчиков» Забродский, побежав за такси, ищет потерявшегося Чубинца в утренней суете привокзальной площади города Здолбунова и, не найдя, чувствует примерно то же, что и пофигистка: горечь расставания со своим Рассказчиком, но и облегчение:

«Мне было горько, потому что я знал: я ищу человека, который мне уже не нужен. Он отдал мне всё, что имел, а его облик лишь будет мне мешать пользоваться этим. Вот от чего мне было горько, я не хотел выглядеть сам перед собой негодяем, выгнавшим использованного и ненужного человека».

В здолбуновской гостинице Забродский надеется оправдаться перед самим собой, использовав ночной рассказ попутчика в творчестве – настоящем, а не в привычной сатириково-водевильной халтуре, приносящей гарантированный достаток. Он знает, как важно для таланта быть свободным: *«Хочется сорваться с цепи и убежать куда-нибудь в лес, под прицел волчьих глаз, чтоб хотя бы умереть с раскавыченным сердцем и*

раскавыченной душой». Но он понимает также, что ему, советскому писателю, сорваться с цепи не удастся, да и поздно – жизнь почти на исходе:

«...днём я весел и остроумен, но ночами мне спится плохо, нервы мои наэлектризованы, разнообразные болезни со всех сторон осадили меня, интеллигентного мещанина, и может быть даже я скоро умру. Может быть, трёхтомник в издательстве «Искусство» выйдет уж после моей смерти».

Печальную, однако, перспективу видит для себя процветающий писатель Забродский. А неудачник Чубинец, подводя итоги жизни, намного более оптимистичен:

«Я рассказываю о своей жизни, и вы наверно думаете: как черна эта жизнь, как ужасна. Да, черна, да, ужасна, однако не настолько, как вам это кажется. Потому, что лучшее, что в моей жизни было, я рассказал только себе».

Олека Чубинец, хромой, старый, раздавленный своей участью, сохраняет главное – душу человеческую, и даже может поделиться ею с благополучным Забродским. Так разрешается противостояние двух характеров, диаметрально противоположных и все же единых. Характеры придуманы писателем Горенштейном, но читатель не замечает этого, настолько они реальны. Вообще, ни малейшего сомнения в правдивости всего происходящего в романе не возникает: герои, а вместе с ними и читатель, живут независимой от автора жизнью. Мастерство писателя создает эффект гармонии, соединяющей в одно целое судьбы людей, отвлеченные рассуждения, экскурсы в историю, пейзажи, сцены любви и смерти: именно уровень гармонии выделяет роман «Попутчики» среди всего, написанного Горенштейном.

Фридрих Горенштейн – писатель большой и сложный, и к тому же – многоплановый. Верно судить о нем по какой-то одной книге невозможно, даже по большим романам «Место» и «Псалом». Но если когда-нибудь, как это ни маловероятно звучит сегодня, придется отбирать, что «из Горенштейна» включить в школьную хрестоматию «Русская классическая литература XX века», издание с заведомо ограниченным объемом, первым кандидатом будут названы «Попутчики». А «из Толстого» - «Хаджи-Мурат».



Артур Штильман

Большой театр в Вене. 1971 год

Из книги воспоминаний «В Большом театре и Метрополитен Опере»

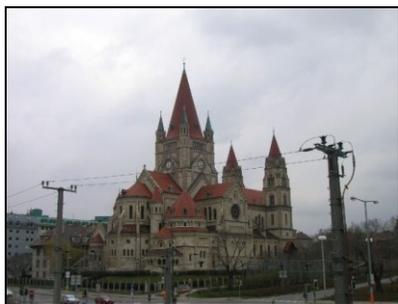


астроли были, естественно, главной целью нашего пребывания в Вене. Но нельзя забывать, что мы были советскими людьми, попавшими по счастливой случайности за границу. Когда мы прилетели из Будапешта и обосновались в студенческом отеле «Академия» на Josefstadtstrasse, то все немедленно пошли гулять в город – наш район находился в полутора-двух километрах от центра. У одного из наших духовиков в советском Посольстве оказался приятель. Вот его и отправилась навестить группа из четырёх-пяти человек. Когда они пришли в Посольство и зашли в помещение, где должен был находиться приятель нашего оркестранта, то там никого не оказалось. Они спросили, что это - перерыв на обед? «Нет», - ответили им. «А где же все?». «За вами ходят по городу! Вас же двести человек привалило, а мы можем дать только пятьдесят!» Это была полезная информация для всех. Те, кто «ходил» за нами были одеты австрийцами и имели опыт в этом деле. Так что болтать даже с приятелем на улице можно было только при отсутствии кого бы то ни было «на хвосте».

Наши коллеги всё же прошли в Посольство не совсем бесцельно – там в буфете купили водку по очень низкой цене по сравнению с городской (в Будапеште за две недели было, понятно, выпито всё взятое из Москвы, да и того хватило ненадолго...)

Весь наш славный коллектив держал в памяти магические слова: «Мексико плац». Это было местом основного «отovarивания» всего коллектива Большого театра. В первый же свободный день «рядями и колоннами» мы двинулись через весь город. Идти нужно было от нашего отеля километров шесть-семь. Мы с приятелем сели в трамвай от Оперы и поехали на Мексико плац, проявив некоторое пижонство и неуважение к традиции. Подъезжая к площади, мы увидели действительно колонну наших

коллег, продвигавшихся пешком от отеля до набережной Дуная. Это был неблизкий путь даже от Оперы: Кётнер штрассе, Ротентурм штрассе, Пратер штрассе – Площадь Пратера и наконец Лассалле штрассе – последние полтора-два километра до набережной Дуная и главного ориентира площади – Мексиканской церкви! Но ведь трамвайный билет стоил 10 шиллингов! А на эти деньги можно было купить три нейлоновых косынки, каждая из которых в Москве стоила десять рублей! Если брать оптовой партией по 300 косынок, то получалось так, что своих ног было не жалко! Тысяча шиллингов – половина взноса за кооперативную квартиру!



Главный ориентир Мексико Плац –
Мексиканская церковь Фр. Ассизского на берегу Дуная

Чемпионами в этом деле были Госоркестр и оркестр Московской Филармонии. Один из моих знакомых купил когда-то в 60-е годы в Америке за бесценок большую партию обуви, лежавшую на улице кучей. Приехав домой, он обнаружил, что вся обувь была парной за исключением одного дамского сапога! Только этот сапог был в одном экземпляре. А дальше события с сапогом развивались совершенно невероятным образом – моему знакомому нашли клиентку, у которой по странному совпадению была только одна нога и как раз та самая. Как говорится – и смех, и грех... Но мой знакомый продал ей этот один сапог всё же по цене двух!

Настоящим чемпионом в Москве был один известный музыкант, «делавший» один к сорока, то есть за один доллар получал в Москве путём продажи дефицита сорок рублей!

Этим занимались практически все советские артисты. При тех жалких деньгах, которые получали даже солисты мирового класса, им всем приходилось привозить подарки в Госконцерт, Министерство культуры, своему местному Филармоническому

начальству или в те учебные заведения, в которых они работали. Так что никого осуждать было нельзя. Мы – милостию Екатерины Алексеевны Фурцевой получили в той поездке, если не изменяет память – около двух тысяч шиллингов! Большое богатство.

У меня была уже в ту пору кинокамера. Я снимал ею и на Мексико плац. Снимал без всякой цели, а в Москве... кого я только не увидел на плёнке! Солиста оперы Александра Огнивцева, заведующую хором Большого театра, режиссёров оперы, балета, всех солистов и солисток. Исключением были только Ростропович и Вишневецкая. Их на Мексико плац никогда не было. Впрочем, при наших посещениях.

Один раз с кинокамерой я, правда совершенно преднамеренно совершил «грубую антисоветскую вылазку», а именно снял на кинокамеру фотопанораму Иерусалима с видом на старый город с Сионской горой. Панорама эта размещалась в нише перед входом в офис израильской авиакомпании Эль-Аль. Не знаю – видел меня кто-нибудь там или нет, но потом в Москве я разглядывал каждый отснятый кадр и с удовольствием демонстрировал этот материал своим близким друзьям. Не уверен, что «где надо» не стало об этом известно – да и кто мог поручиться, что проявленные плёнки не просматривались перед выдачей заказчикам? Ну, это уже было привычным московским делом.

А пока что в Вене на Мексико плац «торговые точки» были вполне подготовлены к нашествию труппы Большого театра: «дефицит» был подготовлен заранее и готов к продаже. Там знали о приезде советских артистов вероятно сразу же после подписания контракта о поездке. Некоторые из участников нашей группы, как было принято говорить – «горячились» и покупали сразу. Получалось, что они платили за товар больше, чем те, кто дождался последних дней. Тогда всё шло уже за бесценок.

Понятен сам по себе назревающий вопрос: ну, а вы сами всё же как «отоваривались»? Сказать честно – никак. Никак не поддерживал традицию. Мне доставляло удовольствие покупать то, чего не было в Москве – например настоящий мужской «блэзэр» - двубортный тёмно-синий пиджак с бронзовыми «золотыми» пуговицами. Входившие в моду длинные дамские пальто – для своей жены, вещи для маленького сына, для родителей. Что это было? Желание «пофорситься» перед своими друзьями или просто желание носить красивые заграничные вещи, недоступные в Москве? Вероятно и то, и другое. Я с детства испытывал слабость к заграничной обуви, рассматривая американские ботинки на соседях-дипломатах – без тихой зависти,

но с большим восторгом! Заграничный велосипед, которым обладала лишь одна девочка в нашем дворе, был, естественно предметом неосуществимой мечты. Ну, а тут всё недоступное в Москве было выставлено в витринах магазинов, выглядевших так заманчиво! Да, конечно мы чувствовали себя счастливыми, попав в такой «торговый рай». Но и тут были люди, которые следили за тем, *кто* и *что* покупает. Явно одобрялись косынки на продажу и другой дефицит. То, что делал я – так же явно не одобрялось. Даже в магазинах района Мексико плац продавцы меня уговаривали - все почему-то хорошо говорили по-русски: «Товарищ! Товарищ! Возмите эти косынки! Сто штук – сто пятьдесят шиллингов!» Я брал четыре пять для подарков. Но уже дороже предложенной цены. Вот такой была наша жизнь вне Штата Оперы.

Посетили мы в последние дни и книжный магазин – знаменитый «Глобус». Там я совершенно открыто купил за 35 шиллингов карманную Библию. Я никогда до той поры не держал в руках «Старого завета», куда входят пять Книг Торы. Ясно понимал, что нормальный человек не может прожить свою жизнь, не прочитав этого. Зато в Москве я после приезда всё свободное время проводил за изучением Пятикнижия и остальных книг «Старого Завета».



Орган и расписной потолок церкви в Мельке

В последние дни, незадолго до отъезда из Вены нам устроили на целый день прогулку по окрестностям – и даже с обедом и ужином в небольшом ресторане Бадена – городка в двадцати километрах от Вены. В тот исключительно тёплый

октябрьский воскресный день мы посетили Мельк, Кремс и Вахау на Дунае, где по преданию был замок, в котором был заточён Ричард Львиное сердце. В Монастыре Санкт-Пёльтена я сделал много слайдов в потрясающей красоты церкви и библиотеке. Вступив в зал церкви, мне показалось, что зазвучали «Страсти по Матфею» И.С.Баха, до такой степени впечатлял орган, расписной потолок и вся атмосфера этого храма.

Проехали мы немало километров вдоль Дуная, обозревая старинные замки. Некоторые из них напоминали декорации из «Лебединого озера» - к вечеру немного сгустился туман в долине реки, а замки были на большой высоте и, казалось, парили над землёй... Это была редкая, прямо-таки волшебная картина.



Вахау. Слева на горе - развалины замка, где по преданию был заточён пленённый Ричард Львиное Сердце. Нам удалось забраться в эти развалины, откуда открывался потрясающий вид. Дунай был таким же невероятно-открыточным, как на этом снимке.

Только в этих местах он и вправду голубой. В Вене он коричневатозелёный, а в Будапеште скорее зеленоватостальной

В завершение дня мы приехали в Баден, где нас угостили отличным ужином с вином – как видно хозяева всё же расчувствовались от такого неожиданного, возможно, для них успеха Большого театра. В зале играл небольшой традиционный венский ансамбль – аккордеон, контрабас, рояль и виолончель. В какой-то момент исполнения популярного вальса неожиданно запел... контрабасист! Трудно передать, как хохотал мой друг Эдуард Тихончук, едва не свалившись от неожиданности со стула! Действительно, для нас было необычным, чтобы кто-то из эстрадного ансамбля одновременно с игрой ещё и пел.



Монастырь в Мельке под Веной. Современное фото

Вернёмся немного назад. В тот последний день мы посетили также профсоюзный дом отдыха недалеко от Вены. Оказалось, что такие вещи существовали не только в СССР, но даже и во вполне капиталистической стране. Нужно сказать, что как до войны, так и после неё влияние социал-демократической партии Австрии – одной из, если не самой старейшей социал-демократической партии на континенте, было исключительно большим. До войны в районе Гюртель – большого кольца, идущего *тогда* по почти окраинным районам города, социал-демократы организовали строительный кооператив. Было выстроено большое количество небольших домов на 4 и на 8 семей, с примыкавшими к ним приятными садиками. Это кооперативное начинание было очень популярным, так как рабочие и служащие могли по доступным ценам иметь собственное, и не наёмное жильё. Так постепенно вращались социалистические элементы в жизнь альпийской республики.

В этом доме отдыха были спортивные залы, столовые, бары, и даже кегельбан.

В чём нам в тот памятный день не повезло, так это в том, что с нами увязался директор Ю.В.Муромцев (в «Воспоминаниях» дирижёра К.П.Кондрашина, изданных посмертно журналистом В.Г.Ражниковым, знаменитый дирижёр говорил, что Муромцев был его близким приятелем и обладал большим *чувством юмора*. Возможно, что с годами Муромцев сильно изменился и «обюрократился», но в 1971 году такое трудно было себе представить). В Будапеште он был возмущён просьбой к официанту балерины Татьяны Мокровой- Воронцовой дать ей за завтраком стакан молока. «Если вам нужна специальная диета, вы должны сидеть дома, а не ездить на гастроли!» - выговорил ей вездесущий директор. На это он получил, однако, ответ: «Юрий Владимирович! Я не собираюсь с *вами* обсуждать свою диету и своё меню!» Этот обмен репликами слышал весь зал, так как дело

происходило за завтраком. Ю.В. вынужден был это «съесть». А дальше он везде выступал мелким цербером: в Вене приказал наблюдающим докладывать ему обо всех опоздавших к 12 ночи в гостиницу. Потом он их вызывал. Одним из них был приехавший поздно вечером на такси наш флейтист Евгений Игнатенко. Он был немного навеселе даже и на следующий день. Утром в театре Муромцев, подошёл к нему и, ощутив запах алкоголя сказал: «Игнатенко! Почему вы были вчера один?» - то есть по одному было запрещено ходить по городу, хотя естественно, это случалось с нами достаточно часто – у всех свои дела и интересы. Игнатенко на это находчиво ответил: « Я был не один, а с шофёром!» После этого Муромцев снова сказал: «И вообще вы не в форме!» - имея в виду запах алкоголя. И тут он получил примечательный ответ – Игнатенко нежно взял его за лацкан пиджака и сказал: « А вы, я вижу, Юрий Владимирович, тоже сегодня в штатском!» Таких историй с Муромцевым в ту поездку происходило очень много.



Несмотря на все усилия не удалось найти на Интернетe ни одной фотографии «полковника» Муромцева, кроме моего же слайда, сделанного в сентябре 1971 в Вышеграде под Будапештом. Муромцев со своим «окружением» обсуждает вопрос – выпустят Ростроповича в Вену, или нет? Слева от Муромцева прикреплённый «товарищ в штатском», на которого «полковник» смотрит с большой любовью

Перед отъездом ещё в Москве Муромцев говорил на собрании, что он категорически требует от Министерства культуры и Госконцерта, чтобы наши суточные ни в коем случае не превышали *двух-трёх долларов!* Это слышали все присутствовавшие на собрании. «Это не суточные!» говорил он. «Это карманные деньги. Вы получаете зарплату в театре, и за неё

просто работаете в другом театре, в другом месте! Так что вы должны иметь лишь *карманные* деньги на трамвай, на то, чтобы выпить сок или минеральную воду». Муромцев «забыл», что вообще-то нас должны были кормить два раза в день, а после спектакля ужин не входил в наш официальный рацион. Он твёрдо стоял на своей позиции защиты финансовых интересов государства. В нём по-прежнему жил писарь-капитан военно-полевого суда во время войны.

На премьере в Вене присутствовала Е.А.Фурцева. После исполнения «Бориса Годунова» и действительно огромного успеха у публики, чему она сама была свидетельницей, Фурцева распорядилась о выдаче всем нам суточных в размере 12 долларов! Мы просто почувствовали себя богачами! Вот и Екатерина Алексеевна сделала доброе дело! Правда, как уже говорилось, через два года в Японии она сделала нечто совсем иное... Но тогда в Вене мы в душе искренне её благодарили и за то, что был «утёрт нос» лже-полковнику Муромцеву.

Так вот, в том профсоюзном доме отдыха мы услышали короткую лекцию о положении дел в различных профсоюзах Австрии, что было совершенно неприемлемым для ушей «полковника», но не мог же он прервать нашего хозяина?! Тот пожилой рабочий-профсоюзник сразу и без языка ощутил своего настоящего врага – государственного бюрократа – в лице нашего директора. Доведя свою короткую речь до конца, он предложил всем выпить кофе с булочками и пирожными в кафетерии дома отдыха. После этого мы пошли покидать шары в кегельбане. Через пять минут «полковник» стал у начала дорожки, и как герой, закрывший своим телом амбразуру пулемётного гнезда, преградил самым грубым образом доступ к кегельбану. Австрийский рабочий был такого же роста, как Муромцев, превосходно одет и смотрел на «полковника» с насмешкой и презрением. Так окончилось наше посещение профсоюзного дома отдыха под Веной.

И всё-таки тот день удался на славу! На следующее утро мы собрались в дорогу (понедельник – выходной день в Большом театре в Москве). После тёплой Вены и её окрестностей, казалось, что мы летим в какую-то необозримую даль – полёт тот тянулся неимоверно долго, хотя и время полёта соответствовало расписанию. Приземлившись в Шереметьево, когда уже начинало темнеть, мы увидели, что на земле лежит довольно глубокий снег. Наш гобоист Геннадий Керенцев неожиданно произнёс слова Кутузова из оперы «Война и мир»: «Вот оно!». Минут десять-пятнадцать ждали пока приедет лестница, чтобы мы могли выйти

наконец, из самолёта. Лестница ездил мимо нашего самолёта пару раз, но никак её водитель не мог уразуметь, к какому же самолёту он должен был причалить. Наверное этим и были вызваны слова нашего коллеги. Всё стало снова на свои места.

Муромцеву, вероятно казалось, что работавшие в Большом театре – его студенты в Институте им. Гнесиных. Но он сильно ошибался. И часто ему давали понять о том, что к нему никто не относится сколько-нибудь серьёзно. Здесь работали профессионалы, а не студенты.

(Сегодня на сайте «Петровка 38» *Еженедельная газета ГУ МВД РФ по г. Москве и Благотворительного фонда «Петровка, 38»*. Из интервью Анатолия Раса с Игорем Алексеевым:

«А помните легендарного ректора Гнесинки Муромцева Юрия Владимировича?

– **Это того самого, которого Фурцева пересадила в кресло директора Большого театра?**

– Именно его! И Муромцев, при первом знакомстве с труппой, произнес незабываемую речь: «В ваш прославленный коллектив я пришел работать с большой неохотой и огромным нежеланием».

– **Потрясающе!**

Той речи я не слышал, но рассказывали, что во время прослушивания музыки балета Р.Щедрина «Анна Каренина» Муромцев выразил своё отрицательное мнение о музыке, как таковой, на что получил угрожающий вопрос Галины Вишневской: «Чего-о-о?» Муромцев как-то застенялся и дальше тему уже не развивал.

Конечно, «полковник» Муромцев не мог своей властью «выдавливает» Ростроповича из Большого театра. Он был лишь «инструментом», с помощью которого это постепенно осуществлялось. Но и сам Муромцев закончил своё пребывание в театре довольно скоро – в 1972 году. А через два года Ростропович с семьёй покинул Москву и СССР, как официально это именовалось – «на два года в творческую командировку». «Два года» продлились целых полтора десятка лет. И всё же один случай, происшедший в Большом театре в последние месяцы работы Ростроповича в самом начале 70-х, здесь нужно рассказать. Как-то после спектакля «Война и мир», на сцене после всех поклонов Ростропович остался с каким-то своим знакомым. В это время появился Муромцев. Ростропович очень оживился, и сказал подошедшему Муромцеву: «Юрий Владимирович! Познакомьтесь

с моим другом – Александр Исаевич Солженицын!» Говорили, что Муромцев мгновенно испарился со сцены. Но вскоре вышел его строгий приказ: категорически воспрещалось в любое время «появление на сцене и за кулисами **детей** и лиц, не работающих в театре». Почему детей, так никто и не понял. Но неунывавший Ростропович всё же довольно остроумно подшутил над директором, вероятно здорово его напугав. Конечно, это была довольно острая шутка по тем временам, чего Муромцев не забыл, хотя это уже ничего не меняло в будущих событиях в жизни Ростроповича и Вишневской.

Через день после возвращения в Москву мы все вышли на работу. Незабываемые гастроли в Будапеште и Вене стали быстро уходить в прошлое. Новая реальность неожиданно вторглась в жизнь многих москвичей и немосквичей. Дня через два я встретил в театре И.В.Солодуева. Он мне сообщил, что мой друг Миша Райцин подал заявление на выезд в Израиль. Я не предполагал, что только начавшийся процесс эмиграции из СССР так быстро захватит многих людей из моего самого близкого круга - вскоре после приезда из Вены подал заявление на выезд наш коллега-скрипач и соученик по Консерватории Семён Мельник. Но Миша Райцин переехал в Москву из Новосибирска лишь за шесть лет до того, и известие о его отъезде меня тогда совершенно поразило прежде всего из-за исключительно высокого авторитета его как вокалиста в музыкальном мире Москвы. Узнав о его решении, я немедленно посетил его, стараясь понять причины его желания покинуть Советский Союз. «Помимо работы, у тебя здесь очень высокий авторитет. Кроме того вот мы сидим на этом диване в прекрасной новой квартире! Чего же ещё желать?» - пытался я «доказать» своему другу ненужность его решения. На что получил примечательный ответ: «Если Богу будет угодно, то мы с тобой через некоторое время будем сидеть в другом месте, тоже на диване, и будем вспоминать наш сегодняшний разговор!» Миша оказался провидцем.

(Продолжение следует)



Надежда Кожевникова «Смерти не страшусь, но к жизни привязан»



о круг каждого великого человека создаются легенды, будто специально затемняющие, искажающие его подлинную сущность. Вот и о Мравинском слышишь, мол, сдержанный, замкнутый, холодноватый... Действительно, внешне он так именно и держался - как предписывалось ему его средой, правилами, привитыми с детства. Но ни мать его, Елизавета Николаевна, из рода Филковых, ни отец, статский советник, юрист по образованию, верно, не предполагали, что все, чему они своего сына учат, что в него вкладывают, окажется в трагическом противоречии со временем, окружением, нравами, понятиями, в которых ему придется существовать.

Рухнуло, можно сказать, в одночасье: вместо анфилады комнат на Средней Подъяческой, возле канала Грибоедова, - коммуналка, вместо абонеента в Мариинском императорском театре - попытка Елизаветы Николаевны пристроиться там, неважно кем, пусть даже костюмы гладить. И далее, как в известных сюжетах: распродажа всего, что удалось сберечь, нищета, голод, состояние людей, сознающих, что они - помеха для новой власти, и что в любой момент...

Но при этом никаких послаблений себе не позволялось. Те задачи, что были поставлены до крушения всего, оставались, несмотря ни на что, неизменными: мать билась из последних сил, чтобы дать сыну образование. В двадцать восьмом году она ему написала: "Мне было бы больно ошибиться в звучании твоей личности". Возможно, такая требовательность и к себе, и друг к другу поддерживала в них выносливость. А думала мать о высоком предназначении сына еще до его рождения, о чем свидетельствуют её записи: он был зачат в Венеции, и она старалась впитывать окружающую её красоту так, чтобы это в самое нутро её проникло. Да, ничего не бывает из ничего. Евгений Мравинский был выпестован родительской заботой, утонченной

образованностью их круга, породы, представителем какой-либо он оставался на всём протяжении своего жизненного пути, что само по себе говорит о его душевной силе.



Мравинский с женой Александрой Вавиловой

Ему исполнилось четырнадцать, когда произошла революция, но, как личность, он уже был сформирован. Хотя нет, раньше: с малых лет в нем была заложена тяга к Бытию всего сущего, давшая колоссальный заряд. В дневниках, что он вел всю жизнь, природа, пожалуй, главное действующее лицо. В 1952 году он записывает: «В сознании человека Природа взглянула не только на себя – а что важнее – внутрь себя. (Самовзгляд природы)». А, например, в сентябре 1953: "Вот - ещё один цикл кончился; вчера на озере видел в березовых колках - многие деревья совсем оголены и чернеют по-зимнему... Благодарю судьбу - что видел и осязал весь этот цикл; от первых листочков, мушек и пчелок - до начала зимнего сна; от первой неодолимой нежности, к мощи разрешенного изобилия - и до великого успокоения завершенности..." И в 1973: "А я-то все думаю, что к жизни я не привязан, что не нужно мне ничего... что я умер... Вранье это: так же жаден к жизни, как в юности! За внешними омертвевшими слоями души, ослабевшими силами, сердцевина моего существа будто даже и не жила ещё - так иссушающе горяча жажда ея... Брать, осязать, видеть, обонять, слышать Бытие... "Вещное" Бытие, пусть оно даже является в виде субботних: пенсионеров, проносащихся переполненных электричек, вот тех двух собак, готовящихся к драке за будкой станции, или инсультника, присевшего около меня на скамейку..."

Прерывать эти цитаты трудно - настолько велик напор, идущий от текста, от самой природы Мравинского. Буду по мере возможности возвращаться к этому богатству, пока ещё нигде не

опубликованному, и даже не до конца разобранному. Дай Бог здоровья Александре Михайловне Вавилиной довести это трудное дело до конца.

Столь же рано обнаружили у Мравинского способности к музыке, о возможностях, сущности которой он тоже размышлял постоянно. "Можно ли прожить без музыки? - спрашивает он в дневнике. - Как будто она не относится к первейшим потребностям человека. Но лишиться её равносильно - по выражению Дарвина - "утрате счастья". Однако, я верю во всепобеждающую силу музыки. Достаточно прийти в концертный зал без предубежденности, чтобы оказаться во власти музыки."



Евгений Александрович Мравинский

Странно, а точнее, неловко читать в материалах, посвященных Мравинскому, что-де своё призвание он понял не сразу, шёл к нему как бы ощупью, увлекшись поначалу естественными науками, потом поступил в группу миманса Кировского, бывшего Мариинского театра, работал концертмейстером в балетных классах, а в консерваторию только со второго раза поступил: от недостаточно ещё что ли выраженного дарования? Так возникает версия о средних способностях, средних возможностях, благодаря упорству

доведённых до виртуозного мастерства - версия, близкая посредственностям, греющая их сирую душу. Своего рода клип, доступный вкусам, пониманию масс. Но отбросим лицемерие: искусство - удел избранных, а музыка - вдвойне. Она требует аристократизма, и духа, и воспитания. Для Мравинского же путь к призванию осложнился не столько даже житейскими, сколько историческими обстоятельствами. В консерваторию его приняли лишь после того, как его родственница, тётка по отцовской линии, Александра Коллонтай, за него поручилась. Если бы не она, клеймо, родовое проклятие, вполне вероятно, не дало бы нам узнать Мравинского - дирижера. Это ведь был страшный грех - уходить корнями в "дворянское гнездо", к Фету-Шеншину, к Северянину-Лотыреву.

И миманс, и поденщина в балетных классах - не юношеские метания, а элементарная **нужда**. Жрать нечего, понятно? Зачем же создавать пошлые олеографии, да ещё их тиражировать? Порода таких, как Мравинский, была обречена на уничтожение. Он выжил. И пронес в себе, как в капсуле, в наше время иную эпоху. Девятнадцатый век. А чего ему это стоило - догадайтесь.

"Из прошлой жизни" сохранился альбом (фотографии из него недавно удалось переснять японцам - страстным, фанатичным почитателям Евгения Александровича, для которых он - национальный герой. В Японии и Общество Мравинского успели создать, у нас же - и в ус не дуют. Верно, и фотографии уникальные у себя размножат - их техника позволяет, наша же, как известно...), где семья, ещё в полном составе, запечатлена в излюбленном своем месте отдыха, что нынче называется Усть-Нарвой. Нездешние лица, забытые позы, атмосфера, канувшая в небытие. И нигде ни в чем ни тени аффектации, намек на роскошь, на "имеющиеся возможности". Летний день, соломенные кресла, счастье, что живешь, дышишь, слышишь пение птиц. Большого не может быть - и не надо. Владимир Набоков, которому подобное было даровано и отнято - никогда не простил. У Мравинского по-другому вышло: он тоже ничего не забыл, но **здесь** выстоял.

Квартиру, окнами выходящую к Петровской набережной, к Неве, к домику Петра Великого, он получил после того, как начальство прослышало, что он принимает иностранцев в шестиметровой кухне: возмутительно – эпатаж!? А он просто не умел притворяться и не считал нужным приукрашивать то, в чем выпало существовать. У него выработалась своя теория, свой способ выживания: нельзя ничем обрастать - отнимут. А вторично

это можно уже не перенести. Тем более что он привязывался к вещам, рукотворным предметам, игрушкам, сувенирчикам, но большего себе не позволял. Любая другая **собственность** его тяготила, напоминая, вероятно, о пережитом ожоге. Выход - никогда ничего не иметь.

Его дом - доказательство последовательности позиции. Кроме рояля, накрытого, как верная лошадь, попоной, ничего ценного, чтобы могло бы, скажем, грабителя соблазнить. Почти шок: неужели здесь жил великий музыкант, которому мир рукоплескал?! Ни редкостных картин, ни "богатой" библиотеки, ни техники, разве что простенький проигрыватель, привезенный женой, Александрой Михайловной Вавиловой: о нем речь впереди.

Такое ощущение, что он всегда был готов - встать, уйти, без оглядки, не сожалея ни о чем оставленном. Но ведь так не бывает, человеческая природа такому сопротивляется. Человеку свойственно **врастать**. Но он, Мравинский, и врос - в эту землю, в эту страну, откуда его было не выдернуть. Хотя соблазны, предложения, до последнего, можно сказать, дня возникали. Нет, **крепко** сидел, как ни расшатывали его, и с той, и с другой стороны.

...Казалось бы, пора понять: среди настоящих художников не было в нашу эпоху баловней, всем давали по зубам, всем - для острастки что ли? - петлю накидывали, "предупреждали", угрожали. И все же теплится надежда; вдруг хоть кому-то удалось сохраниться вне соприкосновения с грубой жесткой рукой, не услышав оскорбительных окриков? Тем более музыка - она же вне политики. И музыкантов такого ранга, как Мравинский, следовало хотя бы из прагматических соображений беречь, как украшение фасада. Поэтому каждый раз, точно впервые, недоумеваешь, негодуешь, отказываешься понимать, что же это за зло такое, у которого взамен обрубленных голов новые мгновенно прирастают, и что принуждает нацию заниматься самоистреблением, и отчего власть посредственностей так велика, а жертва - лучшие из лучших...

Вот и в отношении Мравинского, признаться, оставались иллюзии. Ведь гигант, уникум - надо же, пятьдесят лет простоять за пультом одного и того же оркестра, который весь мир называл не иначе как "оркестром Мравинского"! Да и сам облик Евгения Александровича, магически действующий и на оркестр, и на зал, рост, осанка, безупречная лепка лица, где все лишнее - отжато, вызывали скорее трепет, а уж никак не сочувствие. И награждали его, отличали: так неужели и его, и ему... Да, именно. Дергали на протяжении всей жизни. Вплоть - страшно выговорить - до угрозы

увольнения. И когда? - в апогей всемирной славы! В доказательство можно было бы привести фамилии деятелей и деятельниц из местной ленинградской руководящей элиты, но, с другой стороны, зачем воскрешать их из забвения, ими вполне заслуженного? Тем более что сам Евгений Александрович старался жить, работать вне сферы их досягаемости, никак и ни в чем не пересекаясь, до той поры пока...

- Пока он не понимал, - говорит Александра Михайловна, - что это очередное препятствие. Препятствие продирижировать то, что ты хочешь, вести ту программу, которую задумал. Так было и в 1938, и в 1948... А, например, в 1970 году его вызвали в Смольный, и секретарь по идеологии заявила, что филармония в нём больше не нуждается. Это было за два дня до посадки в поезд, оркестр уезжал с концертами по Европе. Гастроли оказались сорваны. Послали, как принято телеграмму, что Мравинский тяжело болен - стандартный прием. Но тогда еще, можно считать, обошлось, Госконцерт не пришлось платить неустойку, нашли замену, и достойную - Светланова. Вот с гастролями в Японии, в 1981 году, куда оркестр тоже не пустили, сложнее получилось: убытки понесли все, а японского импресарио почти разорили.

- Слышала, оркестр однажды "наказали" за то, что кое-кто из музыкантов после очередной зарубежной поездки не вернулся, Романов Мравинского вызвал, и как народная молва доносит, воскликнул грозно: от вас бегут! На что Мравинский ответил: это от **вас** бегут!

- Это байка. Но правда, что перед каждой поездкой Евгению Александровичу вручался список с фамилиями "невъездных" оркестрантов, и, будто назло, это была либо ведущая группа альтов, либо тромбонов, и так далее... Можете представить, как это выбивало, сокращало жизнь. Юбилейный же концерт к столетию оркестра, к которому так тщательно готовились, отменили буквально накануне, при вывешенных уже афишах: позвонили перед выходом Евгения Александровича на сцену, на генеральную: мол, так диктуют обстоятельства, а какие именно - не выяснено до сих пор. Помню, он просто влип в кресло: что делать?! Решили, пусть не будет юбилея, но концерт состоится. И какой был успех, что называется, на люстрах висели...

- В семидесятом году, вы сказали, он оказался "невъездным", когда и как запрет сняли?

- Тогда же, в семидесятом, в Германии проводились празднования двухсотлетия со дня рождения Бетховена, и немцы сказали, что без Мравинского они этого не мыслят. Евгений же Александрович заявил, что никуда не поедет, коли его сочли

"непроходным". Но позвонила та же дама, что его "уволрила", и потом начальство из Смольного, из Москвы Евгений Александрович согласился: и была Шестая Бетховена, и Пятая, и Четвертая...

- Но в 1971, перед поездкой в Западную Европу, все вновь повторилось. Мы были в Комарово, в Доме творчества композиторов. Евгений Александрович сидел с партитурами, когда туда приехал художественный руководитель оркестра и сообщил что... Словом, Евгения Александровича от гастрольной поездки опять отстранили, но, самое страшное, при этом я, как первая флейта в оркестре, обязана была поехать: иначе, как мне объявили, меня бы **тоже** уволили. А ведь мы практически не расставались. Когда Инна умерла, я старалась, чтобы он никогда не оставался один...

Подступаю к этой теме, испытывая робость, зная, помня категорическое нежелание Мравинского обнаружить что-либо из сокровенного. Но вместе с тем, он столь же категоричен был в своей нелюбви к записям, как аудио, так и видео, и, ему потворствуя, **сколько** случилось потерь, утрат, которые уже ничем и никогда не возместить. Теперь и Александра Михайловна на это сетует, вспоминая, например, фестиваль в Германии, посвященный Шостаковичу, от которого, из-за запретов, наложенных Мравинским, ни кассет, ни пластинок не сохранилось «Да не надо было его слушать, - сказала с досадой, - подвесили бы незаметно микрофон... Его личная жизнь, конечно, сфера иная, но когда речь идёт о личности такого масштаба, все должно быть сохранено, все достойно внимания, что может дать ключ.

К тому же успела уже распространиться и внедриться в сознание легенда о его пресловутой холодности, что абсолютная неправда. Нет, по натуре своей этот человек был, напротив, чрезвычайно раним, темпераментен до взрывчатости. И то, что он на репетициях никогда не кричал, карая провинившегося одним лишь взглядом, свидетельствует о его самообладании, чувстве собственного достоинства, что для людей его породы всегда считалось превыше всего. А изнутри кипело, плавилось, болело. Он был способен к безоглядной любви и к страданию на пределе отпущенных ему природой возможностей, совершенно себя не щадя. И в выборе спутниц его личность раскрывается с полнотой не меньшей, чем в дневниках, не предназначенных для публичных чтений. Так что же, и тут, как он с дневниками собирался поступить, все бесследно уничтожить, сжечь?

Он полюбил на пятьдесят четвертом году жизни, и первое, что я увидела в доме, где последние двадцать пять лет хозяйкой

была Александра Михайловна Вавилина, - большой фотографический портрет **другой** женщины. С нее, с Инны, и начался наш разговор. И по тому **как** Александра Михайловна говорила о своей предшественнице, я поняла, что попала в иное измерение, иной мир, куда нет доступа мелочности, мусору, казалось бы, так или иначе налипающих на всё и на всех, но от которых, выходит, можно уберечься.

Мравинский Инну обрел поздно и рано потерял: болезнь спинного мозга и кроветворных органов. Умирала она мучительно. Это было колесование, по словам Александры Михайловны, давней ее подруги. В оркестр же Мравинского Вавилина поступила, пройдя конкурс - двадцать шесть человек на место - еще, что называется, не будучи вхожа в его дом. Иначе, она говорит, он при своей шепетильности ни за что её бы не принял.

Потом она наблюдала его и извне, и изнутри. И сидя в оркестре, и у постели больной, умирающей любимой женщины. Была в доме, когда врач, отозвав его на кухню, сказал: сражение проиграно. А на следующий день глядела из-за пюльта на него, когда он дирижировал "Смерть Изольды" Вагнера и "Альпийскую" симфонию Рихарда Штрауса.

Не могу не сказать еще об одной легенде, а скорее сплетне, довольно-таки подлого свойства, связанной с Тринадцатой симфонией Шостаковича: журналистка Грум-Гржимайло, специализирующаяся на музыкальной тематике, писала негодуя о предательстве Мравинским Шостаковича, уклонившегося-де от исполнения Тринадцатой из опасений себе навредить. Версию подхватили. Это ведь всегда так сладостно - облить грязью чью-либо репутацию, демонстрируя таким манером свою смелость, прогрессивность. Но только ни к Шостаковичу, ни к Мравинскому эта недостойная возня не имела никакого отношения. Когда Дмитрий Дмитриевич прислал, как обычно, новую партитуру Евгению Александровичу, Инна уже болела, и диагноз был известен. На Тринадцатую не оставалось сил: изо дня в день, в течение не месяцев - лет он пытался отнять Инну у смерти.

Надо ли говорить, что непонятное для журналистки, Шостакович понял. К слову, Пятая симфония Шостаковича - последнее над чем Мравинский работал, впервые исполнив ее в 1939 году. Сколько раз он ею дирижировал, и вот буквально за несколько дней до смерти партитура Пятой вновь стояла на попире, и он, еще надеясь, что удастся ему её исполнить, как бы заново в нее вчитывался, уходя еще глубже, в бездонность...

Когда Инна умирала, его рука лежала у её сердца, до последнего биения. И в течение года после Инниной смерти, Александра Михайловна, опасавшаяся оставить Мравинского одного, исполняя Иннин наказ, была свидетельницей, как каждую ночь, без двадцати два, в час Инниной смерти, он пробуждался, точно по какому-то сигналу, и садился в постели, когда бы ни лег и какую бы дозу лекарств не принял.

Спустя жизнь Александра Михайловна похоронила его там, где уже была Инна, на Богословском кладбище, выдержав атаку властей, все решивших, как водится наперед: и ритуал прощания, и место захоронения, "престижное", положенное, как они сочли, по ранжиру. Но нет, не получилось. По настоянию Александры Михайловны Мравинского отпевали в Преображенском соборе, все пространство которого и близлежащие улицы были заполнены людьми. Это было всенародное прощание, никем не срежиссированное - всенародное признание, не связанное ни с какими официальными почестями, а, возможно, и им супротив.

Уходил Мравинский в полном сознании, сидя в кресле. Александра Михайловна спросила: у тебя что-нибудь болит? Он отрицательно покачал головой. Был очень сосредоточен, взгляд направлен вовнутрь: старался не пропустить, познать **переход...**

- Вы думаете, действительно не конец, а переход? - спрашиваю Александру Михайловну.

- Мы часто говорили об этом с Евгением Александровичем. У него есть запись о беседе с отцом Александром, протоиереем той церкви в Усть-Нарве, которую еще посещал Лесков. Отец Александр жаловался на здоровье, и Евгений Александрович спросил, не боится ли он смерти. Ответ записал к себе в дневник, - совпало, верно, с тем, что он сам чувствовал: "смерти не страшусь, но к жизни привязан..." Вообще он считал, что остается от человека нерастворимый осадок: дух, душа.

- Он был в этом убежден?

- Он был в этом убежден... Но ведь есть молитва: Верую, Господи, Помози моему неверию. Такой человек, как Евгений Александрович, ни к одной философской категории не относился с абсолютом, его всегда сопровождало сомнение, и в себе, и в том, что он делает, - оставалось то, что в технике называется допуск...

Сомнения его в себе отличались даже какой-то чрезмерностью. Он часто говорил, - вспоминает Александра Михайловна, - что жизнь прошла зря, он не туда себя направил и не оставит никакого следа. Считал, что другим даётся всё куда

проще, никто так не волнуется, не переживает. А у него все связано с огромными душевными затратами.

В 1952 году записывает; "Да, очень, очень горько: жизнь на исходе, - и вся пройдена не в "том материале"... Конечно, повторяю, в Сокровенном осмыслении - это не играет большой роли, и горечь идет, вероятно, от остаточных желаний что-то "воплотить", - "оставить след"... Но всё же - горько на душе, из этой горечи заново всплывают тени Сроков, минувших и грядущих, пусть давно изведенных и - ведомых...»

Дневник сохранил и его видение тех или иных музыкальных произведений, и то состояние, что он испытывал на репетициях, концертах. Кажется, он сам себя нарочно истязает, взваливает почти непереносимый груз. Зачем? Только ли свойство натуры? Но ведь процесс творчества, от посторонних глаз скрытый, мучителен, кровав, требует от художника беспощадного к себе отношения. Говорят, Мравинский и оркестр свой не щадил. Конечно, существовать на пределе возможностей дано немногим, и утомительно, и даже обидно видеть перед глазами пример, недоступный, недосыгаемый. И вместе с тем, когда пример такой утрачивается, возникает опустошенность: оркестр, оставшись без Мравинского, это пережил.

"Мне вспоминается, - написано в дневнике, - что я начал с введения строгой дисциплины. Вначале это не всем нравилось. А музыканты - народ с юмором, и надо было обладать выдержкой, чтобы не растеряться и настойчиво утверждать свои принципы в работе. Понадобилось время, чтобы мы полюбили друг друга."

Как Мравинский работал с партитурами, открывая в них всё новые глубинные слои - особая тема. Сам он писал в тех же дневниках: "Партитура для меня - это человеческий документ. Звучание партитуры - это новая стадия существования произведения. Сама партитура есть некое незыблемое здание, которое меняется, но стоит в целом прочно".

То, что отличало и отличает Мравинского от других дирижеров он сам выразил с предельной точностью: "Я спрашиваю с себя много. Как дирижёр иду на репетицию подготовленным. Я понимаю, что я не "хозяин музыкантов", а посредник между автором и слушателями. В нашем коллективе сложилась практика полной отдачи и подготовленности. Я ничего особенного не требую... Прошу лишь точного проникновения в авторский замысел и моё понимание произведения."

Скромность поставленной задачи никак не соответствовала затратам, вложенным в её достижение. Тем более что цель, вот-вот, казалось бы, достигнутая, вновь отдалялась. Но

иначе, пожалуй, и не могло получиться такого Бетховена, какого, сами немцы считали, только Мравинский им открыл; Брукнера, где идея служения Богу впервые, после автора, воплотилась с той же кристальной ясностью; не говоря уже о Чайковском, с чьим портретом Мравинский не расставался, возил его с собой повсюду в папочке, и восхищаясь великим композитором, и сострада ему как человеку близкому. В мире считалось, что по-настоящему понять музыку Чайковского можно только в исполнении оркестра Мравинского.

А сам он постоянно находил в своем исполнении несовершенства, страдая, не доверяя никаким комплиментам, изъявлениям восторга. Но однажды Александра Михайловна привезла из поездки проигрыватель, о котором речь шла в начале, и поставила одну из подаренных пластинок - "Аполлон Мусагет" Стравинского. Мравинский слушал, сидя в кресле, и, когда закончилось, с горечью произнес: "Боже мой, какой я несчастный! Ведь как играют, как по форме прекрасно, всё выверено, одухотворено... Вот видишь, мне с моими так не сделать..." - Это ты, - она ему сказала, - это твой оркестр". И он заплакал, всхлипывая, как мальчик.

Он, плакал, бывало и от обиды. Такое трудно представить, зная его властность, аскетическое лицо, с выражением горделивой неприступности, в чем-то сродни Гёте. Но и Гёте, наверно, были необходимы выплески, выходы из напряжённейшего состояния духа, и его жизнь сдергивала с Олимпа, и хотелось, верно, плакать, биться о стену головой. Вот и Мравинский, когда его доводили, был способен на буйство. Однажды, явившись домой после вызова в "высокие инстанции", подошел к серванту, где стоял подаренный японцами сервиз, предметов эдак на двести, - и вмиг сервиза не стало.

"Почему я каждый раз должен продлевать себе прописку?!" - так он формулировал свои отношения с властями. Приезжая после заграничных турне и привозя восторженные рецензии, говорил: "Ну вот еще прописку себе продлил". Впрочем, как местные власти, начальство не старались, укротить, приручить Мравинского им не было дано. Он оставался им не подвластен. Наказание, что ими для него придумывались, он сбрасывал как сильный зверь неумелые путы: в заграничное турне не пускали - ехал в своё прибежище в Усть-Нарву, и наслаждался жизнью там, бродил, дышал вольно, всей грудью, писал дневники. В том-то и штука, что посредственности мерили его своими мерками, лишали того, что для самих было соблазном, а его богатство было в нём самом, и он умел, знал как с ним распорядиться.

Политика его не занимала, хотя насчет реального положения дел он не заблуждался, не поддавался иллюзиям. Но то, что ему мешало, и то, что привело к трагическим в его судьбе, судьбе его семьи, последствиям, воспринимал не как политик, а как философ. Верил ли он в перемены, надеялся ли на них? По-видимому, он был далёк от мысли, что возможен сдвиг, сразу преобразующий всё в стране, в обществе. Готовился терпеть - и жить, не обольщаясь надеждами, мол, авось, вдруг... Внутренние ресурсы - вот что, вероятно, для него было существеннее. Стоит, пожалуй, об этом задуматься и нам сейчас: если рассчитывать только на самих себя, возможно, и разочарований, и злобы будет меньше.

- А всё же что его здесь удерживало? - задаю сакраментальный для наших дней вопрос.

- Сколько раз его при мне уговаривали остаться, - говорит Александра Михайловна, - но он, как зверюшка, стремился домой, скорей домой. Отмечал в календарике дни, оставшиеся до возвращения... А как-то мне сказал, что не смог бы работать на Западе: там другой человеческий материал. Ведь наши люди эмоционально очень многогранны, как ни один другой народ.

- А кроме того, - она продолжила, - сложность, драматичность нашего времени, нашей страны, таких художников, как Мравинский, не только не обедняли, а напротив, даровали им возможность постижения трагического, без чего искусство не возможно, и Мравинский это, конечно, сознавал.

Сознание такое живёт и в самой Александре Михайловне Вавилиной, замечательной флейтистке, уволенной из оркестра, где она проработала столько лет, спустя год после смерти Мравинского, когда его место там занял Юрий Темирканов. Да, перемены, переориентация в оркестре были, наверно, неизбежны, ведь Темирканов - антипод Мравинского во всем. Можно предположить, что видеть, чувствовать исходящие от пульта первой флейты противоборствующие токи, флюиды, ему стало тягостно. Оркестр Мравинского, с трудом, но "переучивался", Вавилина - нет, не могла. В этой драматической ситуации кто победитель, а кто побежденный заранее предугадывалось. К сожалению, форму это все обрело далёкую и от искусства, и от милосердия. Так, возможно, наша реальность и диктует, доводя несогласие, соперничество до полного уничтожения противника. Но нельзя не сказать, что сообщение об увольнении вдова получила в день годовщины смерти мужа, после концерта, посвященного его памяти: тогда вот раздался телефонный звонок... Вавилина осталась и без работы, и практически без средств к

существованию: накоплений никаких. Чтобы поставить мужу надгробие, достойное его памяти, пришлось расстаться с инструментами, флейтами. Его память не позволяла и оказаться сломленной. Но, Боже мой, откуда человеку силы брать?..

Вопрос этот, мне кажется, превышает всех проблем творчества, всех достижений в искусстве, в науке, и прогресс, и благоденствие отступают перед его вечной трагической неразрешимостью. Никто из нас не знает, что ему предстоит, и, пусть не всегда даже осознанно, мы ищем примеры. Они есть. Отчеканены в слове, в музыке, в живописи, в архитектуре. Всё это было бы не нужно, если бы не рождало в людях способность жить.



Борис Рохленко

**Книга началась с названия:
Шагал и Израиль...¹**



несколько лет назад я написал рецензию на книгу Галины Подольской о Шагале - "По лестнице Иакова", которая мне открыла Шагала – художника, поэта, писателя. Я прочитал ее в захлеб, на одном дыхании. Она открыла для меня мир личности, известной всему миру, но по сути закрытой для меня.

Это в юности ты открыт для любой информации и наплыва чувств. И есть время и силы разбрасывать камни. С возрастом наступает некоторое насыщение, и нужно что-то такое, что побудило бы изменить твои установки. Посмотрел художественный фильм о художнике - и он разбудил интерес к нему. Художественное требует художественного.

Вот таким произведением и стала для меня феерия Галины Подольской "По лестнице Иакова. Марк Шагал", отмеченная Премией Международной Академии наук, образования, индустрии и культуры (США, Сан-Франциско).

А сейчас у меня в руках другая книга – "Шагал и Израиль" (редактор-составитель – Галина Подольская, доктор филологических наук, академик ИНАРН, искусствовед). Книга вышла в свет в 2012 году в Иерусалиме. Она открыла мне много нового о Шагале вообще и о его связи с Израилем в частности.

Об этой книге я говорю с автором идеи этого сборника и редактором Галиной Подольской.

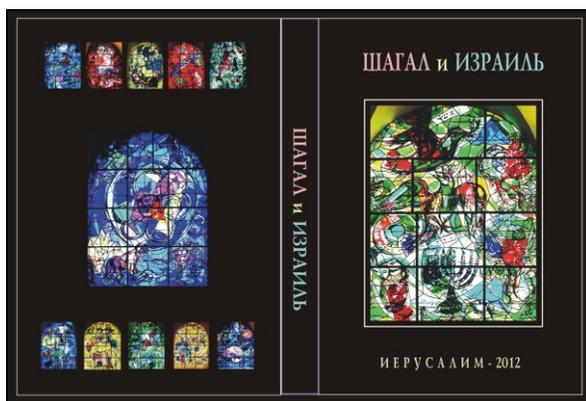
Б.Р. А как родилась книга "Шагал и Израиль"?

Г.П. - Книга родилась с названия задолго до последней точки.

Она родилась с заглавия, в котором два обозначенных понятия – "Шагал и Израиль" - уравновешивают друг друга во

¹ "Шагал и Израиль" (Под ред. Г.Подольской) Иерусалим, 2012. – 432 с.

времени и пространстве, хотя удельный вес каждого в определенные моменты менялся.



Человечество подсознательно стремится к созданию наследия, особенно если это связано с явлениями, причастными к мировой культуре. Шоу проходят. Остаются памятники и интеллектуальное достояние - книги, которые, безусловно, должны быть донесены до информационных центров.

Книге "Шагал и Израиль" предшествовал пласт научно-исследовательской работы, художественного осмысления, участие в ряде мероприятий, расширивших информационное поле. Настоящее время – поворотное в отношении восприятия личности Шагала и осознании его общественно-культурной роли для Израиля. Не будем говорить о прижизненных юбилеях и чествованиях Мастера в стране Сиона. В последнее десятилетие века многое уже выглядело иначе. Так десять лет назад Григорий Островский в "Окнах" писал о весьма прохладном отношении Израиля к Шагалу в 1990 годы: «Для религиозного сектора Шагал был недостаточно ортодоксальным, и его экскурсии в христианскую иконографию не прошли незамеченными. Для светской части Шагал представлялся отягощенным «комплексом галута». Для нее он был слишком «местечковым». (См. Г.Островский. Улица Шагала // Вести. Приложение «Окна». Тель-Авив. 03.10.2002. – С. 26). Этот комплекс на разных уровнях настолько глубоко сидел в людях, что когда я в 1999 году приехала в Израиль, ватики советовали: "Не говори, что из Астрахани, говори, что из Москвы или из Санкт-Петербурга". Это так, к слову.

Сегодня ситуация иная. Книга "Шагал и Израиль" фиксирует момент этого положения в нынешней культуре

государства. Более 50 публикаций об израильском фестивале искусств "По следам Шагала", об израильской передвижной выставке "По следам Шагала в Израиле", осуществленной в странах СНГ. И еще 17 страниц в Гугле с упоминаниями этих и других израильских мероприятий в этой связи. Откройте некоторые из ссылок и вы увидите, что в эклектичном наборе афиши среди мероприятий, связанных с именем Шагала в мире, выпадают и израильские. Выставки "По следам Шагала" и "По следам Шагала в Израиле" нередко оказываются рядом с выставками Шагала в Третьяковке, в фойе Эрмитажного театра, в Эрмитаже, в Художественном музее в Беларуси в Минске, в Риме, наконец, крупнейшей выставкой века – в Мадридском музее Прадо... Это немистическое совпадение профессионально обязывает.



Марк Шагал в Иерусалиме, 1951 г.

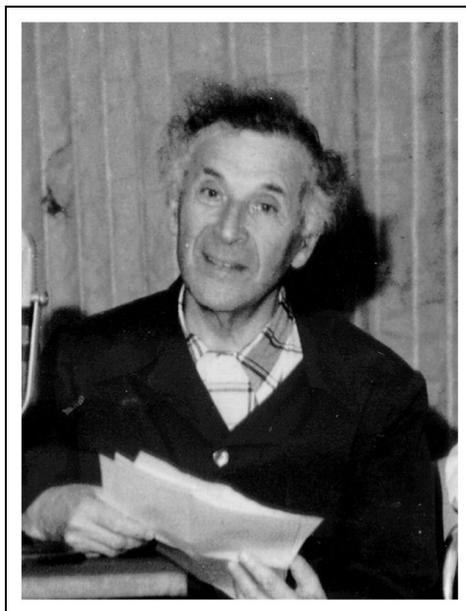
О Международном поэтическом конкурсе имени В.Добина с шагаловской строкою "Ты краски дал, что стали мне судьбою" – конкурсе, проводимом в Израиле, – около сотни публикаций.

Это то, что уже вошло в интернет-пространство, реальные события, за которыми стоят силы, талант и упорство многих людей искусства, литературы, науки.

Немало материалов о Шагале выставлено на персональном сайте (<http://galinapodolsky.com/>). А сколько публикаций на страницах газеты "Вести" (Нон-Стоп) – это максимальные в рамках Израиля тиражи. Нет более упрямой вещи,

чем факты. Так вот эти факты и подтверждают изменившуюся ситуацию в Израиле.

Можно еще много говорить на эту тему. Но думаю, моя мысль понятна: *тема Шагал и Израиль сегодня актуальна в силу того, что для Израиля она обрела новые очертания и эмоциональную окрашенность.*



Марк Шагал, 1951 г.

Б.Р.- Как можно было собрать столько самого разного и красиво уложить в рамках одной книги?

Г.П. - Для любого автора вопрос как - в конечном итоге самый главный, но ему всегда предшествуют *что, где, когда*. Любовь к творчеству Шагала. Осмысление масштаба личности в культуре XX века. Затем желание пройти путь Мастера в художественно-биографическом произведении. Когда внутренне ты принимаешь этот путь, обостряется внутренняя концентрированность на восприятии фактографического материала, который собираешь ежедневно – из выписываемых книг, интернет-информации, общения с людьми, непосредственного участия в организации культурно-просветительских проектов. А потом уже все то, что вокруг тебя, само диктует композицию разделов книги, их целесообразность

как граней того или иного явления. Но если нет твоего последнего *как*, книга не живет. Язык писателя – язык художника...

Б.Р.- То есть книга могла бы быть и другой?

Г.П. - Конечно. У И.Бродского есть такие слова «По какой причине вообще пишет писатель: чтобы подхлестнуть язык – или себя языком». Для составителя тематического издания, каким является "Шагал и Израиль", - важно "подхлестнуть" тему уместным в данном контексте фактом. Осмысленные факты подсказывают принципы его внутренней группировки, композиционную целостность и нужно просто владеть словом как средством, помогающим читателю воспринять многообразие представленной информации.

Б.Р.- А как определить, что, мол, хватит?

Г.П. Такой простой вопрос и так трудно на него ответить. Каждый раз по-разному определяется это *стоп*. В данном случае в этом понимании помогло внешнее событие (совсем не всегда такое случается) – участие в конференции "Марк Шагал и Санкт-Петербург" к 125-летию со Дня рождения художника, организованной Государственным Эрмитажем, Генеральным консульством Франции в Санкт-Петербурге, Французским институтом в Санкт-Петербурге, Музеем Марка Шагала в Витебске, Фондом имени Д.С.Лихачева.

Б.Р.- Израиля в организаторах не было?

Г.П. - Не было. Но в качестве гостя присутствовал израильский консул. Общаясь с очень представительными шагаловедами, я поняла, что тема "Шагал и Израиль" – незаполненная лакуна даже для исследователей первого ряда. Для автора, не один год занимавшегося наукой, такое осознание всегда подстегивает. Соответственно появились и новые сопутствующие материалы, например, израильские марки с работами Шагала, которые появились благодаря изданию каталога "Марк Шагал в почтовых марках" Гарри Львовича Израителя (Бостон, США), одного из докладчиков на конференции. Вообще конференции – мероприятия взаимообогащающие и взаимообогащаемые.

В качестве иллюстраций к собственному докладу я взяла сувенирные открытки с рисунками Шагала, выполненными им в 1945 и 1947 гг., подаренными Идой Шагал Музею Израиля. С докладом о Шагале в почтовых открытках выступал директор галереи «Третьяков» (Санкт-Петербург). И в это время ими была организована выставка открыток по Шагалу. И что вы думаете? Именно открыток из Музея Израиля у них и не было! Я ведь когда-то я купила их в киоске музея. Подарила в галерею "Третьяков".

А в библиотеки Эрмитажа и Русского музея передала свою книгу "Современное израильское изобразительное искусство с русскими корнями" (Иерусалим, 2011). Там есть эссе о Шагале и размышления, имеющие прямое отношение к теме, в частности о проекте фестиваля искусств "По следам Шагала") и каталог работ Объединения профессиональных художников Израиля передвижной выставки по странам СНГ "По следам Шагала в Израиле" (2012). Это библиотеки по искусству крупнейших художественных музеев мира. Это очень важно для русскоязычных художников Израиля. К сожалению, не всегда в избираемых для проектов темах заложено такое продвижение. У проекта "По следам Шагала" - счастливая судьба. Дай Бог, чтобы и другие проекты Объединения имели такую же.



Марк Шагал дает интервью в Иерусалиме, 1951 г.

Б.Р. - Кроме вас были ли еще представители из Израиля?

Г.П. - Да. Ольга Левин из Нетании. Она – племянница присяжного поверенного Григория Абрамовича Гольдберга, в доме которого в годы Первой мировой войны жили Марк и Белла Шагалы, находясь в Санкт-Петербурге. В настоящее время она готовит книгу по семейным архивам, в которой очень ярко представлен фоторяд этого периода. Надеюсь на следующей Шагаловской конференции видеть ее в числе наших докладчиков.

Б.Р.- Кстати, о фотографиях, помещенных в книге. Откуда такие редкие фотографии Шагала в Израиле?

Г.П. - Это фотографии, сделанные современником Шагала Фрицем Шлезингером. В настоящее время имеются в архиве Библиотеки Гарвардского университета. Подобраны по моей просьбе художником Виктором Кинусом, о котором мне не раз

приходилось писать, - неутомимым разыскателем редких фотографий по архитектуре баухауза.

Когда я стала целенаправленно заниматься Шагалом, я обратилась к нему параллельно смотреть и фотоматериалы по Шагалу в связи с Израилем. Два года он прочесывал интернет и ничего не попадалось. Книга была почти на выходе, но не было ни одной фотографии. И вдруг Виктор мне звонит и говорит: «Ура! В Гарварде есть фотки Шагала». Проходит день. Он опять звонит: "Нашел еще! Но есть проблема: не подписано кто есть кто. Шагал – понятно. А другие?" Спрашивает: " Это что там за дамочка такая? Переводчица, наверное?" Отвечаю: "Какая переводчица! Это же его гражданская жена Вирджиния Макнилл-Хаггард!"

Никогда не знала, что он был здесь с Вирджинией, от которой сын Даниэль. Потрясло фото 1951 года. Шагал в клетчатой рубашке, летнем пиджаке, с листами написанной на идиш речи. Чистый, нежный, непосредственный – сама открытость. Это его выступление в Еврейском университете. В то время он был с Вирджинией.

А вот 1962 год. Казалось бы, всего 11 лет разницы. Мэтр! Сама элегантность, а какая дама рядом – супруга Валентина Бродская! Эти детали фоторяда, конечно, оживили текст.

Потом стала смотреть другие фотографии. В 1962 году вот так выглядели витражи в Адассе. Они появились, когда еще и нового корпуса больницы-то не было. На одной из фотографий Шагал находится рядом со знаменитым сионистом Залманом Шрагаи - одним из мэров Иерусалима. Очень многих, находящихся рядом с Шагалом, я не вычислила. Вероятно, это очень известные люди, но я не всех знаю.

Когда появились эти фотографии, я подумала, что и впрямь осуществляется мистическая связь. Как говорят в Израиле, «магiа», - тебе полагается. Я считаю, что когда ты занимаешься чем-то настоящим, небеса, действительно, раскрываются.

Б.Р.- В Израиле все рассыпано по камням, но историю знают туристы.

Г.П. - Борис, вы очень хорошо сказали. Материала вокруг нас много. Но пока он не работает на нас. Возможно, о нем забыли, или не желают знать, а теперь удобнее просто не считаться с ним. Это я о чиновниках и иже с ними. А что касается художников и других представителей культуры, то практика показывает, что познание и осмысление открывают предмет. Остальное зависит только от тебя, в том числе и понимание, что не для тебя.

Б.Р. - Сам не ожидал, что получится такая серьезная беседа. А случались ли какие-нибудь конфузы в период работы над книгой?



Шагал в 1962 г.

Г.П. - В жизни всегда есть место замешательству, которое опосредованно подталкивает тебя к воплощению собственного замысла. Сам по себе факт получения художником какой-либо премии замечателен, но самому обладателю необходимо (как минимум) знать, чьей премии. Среди русскоязычных художников немало лауреатов премии Мордехая Иш Шалом. Многих спрашивала: "А что это за премия?" Некоторые из них откровенно думали, что это – "человек мира", не зная, что у этого человека есть имя Мордехай, что он был мэром Иерусалима.

Б.Р. - Понимаю: "Бен Гурион – аэропорт", Тэдди Колек – стадион". Прямо из этой оперы.

Г.П. - Да. Четыре раза Мордехай Иш Шалом встречался с Шагалом. Они обсуждали вопросы развития искусства и культуры Израиля. Со временем была учреждена премия для деятелей искусства - премия Мордехая Иш Шалом. Тедди Колек тоже имеет прямое отношение к Шагалу. Они встречались в 1965, в 1969 году, а в 1977 году по предложению Тедди Колека за вклад в культуру Израиля и в связи с 90-летием Шагалу присвоили звание «Почетного гражданина Иерусалима».

Б.Р. - Вы знаете, хотя бы ради этих фактов ваша книга "Шагал и Израиль" нужна в Израиле. Галина, а чем вы занимаетесь теперь? Какие планы на будущее?

Г.П. - Продолжаю честно рассылать книги по библиотекам. Собираюсь поехать на выставку в библейских работ Шагала в Хайфу (она должна открыться во второй половине января).

История распорядилась таким образом, что когда Шагал в 1954 году был почетным гостем в доме художников севера, который потом назвали «Дом Шагала», ему вручили символический ключ от искусства Израиля. Было сказано, что этот дом художника – это его дом на всю последующую жизнь.

В Иерусалиме - иначе: каждый день слуги народные смотрят на панно, которые созданы руками Шагала, на гобелены, которые созданы Шагалом, ходят по полу, который создан Шагалом, принимают послов, проводят самые важные мероприятия в зале Шагала. 50 лет витражам "12 колен Израилевых" в Иерусалиме. Сколько ждать? До 100? До 120? Или до нового "колена"?

Б.Р. - А можно ли одним словом определить, что значит для вас Шагал?

Г.П. - Для меня Шагал – это здоровье – ощущение, которого нет в работах других гениев века, скажем, Пикассо, Дали, Модильяни, Утрилло. Думаю, что для многих - также. Просто не все задумывались над этим. Человек инстинктивно тянется к здоровому, к мифологемам здоровья – полет, материнское лоно, беспрепятственное преодоление пространства (перешагнуть с крыши одного дома на другую)... и большая разделенная любовь. Такой ассоциативный ряд выстраивается, когда речь заходит о Шагале. В данном случае произошло счастливое совпадение сути природы и явления культуры. Это тот случай, когда миф – не выдумка, миф – действительность, когда происходит совпадение положительной мотивации у художника и зрителя. Понимаете, когда целенаправленно занимаешься художником масштаба Шагала, его личность и отношение к жизни начинают накладывать отпечаток и на тебя. Я черпаю силы в шагаловскомприятии мира и любви к жизни, в которой преодоление преград форсирует продвижение вперед.

Б.Р. Спасибо вам, Галина.

В год 125-летия Шагала Галина Подольская награждена дипломом Федерации союзов писателей Израиля "За сохранение

*культурного наследия", как автор концепции Фестиваля искусств
"По следам Шаггала".*

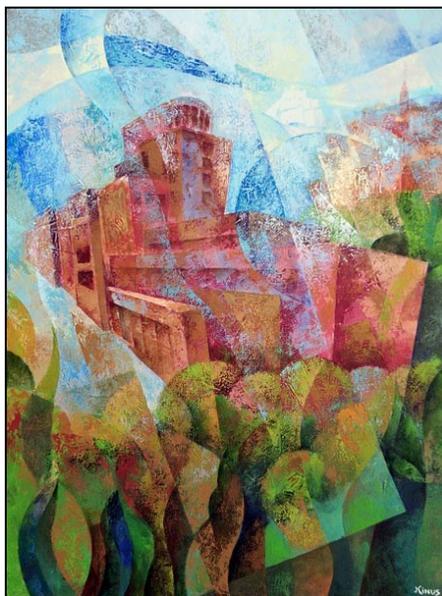


Галина Подольская

Ной Троицкий и Виктор Кинус



Более 20 лет Виктор Кинус выставляется в Израиле - Ашдоде, Тель-Авиве, Иерусалиме. Одна из излюбленных тем художника – Баухауз в живописи.



Архитектурный стиль, характерный для Израиля 1930 и 1940 годов, обрел на картинах Виктора Кинуса свое лирическое звучание, атмосферу поэтического модерна, соединив совокупность тенденций в изобразительной культуре от серебряного века до дня сегодняшнего.

Сам художник называет свой стиль «романтическим сюрреализмом», поскольку в нем сказалось романтическое начало от воспринятых с детства гриновских образов, которые со временем перешли в напряженный поиск созвучий в израильской

культуре. Так появились голубые бау-города Виктора Кинуса на Земле Обетованной.

Виктор Кинус – замечательный мыслящий художник. Широкий кругозор и знание истории архитектуры помогают Виктору Кинусу художественно воссоздать свою урбанизацию – в стиле архитектуры изучаемой страны – передать все так, как если бы время и людская безответственность не трогали изначальное чудо архитектурного Бау. Такова суть художественных образов городов, созданных художником, очищенных от суеты повседневности.

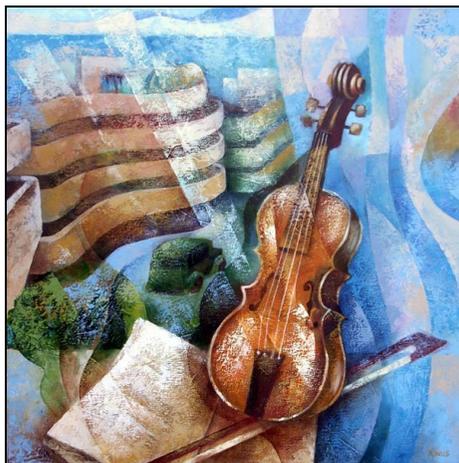
В течение 2012 года в Ашдоде состоялись две примечательные выставки Виктора Кинуса по теме архитектурных фантазий, порадовавшие глаз и эстетические чувства зрителей. Первая выставка, составленная из работ «Баухауз», проходила весной этого года в городской галерее «Дуэт», вторая - в сентябре, в фойе концертного зала «Аудиториум Рами Наим». Вторую выставку составили фантазии в стиле тель-авивской эклектики и в стиле «Баухауз», но в этих фантазиях узнаваем каждый конкретный иерусалимский и тель-авивский дом – в новой волнующе-духовной композиции, подчеркнутой живописным почерком художника.

Развитие историко-культурного процесса таково, что находки и обретения мастеров прошлого в искусстве не проходят бесследно, хотя кажущаяся видимая линия преемственности читается лишь пунктиром. Они находят своих последователей, или последователи находят их, потому что нужны друг другу независимо от времени их разделяющего. Так эстетические искания конструктивистов, приметы и предметы баухауза в архитектуре неожиданно зазвучали в живописи. Рационализм форм в новом времени и в новом материале внес неожиданную тональность. Романтизированный сюрреализм Виктора Кинуса внес виртуозную стильность в предметный мир художника. Архитектурным формам бау подчинились люди, деревья, скамейки, столы, натюрморты.

Баухауз как переключка эпох

Сталину нравился регулярный, парадный, в струнку вытянувшийся Петербург - петербургская имперская парадность. Он любил, когда его сравнивали с Петром Первым, хотя его стиль был стилем другого царя - николаевский классицизм, только раздутый до гомерических, несусветных размеров, как советский имперский ампи́р. Это замечаешь, когда разглядываешь эскизы Дома Советов и площади перед ним. Их проектировал

конструктивист Ной Троцкий - природный, естественный монументалист, которому не приходилось приспособливаться к набирающему силу и дыхание большому стилю мрачной эпохи. Самое большое количество эскизов было сделано Н.Троцким к проекту Дома Советов – его архитектурному завещанию.



В соответствии с Генеральным планом реконструкции Ленинграда 1935 года, Дом Советов планировалось построить на месте вновь создаваемого, советского центра города (южнее и далеко за границей прежнего, императорского центра Петербурга). Здесь, на площади, у главного административного здания Ленинграда, должны были происходить демонстрации и парады. Рассматривая нарисованную Н.Троцким арку, с удивлением узнаешь гиперболизированную арку Главного штаба. И вся площадь становится гигантской Дворцовой площадью, что не может не производить жутковатого впечатления. Впрочем, вокруг здания так и не было создано такого ансамбля, какой проектировал Н.Троцкий. Он умер в 1940 году после неудачной операции, когда здание еще не было готово. Россия первой трети XX века была связана с Эрец-Исраэль не только идеей сионизма, но и в области новых архитектурных исканий, имеющих общие истоки. Для подтверждения этой гипотезы попробуем окунуться в историю...

Чуть-чуть истории

Известно, что первый «баухауз» (здание завода Фагус в Дессау) был построен в Германии в 1914 году архитектором Вальтером Гропиусом. Но с приходом фашизма большая часть

архитекторов эмигрировала из Германии, хотя сначала некоторые пытались прижиться, даже писали Геббельсу: мол, гордятся, что именно в Германии появился новый стиль в архитектуре, что это, мол, революция. Но Геббельс, министр пропаганды, четко сформулировал свою позицию: «Нацистская Германия не нуждается в еврейско-большевистском искусстве». Так Тель-Авив стал столицей «баухауз», до нынешнего дня сохранив более трёх тысяч домов, в то время как в Германии почти все дома этого стиля разрушены, а в США их было немного. Вообще тель-авивский «баухауз» – это не агрессивная демонстрация новейших стройматериалов, - это стиль, полный настроения, пусть несколько сниженного, но психологического уюта, ощущаемого внутри пространства изгибающихся балконов и лоджий по всей длине строений.

Ной Троцкий: «Строительство дома» как трагическая ошибка

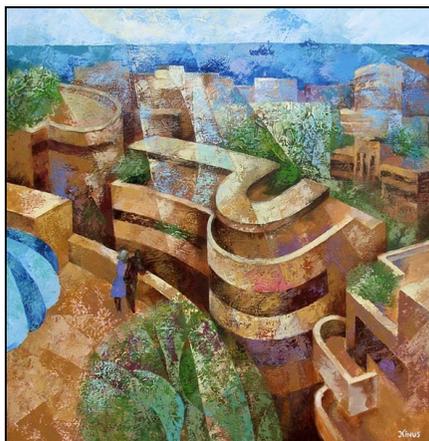
С иным «психологическим уютом» связан «баухауз» архитекторов-евреев, оставшихся в стране победившего большевизма. На сайте «Созвучие» (31 янв. 2005) читаем интересный материал о жизни одного из представителей «большевистского искусства» конструктивиста, как в первую треть XX века в Советской России называли архитекторов «баухауза». Итак, Ной Троцкий.

Слова «*А где тут у вас красота?*» была его любимая присказка. Он останавливался у проекта своего ученика, разглядывал будущее здание: вроде все функционально, конструктивно, позитивно, но как насчет красоты? Правда, красоту он понимал весьма своеобразно, как Дом Советов на Московском проспекте, в котором, как в архитектурной утопии, должно бы решаться все во благо человечества.

Новая архитектура – без отяжеленного наследия «ретро». Максимальная целесообразность строения как красота без украшений-излишеств, которые не служат целям общественного сосуществования. Функционализм как жилищная эстетика. Прагматизм как ведущая идея современности. Впрочем, и время, выпавшее на судьбу Н.Троцкого, было своеобразным по части гуманизма и прочих основ бытия...

Трехкомнатная квартира архитектора, в которой, помимо него самого, жили еще и его сестра, няня Арина, бывшая горничная купцов Дерновых, и впрямь напоминала «кукольный дом», правда русского интеллигента. Распланированная самим архитектором, квартира была завешана картинами его жены,

ученицы Петрова-Водкина, умершей в 1932 году от тифа. После ее смерти Н.Троцкий не женился и жил вдовцом, воспитывающим дочку и упрямо работающим на возведение домов будущего.



Его верность памяти умершей жены Екатерины не обсуждалась как данность, переселившаяся в копию витража святой Екатерины Сиенской. Старый витражист, работавший с Н.Троцким на строительстве Дома Советов, как-то подарил ему эту давнюю работу, сделанную им до революции в Италии. Во время блокадных бомбежек осколок снаряда пробил отверстие в нимбе над головой Екатерины Сиенской, но витраж в квартире Троцких уцелел.

Судьба саркастически распорядилась таким образом, что одно из лучших творений Н.Троцкого – Большой дом на Литейном – 4 – стал «пыточной башней». (Впрочем стоит уточнить: Троцкий проектировал только фасад здания) И.Бродский, тогда еще не Нобелевский лауреат, но уже отбывший ссылку туняец, однажды мрачно пошутил на краеведческую тему:

Под мостом течет река –
Быстрая такая.
На мосту стоит ЧеКа –
Страшная такая.

Так и есть – страшная... Даже в его облицовке здания использовались гранитные плиты с уничтоженных кладбищ. На выставке работ русских конструктивистов, представленной в 2005 году в Санкт-Петербурге, нет ни проекта, ни эскиза этого

Большого дома, в то время, по-видимому, засекреченного, зато известен год начала строительства - 1930...

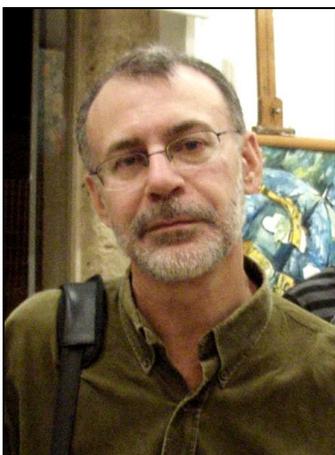
Некоторые из друзей были уже арестованы. Однако Н.Троцкий продолжал общаться с их семьями. Однажды за столом в присутствии дочери выпущенный во время короткой «бериевской оттепели» один из его друзей рассказал о пытках, которым был подвергнут в здании, чей фасад вычертил Н.Троцкий. Архитектор, не возражая, подвел грустный итог: «строительство дома» («баухауз» - дословно с немецкого) как трагическая ошибка. Утопленная в трудовоголизма угрюмость, которую принудили казаться жизнерадостностью... Такова лейтмотив, отлитая на Литейном, звучащая и в судьбе Ноя Троицкого, внесшего к классицистическую архитектуру Санкт-Петербурга иные оттенки лада. Архитектурные конструкции, глядя на которые, человек видит прямые линии изгибающимися, как иллюзорность того, чего в жизни нет. Геометрическая элегантность и сконструированная стильность. Искусственная простота и кажущаяся легкость и гибкость, даже если в основе архитектуры железобетон...



От архитектуры – к живописи

Виктор Кинус – один из наиболее интересных современных израильских художников – художник мыслящий, великолепно владеющий историей «баухауза» и творчески переносящий его принципы в живопись. Уроки эстетики

Н.Троцкого подсознательно проснулись через интерес к израильскому «бау» - баухаузу иного настроения, но тоже «бау».



Виктор Кинус (1957), выпускник факультета промышленного дизайна Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухомовой, в Израиле с 1990 года, живет в Ашдоде, профессионально занимается живописью. Он - участник ряда выставок в Израиле и за рубежом. В галерее З.Дилон в старом Яффо есть постоянная экспозиция работ В.Кинуса. В свете современного интереса к «баухаузу» на мировой арене нам представляются важными суждения художника, опирающегося на архитектуру «баухауза» в собственном творчестве.

- Как вы открыли для себя «бау», точнее, приняли его после классицизма Санкт-Петербурга? Как это соединилось?

В.Кинус:

- Архитектура Санкт-Петербурга классическая, первоклассная, созданная великими зодчими 18-20 вв., поэтому мне все время ее не хватает, вся моя молодость прошла в ней. Я сложился в ней как художник. Вместе с тем это были и впечатления от питерского конструктивизма первой трети XX века. Но тогда я не очень задумывался над этим. Работы Н.Троцкого стали сами собою всплывать в памяти после того, как начал углубленно изучать «бау» Тель-Авива.

Встает немало вопросов распространения «баухауза» в средиземноморском городе и северной столице России. «Бау» Тель-Авива совершенно отличается от «бау» Питера, хотя их и роднит общий стиль. Однако это разные аспекты одного

направления. В Петербурге – это в основном монументальные общественные здания – дворцы культуры, фабрики-кухни, райсоветы, заводы, вот хотя бы некоторые из очень длинного списка – Дворцы культуры им. Ленсовета и им. С.М. Кирова, фабрика-кухня Василеостровского р-на, Кировский райсовет, завод "Вулкан", фабрика "Красное знамя" и многие другие. В Тель-Авиве – жилые массивы города, комплексные застройки, чего не скажешь о питерском Бау – Конструктивизме. Но вот что интересно, некоторые из этих проектов принадлежат одному и тому же архитектору! Я говорю об Эрихе Мендельсоне, построившем в Израиле ряд зданий в 30-е годы, а в Ленинграде, в 1927 году, – здание чулочно-трикотажной фабрики «Красное Знамя», хотя не всё здесь так гладко – Э.Мендельсон, будучи очень возмущённым изменениями в строительстве, произведёнными против его желания, впоследствии отказался подписываться под этим проектом, тем не менее, направление заданное им, доминирует в конструкции и внешнем виде сохранившегося до наших дней здания...

- «Бау» в Вашей живописи появился спонтанно?

- Спонтанно, но не случайно. Художник, выросший в Петербурге, не может жить без ощущения стиля. Петербург приучает к потребности в стиле. В Израиле таким стилем для меня стал баухауз. Я все время фотографировал «бау», рисовал, потом начал собрать взб-картотеку по «баухаузу» и советским конструктивистам, чьи идеи во многом предопределили эстетическое место «бау» в мировом культурно-историческом пространстве. Некоторые из изданий стали настольными. Например, архитектурный путеводитель Нахума Козна «Bauhaus Tel-Aviv» (2003), фундаментальный труд Ницы Мецгер-Шмук «Dwelling on the dunes Tel-Aviv», включающий почти весь тель-авивский «бау», эссе Ильи Бокштейна, публикации в прессе Тали Хардавель, Зеева Гольдберга, Маши Хинич. Статья Яна Топоровского («Окна», 18.7.96) о представлении еврейского павильона в США (1937 и 39-й годы) за рубежом – работе кубофутуриста Арье Эльханани – натолкнула на некоторые размышления о судьбе «бау» в мире и понимании «бау» как романтического образа в истории израильской архитектуры и трагического в России.

- То есть русский конструктивизм первой трети XX века переродился в нечто иное?

- В Советской России конструктивизм так и остался мечтой, несостоявшимся штурмом небес, рывком в будущее. Он не переродился, он пригнетался к земле, а потом просто угас,

сохранившись в зарисовках, эскизах, макетах. Зато эпохальный неоклассицизм «каmodoобразно» расположился на предназначенном ему месте. По сути это была капитуляция «бау». Не удалось построить самое справедливое общество – отгрохав сверхдержаву. К счастью, Ной Трoцкий, один из моих любимых архитекторов-конструктивистов, себе не изменял. Для него, начавшего учиться на архитектурном факультете Академии художеств еще до революции, ампир и неоклассицизм были естественны. Но и конструктивизм был не менее органичен. Например, он восхищался Мисс Ван дер Роэ и Ле Корбюзье. Впрочем, нельзя не заметить, что «бау» самого Н.Трoцкого был другим. Собственно, именно этим он мне и интересен, как «бау», не похожий на средиземноморский, - монументальный, вросший в землю, brutальный.

- Получается, что Н.Трoцкий в принципе недотягивал до своих современников в Эрец-Исраэль?

- Почему? Просто – полярный аспект «бау». Н.Трoцкий никогда не переставал быть традиционалистом. Его ученики вспоминали, что одной из его любимых присказок была: «А помните, у Винченцио или Палладио вот тут была арка, а здесь балкон?» И тут же дорисовывал предложенный проект. Художественное мышление выше теории.

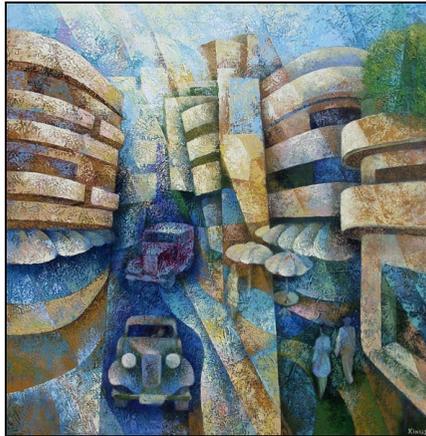
К тому же Н.Трoцкий был рисовальщиком от природы. В его проектах заметно, что он просто любит рисовать. На каждом, кроме здания, всенепременно изображены люди. Они монументальны, как и здания. По воспоминаниям современников, он рисовал всегда, где бы ни был, неизменно возвращался с кипой акварельных пейзажей. На одном из листов рядом с проектируемой школой изображена дама с собачкой. Ясно, что не только на дамских плечах удержится карниз, но и собачка тоже не подведет. И это, безусловно, импонирует моему образному мышлению.

Виктор Кинус: Ностальгия без ностальгии

При этом при всей фантазийности «бау» в живописи В.Кинуса по архитектуре он узнаваем! Будь то Тель-Авив, Иерусалим, Санкт-Петербург – или все вместе взятые как разные аспекты одного направления.

И так, мы логически подошли к апофеозу питерского конструктивизма на мой взгляд, творению Н.Трoцкого – Дворцу культуры имени С.М.Кирова. Картина по мотивам этого архитектурного памятника, написана художником в 2008 году. Вкратце о самом дворце. Выросший в 1932-1937 годах, как

первоклассный океанский лайнер на просторах так называемого Смоленского поля Васильевского острова, между Большим и Малогаганским проспектами - Дворец культуры вошёл в жизнь нескольких поколений ленинградцев – ещё бы, это был действительно очаг культуры – с театральным, кино и танцзалами, библиотекой, многочисленными студиями и кружками. Как уже было замечено, архитектор придал зданию форму стремительного лайнера, с соответствующими времени дизайном и стилем, чем и не преминул воспользоваться в своей интерпретации увиденного художник. В.Кинус мастерски проецирует на холст романтизируемый им образ здания, тонко, и в тоже время смело используя природное окружение, лихо закручивая всё это в интересной цветовой гамме и в присущем ему стиле...



Однако, в тоже время, даже при кажущейся прагматичности художник непредсказуем. Он не пытается передать адресность зданий и авторство архитекторов. И тем не менее в его работах явно угадываются тель-авивские очертания Зеева Рехтера, Соломона Лясковского, Эриха Мендельсона, Пинхаса Бизунского. А вот всё же в одной из площадей В.Кинуса напоминает интимную комнату, явно перекликаясь с площадью Зины Дизенгоф. Когда-то Женья Авербух выиграла конкурс на лучший проект центра Тель-Авива. Круглая, как тарелочка, площадь из шести одинаковых по архитектуре, но различных по длине зданий.

В.Кинус развивает этот концепт по-своему, вписав в эту площадь скрипку музыканта, прибывшего в 1930-е годы из Германии. Композиция, показывающая ещё ту, первоначальную

площадь, без изуродовавшего её второго яруса, так и называется – "Скрипка с площади Дизенгоф".

«В.Кинус, - как замечает в предисловии к каталогу его работ искусствовед Эрмитажа Н.Бродская, - любит передавать глубину пространства средствами кубизма, но это не аналитический, четкий геометризм кубизма Пикассо. Скорее это нечто вроде архитектуры, природы или просто воздушной среды в разбитом зеркале: очертания ломаются, смещается горизонт, и город теряет конкретность, становится призрачным».

И вдруг, словно из волн памяти, появляется питерский трамвай. И в уютном средиземноморском «бау» звенит нашими воспоминаниями... Они ностальгически откликаются в нас, мыслящих по-русски, с корнями той культуры, в памяти которых еще живы те трамвайные линии. Там они сегодня уже закрываются. Так ведь здесь – пусть даже по последнему слову техники, но все-таки трамваи - еще не открыты... А мы уже восприняли эту иную для нас культуру как часть себя... А «Венка» или «Американка» так и ведет к окнам детства по набережной Шмидта, повизгивая и похрипывая, как скрипучая развалюха...



Такие трамваи живут в наших воспоминаниях, как и те объекты, которые мелькали перед глазами между остановками, оставаясь за стеклом, как первые зрительные впечатления о мире. Но при этом на остановке подергивалась дверь, и всегда можно было выйти.

Так когда-то один питерский мальчик вышел на улице Желябова и почему-то остановился у дома Н.Троцкого. Ни тебе мемориальной доски, ни таблички. Да и Троцкий не Лев Давидович... Только дом красивый...

А мальчик тот стал художником.

Я рассматриваю «бауживопись» В.Кинуса и вдруг, словно из какого-то другого временного измерения, но уж очень знакомый вопрос:

- Ну, и где тут у них красота?

- Везде...

Послесловие

Преемственность в искусстве... Как же это обогащает историко-культурный процесс... Творческие разработки мастеров прошлого непременно влияют на мыслящих художников, творящих ныне, будь-то архитектура, живопись прошедших эпох - инспирируют художников нашего времени переосмыслить опыт эпох. Так современный израильский художник Виктор Кинус в своих полотнах отражает произведения конструктивизма и баухауза, превращая их в магические объекты, несущие новую эстетическую нагрузку в романтическом сюрреализме живописца.

Виктор Кинус родился, в Санкт-Петербурге, закончил факультет промышленного дизайна в ЛВХПУ им. В. Мухиной (сейчас академия Штиглица) в 1986 году. С 1987 по 1990 учился живописи в мастерской известного ленинградского художника В. Шраги

С 1990 г. он в Израиле, проживет в Ашдоде, работал декоратором в театре "Габима". В настоящее время преподает в школе оформительское искусство и занимается живописью.



Семен Резник

История с биографией

К 125-летию со дня рождения Н.И.Вавилова

От автора



ноябре прошлого года исполнилось 125 лет со дня рождения великого ученого Н.И.Вавилова. В связи с этой датой я переработал вступительный очерк к книге «Дорога на эшафот» – первой, которую я издал после эмиграции из СССР («Третья волна», 1983). В очерке рассказывалась история подготовки и издания моей книги о Н.И.Вавилове в серии ЖЗЛ (1968). Но, чтобы не подводить участников описываемых событий, оставшихся в СССР, о многом я должен был умолчать. Сейчас этих ограничений нет, что и позволило дополнить написанное 30 лет назад.

С.Р.

Давно сказано: книги, что люди — каждая имеет свою судьбу. К этому можно добавить, что иногда судьба книги оказывается более драматичной, чем судьба ее автора.

К работе над биографией Николая Ивановича Вавилова я приступил летом 1963 года. Мне было тогда двадцать пять лет, за спиной было всего три года, правда, довольно интенсивной, журналистской работы в области популяризации науки. При этом случилось так, что, хотя по образованию я инженер-строитель, большая часть моих публикаций касалась биологических наук. Объяснялось это двумя причинами. Во-первых, тем, что в начале шестидесятых годов были совершены крупные открытия на стыке биологии с точными науками: физикой, химией, кибернетикой. А, во-вторых, тем, что в СССР биологическая наука находилась в катастрофическом положении — из-за того, что в ней господствовало так называемое мичуринское учение академика Т.Д. Лысенко.

Надо сказать, что в те годы большинство научно-популярных журналов и отделы науки многих газет делали немало для популяризации истинных достижений биологии, вопреки зубовному скрежету "мичуринцев".

Разумеется, прямой критики Лысенко и его "теорий" не допускалось. Невозможно было положительно оценивать работы Менделя, Моргана и других основоположников генетики. Однако, не называя запретных имен, не употребляя самих понятий "ген", "генетика", можно было рассказывать о нуклеиновых кислотах, как носителях наследственной информации; о хромосомах, в которых сосредоточены нуклеиновые кислоты; о синтезе белка, идущего по программе, записанной в нуклеиновых кислотах; и о многом другом, что говорило об успехах классической генетики и посрамлении "мичуринцев". Я старался использовать каждый случай, чтобы рассказать читателям об этих достижениях, которые в то время были свежей научной сенсацией.

Под Новый 1963-й год я окончательно порвал с инженерной специальностью, так как был принят в штат редакции серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Мне поручили вести раздел биографий ученых.

Заведующий серией ЖЗЛ Юрий Николаевич Коротков носился тогда с мыслью поставить издание биографий на научную основу, так, чтобы за обозримый период времени, скажем, за пять лет, можно было дать круг чтения по всей мировой истории. Это означало, что из необозримого моря имен великих людей требовалось отобрать 120-150 с таким расчетом, чтобы покрывались все основные исторические эпохи, все крупные страны мира (или хотя бы все регионы), все основные области культуры...

При этом, конечно, надо было соблюсти определенный минимум конъюнктурных требований, без чего план не утвердили бы высшие инстанции. Надо было, чтобы древность не довлела над современностью, чтобы не меньше половины героев будущих книг представляли Россию, а из этой половины — около половины советский период; чтобы революционеров было не меньше, чем писателей, и чтобы до половины революционеров были представителями так называемой ленинской гвардии.

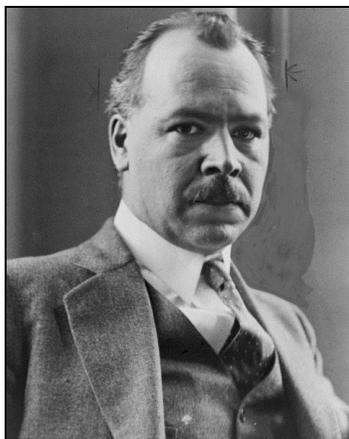
К счастью, конъюнктурные моменты затрагивали меня меньше, чем других редакторов: раздел ученых в серии ЖЗЛ, по крайней мере, подбором имен, дальше других отстоял от политической конъюнктуры. Главное требование, которое предъявлялось мне, состояло в том, чтобы были представлены все основные направления науки: физика, математика, химия,

биология, науки о Земле, но такое требование вряд ли можно считать конъюнктурным.

Должен сразу сказать, что из затеи с таким перспективным планом ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии — задача слишком сложная, чтобы производство книг можно было поставить на поток. На некоторые темы найти подходящего автора было невозможно, другой автор затянет работу на десять лет.

Однако, когда я пришел в редакцию, составление перспективного плана шло полным ходом, и мне пришлось включиться в эту работу. Списки видных ученых по основным разделам науки уже были составлены, но это было самое простое. Главное состояло в том, чтобы по каждой науке из десятков имен выбрать пять-шесть первоочередных и наиболее важных. Произвол должен был быть сведен к минимуму, поэтому мне приходилось консультироваться по каждому разделу с крупными специалистами, чьи мнения и должны были служить основанием для предпочтения одних имен перед другими.

При этом, естественно, я показывал ученым те разделы плана, которые были близки их специальности. И тут я столкнулся с удивившей меня закономерностью. Почти каждый, кому я показывал "его" раздел плана, непременно спрашивал: почему в списке нет Николая Вавилова?



Николай Вавилов

Я объяснял, что имя Вавилова стоит в списке биологов, а сейчас я хочу получить консультацию в области химии (или

математики, медицины — в зависимости от специальности консультанта), но на это я слышал в ответ: "В первую очередь вы должны издать книгу о Николае Ивановиче Вавилове!".

Особенно памятна мне короткая встреча в президиуме Академии Наук с академиком-секретарем Отделения наук о Земле Д.И. Щербаковым. Я попал к нему в неудобное время: он торопился на какое-то неожиданное совещание и не мог уделить мне больше двух-трех минут.

Бегло просмотрев список географов и геологов, Щербаков строго спросил:

— Почему нет Вавилова?

Я ответил, что Вавилов стоит в разделе биологов.

— Почему только биологов? — еще строже спросил Щербаков. — Это крупнейший географ двадцатого века. Он не просто ездил в экзотические страны за редкостями, а теоретически предсказал, где и что можно найти!

Не менее памятен для меня, хотя и в несколько ином аспекте, разговор с Семеном Романовичем Микулинским, историком биологии, заместителем директора Института истории естествознания и техники. Идею перспективного плана он полностью одобрил и заметно оживился, увидев в основном списке биологов имя Н.И. Вавилова.

Надо сказать, что в кругах биологов это имя было своего рода паролем. На сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» — оно давало четкий ответ. Хотя Вавилов был посмертно реабилитирован еще в 1955 году, наука, отстаивая которую, он погиб, — генетика, — оставалась «буржуазной лженаукой» и «служанкой ведомства Геббельса».

Микулинский сказал, что книгу о Николае Ивановиче Вавилове надо издать как можно скорее и подчеркнул, что это сейчас очень важно. О том, что вскоре я сам приступлю к книге о Вавилове, я не подозревал, и ответил, что найти автора для этой темы не просто, многие писатели, пишущие о биологии и биологах, еще недавно восхваляли Лысенко; привлекать для написания книги о Вавилове тех, кто славословил его главного врага, было бы кощунством. Тут же я заметил, что сказал лишнее, ибо Микулинский как-то сник и, после паузы, глядя в сторону, совсем другим тоном сказал:

– Ну, это все не так просто, у Лысенко есть заслуги...

Я понял, что имею дело с очень осторожным дипломатом.

Ю.Н. Короткову я сказал, что из встреч с учеными вынес твердое убеждение: наша первая задача — книга о Вавилове. Он

ответил, что полностью с этим согласен, но нужно найти подходящего автора. У него на примете никого нет.

Несколько дней я провел в библиотеке им. В.И. Ленина, где просмотрел массу популярных книг о биологах, селекционерах, растениеводах. Некоторые книги были написаны талантливо и умело, авторы других были откровенно бездарны. Однако и те и другие в большей или меньшей степени пели осанну мичуринскому учению и его главе Трофиму Денисовичу Лысенко. Кто только не отличился на этом поприще! Наиболее запомнились писания Вадима Сафонова, Геннадия Фиша, Юрия Долгушина, Александра Поповского, его сына Марка Поповского¹.

Обо всем этом я рассказал Ю.Н.Короткову, прибавив, что знаю только одного автора, которому можно было бы предложить эту тему. Правда, он не писатель. Но он превосходно знает предмет и владеет пером, так что никаких сомнений относительно того, что он сделает хорошую книгу, быть не может.

На вопрос, о ком идет речь, я ответил:

— О Жоресе Медведеве.

Объяснять, кто такой Жорес Александрович Медведев, необходимости не было: его работа "Культ личности и биологическая наука" ходила в самиздате, мне давали ее читать в отделе науки «Комсомольской правды», где я внештатно сотрудничал, я сам давал ее Ю.Н. Короткову. В «Комсомолке» я познакомился и с самим Жоресом Александровичем. Отделом науки была подготовлена большая – на газетную полосу – статья о лысенковском лжеучении. Она вот-вот должна была пойти в номер, и Ярослав Голованов (тогда сотрудник отдела науки) потирал руки, предвкушая, как прямо ночью поедет в дом, где жил Лысенко, и опустит свежий номер газеты в его почтовый ящик.

Но... были приняты контрмеры, статья в газете не появилась, зато в партийной печати появились грозные нападки на

¹ См.: Вадим Сафонов. Земля в цвету, М. «Молодая гвардия», 1948. Геннадий Фиш. Наука изобилия, М., «Советский писатель», 1948. Юрий Долгушин. В недрах живой природы, М. «Культпросветиздат», 1952. Александр Поповский. Искусство творения, М., «Профиздат», 1948. Александр Поповский. Академик Т.Д. Лысенко, М., «Изд-во детской литературы», 1949. Александр Поповский. Восстановим правду, М., «Профиздат», 1950. Марк Поповский. Второе сотворение мира. М., «Молодая гвардия», 1960 и др. Большинство из этих книг переиздавались по многу раз.

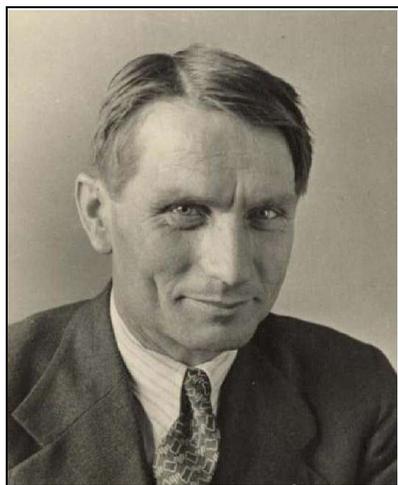
Ж.А.Медведева, В.П.Эфроимсона и других генетиков, «клеветующих на советскую науку».

Коротков мне ответил, что предлагаемый мною автор, безусловно, хорош, но руководство издательством не согласится заключить договор с такой одиозной личностью, поэтому обратиться к нему мы, к сожалению, не можем.

— В таком случае я попробую написать сам, — сказал я в значительной мере неожиданно для самого себя. И видя, что зав. редакцией встретил эти слова без энтузиазма, поспешил добавить. — Без договора!

Коротков ответил, что о договоре не может быть и речи, уже потому, что я — штатный работник издательства, а заключать предварительные договора со своими сотрудниками не принято. Кроме того, я никогда не писал ничего подобного, и у него нет уверенности, что у меня что-нибудь выйдет. Единственное, что он может мне обещать — это застолбить за мной тему и считать ее занятой до тех пор, пока я представлю рукопись или сам скажу, что книга не получается.

Условия меня устраивали, и я приступил к работе.



Трофим Лысенко

Первоначальным моим намерением было по возможности обойти в книге главный предмет спора между "менделистами-морганистами" и "мичуринцами". Поскольку Вавилов был не только генетик, но растениевод, ботаник, географ, путешественник, то мне казалось возможным подчеркнуть эти стороны его

деятельности, оставив в тени менделизм-морганизм. Именно в таком духе были написаны опубликованные к тому времени статьи и очерки о Вавилове, а также книга А.И. Ревенковой², литературно слабая (и научно лживая, чего я тогда еще не сознавал), где основные данные о жизни и деятельности Вавилова излагались без всякого упоминания Менделя, Моргана, Лысенко, ни слова не говорилось о генетических дискуссиях.

Однако знакомство с трудами Вавилова, с чего я, собственно, начал работу над книгой, сразу же показали мне, что он прежде всего и больше всего — генетик. Что все его достижения в прикладной ботанике и растениеводстве базируются на классической генетике; что он генетик по всему существу своего мышления, по всей стратегии научного поиска. Обойти это — значило исказить историческую правду. Ради чего же тогда писать книгу?

Либо надо было вовсе отказаться от задуманного, либо писать всю правду, не думая заранее о том, что она будет проходить через инстанции. То есть писать "в стол", как тогда говорили.



Выступление Лысенко в Кремле

Впрочем, не могу сказать, что передо мной всерьез встала такая дилемма. Личность Н.И. Вавилова настолько захватила меня, что ни о каком "либо — либо" речи уже быть не могло.

Около года я писал "в стол", ни о чем постороннем не забываясь и проходя вместе с моим героем по путям познания, по каким сам он шел в пору своего ученичества и построения своих основных научных теорий. Я старался уже в первой части книги

² Ревенкова А.И., Николай Иванович Вавилов, 1887-1943, М., изд-во с.-х. литературы, 1962.

прорисовать глубокое различие между умозрительной эволюционной концепцией Ламарка, на которой базировался Лысенко, и эволюционной концепцией Дарвина, углубленной и уточненной на основе законов генетики, — на ней базировался Вавилов и другие "менделисты-морганисты". Ученичество Вавилова, выработка им своих научных позиций были удобной сюжетной канвой, на которую я нанизывал "драму идей" вокруг механизмов эволюции, как эта драма разыгрывалась в истории биологии.

Вторая часть книги естественно отводилась основным теоретическим работам самого Вавилова, базировавшимся на предшествовавшем развитии биологии, в особенности важнейшим из них: закону гомологических рядов в наследственной изменчивости и теории центров происхождения культурных растений.

Мне стало ясно, что эти открытия поставили Вавилова в ряд величайших биологов мира, таких, как Линней, Мендель, Морган, и я старался показать, что во включении его в этот ряд нет никакого преувеличения.

Закон гомологических рядов вводил порядок во внутривидовую изменчивость культурных растений и позволял предсказывать обнаружение в природе вполне определенных, хотя и еще неизвестных науке форм. (Этот закон не случайно сопоставляли с законом Менделеева в химии).

Теория центров происхождения шла еще дальше: она показывала, в каких районах земного шара сосредоточен основной генетический потенциал видов и внутривидового разнообразия культурных растений, то есть где следует искать недостающие формы.

Третья часть книги — ее еще предстояло писать — была посвящена экспедициям Вавилова, в которых он блестяще подтвердил и уточнил свои теоретические концепции, собрал богатейшую в мире коллекцию культурных растений и затем использовал ее для создания теоретических основ селекции.

Четвертая часть должна была повествовать о генетических дискуссиях, аресте и гибели Вавилова.

Так, уже в процессе работы складывался ее общий план.

Был написан первый вариант двух первых частей, когда произошли события, заставившие меня заново вернуться к вопросу о публикации книги.

В октябре 1964 года был неожиданно снят со всех постов Н.С. Хрущев, причем уже на следующий день стало известно, что одним из пунктов обвинения против него значилась

"односторонняя поддержка Т.Д. Лысенко". Тотчас в печати — научной и общей — словно прорвало плотину. Полился целый поток критических статей, и в течение двух-трех месяцев от всего "мичуринского" учения не осталось камня на камне. Говорили, что Лысенко пытался жаловаться самому А.Н. Косыгину, ставшему после Хрущева главой правительства, но тот ему ответил:

— В печати идет дискуссия о биологии. Я слежу за ней с интересом. Вы тоже можете принять в ней участие.

Но без поддержки свыше Лысенко дискутировать не умел.



Выступление Лысенко на сессии ВАСХНИЛ, 1948

Вскоре Институт генетики Академии наук, возглавлявшийся Лысенко с 1940 года, то есть со времени ареста Н.И. Вавилова, был закрыт, и вместо него был создан Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова во главе с Н.П. Дубининым. Было принято решение о пересмотре программ обучения биологии в школах и вузах. Было сделано и многое другое.

Новое, и уже необратимое закручивание гаек началось в ноябре 1966 года. Но об этом чуть ниже.

Падение Лысенко поставило меня в очень своеобразное положение: моя будущая книга, с первых страниц рассказывавшая правду о Менделе, Моргане, основных законах генетики, и уже по одному этому совершенно непроходимая, вдруг превратилась в весьма выигрышную конъюнктуру! Велик был соблазн форсировать ее окончание, тем более что в воздухе ощущалось: весь этот "либерализм" ненадолго!

Поразмыслив над сложившейся ситуацией, я, однако, решил продолжать работу как будто ничего не случилось. Но теперь это могло касаться лишь темпов работы и ее углубленности,

но не той легкости и свободы, какие я испытывал до тех пор. Сознание, что книга может быть опубликована, автоматически включило внутреннего цензора. Впереди было самое главное — описание биологических дискуссий. Я понимал, что если в печати дозволяется критиковать сегодняшнего Лысенко, фальсифицирующего опыты по получению жирномолочной породы скота, то это вовсе не значит, что мне позволят раскрыть всю историю того, как советской страной выращивал Лысенко, как наделил его беспрецедентным могуществом, позволил разгромить науку и помог отправить на эшафот десятки лучших ученых страны.

В 1966 году в двух номерах журнала «Простор» (№№ 7-8) появилась повесть Марка Поповского «1000 дней академика Вавилова». В ней эта трудность была ловко обойдена: автор изобразил дело так, будто в возвышении неуча и шарлатана Лысенко был повинен не советский строй и лично товарищ Сталин, а сам Николай Иванович Вавилов. Это была неправда, для меня такой подход был неприемлем.

Материал, имевшийся у меня в руках, оставался взрывоопасным, и это невольно налагало отпечаток на все предыдущие части книги, тем более что их приходилось постоянно дополнять и перерабатывать, так как от учеников Н.И. Вавилова, с которыми я входил во все более тесный контакт, ко мне стекались документы и воспоминания, касавшиеся и тех периодов, которые уже были описаны.

Так, профессор Николай Родионович Иванов передал мне фотокопию обширной переписки Вавилова с его учителем и другом Робертом Эдуардовичем Регелем, который возглавлял в Петрограде Бюро по прикладной ботанике — то самое Бюро, которое после его смерти (в 1921 году) возглавил Вавилов и превратил во Всесоюзный Институт Растениеводства — всемирно известный ВИР.

Все письма из этой пачки оказались интересными, но одно из них особенно поразило меня. Это письмо Регеля, написанное 25 октября 1917 года, через несколько часов после большевистского переворота. В этом письме Регель называл большевиков "даже не политической партией", а "группой сектантов" и негодовал против "цвета нашей интеллигенции кадетов", которые позволили "сектантам" совершить этот переворот.

В книге, которая пишется в стол, письмо можно было привести целиком как пример отношения научной интеллигенции к большевикам и их власти. Но при открытой возможности опубликовать книгу это было бы безумием. Пришлось

процитировать письмо только частично, так, чтобы не насторожить будущих цензоров.

То же касалось многих писем самого Вавилова, в частности, из Палестины, которую он исследовал в рамках Средиземноморской экспедиции 1926 года. Я привел из этих писем только отрывки, касавшиеся сбора растений, и полностью опустил восторженные высказывания о еврейском национальном очаге и о еврействе, которое "с сумасшедшим энтузиазмом", как он выразился, строит жизнь на своей исторической родине. При той ненависти к Израилю, какой были нашпигованы газеты, цитировать эти высказывания было невозможно: они бы все равно шли под нож, а заодно могли разбудить антисемитские эмоции будущих рецензентов и цензоров.

При появившейся перспективе на публикацию основная задача первых трех частей книги невольно стала сводиться к тому, чтобы, рассказывая о Вавилоне, рисуя его образ, одновременно подготовить читателя к генетическим дискуссиям и в то же время, — усыпить бдительность цензоров, приучить их к восприятию книги как чисто просветительской, никого не задевающей.

И, разумеется, надо было быть предельно осмотрительным в моем собственном комментировании приводимого материала.

Всё, что можно было убрать в подтекст, надо было убрать в подтекст! Приводя, например, письма Н.И. Вавилова к выдающемуся генетику Ф.Г. Добжанскому, в которых Николай Иванович горячо уговаривал этого "невозвращенца" вернуться в СССР, обещая блестящие перспективы научной работы, я внешне демонстрировал "советский патриотизм" Вавилова, предоставляя самому читателю решать, кто был прав в этом споре: затравленный и погибший в тюрьме Вавилов или оставшийся в США Добжанский, которого, в случае возвращения, ожидала такая же участь...

И, конечно, наиболее строгой и тщательной самоцензуре была подвергнута заключительная часть книги — начиная с названия. Первоначальное — "Дорога на эшафот" — было заменено более нейтральным: "Битва в пути". Все материалы и документы о биологических дискуссиях, которыми я располагал, были просмотрены сквозь призму самоцензуры. Оставлено было лишь самое необходимое для правильной обрисовки картины.

Я закончил рукопись в ноябре 1966 года.

И как раз в это время сверху было спущено решение о "подготовке к празднованию 50-летия Великой Октябрьской Революции". Предстоящий год в этом решении объявлялся

юбилейным и в связи с этим "рекомендовалось" в "литературе юбилейного года" подчеркивать достижения советской власти и не акцентировать внимания на имевшихся в прошлом "ошибках".

Сразу же после этого в "Правде", где регулярно печатались статьи о деятелях партии, погибших в период "культы личности Сталина", исчезли упоминания о политических репрессиях. Практически полностью исчезли со страниц печати упоминания о преступлениях Сталина, зато стали подчеркиваться его "заслуги" в годы войны. Заметно приглушеннее стала критика и в адрес Лысенко, чему, как выяснилось, способствовали и некоторые специфические причины. Оказалось, что у Лысенко нашелся новый покровитель: тогдашний советский "президент" (Председатель президиума Верховного Совета) Николай Викторович Подгорный, который был его земляком.

Учитывая все это, зав. редакцией Ю.Н. Коротков сказал мне, что не считает возможным сейчас "соваться к начальству" с моей рукописью; нужно выждать более благоприятного момента. Я этому был только рад, так как не считал работу законченной. Во-первых, ко мне продолжали стекаться материалы о Вавилове, а во-вторых, мне хотелось хоть немного забыть свой текст, а потом заново пройти по нему, что никогда не лишне.

Выжидание подходящего момента длилось весь юбилейный год. Когда, наконец, он миновал, оказалось, что власти не намерены поворачивать к "доюбилейному" либерализму. Замораживание приняло необратимый характер. Стало ясно, что подходящего момента нам не дожидаться. И тогда Ю.Н.Коротков решил двинуть мою рукопись, к тому времени уже доработанную полностью.

В первую очередь нужен был хоть один положительный и более или менее официальный отзыв, но это не представлялось сложным, так как обязанности председателя Комиссии по сохранению и разработке научного наследия Н.И. Вавилова выполнял профессор Фатих Хафизович Бахтеев, один из самых преданных его учеников.

На протяжении всей моей работы над книгой он деятельно помогал мне, горячо одобрял мою работу и относился ко мне с такой симпатией, что, несмотря на разницу в возрасте, мы стали друзьями. Он и написал рецензию на мою рукопись, заверив ее не только своей подписью и титулом и.о. председателя комиссии, но и какой-то печатью. Эта рецензия послужила основанием для заключения издательского договора и одобрения рукописи.

Зав. редакцией, только теперь прочитав рукопись и поняв всю меру опасности, которая от нее исходит, решил не поручать ее редактирование кому-либо из штатных работников, чтобы не ставить их под удар. Он заключил соглашение на внештатное редактирование с недавно уволившейся сотрудницей Таней Ивановой (она перешла на работу в изд-во «Наука»). Это означало, что всю полноту ответственности за мою книгу он берет на себя.

Вместе с редактором мы снова прошлись по тексту. Какие-то места были исключены просто потому, что объем рукописи значительно превышал листаж, отведенный под нее в плане. Но главное было в другом. Заключительная часть книги делала ее совершенно непроходимой в новых условиях. Это понимала Татьяна, понимал Ю.Н.Коротков и отлично понимал я сам. Чем-то надо было жертвовать, и хотя мера жертвы, с моей точки зрения, должна была быть значительно меньшей, чем с точки зрения редактора, мы находили общий язык.

Заключительная часть рукописи усохла почти вдвое, причем изъятию подверглись, естественно, наиболее острые места.

Отовсюду было изъято имя Сталина — даже из лысенковских цитат: упоминание этого имени в каком-либо негативном контексте в то время уже полностью исключалось. Был выброшен большой кусок о травле академика Н.К. Кольцова, а также заключительные главы — о разгроме генетики на сессии ВАСХНИЛ 1948 года.

Был изъят рассказ об аресте Вавилова. От всего этого куса осталось в качестве иллюстрации факсимиле последней записки Н.И. Вавилова В.С. Лехновичу, в которой он просил выдать свои вещи «подателю сего» «в виду срочного вызова в Москву». (Вавилов был арестован во время экспедиции в Западной Украине, в которой его сопровождали Ф.Х. Бахтеев и В.С. Лехнович). Я надеялся, что вне контекста записка выглядит невинной и не обратит на себя внимания, но не тут-то было: позднее ее изъял Главлит.

Наконец, пришлось смягчить всю интонацию подачи материала. Хотя я пытался быть предельно сдержанным, но все-таки меня "прорывало".

В таком виде рукопись была сдана в производство, но это не означало, что ей обеспечена дорога к читателю. Позднее в издательстве ввели такой порядок, что все рукописи читались кем-либо из руководства: директором, главным редактором или его заместителем (для этого число начальников удвоили). До этого после заведующего редакцией начальство в рукописи не влезало, хотя могло заглянуть в верстку. Поэтому, уже после сдачи в

производство Ю.Н.Коротков решил, что наши позиции необходимо укрепить и для этого заручиться рецензией более сильного человека, чем Ф.Х. Бахтеев.

После долгих раздумий и колебаний мы решили обратиться к профессору В.Н. Столетову, заведующему кафедрой генетики МГУ и, что было особенно важно, Министру высшего и среднего специального образования РСФСР, то есть высокопоставленному представителю власти.

Обращаться к Столетову было рискованно: он сам еще недавно был активным лысенковцем, благодаря чему и получил свои высокие посты. Однако он стал поддерживать опальную генетику еще до падения Лысенко, почему сохранил эти посты в новой ситуации. Словом, риск выглядел оправданным.

Секретарша без долгих расспросов соединила меня с министром. В ответ на мою просьбу он сразу же согласился прочитать рукопись и предложил привезти ему ее на следующий день в МГУ, где предстояло заседание кафедры и где мне следовало его "поймать".

Я приехал заблаговременно, а сам Столетов опоздал ровно на час. Вся кафедра нервничала, и как только он появился, его обступили с разными вопросами. Я с трудом протиснулся сквозь толпу и назвал себя. Столетов бегло взглянул на меня поверх очков водянистыми глазами, сунул под мышку увесистую папку и заговорил с кем-то другим. Я ушел в уверенности, что он, скорее всего, забудет где-нибудь рукопись, и уж во всяком случае, будет читать ее месяца четыре — шутка ли: такой занятой человек!

Однако уже через неделю мне позвонили из секретариата В.Н. Столетова и сказали, что Всеволод Николаевич просит меня прийти к нему в министерство такого-то числа в такое-то время, если мне это удобно.

Мне было удобно!

...Разговор со Столетовым продолжался около двух часов. При этом у него был отключен телефон, и никто в кабинет не входил, за исключением секретарши, которая время от времени, по звонку, приносила жиденький чай в тяжелом граненом стакане. Прихлебывая чай, Столетов и вел разговор.

Столетов похвалил мою работу, высказал несколько незначительных замечаний и стал предаваться воспоминаниям о "том трудном времени", которое у меня, по его словам, было изображено верно. Беседу он вел не торопясь, по-доброму, по-стариковски. Ему нравилось, что книга написана "без лишнего нажима". Единственное, что он хотел бы, чтобы я имел в виду — не для исправления рукописи, а для личного сведения, — это что

академик Н.М. Тулайков (который у меня лишь несколько раз упоминается, поэтому и исправлять ничего не надо) сыграл отрицательную роль в науке. Он был наделен большой властью, был вхож в ЦК партии и пользовался этим для расправы со своими противниками.

То, что я знал о Тулайкове, свидетельствовало об обратном, однако я вспомнил: о Столетове говорили, что он сыграл в свое время какую-то роль в дискредитации Тулайкова и, если не прямо, то косвенно, повинен был в его аресте в 1937 году³. Поскольку все это не касалось моей рукописи, я возражать не стал.

Разговор кончился тем, что Столетов обещал в ближайшие дни написать рецензию; как только она будет готова, мне позвонят.

Прощавшись, я, словно на крыльях, полетел в редакцию. Поддержка министра кое-чего стоила! Кажется, только теперь я стал всерьез верить, что книга может увидеть свет.

Однако прошла неделя, вторая, третья, а никаких сигналов от Столетова не поступало. Ю.Н.Коротков, которого я успел обнадежить, стал нервничать. Со дня на день могла поступить из типографии корректура, в которую надо было внести те мелкие исправления, о которых говорил Столетов. Они были отмечены в оставшейся у него рукописи.

Я сам позвонил Столетову. Он объяснил, что был очень занят, но в ближайшую неделю непременно напишет рецензию.

Через две недели я позвонил снова.

Потом стал звонить каждую неделю...

Надо сказать, что Столетов не избегал разговоров со мной: стоило мне назвать себя, и секретарша тотчас с ним соединяла. Однако дело не двигалось, и это было неспроста.

Ибо буквально дня через два после столь окрылившего меня разговора со Столетовым, состоялся апрельский пленум ЦК партии, посвященный "идеологической борьбе на современном этапе". Это был сигнал к резкому закручиванию гаек: первая внутривластная реакция на события в Чехословакии (ведь шел 1968 год!).

Столетов оказался в затруднительном положении.

С одной стороны, он понимал, что я тесно связан с десятками крупных генетиков, все они ждут эту книгу, и если он, особенно после того, как одобрил ее на словах, зарубит ее, это станет известно всему ученому миру, в котором его репутация и

³ Аресту Н.М. Тулайкова предшествовала разносная статья в «Правде» В.Н. Столетова.

так стояла невысоко. С другой стороны, если книга выйдет и разразится скандал, издательство будет прикрываться его рецензией, и у него могут возникнуть куда большие неприятности, нежели пересуды в среде генетиков. Он, очевидно, решил заволыннить дело.

Однако я был настойчив, и, в конце концов, мне было сказано, что я могу приехать за рукописью и рецензией.

Когда я вошел в приемную, моя толстая папка лежала на столе секретарши. Я взял ее и хотел уйти, но секретарша спросила: — Вы разве не хотите прочитать отзыв?

Я развязал тесемки и быстро пробежал глазами страничку текста, которую Столетову "некогда" было написать несколько месяцев, после того как ему же недели хватило, чтобы прочитать пятисотстраничную рукопись!

В рецензии было четыре абзаца — три за здравие и один за упокой. В нем говорилось, что я "форсирую драматизм событий" и "заживо хороню живого человека"!

Что касается последнего, то тут, по крайней мере, было ясно, что делать. В конце книги говорилось, что Лысенко пережил свой бесславный конец, тогда как Вавилов продолжает жить после смерти. Жалко было убирать этот заключительный аккорд, да ведь стольким уже пожертвовано!.. Но как быть с "форсированием драматизма"? Тут сколько не убирай, все равно можно будет сказать, что драматизм форсирован!

Завязывая тесемки папки, я уже твердо решил, что рецензия не появится в издательстве. Лучше скажу, что Столетов надул и вернул рукопись без рецензии. Тоже радости мало, но оставляет хоть какой-то шанс. А с такой рецензией книга не выйдет ни при каких обстоятельствах...

Я уже взялся за ручку двери, когда услышал голос секретарши, многое понявшей по моему лицу:

— А вы не хотите поговорить с Всеволодом Николаевичем?

У меня и мысли не было говорить с ним после того, как я прочитал его иезуитский отзыв! Но тут вдруг решил: а почему — нет? Терять мне нечего!

...Пока я пересекал обширный министерский кабинет, Столетов широко улыбался мне ртом, а его светлые водянистые глаза смотрели поверх очков настороженно и воровато.

— Всеволод Николаевич! — я сразу пошел в атаку. — Что же вы написали? Ведь вы рубите книгу!

— Почему? Почему — рублю? — Руки его суетливо перебирали бумаги на столе. — Я дал положительный отзыв.

— Но вы же пишете, что я форсирую драматизм!

— Да, знаете, в конце там у вас... Как-никак Лысенко жив. Нельзя заживо хоронить человека.

— Хорошо, это место можно исключить. Но ведь у меня потребуют снять всю дискуссию.

— Нет, нет. Я имею в виду только последние страницы. Там как-то мрачно. Вообще у вас тон хороший, правильный, но на последних страницах мрачно. Я понимаю: арест, смерть... Но надо бы как-то помягче.

— Но тогда так и напишите, что речь идет о последних четырех страницах!

— Хорошо, хорошо, — закивал головой Столетов. — Давайте исправим... Где тут исправить? — и он, шурясь сквозь очки, почти под мою диктовку исправил последний абзац.

Через пять минут бумага была перепечатана и заново им подписана. (Однако второй экземпляр первого варианта рецензии я сохранил на память).

На следующий день вся правка была внесена в корректуру, которая уже два или три месяца лежала без движения в редакции, однако проволочки Столетова обошлись слишком дорого. Уже стояло лето 1968 года, и пока корректура проходила сверку, наступило роковое 21 августа: советские танки вошли в Прагу.

Вместе с оккупацией Чехословакии "бдительность" внутри страны была доведена до предела, и редакция захотела получить более надежный заслон, нежели слишком короткая и все же не лишенная двусмысленности рецензия Столетова. Решили пробиваться к академику Н.Н. Семенову, Нобелевскому лауреату, вице-президенту Академии наук, известному тем, что он в трудное время поддерживал генетиков и всегда непримиримо относился к Лысенко. Ведь это в его институте была создана лаборатория химического мутагенеза, которую возглавил Иосиф Абрамович Рапопорт, активно выступавший против Лысенко на сессии ВАСХНИЛ 1948 года, отказавшийся признать ее решения, исключенный за это из партии и на долгие годы отлученный от любимой работы. Однако прямого хода к Семенову нам найти не удалось. Пришлось действовать через Владимира Владимировича Сахарова, крупного генетика, с чьим мнением, как говорили, считался Семенов.

Сахаров прочитал корректуру и в разговоре со мной сказал много приятного. Он обещал показать верстку Семенову и попытаться убедить его прочитать ее или поставить свою подпись под отзывом, который напишет сам Сахаров.

К сожалению, влияние Сахарова оказалось недостаточным: будучи очень занятым, Семенов поручил ознакомиться с корректурой своему заместителю по Президиуму Академии члену-корреспонденту В.А. Ковде.

И снова начались проволочки, как со Столетовым, только с той разницей, что к Ковде дозвониться было невозможно: как только я называл свое имя, оказывалось, что Виктора Абрамовича нет на месте или что у него совещание.

Потеряв всякую надежду поймать его в Президиуме Академии, я воспользовался академическим справочником и позвонил ему по домашнему номеру. На мое счастье, он сам подошел к телефону.

Как только я назвал себя, он сказал:

— Я прочитал вашу книгу. Она не может быть издана. Сейчас, в свете чехословацких событий, это невозможно.

— Простите! — возразил я. — Но в моей книге ни слова не говорится о чехословацких событиях!

На это последовал ответ, который невозможно забыть:

— А вот это неправильное заявление. Это полемическое заявление!

Я положил трубку, не попрощавшись.

Пришлось удовлетвориться теми рецензиями, которые были.

Вторая корректура была уже подписана редакцией в печать, когда книгу захотел прочитать директор издательства В.Н. Ганичев, а, прочитав, понял, что от нее исходит немалая опасность. Рецензии, особенно столетовская, отчасти успокоили его, но он сказал, что корректуру надо показать в ЦК партии. Хорошо еще, что Ганичев был слишком ленив, чтобы самому заниматься этим делом, и у нас оказалась некоторая свобода маневра.

Мы понимали, что надо держаться как можно дальше от Отдела пропаганды. Не лучше был и Сельскохозяйственный отдел ЦК, где сидели бывшие лысенковцы. Единственная надежда оставалась только на отдел науки. В нем биологию курировали два инструктора: один — со странной фамилией то ли Ожипа, то ли Ожажа — в прошлом тоже лысенковец, а другой — Лев Николаевич Андреев, сравнительно молодой, не отягощенный лысенковским грузом.

Ф.Х. Бахтеев имел с Л.Н. Андреевым какие-то контакты и говорил, что тот производит благоприятное впечатление. Он и позвонил Андрееву и объяснил, что речь идет о книге, которую он читал и одобрил.

Корректуру Андреев продержал около месяца, после чего принял меня, и мы имели продолжительную беседу. У меня сохранилась копия моего письма директору издательства В.Н. Ганичеву, в котором я точно, по пунктам, излагал все замечания, высказанные мне в этой беседе Л.Н.Андреевым. Вот отрывок из этого письма:

"...хочу напомнить, что верстка моей книги по Вашему указанию была направлена на консультацию в ЦК КПСС, где в отделе науки ее рассматривал тов. Л.Н. Андреев, после чего передал ее на рассмотрение в Сельскохозяйственный отдел ЦК (как же наивно было наше намерение, отдавая верстку в один цеховский отдел, обойти другой! — С.Р.). В продолжительной беседе со мной Л.Н. Андреев высказал мне свои замечания и замечания работников сельхозотдела. Замечания сводились к следующему:

1. Изъять из текста приводимые мною косвенные данные об участии Н.И. Вавилова в декабрьском восстании на Пресне в 1905 году, так как в пользу этого факта нет неопровержимых доказательств.

2. Сократить сведения интимного характера в переписке Н.И. Вавилова.

3. Несколько расширить рассказ о его организаторской государственной деятельности.

4. В последней части снять упоминание факта о том, что И.В. Мичурин палкой выгнал Лысенко из своего кабинета, ибо этот факт приводится по свидетельству очевидцев, а не на основе документов, а также смягчить некоторые резкие выражения в адрес Лысенко, ибо некоторые работники на местах продолжают придерживать его взглядов и перевоспитывать их надо постепенно.

Все эти замечания, а также мелкие замечания, о которых мне не говорил тов. Л.Н. Андреев, но которые есть на полях корректуры, были мною учтены".

И это все?

Все!

И такова цензура самого ЦК? Да не слишком ли я боюсь собственной смелости? Может быть, в моей книге вообще ничего страшного для них нет!

С такими мыслями я покидал здание ЦК.

И меня почти не беспокоило, что письменного отзыва Андреев не дал, сказав, что у них это "не принято". И я не обратил особого внимания на то, что он подчеркивал несколько раз: он высказывает лишь свое личное мнение и мнение товарищей из

Сельскохозяйственного отдела. Замечания я могу принимать или не принимать. Это только пожелания, а не директивы. Я слишком хорошо знал, что у работников ЦК личного мнения не бывает: они говорят только "от имени и по поручению".

Вся правка была внесена, дописаны страницы две про организаторскую деятельность Вавилова (а об одном этом можно было бы написать книгу!) и корректура отправлена на вторую сверку.

Обычно вторая сверка для редакции если не ЧП, то очень большая неприятность, так как с ней связаны сверхплановые расходы. Но в данном случае это была такая мелочь, на которую не стоило обращать внимания.

Я ликовал, Коротков был доволен, а Ганичев окончательно успокоился.

Корректуру подписали в печать. С Главлитом я приготовился драться, опираясь на авторитет ЦК, однако и там все прошло гладко: сняли только факсимиле записки Вавилова Вадиму Степановичу Лехновичу, написанной в момент ареста, о чем я уже упоминал, а также в разделе «Основные даты жизни и деятельности Н.И. Вавилова» — последнее оставшееся упоминание о том, что он умер в заключении. При всей невозможности сказать об этом в основном тексте, я надеялся, что простое упоминание справочного характера проскочит хотя бы здесь. Не вышло...

27 декабря в редакцию принесли на подпись два сигнальных экземпляра книги.

Моя первая книга, которой отдано пять лет тяжелой работы, с которой связано столько тревожных волнений, которую с нетерпением ждал не только я, но ждали десятки людей, помогавших мне в работе и переживавших вместе со мной все перипетии ее "прохождения", — вот она, я держу ее в руках! Какой великолепный подарок к Новому году! Какой подарок ко дню рождения моей матери! (Ее день рождения был как раз 27 декабря).

Сигнальные экземпляры были подписаны и отнесены в главную редакцию, а я побежал в производственный отдел и выпросил один экземпляр для себя, чтобы показать его дома.

Если бы я знал, каким драгоценным окажется этот экземпляр уже через несколько дней!

Гроза разразилась третьего января.

Началась она с того, что Ю.Н. Коротков вошел в нашу комнату и, набывчившись, в упор глядя на меня, спросил:

— Это верно, что ты использовал неопубликованные материалы Жореса Медведева?

Я ответил, что использовал разные материалы, опубликованные и неопубликованные, и поскольку моя тема близка к теме Жореса Медведева, то возможно, что некоторые материалы совпадают. Во всяком случае, рукописью Медведева я не пользовался; он в курсе моей работы и никаких претензий мне не высказывал.

— Я так и думал, — ответил Юрий Николаевич уже другим тоном. — Однако тебя обвиняют в том, что ты в книге контрабандой протащил запрещенные материалы Медведева. Ганичева вызывают в ЦК партии. Отнеси ему рецензии.

Со всеми материалами я пошел к директору.

Он уже стоял в пальто. Я отдал ему обе рецензии и корректуру, побывавшую в ЦК, с пометками Л.Н. Андреева; объяснил еще раз, кто такие Бахтеев, Столетов и Андреев. Выслушав меня, он кивнул и уверенно сказал:

— Отобьемся! Когда вернусь, я вас позову.

Вернулся он через два часа, но меня не позвал. К концу дня я сам зашел к нему. Он сидел за своим столом весь красный, потерянный, жалкий.

Потом я узнал, что его вызывал "на ковер" сам В.Н. Севрук, куратор книжных издательств в Отделе пропаганды. Он кричал, топал ногами и требовал ни в коем случае не выпускать книгу. У Ганичева не повернулся язык сказать, что весь тираж ее (сто тысяч экземпляров) уже отпечатан, а часть даже отправлена в Книготорг⁴.

Не зная еще ничего этого, я спросил:

— Валерий Николаевич! Что сказали в ЦК?

Он поднял на меня полные невыразимой тоски глаза и мрачно произнес:

— Оказывается, еще в январе (то есть год назад! — С.Р.) было принято решение прекратить критику Лысенко. К сожалению, я этого не знал.

⁴ Между издательствами и книготоргом имелось соглашение, по которому план считался выполненным, если в торговые организации отправлена десятая часть тиража; на остальную часть давалась полугодовая отсрочка. Поскольку моя книга стояла в плане 1968 года, а сигнал был подписан только 27 декабря, то в следующие три дня 10 тысяч экземпляров были в пожарном порядке сброшюрованы и отправлены в книготорг, в противном случае годовой план не был бы выполнен.

Я так и сел перед ним... Лысенко снова поставлен вне критики? Все возвращается на круги своя?! Книга, конечно, погибла, но это уже пустяк, если шарлатанство снова будет господствовать в целой науке!

— Вот! — Ганичев протянул мне экземпляр книги с торчащими из нее закладками. — Можете ознакомиться.

Еще на ходу, поднимаясь по лестнице с четвертого этажа на пятый, я стал просматривать "высочайшие" замечания.

Прежде всего, поразился их убогости.

Всего в книге (разумеется, в последней части) было отчеркнуто синим карандашом шестнадцать мест. Почти все пометки стояли там, где упоминалось имя Лысенко... Но ведь в книге это имя упоминалось сотню, а то и две сотни раз! Почему отчеркнуты именно эти шестнадцать? Может быть, здесь это имя сопровождается особенно "сильными" характеристиками? Оказалось, ничего подобного. Часто рядом, на тех же страницах, имя Лысенко стояло в более негативном контексте!

Было очевидно, что высочайший цензор лишь бегло пролистал книгу и черкнул там и сям без всякого разбора. Вот как делается дело в лучезарной советской действительности! Пять лет работы, труд рецензентов, редакторов, типографии – все коту под хвост только потому, что где-то ступенькой выше кто-то кисло поморщился! "Мы с ними играем в шахматы, а они с нами в домино", — как любил повторять мой друг и коллега по литературному цеху Владимир Порудоминский.

Я заново прокрутил в голове разговор с Ганичевым. С удивлением отметил, что он ни словом не упомянул о мнимом плагиате у Жореса Медведева (значит, это обвинение отпало!), зато сослался на какое-то секретное решение ЦК партии годичной давности, и мне вдруг стало понятно, что это блеф! Его просто запугали в ЦК мнимым постановлением те, кто, может быть, и хотел бы, чтобы оно было принято, да провести его бессильны!

В самом деле, как могло быть, чтобы существовало пусть сверхсекретное постановление, прямо касающееся печати, а об этом не подозревали не только такие рядовые работники как я, но и зав редакцией Коротков и даже директор крупнейшего издательства Ганичев? И как мог не знать об этом Главлит? И как могли не знать министр Столетов и сотрудник аппарата ЦК Андреев?

Да и наконец, в самое последнее время в печати появлялись статьи с критикой Лысенко. Академик Н.Н. Семенов даже в "Коммунисте" писал, что Лысенко и Презент "стремились к диктату в науке". Не мог же "Коммунист" печатать статью вразрез

с постановлением ЦК! Очевидно, что никакого постановления не было, а был донос на мою книгу, и ему дали ход! Но от кого он мог исходить? От Лысенко и его людей? Но ведь книга еще не поступила в продажу, ее еще никто не видел!

Позднее, от одного бывшего ученика Лысенко, который давно порвал со своим учителем, но сохранил связи в близких к нему кругах, мне стала известна технология этого дела. Я еще раньше знал, что библиотекой Министерства сельского хозяйства заведовала жена доцента МГУ Н.И. Фейгинсона, одного из самых агрессивных противников "формальной" генетики и преданного соратника Лысенко – почти единственного, кто сохранил ему верность после его падения. Мне однажды, еще в хрущевские времена, пришлось присутствовать на публичной лекции Н.И. Фейгинсона в Политехническом музее, из которой я навсегда запомнил замечательную фразу: «Основы мичуринского учения заложил Трофим Денисович Лысенко». Однако я не знал, что ведомственная библиотека Министерства сельского хозяйства включена в список тех, куда поступали сигнальные экземпляры новых книг.

По заведенному порядку сигнальные экземпляры каждой книги разносили по особому списку: в ЦК КПСС, КГБ, Книжную палату, Библиотеку им. Ленина и т.п. И вот мадам Фейгинсон, получив экземпляр, тотчас оттащила его мужу, тот — Лысенко. Так был сварганен донос, в котором, вероятно, говорилось и о Жоресе Медведеве. Книгу, как говорили в таких случаях, «поймали на разноске».

Я об этом узнал лишь через несколько месяцев, а в тот момент ощущение было такое, что против меня действует какая-то иррациональная сила, неведомая и неумолимая.

Прежде всего, я решил позвонить Л.Н. Андрееву: он давал добро на книгу и должен если не помочь, то объяснить, что происходит. Однако Андреев был предельно сух и немногословен:

— В вашей книге нашли идеологические ошибки.

— Но вы же ее одобрили!

— Вы не учли моих замечаний.

— Каких же? У меня имеется корректура с вашими пометками, все замечания учтены.

— Ну, я не знаю, я книги еще не видел. Этим занимается отдел пропаганды, у нас не принято вмешиваться в дела другого отдела.

Все это говорилось вяло, нехотя, сквозь зубы. Андреев давал понять, что если я вздумаю на него ссылаться, он от всего отопрется.

Пришлось действовать по китайскому принципу "опоры на собственные силы". Я поехал в Институт истории естествознания и техники, к моему давнему знакомому С.Р. Микулинскому, хотя и знал, что он не из тех, кто рвется на баррикады. Микулинский молча меня выслушал, после чего вызвал к подъезду институтскую «Волгу» и отвез меня домой к директору Института академику Б.М. Кедрову, который в это время «болел».

Кедров жил в большом академическом доме на улице Губкина. Дом боковой стороной выходил на улицу Вавилова[С.И.], а фасадом смотрел на Институт общей генетики имени Вавилова Н.И.

Бонифатия Михайловича Кедрова я тогда увидел впервые. Он сам открыл дверь и проводил нас в кабинет. Он был в распахнутой домашней куртке и шлепанцах, с двух или трехдневной, поблескивавшей серебром щетиной. Он был много старше, но значительно живее Микулинского, несмотря на избыточную полноту. Долго объяснять ситуацию ему не пришлось. Он просил оставить книгу на одну ночь и утром вручил мне подробный защитительный отзыв на четырех страницах на своем бланке. Правда, отзыв был адресован не в ЦК партии, где у него были прочные связи, а директору издательства «Молодая гвардия» В.Н. Ганичеву, которому мне и пришлось его вручить. Сыграл ли этот отзыв какую-то роль в решении судьбы книги, мне осталось неизвестно, но та готовность, с какою академик пришел на помощь, многого стоила.

Со своей стороны, я тоже написал Ганичеву письмо на 26 страницах, в котором подробно разобрал все 16 "замечаний" цеховского цензора, а кроме того, показал абсурдность утверждения о каком-то постановлении, запрещавшем критиковать Лысенко.

Не получив никакого ответа, я написал еще одну записку, в которой сопоставил мою книгу с только что вышедшей книгой Ивана Фролова "Генетика и диалектика". В ней Лысенко и его сторонники подвергались такой же острой критике, как и у меня.

Но Ганичев мне объяснил, что все это ровным счетом ничего не значит: книга Фролова научная, для специалистов, ее тираж 14 тысяч экземпляров. А моя книга дает живые образы, стотысячный тираж прочтут миллионы.

Однако вскоре выяснилось, что книга остановлена не полностью. Отправленные в Книготорг 10 тысяч экземпляров решено было не изымать. То ли в ЦК не разобрались, что изъять ее проще простого, так как она еще не распознана по книготорговой

сети и лежала в одном месте на складе, то ли работники Книготорга решили спасти книгу и "запудрили" мозги высшим инстанциям, только поступило указание отправить ее подальше от Москвы и распродать в сети Райпотребсоюза, чтобы она разошлась по деревням и не попала в крупные города. Говорили, что это Соломоново решение исходило от самого М.А. Сулова, главного идеолога партии. Я ходил в Книготорг, выяснял, куда именно направлена книга, и заказал пачку экземпляров из Кызыла, так как положенные по договору авторские экземпляры мне так и не выдали.

Ситуация осложнялась тем, что "покатили бочку" на заведующего редакцией Ю.Н. Короткова. После крупного разговора с Ганичевым и главным редактором издательства В. Осиповым ему предложили уйти "по собственному желанию".

К тому времени он возглавлял ЖЗЛ лет пятнадцать. Серия, как известно, была основана А.М. Горьким в 1933 году, но в годы позднего сталинизма она захирела, Коротков, можно сказать, возродил ее из пепла; в том, что серия стала пользоваться огромной популярностью и престижем, львиная доля заслуг принадлежала Короткову; с серией были связаны все его личные чаяния и амбиции. Он кинулся в ЦК партии, где, как он считал, имел покровителей, обошел одиннадцать кабинетов, но поддержки никто не обещал. Короткову шили "идеологически вредную линию", что, в частности, выражалось в издании биографии Чаадаева, написанной А. Лебедевым, Бертольта Брехта — Л. Копелевым и моего "Вавилова". Книги о Чаадаеве и Брехте вышли два и один год назад, так что последней каплей, переполнившей чашу, стала моя книга. Коротков срочно «заболел», в надежде переждать грозу. Мне он сказал:

– Я понимаю, что тебе надо бороться за свою книгу. Но учти, что чем громче будет шум, тем мне будет труднее.

Я старался шума не поднимать, ограничиваясь тихой дипломатией. Было поползновение написать письмо Л.И.Брежневу, но мой тогдашний друг и коллега по редакции ЖЗЛ Андрей Ефимов сказал:

– Ты же хотел вставить им перо, чего же теперь у них же просить защиты?

Довод оказался разумным, и я решил, что к ним обращаться не буду.

Мне удалось попасть на прием к президенту АН СССР М.В. Келдышу, он внимательно выслушал меня и, ничего конкретно не обещая, взял, как говорится, вопрос на заметку. Но когда мне неожиданно позвонил Владимир Дмитриевич Дудинцев

(для меня это было приятным сюрпризом, тем более что знакомы мы не были) и предложил устроить публичное обсуждение книги в Центральном доме литераторов, я вынужден был просить его этого не делать. В журнале «Знание – сила» была подготовлена обстоятельная рецензия на книгу, она стояла в номере. Не желая подводить журнал и моего шефа, я позвонил главному редактору Н.С. Филипповой и объяснил ситуацию. Она ответила:

– Спасибо, что вы меня предупредили, я сейчас пойду и сниму рецензию.

Ганичев поручил заниматься моей книгой своему только что назначенному заместителю Г. Криворученко, с которым у меня установились вполне корректные отношения. Я предлагал в качестве жертвы себя вместо Короткова, но Криворученко дружески посоветовал этого вопроса не поднимать, пояснив, что если я захочу уйти, меня держать не будут, но Короткова это не выручит. Таковы парадоксы бюрократической системы: мою книгу признали вредной, но административно страдать должен был не я, автор, а зав. редакцией.

Прошло несколько месяцев, ажиотаж спал, и о том, что книгу надо полностью уничтожить, уже не говорили. Письменного распоряжения на этот счет так и не поступило, а без этого издательство не могло списать колоссальные затраты. Дело явно спускали на тормозах, чему, я думаю, способствовали три обстоятельства. Во-первых, при всем моем старании не поднимать шум история гонений на биографию Н.И. Вавилова стала известна на Западе, о ней говорили радиоголоса, попала она в самиздатскую «Хронику текущих событий»⁵. Во-вторых, наметившаяся стабилизация положения в Чехословакии и ослабление протестов против вторжения в нее советских войск со стороны быстро привыкающего к подобным акциям Запада показали кремлевским руководителям, что настало время выступить с "мирными" инициативами. В этих условиях дразнить общественное мнение такой мелочью, как гонения на мою книгу, было неполитично. И третье, может быть, самое главное, состояло в том, что летом 1969 года в каком-то цековском санатории в одно и то же время отдыхали академик Николай Николаевич Семенов и глава отдела пропаганды ЦК партии Александр Николаевич Яковлев, и они совершали совместные прогулки. Семенов к тому времени был полностью в курсе того, что случилось с моей книгой, – об этом

⁵ Позднее она вошла в диссертацию о жизни и деятельности Вавилова, успешно защищенную в Техасском университете американским историком генетики Барри Менделем Коэном.

позаботился Юрий Николаевич Вавилов. Семенов ввел в курс этого дела А.Н.Яковлева и объяснил ему, насколько негативно в научных кругах воспринимаются гонения на книгу о Вавилове. Об этом я узнал только в 1997 году, когда будучи в Москве, обратился к А.Н. Яковлеву с просьбой о встрече и был им принят в его кабинете в фонде «Демократия». В ходе нашей довольно продолжительной беседы он вспомнил о том, как прогуливался с Н.Н. Семеновым и, вернувшись из отпуска, приструнил Севрука, о коем отозвался как о полном ничтожестве. Я спросил:

— Почему же вы держали при себе такого человека?

На это он ответил:

— А вы знаете, как он умел льстить!

Что-то пронюхав наверху, Ганичев решил книгу выпускать, но при этом внести в нее хоть какие-то изменения, чтобы отрапортовать, что "идеологические ошибки" исправлены. При этом под "ошибками" разумелись шестнадцать мест, отчеркнутых цевковым карандашом.

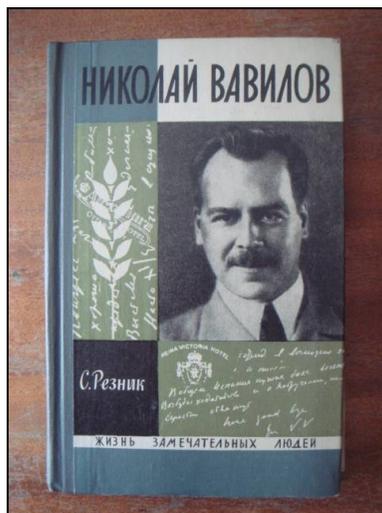
Как я уже отмечал, устранение всех шестнадцати мест ничего не изменило бы в книге по существу. Однако я выяснил в типографии, что если исправить все эти места, то потребуются заново набирать и печатать шесть печатных листов (целую небольшую книжку!); если же ограничиться частью пометок, сосредоточенных на последних тридцати страницах, надо будет перепечатывать только два листа. Когда играешь в домино, надо громче стучать костяшками, а не задумывать хитроумные комбинации на много ходов вперед. Исходя из этого, я предложил Ганичеву подойти к "идеологическим ошибкам" арифметически, и он кивком головы согласился.

Два печатных листа заново прошли весь издательский цикл: набор, верстку, сверку, подписание в печать, визирование Главлитом. 90 тысяч экземпляров первого варианта этих двух листов были пущены под нож и заменены новыми. Книга, представлявшая, в сущности, второе издание, вышла под первоначальной обложкой и с первоначальными выходными данными — обычный воровской прием, запутывающий следы.

Однако тайну сохранить не удалось. Жорес Медведев тщательно сверил два варианта книги и подсчитал, что в общей сложности было заменено полторы страницы текста. Он звонил в типографию и выяснил, что "операция" обошлась издательству в 27 тысяч (тогдашних!) рублей, поглотив всю запланированную прибыль. По радиоголосам прозвучала саркастическая заметка Медведева, заканчивавшаяся словами:

— Вот сколько стоят полторы страницы правды.

Я ходил по книжным магазинам – хотел посмотреть, как покупают мою книгу. Но она исчезала с такой быстротой, что мне ни разу не удалось увидеть ее в продаже.



15 лет спустя, в Нью-Йорке вышла моя книга «Дорога на эшафот» – доцензурный вариант последней части биографии Н.И.Вавилова. В нее вошли не только злополучные полторы страницы, но все 100 страниц, усеченных при редактировании.

Вашингтон



Борис Тененбаум

Испанская Партия

(окончание. Начало в №11/2012)

XXII



Встреча Франциско Франко с Адольфом Гитлером состоялась 23 октября 1940, на вокзала, в городке Андай, стоящем прямо на испано-французской границе. Поезд каудильо должен был прибыть ровно в 3:00 часа дня, но запоздал на целых восемь минут.

Поскольку фюрер лично ожидал Франко на перроне, вышло очень неловко.

О причинах опоздания впоследствии много говорили, и даже озвучивалась версия, согласно которой Франко опоздал нарочно, для того, чтобы *“...вывести Гитлера из равновесия...”*. Это более чем сомнительно - скорее уж это происшествие отразило состояние испанских железных дорог, оно было очень далеким от идеала.

Но, как бы то ни было, инцидент замели под ковер - Франко пожал руку Гитлеру и выразил свой восторг по поводу того, что *“...наконец-то ему выпало великое счастье лицезреть великого человека...”*.

Гитлер так далеко не пошел, но тоже сообщил своему гостю, что *“...давно мечтал его увидеть...”* - и на этом предварительная часть встречи была окончена, и началась деловая.

Для этого даже не понадобилось покидать вокзал - Гитлер прибыл в Андай на собственном поезде, и ровно в 3:30 дня в салон-вагоне поезда фюрера началось совещание. На нем присутствовало всего семь человек: Гитлер, Франко, Риббентроп, Серрано Суньер, переводчик испанской делегации, переводчик немецкой делегации, и пресс-секретарь германского МИДа, Пауль Шмидт.

Надо сказать, что присутствие пресс-секретаря впоследствии оказалось очень полезным для историков: есть четыре записи *“...встречи в Андае...”*: Серрано Суньера,

Риббентропа, барона де лас Торреса, переводчика с испанской стороны, и Шмидта.

Так вот - “протокол Шмидта” является записью наиболее подробной.

Ей, конечно, не всегда и не во всем можно верить - например, Шмидт утверждал, что поезд каудильо опоздал не на восемь минут, а на целый час. Это, конечно, неправда - Гитлер не стал бы дожидаться каудильо столько времени, стоя на перроне. Но все же записки Шмидта проливают свет на многие детали этого, право же, исторического совещания.

Оно прошло не так, как было запланировано в Берлине, и этому способствовал целый ряд различных обстоятельств.

Ну, для начала - Серрано Суньер прибыл в Андаи уже не в качестве чрезвычайного посла, а в качестве министра иностранных дел Испании. Буквально за неделю до встречи с Гитлером Франко внезапно сместил со своего поста главу МИДа, генерала Хуана Бейгбедера-и-Атенса, и назначил на его место Рамона Серрано Суньера.

По поводу отставки Бейгбедера ходило немало слухов - в частности, считалось, что его скомпрометировала связь с англичанкой, Розалиндой Фокс, которая, в свою очередь, снабжала сведениями сэра Сэмюэла Хоара, посла Великобритании.

Это сомнительно - Бейгбедер познакомился с прекрасной Розалиндой еще в 1936, на Берлинской Олимпиаде - а то, что она была его любовницей, было известно не то что Франко, а любому зеваке в Мадриде. Но, как бы то ни было, каудильо решил сменить своего министра иностранных дел буквально накануне встречи с Гитлером.

В Англии считали, что это “...шаг, приближающий Испанию к союзу с державами Оси...” - Серрано Суньер в Лондоне считался деятелем прогерманской ориентации.

В Берлине этого мнения не разделяли - он казался Риббентропу “...человеком, полным пустой гордости...”, да и Гитлер был о нем невысокого мнения. Об испанцах вообще в Германии в то время было принято говорить с легким пренебрежением.

Генрих Гиммлер, навестивший Испанию 20 октября 1940, за три дня до встречи фюрера с каудильо в Андае, даже укорил Франко в “...излишней жестокости...”.

Рейхсфюрер СС полагал, что держать в тюрьмах сотни тысяч побежденных республиканцев - дело совершенно излишнее. Конечно, зачинщиков, агитаторов и интеллигентов следовало извести под корень - но почему же не амнистировать рядовых

защитников Республики, "...тех, кто принадлежит к рабочему классу Испании...?"

Наверное, к наиболее радикальному суждению об Испании пришел рейхсмаршал Герман Геринг - он думал, что Германии следует пройти через испанскую территорию и захватить Гибралтар, а уж что подумают на эту тему испанцы - вопрос совершенно второстепенный. У него даже хватило ума поделиться этим мнением с Серрано Суньером, когда тот гостил в Берлине.

В общем, скрытых ловушек на испано-германской шахматной доске было предостаточно - но самое серьезное влияние на ход этой игры оказали не они, а иное событие. Как ни странно, оно случилось в совершенно другой игре - между Англией и Францией.

23 сентября 1940 года английские корабли напали на Дакар.

XXIII

Уинстон Черчилль был человек настойчивый. В июне 1940 года, когда оборона Франции рушилась на глазах, и дело явно шло к катастрофе, он всячески уговаривал французское правительство увести военный флот в английские порты. А когда уговоры действия не возымели, не поколебался использовать силу.

3 июля 1940 английские корабли обстреляли своих бывших союзников.

Операция наделала много шума, имела огромные политические последствия, но исполнение ее оставило много "незащитанных дыр". Одной из них было пребывание крупных военных кораблей в атлантических портах французских колоний.

В частности, в порту Дакара (в теперешнем Сенегале) стояла целая эскадра, во главе с новейшим линкором "Ришелье"[1].

Поэтому 23 сентября было организовано новое нападение - на этот раз с использованием каких-то сил "Свободной Франции" генерала Де Голля. Ну, Де Голль предоставлял главным образом свое имя - основные военные силы были английскими.

Успех предприятия был сомнительным - "Ришелье", правда, получил новые повреждения, но захватить Дакар не удалось. Французские колониальные войска не только остались верны правительству Пэтена в Виши, не только яростно защищались и подбили английский линкор - но еще и организовали контратаку.

Французские самолеты, вылетевшие из Дакара, дважды бомбили Гибралтар[2].

Этот факт произвел на Гитлера большое впечатление. Мы знаем об этом совершенно точно - 28 сентября Гитлер встретился с главой МИДа Италии, графом Чиано, и сказал ему, что намерения Франко захватить французскую часть Марокко попросту вредны для общего дела. Ну разве непонятно, что при попытке провести это пожелание в жизнь лояльность французских гарнизонов по отношению к Пэтену поколеблется.

Кто знает - может быть, они даже поднимут знамя "Свободной Франции"?

И свою беседу с Франко Гитлер начал как раз с пункта об испанских колониальных приобретениях:

"...если сотрудничество с Францией окажется возможным, территориальные результаты [для Испании] могут оказаться не столь значительны. Не лучше ли достичь успеха с меньшим риском и в более короткое время, чем пытаться получить максимальный результат? ..."

Франко ответил длинной речью, в которой всячески упирал на значение приобретения Марокко для Испании, на тяжелое положение с продовольствием, на необходимость поставок военных материалов из Германии, и закончил утверждением:

"...Испании не нужна помощь германских войск..."

Все это сильно не понравилось его собеседнику.

Шмидт отмечал потом, что каудильо раздражал фюрера даже манерой речи:

"... бесконечный монолог, произносимый писклявым голосом, монотонной песней, похожей на крик муэдзина, созывающего правоверных к молитве..."

Худшее, однако, было впереди.

Франко, ссылаясь на мнение своего военно-морского атташе в Лондоне, капитана Эспиноса де лос Монтенос, сообщил Гитлеру, что в случае успешной высадки германских войск в Англии правительство Черчилля продолжит войну - просто английский флот уйдет в Канаду[3].

В яростной вспышке раздражения Гитлер вскочил на ноги.

Он заявил, что *"... не видит смысла в продолжении совещания..."*.

XXIV

Переговоры, в общем, на этом могли и закончиться - но они не закончились. Был объявлен перерыв, в ходе которого Гитлер поделился с окружающими своими чувствами по поводу мелочности и тупости Франко, его узкого ума, неспособного

понять величие момента, и того, что он посмел подвергнуть сомнению близость полной победы над Англией.

По мнению фюрера, это была даже не глупость, а хуже - дурной вкус[4].

Впечатление, произведенное на Гитлера разговором с Франко, уловили и испанцы. Их переводчик, барон де лас Торрес, уловил слова фюрера, которые тот пробормотал при выходе из салона:

"...mit diesem Ker ist nicht zu machen..." – *"...с этим малым ничего нельзя делать [вместе]..."*.

Так что Франко принял это во внимание, и в ходе дальнейшей беседы был сама любезность. Он рассыпался в похвалах германской армии и гению фюрера, уверял в преданности общему делу, а при расставании даже сказал следующее:

"...если когда-нибудь настанет день, когда Германии действительно понадобится моя помощь, я встану на ее сторону, ничего не требуя взамен...".

Биограф Франко, Пол Престон, почему-то уверен, что слова эти были искренними. Он при этом ссылается на то, что, согласно мемуарам Серрано Суньера, тот был в ужасе от неосторожных слов каудильо, и опасался самого худшего - но, к счастью, *"...немцы ничего не поняли, и решили, что это обычная, ничего не значащая любезность..."*.

Тут нужно принять во внимание, что мемуары Серрано Суньера писались много позже встречи в Андае, что в ходе этого совещания сам он в беседах с Риббентропом делал все возможное, чтобы спустить переговоры на тормозах, что он не мог бы делать этого без полного одобрения со стороны каудильо, несомненно полученного заранее - и приходится признать, что немцы, скорее всего, были правы.

Немецкая делегация, отбывая домой, была не в лучшем настроении.

В частности, Гитлер честил Серрано Суньера *"...проклятым иезуитом..."* - он был уверен, что Франко целиком находится в кармане у своего слишком лощеного родственника, и делает все по его указке.

Что до общего хода совещания, то фюрер позднее сказал Муссолини, что предпочел бы скорее удалить три-четыре зуба, чем согласиться на еще одну встречу с Франко. Фраза эта, скорее всего действительно была произнесена - она не раз тиражировалась в различных мемуарах, и в самых разных

вариантах. Согласно одному из них, Гитлер называл Франко "жидом" - что не невозможно.

Фюрер видел евреев в самых неожиданных местах.

Например, он колебался при вручении "Железного Креста" летчику Адольфу Галланду - отважный пилот показался фюреру "...похожим на еврея..." - и даже то, что награда была дана по личному представлению Геринга, не показалось Гитлеру полной гарантией...

Но, как бы то ни было, негативное впечатление о Франко, сложившееся у фюрера, в Германии разделялось многими.

И базировалось оно не только на чувствах.

XXV

В октябре 1940, еще до встречи в Андае Гитлер повидался к Пэтеном и с Пьером Лавалем, фактическим руководителем правительства Виши. В свете случившегося "...акта британской агрессии в Дакаре..." возникли мысли о "...практическом сотрудничестве в вопросах обороны...". Франко говорил много хороших слов о своей готовности "...сразиться за правое дело...", но в практическом смысле придерживался сугубо холодного реализма. Французы же предлагали именно практическое взаимодействие, и начать его можно было в Сирии - там стояли французские войска под командой генерала Денца.

Тут было о чем подумать.

На перроне в Андае, прогуливаясь в ожидании поезда Франко, Гитлер сказал Риббентропу, что идею грандиозного надувательства - дать обещание Испании отдать ей французские колонии, подождать, когда она вступит в войну, и потом обещания не исполнить - эту идею придется оставить как непрактичную.

Потому что испанцы, в силу своей проклятой "...латинской болтливости...", не смогут удержать в секрете то, что будет им конфиденциально сказано. И коли так, то лучше не обещать им ничего, что может оттолкнуть французов от сотрудничества.

Что же касается просьбы Франко о поставке ему военных материалов, то материалы эти в испанских руках будут бесполезны - следует настаивать на участии германских войск в операциях против Гибралтара.

Но именно это условие Франко и отвергал - конечно, самым дружеским образом.

Он говорил вновь и вновь, что Испания готова предоставить Германии два миллиона бойцов - вот только надо снабдить их артиллерией, самолетами, танками, едой и горючим.

Все это вело в никуда.

Гитлер винил во всем “...жадность каудильо...”, Риббентроп считал Франко трусом, неспособным решиться на отважный шаг вперед, германское посольство в Мадриде посылало в Берлин сообщение за сообщением о мерах по подготовке к войне, срочно принимаемых Испанией - но время шло, никаких шагов Франко не предпринимал, а военные приготовления как-то понемногу начали носить характер “...укрепления испанских границ ...”.

Поскольку укреплялись они в основном на Пиренеях, то толковать это следовало скорее в негативную сторону.

Как раз в то время, когда посольство отсылало зашифрованные телеграммы начальству, Серрано Суньер беседовал с послом США, Уиделлом, и уверял его, что Испания ничего в Андае не обещала, что она хотела бы и дальше сохранять свой нейтралитет, и что вообще хорошо бы поторопиться с обещанными поставками зерна.

Что интересно, так это то, что предложение о поставках было всецело поддержано сэром Сэмюэлом Хоаром. Он тоже считал, что Испании следует дать некую премию за хорошее поведение, и что объявлять войну Англии она на самом деле не собирается, и что у него на этот счет есть вполне надежные сведения.

Сведения действительно имелись, и вполне надежные - испанский Генштаб составил доклад, согласно которому положение с военной техникой, продовольствием и всяческими военными припасами настолько скверно, что Испании следует воздержаться от каких бы то ни было резких движений.

Сэр Самюэл с документом был прекрасно знаком - он его в известной мере и составил.

Не следует думать, что дело было в прямом подкупе - вовсе нет, среди испанских военных и в самом деле имелаась влиятельная группа, стоявшая за сохранение нейтралитета - но значительные “займы”, которые предоставлял сэр Сэмюэл, тоже влияли на мнения испанского генералитета.

В свое время, в 1918, еще в Италии, Сэмюэл Хоар не “...создал Муссолини...” - это очевидная неправда - но он нашел его деятельность “...полезной для дела Англии...” и поддержал его газету субсидиями. Сейчас, в 1940, воздействовать на общественное мнение в Испании через прессу было затруднительно - она контролировалась ведомством Серрано Суньера.

Но повлиять на процесс принятия решений через отчеты Генштаба оказалось возможным.

XXVI

2 декабря 1940 года к уже действующему англо-испанскому соглашению о взаимной торговле было сделано специальное добавление: Британия брала на себя обязательства по доставке в испанские порты 150 тысяч тонн кукурузы из Южной Америки (главным образом, из Аргентины), и 100 тысяч тонн пшеницы из Канады.

В обмен Испания обязывалась не реэкспортировать полученное зерно, и не продавать определенные виды сырья в Германию и в Италию. Более того, испанская сторона даже обязывалась способствовать пресечению перевозок через свою территорию руды, добытой в Португалии.

Англичане брали на себя транспортировку – а оплату должны были обеспечить американские кредиты.

Серрано Суньер получил уведомление, от американцев, что “...многое будет зависеть от поведения Испании...”

5 декабря 1940 года Гитлер на совещании с верховным командованием вермахта принял решение просить Испанию пропустить через ее территорию германские войска.

Целью являлось взятие Гибралтара, намеченный срок - 10 января 1941.

В порядке дополнительного дипломатического воздействия Муссолини из Берлина было отправлено послание с просьбой:

“...использовать все свое влияние в Мадриде для достижения скорейшего положительного решения...”

7 декабря 1940 года в Мадрид прибыл адмирал Канарис. Он встретился с Франко в этот же день, в 7:30 вечера. При беседе присутствовал начальник испанского Генштаба, генерал Вигон[6].

Канарис официально предложил Испании *“...присоединиться к военным усилиям Рейха...”*, позволив частям вермахта пересечь испанскую территорию на пути к Гибралтару.

Франко ответил, что Испания попросту неспособна сделать такой решительный шаг в рамках сроков, указываемых германской стороной - слишком велики ее проблемы с продовольствием.

Он этим не ограничился, и сообщил своему гостю, что дефицит зерна в стране составляет около миллиона тонн, и что *“...английский флот, сохранивший свободу действий...”*, в случае вступления Испании в войну несомненно захватит Канарские Острова, и все прочие владения Испании, отделенные от нее морем.

Речь свою Франко закончил уверением, что он всей душой на стороне Германии и Италии, но *“...не хочет быть бременем...”* для своих доблестных союзников.

В общем, это был отказ - только что обставленный очень вежливо и лояльно.

В Берлине, что называется, не поверили своим глазам - там считалось, что на встрече в Андае было достигнуто принципиальное согласие. Вопрос был только в цене и в сроках. Поскольку захват Гибралтара предполагалось осуществить немецкими войсками, без всякой активной помощи Испании, то в чем же тогда дело?

Если дата начала операции, январь 1941, не устраивает Франко, то какая же его устроит?

Канарис получил инструкцию - срочно запросить Испанию о сроках, приемлемых для нее - и сообщил в ответ, что этот вопрос Франко он уже задавал, и ответ получил крайне неопределенный.

Уже потом, много позднее, ходило много разговоров на тему о том, что Канарис вовсе не давил на Франко, а наоборот, всячески поощрял его сопротивление требованиям Гитлера. Происхождение таких спекуляций понятно - в 1944 Канарис окажется вовлеченным в "заговор Штауффенберга", будет арестован и казнен - но во время описываемых событий, в декабре 1940, все еще было очень неясно.

Уж помимо всяких коварных наущений шефа абвера у Франко на руках имелись свежие факты, создававшие неопределенность: в середине ноября английская авианосная группа нанесла удар по Таранто, в ходе которого половина итальянского линейного флота оказалась выведенной из строя.

А за две недели до приезда Канариса в Мадрид состоялся еще один примечательный дипломатический визит - 25 ноября 1940 года туда прибыл В.М.Молотов с огромной делегацией советских специалистов.

Детали переговоров, скорее всего, остались для Франко неизвестны.

Но тот факт, что Уинстон Черчилль с похвальной беспристрастностью поприветствовал Молотова точно так же, как Серрано Суньера - английской бомбежкой Берлина - он, несомненно, отметил.

В общем, Франко решил, что риск вступления в войну много выше даже риска германского вторжения в Испанию - и поступил соответственно.

Испания осталась нейтральной.

XXVII

На этом "Испанская Партия" и закончилась. Черчилль в письме к генералу Исмэю заметил, что Гитлер вряд ли решится на вторжение в Испанию, потому что выигрыш будет невелик, а у него достаточно хлопот и без этого.

На письме стоит дата - 6 января 1941 года.

7 января 1940 года Соединенные Штаты одобрили испанские "зерновые кредиты".

В Берлине какое-то время поиграли с идеей силового решения вопроса, но анализ, сделанный германским Генштабом, дал результаты, очень схожие с мнением премьер-министра Великобритании.

Наступить пришлось бы по стране без хороших дорог, на расстояние в 1200 километров, не имея никаких местных ресурсов снабжения, и при том, что вторжение встретило бы сопротивление. Дело было даже не столько в самой испанской армии, сколько в том, что Англия несомненно провела бы высадку в Португалии и снабдила бы испанских повстанцев оружием. Выгоды же от захвата Гибралтара свелись бы к минимуму, если учесть вероятный захват Англией атлантических островных владений и Испании, и, скорее всего, Португалии.

Вопрос о вторжении отпал.

Тем временем пошла полоса неудач и поражений Италии, сначала в Ливии, а потом и в Греции. Внимание Германии на какое-то время переключилось на Балканы, а в июне 1941 началась гигантская война Германии с СССР, которая совсем другому расставила все приоритеты.

Испания осталась вне войны.

Франко в 1942 году сместил Серрано Суньера с поста министра иностранных дел, заменив его генералом Хордана. Тот уже был однажды главой испанского МИДа, но считался англофилом, и был за это уволен. В 1942 эта же репутация англофила привела его обратно[7].

Серрано Суньер, собственно, был смещен по внутренним причинам - он стал заирать себе слишком много власти. Между Фалангой, на которую он опирался, и армией начались трения, и Франко рассудил, что родственнику лучше сосредоточиться не на политике, а на частной жизни. Заодно он свалил на него ответственность за сближение с Германией - хотя в чем в чем, но в этом Серрано Суньер был совершенно неповинен.

Но, как бы то ни было, он действительно отошел от политической деятельности и занялся юридической карьерой.

Серрано Суньер умер в 2003 году, на 102-м году жизни, пережив таким образом не только каудильо, но и вообще всех прочих выдающихся участников испанской Гражданской Войны.

Что касается Франциско Франко, то он правил Испанией вплоть до 1975, и скончался в возрасте 83-х лет, так и оставаясь неоспоримым главой государства. Память по себе он оставил смешанную - в среде интеллигенции многие его ненавидели.

Тем не менее, Франко оказался очень способным правителем - достаточно сказать, что после Второй мировой войны, в течение долгих 10 лет, с 1945 по 1955, он умудрился нейтрализовать все попытки отстранить его от власти.

Раз за разом он доказывал и англичанам, и американцам, что только он может гарантировать Испании покой и порядок. "Испанская Партия", которую мы разобрали, была не единственной его победой.

Наконец, в порядке заключения - немного ниже помещен подлинный дипломатический документ того времени. Хотелось бы надеяться, что он окажется для вас таким же захватывающим чтением, каким кажется мне[8].

Документ приведен полностью.

**Телеграмма немецкого посла в Испании в
Министерство иностранных дел Германии**

Мадрид,

12 декабря 1940

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

В ответ на телеграфную директиву № 2246 от 11 декабря.

Адмирал был принят в 19:30 в присутствии генерала Вигона. Адмирал представил приветствие Фюрера и передал пожелание Германии предпринять нападение на Гибралтар в ближайшее время в связи с тем, что германские части должны прибыть в Испанию 10 января. Он сообщил также, что Фюрер считает настоящий момент наиболее благоприятным, так как части, которые сейчас выделены для операции, сразу по ее завершению планируются для использования в других местах, и не могут быть оставлены в Испании на долгое время. Адмирал сказал, что тотчас, как только части выдвинутся для операции, Германия начнет экономическую помощь.

На это генералиссимус объяснил адмиралу, что Испания никоим образом не может начать операцию в предложенный срок по следующим причинам:

1. Английский флот все еще обладает такой свободой действий, что успех, ожидаемый в Гибралтаре — который он

рассматривает как бесспорный и быстрый — очень скоро будет омрачен потерей Гвинеи, а затем и одного из Канарских островов. Далее Англия и США найдут предлоги для оккупации Азорских островов, Мадейры, и Островов Зеленого Мыса.

2. Несмотря на трудности из-за ограничения внешней торговли, Испания вела военные приготовления. Проводятся попытки наилучшим образом усилить оборону островов и побережья, а также усилить артиллерию у проливов. Однако все это сейчас не закончено; хотя это, однако, не является главной причиной, по которой Испания не может принять предложенную дату для операции.

3. Снабжение Испании абсолютно неадекватно, как относительно наличествующих запасов так и относительно их распределения. В настоящее время есть две проблемы:

а. Недостаток пищевых продуктов, особенно зерна, дефицит последнего оценивается в один миллион тонн.

б. Плохая транспортировка из-за недостатка железнодорожных материалов и из-за вынужденного ограничения в использовании грузовых автомобилей. Если добавить к этому прекращение морской транспортировки в результате войны, то ситуация во многих провинциях станет невыносимой.

4. Генералиссимус и правительство прилагают все усилия для преодоления этих трудностей. Производится закупка зерна в Южной Америке и Канаде; ускоряется закупка железнодорожных вагонов и локомотивов; производится закупка газогенераторов для грузовых автомобилей с учета возможности полного отсутствия бензина. Но начинающееся исчерпание запасов и ограничения во внешней торговле стоят на пути улучшений.

5. По этим причинам Испания не может вступить в войну в ближайшее время. Также Испания не в состоянии вести долгую войну, иначе это легло бы невыносимым бременем на плечи испанского народа. Кроме этого, длительная война, без сомнений, приведет к потере части Канарских островов, которые могут снабжаться только в течение шести месяцев.

6. Изложив все эти трудности, которые не позволяют Испании начать войну в предлагаемое время, генералиссимус хочет подчеркнуть, что он думает не только об испанских выгодах, а рассматривает также таковые для Германии, поскольку, по его мнению, в длительной войне ослабленная Испания несомненно бы представляла бремя для Германии.

Адмирал спросил генералиссимуса, означает ли это, что несмотря на то, что при настоящих условиях Испания не может принять дату 10 января, есть возможность установить несколько

более поздний срок. Генералиссимус ответил, что, поскольку устранение описанных трудностей зависит не только от Испании, то он не может назвать определенного срока, который не мог бы измениться под воздействием обстоятельств. В любом случае, его внимание и его усилия будут направлены на то, чтобы ускорить этот срок и завершить приготовления Испании. Ведется энергичная подготовка, которую адмирал сможет увидеть сам в ходе своего следующего визита к Проливам. Генералиссимус также показал адмиралу фотографии 240-мм мортиры, которая должна будет восполнить недостаток тяжелой артиллерии и бомбардировщиков, и испытания которой в настоящий момент завершены.

Генералиссимус считает желательным визит немецкого экономиста с тем, чтобы изучить текущее состояние дел Испании и сообщить о нем его правительству. Он согласен с адмиралом, что стоит осторожно продолжать подготовительные работы, которые наши страны ведут в настоящее время.

Затем он поручил адмиралу передать Фюреру его самые сердечные поздравления и содержание их беседы, а также выразил свое уважение адмиралу, и пожелание снова видеть его в Испании. Подписано Хуаном Вигоном, дивизионным генералом

Конец протокола

Примечания:

1. В Дакар линкор увели из Бреста сами французы, для того, чтобы он не достался немцам. Но в сентябре 1940 все могло обернуться по-другому, и рисковать этим англичанам не хотелось. На Дакар был устроен воздушный налет с авианосца "Арк Ройял", "Ришелье" получил в борт торпеду, утратил ход. Тем не менее, корабль оставался на плаву и сохранил всю свою мощную артиллерию. Если бы его сумели подремонтировать, Англия столкнулась бы с серьезнейшими проблемами, ее атлантические конвои оказались бы в опасности.

2. 24 сентября 1940 около 50 французских самолетов сбросили 150 бомб на Гибралтар. 25-го налет был повторен с удвоенной силой: было использовано около 100 самолетов, и сброшено 300 бомб, в основном на порт и портовые сооружения. Особого вреда бомбежки не причинили.

3. Капитан был хорошо осведомлен - именно это было обещано американцам Черчиллем, в ходе его переписки с президентом Рузвельтом. Можно только гадать, как до этой сверхсекретной информации добрался испанский военно-морской атташе - если только ему не предоставили ее специально.

4. См. “Franco”, by Paul Preston, Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers, New York, 1994, page 396.
5. Галланд Адольф (нем. Adolf Josef Ferdinand Galland) — немецкий лётчик-ас. В составе Легиона “Кондор” воевал в Испании. Отличился в ходе Битвы за Британию, впоследствии — один из руководителей люфтваффе, генерал-лейтенант авиации.
6. Генерал Вигон входил в число “друзей” сэра Сэмюэла Хоара.
7. Министры иностранных дел в период диктатуры генералиссимуса Франко с 1938 по 1945: Франсиско Гомес Хордана — (31 января 1938 — 3 августа 1939);
Хуан Бейгбедер-и-Атенса — (3 августа 1939 — 16 октября 1940);
Рамон Серрано Суньер — (16 октября 1940 — 3 сентября 1942);
Франсиско Гомес Хордана — (3 сентября 1942 — 3 августа 1944);
Хосе Феликс де Лекерика — (3 августа 1944 — 20 июля 1945);
8. Источник: <http://doc20vek.ru/node/1405>



Геннадий Несис

Вернуться в прожитую жизнь

Продолжение. Начало в №8/2012 и сл.



Представление о студенческой жизни у меня было довольно смутное. Оно базировалось на рассказах моего деда, причем возникших из двух, далеко отстоящих друг от друга, временных и социальных периодах.

Мой дед поступил в Политехнический институт имени Петра Великого по конкурсу аттестатов (вступительных экзаменов тогда не было) в 1906 году. Как внук николаевского солдата Николая Альтшулера, прослужившего в Русской армии 37 (!) лет, он имел право жительства в больших городах. Однако, для того, чтобы стать студентом вуза надо было попасть в тонкое горлышко трехпроцентной нормы, выделенной для абитуриентов иудейского вероисповедования. Вступительных экзаменов тогда не было, и зачисление производилось по конкурсу аттестатов. Для поступления в такие престижные институты, как Горный, Путьский или Политехнический, еврею, как правило, надо было иметь золотой или серебряный аттестат. При всей своей дремучести, этот, по сути дела, расовый закон, имел и положительные стороны.

Во-первых, его преимущество, по сравнению, с более близкими к нам, временами, было в предельной гласности. В послевоенное советское время официально объяснить чью-то неудачу при поступлении в институт или на работу, "пятым пунктом", было равносильно идеологической диверсии, почти преступлением. Как говаривал мой дед в те годы: «Бьют, и плакать не дают!» Точную характеристику правящему тогдашнему режиму дал недавно редактор легендарного перестроечного "Огонька", яркий публицист Виталий Коротич: "Жлобократия стала беззаконием, а не тиранией, как многие считали. Тирания – это хоть какие-то законы..."

А, во-вторых, - это дискриминационное положение стимулировало еврейскую молодежь к ответственному отношению к учебе. Уже с подготовительного класса каждый

ученик знал правила предстоящей борьбы, и проникался мыслью о необходимости получения высших баллов в гимназии или реальном училище. Жесткий, точнее – жестокий, закон конкуренции заставлял рано взрослеть, не лоботрясничать и серьезно изучать все предметы – от математики до Закона Божьего.

...Мой дед учился очень хорошо, но вот иностранные языки давались ему с трудом.

Помню, и в преклонном возрасте, знакомясь с иностранцами, он смущенно шутил:

«Вот и жена, и дочь у меня свободно говорят по-немецки и по-французски, а я в семье так и остался каким-то печенегом».

На выпускном экзамене в реальном училище задание по французскому языку было не из легких: за короткое время перевести фрагмент из драмы Корнеля.



Находясь в цейтноте, дед был вынужден списать у однокашника финальную реплику – «Кинжал закончил то, что начал я...») - и сдал экзаменационный лист внешне строгому и педантичному учителю. Через несколько дней он получил аттестат зрелости, в котором наряду с пятерками по остальным предметам красовалась столь необходимая отличная оценка по французскому языку!

В 1913 году Россия пышно праздновала 300-летие Дома Романовых, и выпускникам были вручены юбилейные, украшенные императорскими вензелями, дипломы Политехнического института. В том из них, который и поныне хранится у нас в семье, значилось, что «студент Иосиф Альшулер удостоен звания инженер-металлург и ему предоставляются все права и преимущества, законами Российской Империи с этим

званием соединяемые». Замечу, что этих прав и преимуществ у тогдашнего инженера было немало...

Прошли годы. Сменилась эпоха. Однажды на Невском проспекте ученик встретил своего старого учителя французского и поклонился ему безо всякой надежды, что тот его узнает.

- "Здравствуйте, здравствуйте, дорогой мой! Как я рад вас видеть! Должен признаться, что из-за вас я совершил тогда маленький проступок. У Корнеля в последней фразе было: «кинжал закончил то, что начал яд», а не «я». Так что, батенька, я сразу понял, что эту реплику вы второпях у кого-то списали. Но знал я и другое: стоит мне поставить вам хотя бы четверку и из-за одной недостающей буквы все ваши планы получить высшее образование улетучатся как дым. Поэтому, и взял я грех на душу - и не жалею об этом. Да, думаю, и Бог меня за это простит..."

Я много слышал и читал о замечательных людях старой России, но почему-то этот учитель стал для меня символом истинного русского благородства и интеллигентности.

Мне вообще посчастливилось. Мое детство прошло среди людей того давно ушедшего поколения, в которых самым парадоксальным образом органично сочетались внутренний аристократизм с удивительно демократичной манерой поведения. Эти старые по возрасту, но не по мироощущению люди, пережившие революции, войны, террор и голод, до конца своих дней оставались доброжелательными и веселыми, не были заражены микробами зависти и злобы, ядовитыми миазмами которых отравлена окружающая нас атмосфера.

Оглядываясь вокруг, невольно пытаешься найти людей, не подверженных этим болезням; сохранившим чувство собственного достоинства, но не гордыню, здоровое чувство юмора, но не язвительное хамство, и, главное, – способность на благородный поступок, а не на удачно состряпанный донос.

Семья новоиспеченного студента Иосифа Альтшулера была не очень зажиточной и проживала в небольшом флигеле на Бассейной улице (ныне улице Некрасова), напротив Эртелева переулка, носящего теперь имя А.П. Чехова. У владельца типографии Федора Альтшулера и его супруги Леи было четверо детей. Два сына с библейскими именами – Иосиф и Яков и две дочери Роза и Устинья.

Политехнический институт и сейчас находится в Лесном, - от центра на метро - 15-20 минут, но сто лет назад до альма-матер студентам надо было добираться на паровичке и, казалось, что учебные корпуса находятся далеко за городом. Студенты

предпочитали снимать там вскладчину небольшую квартирку и приезжали к родителям только на выходные дни и в праздники.

Понятие сессии в современном значении тогда не существовало.

Студенты слушали лекции, проводили лабораторные работы, а на старших курсах им предстояла практика на крупных предприятиях. Так Иосиф Альтшулер в 1912 году был направлен на один из знаменитых уральских металлургических заводов. На старости лет он с удовольствием вспоминал эту поездку и гордился тяжелой настольной лампой, вмонтированной в чугунную фигуру кузнеца-молотобойца. Этот необычный подарок будущий инженер получил на прощание от рабочих и мастеров завода, с которыми быстро нашел общий язык. Одна маленькая лампочка ввинчивалась в фонарь, укрепленный над всей композицией, а другая, - миньон, расположенная внутри наковальни, и создавала иллюзию раскаленного металла.

Изучаемые предметы сдавали по согласованию с профессорами целыми курсами или отдельными разделами. Наиболее памятным для моего деда был экзамен по физике. Который ему довелось сдавать тогда еще совсем молодому преподавателю- Абраму Федоровичу Иоффе. Будущий выдающийся ученый принимал экзамен в огромном кабинете, по стенам которого располагались книжные шкафы, заполненные фолиантами на многих европейских языках. Задав несколько вопросов экзаменуемому, Иоффе вышел из зала и плотно закрыл за собой дверь.

"Сначала я начал готовиться к ответам самостоятельно, но время шло, а преподаватель не появлялся. Я подошел к двери, потихоньку ее приоткрыл, за ней виднелся абсолютно безлюдный длинный коридор. Тогда я вернулся в кабинет, нашел на полке необходимый учебник по физике, и быстро списал с него недостающие данные на свой экзаменационный лист. Аккуратно вернув объемистый том на место, я успокоился и перевел дух. Теперь-то я был уверен, что высший балл у меня - в кармане. Прошло еще томительных полчаса, я уже подумал, что Иоффе просто обо мне забыл. Но вот, наконец, дверь распахнулась и Абрам Федорович, находившийся явно в хорошем настроении, расположился в кресле напротив меня. Я подал ему заполненный формулами и определениями лист. Иоффе лишь бросил на него взгляд, хитро, но доброжелательно улыбнулся и произнес: "а теперь господин студент давайте поговорим о физике..."

Собеседование длилось довольно долго и касалось различных разделов сдаваемого предмета. Не помню, какую

именно оценку получил мой дед, но судя по тому, как часто он возвращался к этой студенческой истории, экзаменатор и испытуемый, расстались довольные друг другом.

Когда я учился в девятом классе и проходил еженедельную практику в Институте Полупроводников Академии Наук, то не без гордости распахивал тяжелую дверь на набережной Кутузова, и с удовольствием перечитывал знакомую надпись на медной входной доске: "имени Академика Абрама Федоровича Иоффе".

С именами учителей своего деда, я встречался дважды и в своей студенческой жизни. Речь идет о профессорах Давиде Георгиевиче Ананове (кстати, тесте Михаила Моисеевича Ботвинника) и члене – корреспонденте Ан СССР Павле Павловиче Федотьеве, сын которого, профессор Николай Павлович был руководителем моей дипломной работы в Технологическом институте.

Студенческой компании, в которую входил и Иосиф Альтшулер, покровительствовал богатый зубной врач, холостяк лет 35-ти, эпикуреец, снимавший большую квартиру на Петроградской стороне. Видимо, ему нравилось находиться в окружении молодежи. Пока хозяин принимал пациентов, в его апартаментах можно было выпить вина, сыграть в карты, и, даже, уединиться с барышней. Для этого занятия у стоматолога были припасены дешевые конфеты- тянучки. Они прилипали к небу, и деликатная гостья, не желая показаться плохо воспитанной, стремилась избавиться от них без помощи рук. Это занятие отвлекало внимание и предоставляло свободу рук ее vis-à-vis. О дальнейших событиях мой дед предпочитал не распространяться.

По нынешним критериям мой дед в юности был человеком скромным и даже застенчивым. Он был замечательным сыном и братом, и, пожалуй, единственным его греховным пристрастием были карты. Роль карточных игр в досуге российского общества, начиная со времени правления Анны Иоанновны и ее фаворита Бирона была необычайно высока. Позднее, "язвительный поэт" Петр Вяземский отмечал, что: «Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий». А состоявший в конце 18-го века на русской службе, француз Шарль Массон в своих "Секретных записках о России времени царствования Екатерины II и Павла I", сравнивая светские развлечения европейских народов, возвысил любовь к карточным играм, чуть ли не до национального свойства русского характера: «У француза забавляются салонными играми, весело ужинают,

напевают некоторые водевили, которые еще не позабыты; у англичан обедают в пять часов, пьют пунш, говорят о торговле; итальянцы музицируют, танцуют, смеются, жестикулируют, их разговор вращается вокруг спектаклей и искусств; у немцев разговаривают о науках, курят, спорят, много едят, изо всех сил стараются делать друг другу комплименты; у русских встречается смесь всех возможных обычаев, а чаще всего – азартная игра: это душа всех их собраний и удовольствий, но она не исключает ни одного из других развлечений»

Однажды старшекурсник Иосиф Альтшулер играл в аристократическом клубе в старинную азартную карточную игру *Chemin-de-fer* или по-простому в железку.

Пожалуй, ни одна карточная игра не имела столь печальной судьбы. Попав в Россию из Франции только в начале XX века, «Железная дорога» феноменально быстро завоевала популярность. В нее играли во всех игорных домах России и на всех сборищах азартных игроков. Об игре упоминают многие писатели и поэты, обращающиеся в этот период к теме азарта, игры, корысти. Возникает даже своеобразный фольклор, посвященный шмендеферу. После революции «Железка» исчезает с такой же скоростью, с какой до этого появилась и уже в середине 20-х годах практически не встречается, просуществовав в России всего около 15 лет.

Правила этой игры были весьма своеобразны:

В игре участвует от двух до пяти человек. В клубах и игорных домах — до двенадцати. На каждого играющего необходима одна колода из 52 листов. Карты имеют определенную стоимость, например: туз — 1 очко, остальные — по достоинству.

Карты собираются в одну колоду и тасуются. Стопка снимается на две или три части. Верхняя карта снятой стопки всовывается поперек в середину колоды. Карты кладут на узкое блюдо боковым ребром вверх, рубашкой к игрокам. Подрезанная карта ставится поперек колоды, т. е. стоймя. В клубах и игорных домах для укладки карт употреблялся специальный лоток. В 1913 году для игры была даже изобретена специальная машинка с сильной пружиной, с тем, чтобы из отверстия ящика всегда была готова выскочить очередная карта.

Банкомет (крупье) назначает банк. Например, 10 рублей. Игрок, сидящий слева от банкомета, ставит любую сумму, но не более банка. Если поставленная понтером ставка менее банка, то следующий может ставить на часть или весь остаток. Также и

следующие игроки по очереди имеют право ставить свои ставки в остатке банка.

Затем банкомет, не дотрагиваясь до других карт, одним указательным пальцем правой руки сдвигает верхнюю карту приготовленной колоды и подвигает ее игроку, имеющему право вести игру. Это право принадлежит понтеру, поставившему более всех. Затем банкомет придвигает карту себе, затем вторую понтеру и вторую себе.

Банкомет и понтер смотрят свои карты. 8 и 9 очков («дамблэ») открываются и считаются выигравшими сразу. Если оба имеют по 9 или по 8 очков («En-carte»), то карты скидываются и метка продолжается.

Владимир Маяковский в 1922 году опубликовал в журнале "Крокодил" несколько своих гневных опусов с антирекламой "железки". Работу крупье он охарактеризовал следующим образом:

С изяществом, превосходящим балерину,
парочку карточек барашку кинул.
А другую пару берет лапа
арапа.
Барашек
еле успеваает
руки
совать за деньгами то в пиджак, то в брюки.
Минут через 15 такой пластики
даже брюк не остается
одни хлястики.
Без "шпалера",
без шума,
без малейшей царапины,
разбандитят до ниточки лапы арапины.
Вся эта афера
называется шмендефером."
И в финале карточного цикла дал такой суровый
совет:
"Удел поэта за ближнего болей.
Предлагаю
как-нибудь
в вечер хмурый
прийти ГПУ и снять "дамбле"-
половину играющих себе,
а другую
МУРу.

Судя по термину "дамбле", с правилами игры великий поэт был знаком не понаслышке.

"Понимаешь, - вспоминал мой дед - как ни подниму карты, так - дамбле! Мне даже становилось неудобно, но карта шла и шла. Со стороны можно было подумать, что играет какой-то фокусник или просто шулер!"

В конце концов, выяснилось, что за вечер студент выиграл 700 рублей золотом. В предвоенные годы - огромные деньги. И главное, у кого, - у голландского посланника. Дипломат был явно смущен – у него с собой не оказалось такой суммы. Выложив из бумажника двести рублей наличными, посол принес свои извинения и осведомился, нельзя ли недостающие пятьсот привести господину Альтшулеру домой. Растерявшийся и смущенный студент сообщил свой адрес, и поскорее покинул помещение клуба.

Прошло пару дней, и Иосиф стал уже забывать о столь неожиданно выигранных деньгах. Семья Альтшулеров в полном составе обедала в своей скромной квартире на Бассейной улице, и, вдруг, в их дворик въехала роскошная карета, украшенная золочеными вензелями Голландского Королевского дома. Из нее вышел сотрудник посольства в расшитом мундире. Раздался звонок, и Иосиф бросился открывать дверь. Голландский чиновник поклонился и вручил господину Альтшулеру запечатанный плотный конверт с сургучной печатью. Это был первый крупный гонорар моего деда, заработанный за ломберным столиком.

Можно себе представить удивление моей прабабушки Елены Григорьевны, молча наблюдавшей из-за стола за этой, почти, театральной сценой. На другой день она получила от сына роскошный подарок - мешок зерен, самого дорогого тогда, ароматного гватемальского кофе.

Мне самому довелось видеть деда за карточным столом нечасто. Были у него постоянные партнеры – два старых холостяка - преподаватели математики. Заядлые преферансисты занимали квартиру на первом этаже в одном из домов Невского проспекта с окнами, выходящими непосредственно на главную городскую магистраль. В домработницах у них жила моя бывшая нянька Ольга Яковлевна. В молодости она работала кухаркой "за повара" в богатой немецкой семье, и не привыкла экономить на своих гастрономических изысках, впрочем, надо отдать ей должное - готовила она превосходно. Иногда она заходила к нам и жаловалась на своих новых хозяев. Ей не нравилась их скардность, и, главное, непривычный режим дня. Видано ли дело ,

когда мягко говоря пожилые люди (старшему из них – Абраму Яковлевичу Шнеерсону было почти восемьдесят) еженочно принимают у себя партнеров и, чуть ли не до утра, расписывают пулюку. Пару раз они играли и у нас на Басковом.

Моя студенческая жизнь тоже, как это ни странно, началась с увлечения картами. Правда, играл я не в азартные игры, а в преферанс – игру, по словам моего деда, - "коммерческую". Моими партнерами были и бывшие одноклассники, и коллеги по шахматам, и даже мой недавний соперник Валерий Бахрах, к тому времени также, как и я потерявший надежду на завоевание Наталии Левитиной. Она поступила в Кораблестроительный институт, где познакомилась со своим будущим мужем Николаем Чечиком. Вскоре они влились в диссидентское движение, и после долгой борьбы за возможность покинуть страну перебрались в США.

Среди моих карточных партнеров бывали и весьма примечательные личности. Пожалуй, наибольшее впечатление на меня произвела игра в преферанс с популярнейшим в те годы композитором и обаятельным человеком В.П. Соловьевым-Седым. Зимние каникулы на втором курсе проводил я в Доме Творчества ВТО в Комарове.

Один из первых читателей этой рукописи, – старый мой приятель, опытный скрипач, более известный как автор популярных романов Леонид Гершович сурово указал мне, что истинный петербуржец должен говорить как Анна Ахматова: "в Комарове". Эти слова меня задели. Тем более что под моим любимым, пронзительным по искренности и понятным всякому немолодому человеку "Приморским сонетом":

"Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворечни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет..."

Рукой Анны Андреевны выведено:

"Комарово
1958"

И все же, я продолжаю говорить, что "частенько посещаю Пенаты в Репино" или, что "недельку до второго собираюсь провести в Комарово", а не в Комарове.

Для меня все же малой родиной остается Зеленогорск, где прошло мое летнее детство. Комарово осталось в моей памяти как

миф о дачной жизни советской интеллигенции. Пожалуй, откровеннее всех описал этот "поселок Солнца" Даниил Гранин:

"Комарово – это эпоха нашей российской интеллигенции, которой уже не существует. Интеллигенция кончилась. Остались интеллигентные люди более или менее. Во время расцвета Комарова оно было причалом интеллигенции как некой функциональной части общества, которая имела возможность соединяться ради каких-то акций, каких-то требований. В пределах тоталитарного общества, конечно, не более того. Но все-таки это было достаточная сила, которая перед лицом этого государства хотела, пыталась и могла объединяться.

Наша власть – глупая, всегда была глупее, чем народ. Сосредоточила в одном месте в непосредственной близости несколько домов творчества – писателей, композиторов, кинематографистов, театральных работников, журналистов, архитекторов. Надавала дач ученым и деятелям искусства. Наша глупая власть исходила из того, что «мы их тут сосредоточим - легче будет присматривать за ними, собирать информацию на них, они и сами будут стучать друг на друга – это очень удобное дело». Они не понимали, что люди, которые живут вместе поблизости – общаются. Сам по себе процесс общения, он, конечно, революционный процесс всегда. В этом смысле власть просчиталась.

Поскольку сейчас тоталитарного государства нет, функция интеллигенции кончилась, и нам не вокруг чего объединяться, разве только для временных разовых акций. Раньше в Комарове всегда вырабатывались какие-то мнения, происходили споры, в результате которых люди сходились вокруг того, что хорошо и что плохо, что надо и что не надо. Сейчас это людей интересует гораздо меньше, люди этим не заняты. Интеллигенции как социальной прослойки нет, и Комарово стало фактом истории."

В середине шестидесятых годов сомнительный комфорт, предоставляемый в этом заведении (с раковиной в номере и удобствами в коридоре) устраивал неизбалованных, несмотря на высокие звания, театральных деятелей. Кроме главного корпуса, в саду располагался еще один флигель. Кажется, когда-то он служил дачей прославленной русской актрисы Екатерины Павловны Корчагиной - Александровской. Именно туда и направили моего тогдашнего друга – студента Консерватории по классу скрипки и меня. В дачном домике условия, учитывая морозную зиму, были уж и вовсе спартанские. Мы там только ночевали, а время проводили в общей гостиной. Компания была у нас веселая –

студенты творческих вузов, популярный актер ТЮЗа Евгений Шевченко, обучавший нас пить водку "из горла", запивая ее молоком. Как-то после ужина, пока не наступило время богомных развлечений, коротали мы вечер у телевизора, перекидываясь в картишки, и вдруг раскрылась дверь и на пороге появился, судя не столько по габаритам, сколько по покрытой инеем шубе, представительный мужчина с рассеянным взглядом и растерянной улыбкой на лице. Так улыбаются сильные и добродушные люди, прошедшие некоторое время в одиночестве, и испытывающие желание присоединиться к какой-нибудь компании, причем вне зависимости от ее возрастного, интеллектуального или сословного состава. Такой выход из вакуума, возникшего по причине длительного запоя или нахлынувшего творческого озарения, необходим для быстрой адаптации во внешней социальной среде.

Оглядев присутствующих, приподнявшийся гость уверенно направился к нашему столику:

- "Ну что, молодые люди, не желаете ли сразиться в преферанс?"

Мы неуверенно переглянулись, узнав, знакомые по телевизионному экрану, и фотографиям в прессе черты Василия Павловича Соловьева- Седого, или, как называли его ленинградцы за глаза, - знаменитого ВПСС. Не обращая внимания на нашу растерянность, композитор, уверенным жестом швырнул свою шубу куда-то на диван, и с явным удовольствием плюхнулся в свободное кресло. Из карманов он достал явно заготовленный заранее сложенный вчетверо плотный лист бумаги, уже расчерченный под пульку, и граненый красный карандаш, толщиной в большой палец:

"- Привык, знаете, свои висты им записывать", – как бы извиняясь, объяснил нам Василий Павлович.

Играли мы не крупно. Наш именитый партнер прекрасно понимал, с кем имеет дело. Сначала наша команда держалась скованно. Конечно, опытный игрок и прекрасный психолог это сразу почувствовал, и, для разрядки обстановки, рассказал пару еврейских анекдотов. Мы восприняли их довольно сдержанно. Не почувствовав поддержки, автор "Подмосковных вечеров", ставших с легкой руки, или, в прямом смысле, с легких рук Вана Клиберна, - музыкальной визитной карточкой России, внимательно нас оглядел и мгновенно среагировал на увиденное:

- "Вы только, друзья, не подумайте, что я антисемит! У меня же жена - еврейка."

Это было произнесено так искренне и серьезно, что мы все расхохотались, и лед был сломан. Не помню, кто и сколько

выиграл в этой пулке. Разве это имело значение. Мы были горды, что общались абсолютно на равных с таким талантливым и ярким человеком.

Те давние зимние каникулы подарили мне еще одну встречу.

В дальнем одноместном номере, который, несмотря на обычное отсутствие удобств, был объектом вожделений ленинградской театральной элиты, поселился человек средних лет, старавшийся на фоне студенческой молодежи. В его облике парадоксальным образом сочетались черты опытного, много пережившего мужчины и любознательного, смешливого мальчишки. Тогда еще немногие знали его в лицо, хотя за его удивительными пьесами и сценариями начинали охотиться известные театральные и кинорежиссеры. Это был Александр Моисеевич Володин. В воскресенье в Доме Творчества было много гостей. Утром навестить драматурга приехал его сын – студент- математик Володя Лившиц, а днем в фойе появилась очаровательная пара – моя бывшая одноклассница- Лена и ее мама, слывшая первой красавицей филологического факультета довоенного Ленинградского Университета, и по-прежнему, эффектная Софья Львовна Донская. Именно, в их огромной квартире на улице Красной связи (ныне этот, расположенный параллельно Баскову, переулок носит старое приличное название – Виленский), я впервые услышал запрещенные песни Александра Галича. Маленькие новеллы, каждая из которых воспринималась как завершенное драматургическое произведение, ошеломили меня. Большинство из этих текстов вскоре уже я знал наизусть. Лена Донская – изнеженная девочка с ангельским лицом и голубыми глазами, училась в параллельном классе и перешла к нам, кажется, только на пятом году обучения. Причиной тому была антисемитская обстановка в ее классе. Странно, что в одной и той же школе, в одно и то же время, эта, весьма заразная бактерия, действовала, как и вирус СПИДа,- избирательно. Видимо, это зависело и от личности классного руководителя, и от тех ребят, кто верховодил в каждом коллективе.

Первую сессию я сдал без четверок, и получил повышенную стипендию. Впрочем, надо признать, что и здесь на моей стороне было везение. При полном отсутствии пространственного представления (что невероятно затруднило мне достижение высоких успехов в очных шахматах), осилить такой предмет, как начертательная геометрия, казалось невозможным. Но на экзамене мне достался удивительный для подобной дисциплины, "гуманитарный" вопрос: "История развития

начертательной геометрии в России". Вот где пригодились мне рассказы моего деда о Давиде Ананове – одном из основоположников методики изучения этого предмета в нашей стране. Дело в том, что преподаватель моего деда в Политехническом институте предложил не только вычерчивать эпюры на листе ватмана, то – есть, на плоскости, но и склеивать геометрические объекты в объемном виде. Мой подробный рассказ настолько заинтересовал пожилого экзаменатора, что он решил не задавать мне больше вопросов, и в моей зачетке появилась первая отличная отметка.

Остальные предметы – физика, неорганическая химия и, конечно, необходимая будущему технологу, история КПСС – проблем для меня не представляли. В это время начался мой короткий роман с физикой. Я даже вступил в студенческое научное общество, где проводил интересные исследования акустике жидкостей. Моей руководительницей была Ксения Маринина – опытный педагог и представительница ушедшей петербургской интеллигенции. Она относилась к своим студентам тактично и уважительно, как к младшим коллегам. Мы вместе обсуждали результаты опытов. Это не могло не льстить самолюбию первокурсников, и служило дополнительным стимулом для их работы. Возможно, интерес к удивительным свойствам, различных по химическому составу, растворов возник у меня генетически. Мой отец – профессор Ефим Несис почти полвека посвятил изучению молекулярных взаимодействий, происходящим в трудно познаваемом и изменчивом мире веществ, находящихся в жидкообразном состоянии, а главный труд его жизни "Кипение жидкостей" переведен на многие языки мира.

Во время первого семестра я сыграл всего несколько партий в командных соревнованиях – в чемпионате Ленинграда среди спортивных обществ и в первенстве вузов. Самой памятной стала матовая атака, проведенная мной в поединке против Николаева. Эта комбинация с жертвой ферзя вошла в знаменитую "Энциклопедию шахматных миттельшпилей", вышедшую в Белграде в 1980 году. Среди моих соперников был уже хорошо знакомый мне Александр Чумаченко, выступавший за сборную "Буревестника" и один из лидеров команды Педагогического института имени А.И. Герцена, энциклопедически образованный профессор Захар Каплан, чудом сумевший вырваться из оккупированной фашистами Польши. Остроумный и неутомимый рассказчик, проживший драматическую жизнь, он стал для меня, несмотря на огромную разницу в возрасте, одним из самых ярких собеседников. Своеобразный польский акцент, сквозь который

иногда пробивалась и интонационная мелодика языка идиш, придавал его речи какую-то особую притягательность.

По итогам соревнований 1964 года команда Технологического института получила играть в первой лиге первенства вузов. Для того чтобы иметь возможность выступать за сборную своего института, мне пришлось покинуть ФСО "Динамо", и стать членом студенческого спортивного общества "Буревестник", старшим тренером которого, к тому времени стал, знакомый мне по шахматному клубу, мастер Ефим Столяр. Шахматная комната располагалась над боксерским рингом в Доме физкультуры имени Мягкова на улице Софьи Перовской (ныне Малой Конюшенной).

Там проходили квалификационные турниры, а также личные первенства студенческого общества. Сразу же после окончания моих первых зимних каникул, весело проведенных благодаря моему дяде Анатолию Альтшулеру в студенческом лагере ВТО в Сестрорецке, я стартовал в полуфинале чемпионата "Буревестника". Сделав очередной ход, я выходил из душежного помещения на своеобразную балюстраду, но амбре, возносившееся к куполу здания от разгоряченных боксерских тел, быстро возвращало меня в турнирный зал. Скорее всего, это соревнование, не осталось бы в моей памяти, если бы не случившееся тогда знакомство с замечательным человеком, дружбой с которым я дорожу уже сорок пять лет. Почти на каждом туре поднимая голову от доски, я встречался с дружелюбным и чуть ироничным взглядом коротко стриженного молодого человека, внимательно наблюдавшим за ходом моих поединков. Это был Вадим Файбисович.

Не помню, в какой, конкретно, момент случился наш первый разговор, но, пожалуй, в последующие тридцать лет не было ни одного дня, когда, находясь в Питере, я не набирал бы привычный номер. Думаю, что суммарное время наших телефонных переговоров, если таковое где-нибудь фиксировалось (что, впрочем, исключить невозможно) должно быть представлено как рекордное для занесения в книгу Гиннеса. Я бы дорого дал за эти многокилометровые пленки записей наших вечерних, а порой и ночных, диалогов. В них были отражены все новости политической, культурной и, конечно, шахматной жизни города, страны и мира за довольно значительный и, насыщенный событиями, период нашей истории. В те годы Вадим не пропускал ни одной театральной или кинематографической премьеры. Он всегда был в курсе свежих социально-политических событий, стремясь получить информацию из всех доступных тогда

источников. Конечно, в наших беседах было немало смеха, шуток и откровенных оценок происходящего, сделанных эзоповым языком.

Мой друг был и остается для меня современным олицетворением часто упоминающегося, но редко встречающегося на практике, понятия – "Fair Play". Это словосочетание, насколько мне известно, впервые применил Вильям Шекспир в "Жизни и смерти короля Джона", и относилось оно к законам рыцарских поединков.

Приведу один пример, такой "Честной игры", свидетелем которого довелось мне быть самому.

*Когда судишь себя, ищи вину там, где вины не видно.
Тогда твои добродетели еще более упрочатся.
Хун Цзычен. "Вкус корней".*

На повывавшей виды сцене шахматного клуба сражались два известных в городе мастера, чемпионы Ленинграда разных лет, внешне – абсолютные антиподы. Игравший белыми грузный мужчина лет пятидесяти с прибалтийско-белесыми несколько выпученными глазами был похож на уставшего и подвыпившего Деда Мороза, только что сбросившего свой маскарадный костюм и, зачем-то, переодевшегося в потертую офицерскую форму. Он уверенно мастерил каждый свой ход, словно ввинчивая фигуру в деревянную столешницу, а затем удовлетворенно откидывался на спинку стула и задиристо поглядывал на соперника с видом столяра-краснодеревца, знающего цену своей работы.

Напротив него расположился коротко стриженный молодой человек с большим лбом и подвижными восточными глазами. По напряженному лицу его (неуловимо схожему с фотографией нового хозяина Белого дома) периодически пробегала нервная гримаса. Ему явно не удавалось скрыть эмоции, обуревающие всякого творца в момент создания или первого исполнения своего произведения. Взявшись за фигуру, он медленно поднимал ее над доской, подолгу удерживая в руке, и, лишь затем, опускал на намеченное поле, причем не в середину квадрата, а ближе к его уголку. Ожившие фигуры, подражая своему аниматору, старались не выявлять своей значимости и стремились ненароком не побеспокоить расположенную по соседству коллегу (вне зависимости от ее принадлежности к белой или черной армии). Фигуры эти чем-то напоминали рефлектирующего интеллигента в переполненном ленинградском автобусе.

Время на обдумывание, как, впрочем, и всякое отпущенное нам время, неумолимо убывало, а позиция оставалась весьма запутанной. В докомпьютерную эпоху такие ситуации оценивались банально, а главное, безответственно: "со взаимными шансами".

Такая формулировка ни к чему не обязывает, так как прекрасно подходит как к средневековой табуи, так и к исходной расстановке фигур в суперсовременных шахматах Фишера.

Итак, время истекло, и соперники начали повторять ходы, молчаливо смиряясь с ничейным исходом. Преодолев некоторое смущение (положение соперника объективно выглядело перспективнее), молодой мастер все же решил первым предложить ничью.



Опытный боец, относившийся к своему коллеге с явным уважением, бегло глянул на часы, крикнул, как будто опрокинул стопку водки на посошок, и протянул руку в знак согласия. Молча оформили бланки и приступили к традиционному анализу. Ветеран, несколько раздосадованный упущенными по его мнению возможностями атаки, поначалу довольно быстро и без особого азарта передвигал фигуры, но как только на доске возникла финальная позиция, он словно опохмелился, - поднатужился и, неожиданно уверенно, продемонстрировал форсированный путь к победе.

Со стороны показалось, что его партнер схватился рукой за оголенный электрический провод. Впрочем, замешательство длилось недолго. Извинившись перед своим старшим товарищем за предложенную ничью, молодой мастер поздравил его с победой и, исправив на бланке нейтральные половинки на заслуженные ноль и единицу, спрыгнул со сцены в зрительный зал и быстро покинул здание клуба.

Прошло тридцать пять лет, но побелевшее лицо моего друга и сегодня стоит у меня перед глазами.

Уточню, что в этом эссе речь идет о поединке Вадима Файбисовича и Константина Кламана.

Итак, с переходом в общество "Буревестник" моя шахматная жизнь возобновилась с новой силой. В 60-70-е годы командные первенства вузов были наиболее популярными и представительными соревнованиями в городе. Каждое воскресенье в период проведения чемпионата Первой лиги в Городском шахматном клубе имени М.И. Чигорина буквально яблоку было негде упасть. Здесь встречались студенты и профессора, тренеры и зрители, друзья и болельщики. За доской можно было увидеть и Марка Тайманова и юного Анатолия Карпова, опытных мастеров старшего поколения и абитуриентов. Именно, здесь встретил я своих будущих друзей Вячеслава Осноса и Александра Корелова, Геннадия Сосонко и Игоря Блехцина. Именно общение с ними привело меня в шахматное сообщество. Каждый из этих талантливых и своеобразных людей заслуживает отдельного рассказа.

Прежде всего, считаю своим долгом вспомнить недавно ушедшего из жизни замечательного человека, истинного русского интеллигента - Александра Павловича Корелова.

- Спрашиваю, господа военный совет, считать ли нам, что в сей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру:

одним ловким ходом на Нарву оборонил Кексгольм?

Или продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кексгольм?

Алексей Толстой «Петр Первый»

Древняя русская крепость Корела, захваченная шведами и переименованная ими в Кексгольм, была возвращена России в 1710 году. Среди особо отличившихся при ее взятии был и предок Александра Павловича. За проявленный героизм ему был присвоен офицерский чин, пожаловано потомственное дворянство, а также фамилия по названию крепости – Корелов.

Дед Александра Павловича по материнской линии, Иван Иванович Корелов, вместе с братом владел конным заводом в Воронежской губернии. Имея два высших образования, юридическое и ветеринарное, он предпочел посвятить себя не исцелению социальных язв, но излечению и воспитанию благородных скаковых лошадей, что вызвало удивление и даже неприятие у соседей по уезду. Именно поэтому он не был принят в высшее губернское общество, хотя конный завод находился

неподалеку от имения предводителя воронежского дворянства Александра Ивановича Алехина – отца будущего чемпиона мира.

Доброе отношение к животным передалось и Александру Павловичу. Во всяком случае мой, весьма настороженно относившийся к новым людям, дог по имени Шах (не могу себе позволить слово « кличка » по отношению к существу, которое было моим близким другом) сразу же признал в нем « своего » и в течение восьми лет короткой собачьей жизни радостно приветствовал его приход в наш дом...

Далекий от политики и демократически настроенный Иван Иванович поначалу отнесся к новой власти довольно лояльно, но... без взаимности. Долгое время он не мог устроиться на работу. Кроме явно непролетарского происхождения, главным минусом его биографии было наличие двух дипломов. При очередной попытке заняться любимым делом Иван Иванович пошел на хитрость и в графе « образование » нарочито корявым почерком вывел – начальное. Уловка помогла, и бывший правовед и ветеринар высокой квалификации был зачислен на должность старшего конюха. Казалось бы, можно было перевести дух. Но известность скакунов сыграла с их хозяином злую шутку. Дело в том, что на бегах при представлении лошади оглашается не только ее родословная, но и имя коннозаводчика. Совпадение фамилий было сразу же замечено, и Иван Иванович вновь остался без работы...

В конце концов дед перебрался в Ростовскую область, где и трудился в качестве зоотехника. Тем временем в семье росла дочь Лена (будущая мама шахматиста), с которой родители связывали большие надежды. Недаром: она стала прекрасным врачом. Два года проработала в Камбодже, а затем была направлена в знаменитый русский госпитале в Эфиопии, основанный еще в прошлом веке. Довелось ей повидать и императора Хайле Селассие, и его сына, гордившегося своим дальним родством с Пушкиным и в этой связи демонстративно облачавшегося в русскую крылатку. Во время революции в Эфиопии госпиталь попал в зону боевых действий, но даже в таких условиях Елена Ивановна оказывала помощь больным и раненым. По возвращении на родину она была награждена орденом Ленина.

Такая яркая карьера могла бы послужить сценарием для еще одного фильма « Светлый путь », если бы... не один эпизод в биографии героини. В начале 1937 года был арестован ее муж, зам. начальника мурманского облздравотдела, и Елена Ивановна осталась одна с восьмимесячным Сашей на руках. По доносу

коллеги Павлу Семеновичу было предъявлено фантастическое обвинение в попытке организации эпидемии холеры... в Заполярье! На допросах он держался мужественно: ничего не подписывал и ни на кого показаний не давал. Во время короткой бериевской «оттепели» его неожиданно освободили, но не довольствуясь этим, он потребовал рассмотрения своего дела в суде – и был полностью оправдан! Этот смелый и необычный для того времени поступок, видимо, и спас его от последующих репрессий.

Вскоре началась война, и Павел Семенович совершил еще один смелый шаг: не подчинился приказу о сдаче личных радиоприемников. И маленький Саша начал постигать политграмоту, слушая с отцом первые передачи «Голоса Америки» и «Би-би-си» на русском языке. Эта привычка сохранилась у него на всю жизнь. Он мне рассказывал, как на тренировочных сборах в Зеленогорске (пригород Ленинграда) гроссмейстер Игорь Захарович Бондаревский каждый раз после ужина громогласно приглашал к себе «слушать музыку», и молодые Борис Спасский и Александр Корелов устремлялись в номер тренера. Прием вдали от «глушилок» был вполне приличным, да и слушать «музыку» в такой блестящей компании было очень приятно.

Любовь к классической музыке пришла к Корелову также с помощью радио, точнее – легендарной радиотарелки, имевшейся в каждом доме. А когда появились первые радиолы, он начал собирать пластинки с записями симфонической и оперной музыки. Не прошел и мимо первых магнитофонных кумиров – Окуджавы, Высоцкого и, особенно близкого ему по духу, Галича. Прекрасная фонотека Корелова, которой он охотно делился со своими коллегами, известна далеко за пределами Петербурга.

...Его первым шахматным учителем был отец, использовавший в качестве учебника «Мою систему» Арона Нимцовича. Затем Корелов прошел прекрасную школу под руководством известных ленинградских мастеров Давида Ровнера и Александра Черепкова. А его шахматными университетами стали совместные анализы неоконченных партий с гроссмейстером и академиком эндшпиля Юрием Авербахом во время командного чемпионата СССР в Риге (1954). Там 18-летний перворазрядник, завоевавший в ходе спортивного отбора место в сборной «Зенита», был по указанию начальства заменен на более опытного мастера. Но... нет худа без добра. Оказавшись в тренерах, Корелов не только получил возможность поработать с

лидером «Зенита» Авербахом, но и избрал себе профессию на всю жизнь.

В 1961 году за успешное выступление в сильном чемпионате Ленинграда Корелову было присвоено звание мастера спорта. На следующий год пришелся пик его достижений:

Чемпион СССР в составе сборной Ленинграда, где его товарищами по команде были Б.Спаский, В.Корчной, М.Тайманов и А.Толуш, победа (вместе с Н.Крогиусом) в первенстве

«Труда» и, наконец, участие в юбилейном, 30-м чемпионате страны в Ереване.

В 1963 году Корелов окончательно вступил на тренерское поприще, что лишило его возможности самому играть в сильных турнирах. На чемпионатах страны он помогал Ю.Авербаху, Н.Крогиусу, Л.Шамковичу; был консультантом Аллы Кушнир в ее матче на первенство мира с легендарной Ноной Гаприндашвили (1972).

Познакомиться с достоинствами игры по переписке Корелов смог благодаря матчу Ленинград - Гамбург, стартовавшему в 1965 году. Две партии с известным немецким мастером Людвигом Рельштабом сделали его поклонником этого вида творчества на всю жизнь. Корелов успешно играл в заочных чемпионатах Европы: в седьмом (1970-74) - 2-5-е места, в восемнадцатом (1977-82) – 2-3-е, и, наконец, 1-е место и звание чемпиона Европы в 23-м!

По итогам 13-го чемпионата мира на конгрессе ИКЧФ (Международная федерация игры в шахматы по переписке) в Норвегии (1995)Александр Корелову было присвоено звание гроссмейстера...

Более 35 лет трудился он тренером-преподавателем шахмат на кафедре физического воспитания в том самом Политехническом институте (ныне Санкт-Петербургский Государственный технический университет), о котором шла речь в прологе. В 70-х – начале 80-х здесь стремились учиться многие способные молодые шахматисты. Естественно, в тот приснопамятный «застойный» период никакой официальной «процентной нормы» не существовало, и все же... Некоторые анкетные данные могли стать препятствием для поступления в престижный вуз. Не секрет, что Корелов оказывал таким абитуриентам, а затем и студентам, абсолютно бескорыстную помощь. А в ней нуждались даже такие талантливые шахматисты, как Алексей Ермолинский, ставший впоследствии чемпионом США или, исключенный из института за инакомыслие, один из

сильнейших гроссмейстеров мира, автор капитального труда по истории и философии древней игры «Тысячелетний миф шахмат», ныне также проживающий за океаном Леонид Юдасин. И когда, при заполнении представления на звание «Заслуженный мастер спорта России», мне задали вопрос: кого записать вашим тренером? – я после некоторого раздумья назвал Корелова. Строго говоря, он никогда не был моим наставником, но наши совместные анализы, а чаще просто дружеские беседы создавали мне долгие годы тот независимый и эмоциональный настрой, без которого немислимы никакие спортивные и творческие достижения.

Думаю, будь жив тот дедушкин учитель французского, он с удовольствием пожал бы руку своему идейному и нравственному наследнику.

Если быть совсем точным, то мой шахматный дебют в первый студенческий год состоялся не в большом игровом зале Городского клуба, а в скромном методическом кабинете кафедры физвоспитания ЛТИ имени Ленсовета, где проходило первенство факультетов в рамках Спартакиады нашего вуза. Состав первых досок выглядел достаточно внушительно, так что моими соперниками были такие яркие представители ленинградской шахматной школы как Александр Шашин и Марк Цейтлин.



Совершенно разные по темпераменту, шахматному стилю и отношению к жизни, оба они вскоре стали моими друзьями. У Александра - прекрасного педагога и своеобразного шахматного философа, - мне довелось даже быть свидетелем на свадьбе, а с Марком (ныне - неоднократный чемпион Европы среди сеньоров и маститый израильский гроссмейстер) я сотрудничал в качестве секунданта на Всесоюзных отборочных турнирах в Ростове-на Дону и Даугавпилсе в конце 70-годов, а затем, мы, уже совместно, готовили юного Гату Камского к матчу с Алексеем Широным (Клайпеда-1987 г.) и к чемпионату мира среди юношей (Инсбурк -

1987 г.). Сейчас уже трудно вспомнить какое отношение имел вечный армеец Цейтлин к "Техноложке". Кажется, в тот учебный год он числился студентом заочного отделения. Но продержался он там недолго. Химия явно не была его стихией.

Зато в острых комбинационных осложнениях за шахматной доской, он чувствовал себя как рыба в воде. Эффектные атаки Марка Цейтлина всегда были украшениями городских первенств, и вызывали восторг его многочисленных болельщиков и, особенно, болельщиц, среди которых в те годы он был очень популярен. Мне кажется, что его уникальный талант при ином образе жизни должен был привести Марка на вершину шахматного Олимпа, но индивидуальная история жизни человека, также, как и, история целого государства или иного сообщества, не терпит сослагательного наклонения. Без загульного, богемного образа жизни, без, завораживающей женщин всех возрастов полу смущенной улыбки, без ночных бдений за карточным столом и, казавшегося бессмысленным, азартного отношения к коллекционированию почтовых марок, открыток, монет, - Цейтлин был бы просто другим персонажем нашей шахматной истории.

С отъездом в Израиль он изменился, как-то потускнел. Впервые, я это почувствовал в Риме, когда мы, возвращаясь с турнира на острове Иския, сняли номер в дешевой гостинице неподалеку от вокзала и пробродили полночи по великому городу. Со смехом вспоминали мы нашу ленинградскую жизнь, но былого блеска в глазах у Марка уже не было. На чемпионате Европы среди сеньоров в Давосе в 2006 году мы вновь оказались в одном отеле. На этот раз, Цейтлину не удалось отстоять свой титул чемпиона, впрочем, не достался он и несгибаемому Виктору Корчному. Партии его, как всегда привлекали внимание коллег, но победы доставались без привычной легкости, в нервной, изнурительной борьбе. Сделав очередной ход, он рассеянно выходил из душного турнирного зала, жадно курил, и по старой привычке, подходя ко мне, бубнил какие-то варианты, пытаясь доказать прежде всего самому себе правильность только что избранного продолжения.

А я видел его молодого, одержавшего одиннадцать блестящих побед в 15 партиях чемпионата Ленинграда, вспоминал его знаменитые испанские поединки с гарцующими белыми конями на королевском фланге противника, и оттого становилось грустно.

Первое студенческое лето запомнилось самостоятельной поездкой с моим лучшим другом тех лет - Виктором Лисяком

(правда, под присмотром его родителей) по водному маршруту Москва- Волгоград- Ростов и обратно.

Удивительно, но первая прогулка по столице абсолютно не отложилась в моей памяти. Может быть потому, что последующие визиты в Москву были настолько насыщены встречами и событиями, что затмили тот суматошный день, расплоснутый между перроном Ленинградского вокзала и сходнями, по которым мы поднялись на теплоход. Лишь на языке причудливо сохранился вкус игристого и загадочного коктейля "Шампань-Коблер", который мы впервые (в описании этой поездки не обойтись без тавтологии – многое было для меня внове) продегустировали с Виктором после обеда в баре какой-то престижной столичной гостиницы, кажется "Москвы".

В 60-е годы такой познавательный - созерцательный вид отдыха был очень популярен у не имеющего возможности выехать за границу, не входящего в номенклатуру, но все же верхнего слоя, гуманитарной, и, особенно, технической интеллигенции Москвы и Ленинграда. Сословный принцип существования, так называемого, "социалистического" общества соблюдался не менее строго, чем кастовая принадлежность в Индии. Даже внутри Обкомов партии существовали три вида столовых с пропусками разных цветов, чтобы третий секретарь, не дай Бог, не оказался бы во время обеда за соседним столом с рядовым бойцом партийного фронта. Знал я одного такого секретаря, одно время возглавлявшего нашу городскую шахматную федерацию. Видимо, проштрафившись, он был переброшен на профсоюзную работу. Однако, по чьему-то недосмотру, у него сохранился заветный пропуск в ту самую, престижную столовую для партийного начальства. И вот он, несмотря на вполне приличную кухню во Дворце Профсоюзов, ежедневно мчался через весь город обедать в Смольный, чтобы тем самым, продемонстрировать свое, якобы сохранившееся, высокое сословное положение. Срок действия волшебного пропуска вскоре истек, и облик его владельца как-то потускнел. Но пришли новые времена, и в начале 90-х годов я встретил бывшего третьего секретаря уже в новом качестве – директора крупного художественного издательства. На традиционной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне он выглядел даже эффектнее и вальяжнее, чем в партийном кресле. Узнав, что немецкие издательства рекламируют мои книжки на столь представительном международном салоне, он стал со мной особенно учтив, и мы расстались, как представители одной касты, обнявшись на прощание.

Родители Лисняка были типичными представителями советской технической интеллигенции. Родом они были из Астрахани. Отец – Давид Израилевич – ведущий инженер в одном из закрытых конструкторских бюро судостроительной промышленности, человек самых разнообразных интересов, весьма начитанный и любознательный. Из каждой поездки по Волге, а они вместе с супругой Татьяной (Таубой) Михайловной, - педантичной и тонной дамой, заведовавшей одной из технических кафедр Ленинградского Текстильного института, - совершали такие путешествия каждый сезон 16 лет подряд, старался он извлечь максимум информации. С утра в официальном костюме и с неизменном беретом на лысеющей голове занимал Давид Израилевич свой белый столик на открытой палубе, раскладывал на нем географические карты, путеводители, а также необходимые оптические приборы - бинокль, очки – (солнцезащитные и для дали), лупу для чтения мелких надписей и, конечно, фотоаппарат. Восстанавливая в памяти образ этого восторженного идеалиста, мне видятся в нем черты двух симпатичных персонажей из французской литературы - восторженного профессора Паганеля и, изучающего по карте маршрут своих предстоящих странствий, Тартарена из Тараскона.

Купить путевки на такие круизы в свободной продаже было невозможно. Они распространялись только по профсоюзным организациям крупных заводов, конструкторских бюро и НИИ, в основном, входившим в военно-промышленный комплекс.

Это была моя первая в жизни поездка, в которой со мной не было моих близких, и с каждой стоянки я отправлял им открытку с подробным описанием своего путешествия. С первого дня плавания у нас с Виктором образовалась небольшая и странная по составу, но неразлучная компания – пара московских молодоженов Юра и Инна, в которую мы оба дружно влюбились и высокий статный старик, оказавшийся дипломатическим генералом в отставке.

Юрий Коннов – выпускник престижного технического вуза, не принадлежал к числу столичных мажоров, и внешне напоминал молодого столичного интеллигента – шестидесятника. Присутствовавшая в отношении к нам некоторая, впрочем, вполне тактично проявляемая, снисходительность могла быть объяснена лишь разницей в возрасте (все-таки он был старше нас на пять – шесть лет), но никак не его происхождением из номенклатурной семьи. Хорошее воспитание и сдержанность Юрия прекрасно оттеняла его юная жена – смуглая, обаятельная, разговорчивая одесситка с удивительными карими глазами, хранящими грусть,

даже в самые счастливые моменты жизни. Такими глазами Природа, и даже в большей степени, История,- наградила прекрасных представительниц двух народов с трагической биографией - армянок и евреек. Я откровенно восторгался Инной, делал какие-то робкие предложения, но отчетливо понимал, что мои желания невыполнимы. Мы виделись еще пару раз и в Москве и в Ленинграде, но затем, я потерял ее из виду. На память о нашей встрече осталась лишь сентиментальная строфа в моем блокноте, датированная сентябрем 1965 года:

И.К.

Нас разделяют дальние маршруты,
Немного возраст и чуть-чуть – судьба.
Все это вместе составляет пути,
С которыми, бессмысленна борьба.

Теперь несколько слов о загадочном одиноком генерале. Запомнился он мне, и специфической военной выправкой, угадывающейся, под курортной формой одежды, и, непривычным для петербургского уха, московским говором, ярко расцвеченным французскими идиоматическим выражениями.

В разговоре с ним, я старался, по - возможности, соответствовать его уровню, и щеголял, весьма скудным, набором французских словечек, услышанных в недалеком детстве. Именно на этом, волшебном языке общались между собой мои бабушка и мама, обсуждая табуированные для меня темы. Как раз эти, запретные темы часто затрагивал в своих монологах наш, умудренный опытом, собеседник. Рассказывал он не только о встречах с великим кормчим Мао, но и о посещении роскошного интернационального Дворца свиданий в Париже. Впрочем, для привилегированных гостей подобное заведение существовало и в закрытом коммунистическом Пекине, где он служил в годы советско-китайской дружбы. Конечно, подобные рассказы будоражили наше неискушенное воображение, и мы с Виктором ловили каждое слово генерала. Сложнее было понять его более завуалированные советы в области интимной жизни, о которой наше поколение в 18-19 лет имело весьма смутное представление.

Сексуальная революция в нашей стране началась лишь спустя лет двадцать после описываемого путешествия, поэтому некоторые назидания нашего спутника дошли до меня с большим опозданием.

В этой поездке я впервые почувствовал красоту и раздолье России.

Неухоженность деревень и городских окраин с лихвой компенсировалась умиротворенностью и спокойствием, исходившим от бескрайних просторов волжских берегов, а центральные улицы некогда богатых купеческих городов Нижнего Новгорода, Саратова или Самары не могли не вызвать уважения, (во многом, книжного, ностальгического) к трагически короткой капиталистической истории нашей страны.

Для меня, ленинградца, родившегося в десяти минутах ходьбы от Невского, прогулки по старинным деревянным городам с удивительными названиями – Углич, Кострома, Кинешма, - воспринимались как путешествия во времена убиенного царевича Дмитрия или основателя Дома Романовых - Михаила Федоровича.

Иные ощущения остались в памяти о посещении Казани. В столицу Татарии мы пришли ранним утром. Молодежная часть нашей компании, во что бы то ни стало, решила побывать в местной мечети. В этот неурочный час она оказалась закрытой, но мы были настойчивы. Разыскали настоятеля. Узнав, что мы из Ленинграда и интересуемся историей ислама, он принес огромный ключ, ловко отомкнул огромную входную дверь, и мы оказались на пороге мечети. Сняв обувь, вошли в молитвенный зал. Священнослужитель предложил нам посмотреть редкие книги и манускрипты. Мы с благоговейным трепетом рассматривали старинные фолианты, разукрашенные ярким восточным орнаментом, перелистывали тяжелые страницы, испещренные тонкой арабской вязью, и, в тот момент, казалось немыслимым, что невежественные потомки великих мудрецов и художников, врачей и астрономов, математиков и шахматистов, создавших на южных границах варварской Европы великую культуру средневекового халифата, цинично используя цитаты из священных для любого мусульманина книг, попытаются повернуть человеческую цивилизацию вспять. Тогда мы еще ничего не слышали о шахидах, да и террористическая идеология, в наших головах скорее ассоциировалась с народолюбцами и эсерами, чем с зеленым знаменем Пророка. Впрочем, до Шестидневной войны оставалось всего два года...

Парадный сталинский Волгоград особенного впечатления на меня не произвел. Показной монументализм этого героического города, который довелось защищать и моему отцу, выглядел каким-то нарочитым и искусственным. Я вообще не поклонник имперской или тоталитарной архитектуры, подавляющей человека, но в таких столицах как Лондон и Вена (в меньшей степени это относится к Берлину), этот стиль воспринимается легче и естественнее.

Зато казачьи станицы, словно сошедшие со страниц "Тихого Дона», и, удивительным образом сохранившие свои названия, - "Александровская", "Николаевская", - смотрелись вполне органично. Прямо сойдя с теплохода, мы попадали на импровизированные рынки, и не могли удержаться от покупки огромных мясистых помидоров или ароматных дынь.

К сожалению, в детстве никто не обучал меня профессиональному плаванию (как, впрочем, и другим моим пристрастиям, - шахматам, журналистике, преферансу или настольному теннису), поэтому, во всех этих сферах, я был и остался самоучкой, и в определенном смысле, любителем. Правда, если в европейских языках понятие "amateur" звучит несколько уничижительно, то в русском, оно своим корнем (и в грамматическом, и в смысловом значении), связано с глаголом "любить" и ближе к греческому высокому "φιλέω", ставшему основой таких прекрасных явлений человеческого духа как философия и даже филантропия.



Плавание, а проще, купание в любом природном водоеме всегда было для меня ни с чем несравнимым удовольствием. В течение долгих лет в моем сознании при слове "счастье", прежде всего, возникал образ освещенного солнцем песчаного пляжа, медленно уходящего в глубину бесконечного водного пространства. Этот мираж был вполне материален, впитав в себя все лучшее, что было в жизни – прекрасный мир неомраченного потерями детства, ощущение свободы, юношеское предвкушение чего-то запретного и радостного, непривычное для городского жителя чувство единения с природой, с прохладным ветерком, напыляющим твое разгоряченное тело тончайшим слоем золотистых песчинок и радужных водяных брызг. Это мог быть золотой пляж Зеленогорска, где я провел лучшие дни своей

юности, или Ермоловский пляж в Сестрорецком курорте, где отдыхали еще мои прабабушки и прадедушки, и, конечно пляжи моей любимой Эстонии в Пярну, Усть-Нарве и Эльве. Воспоминания о черноморском побережье уже не вызывает у меня таких эмоций. Что касается Средиземного моря, ставшим для меня доступным значительно позднее, то уютнее всего чувствую я себя на скромном и нераскрученном туристическими фирмами, пляже израильского города Ашдода, хотя изредка туда и долетают самодельные ракеты из ныне ХАМАСовской Газы.

Итак, наша команда завоевала право выступить в первой лиге чемпионата вузов. Это первенство было необычным. Так как кроме звания чемпиона города, в нем разыгрывались путевки на всесоюзный отборочный турнир общества "Буревестник". Каждое воскресенье всю осень 1965 года я проводил в Городском шахматном клубе на улице Желябова. Выступать за свой институт было престижно и ответственно. За партиями наблюдали не только тренеры команд, но и весьма компетентные зрители, среди которых было немало известных ленинградских мастеров, давно вышедших из студенческого возраста. Под их пристальными и критическими взглядами не так легко было решиться на то или иное продолжение. Я предпочитал передвигать свою фигуру в момент, когда именитые болельщики отходили от моего столика куда-нибудь подальше. В первом туре мы встречались с сильной командой модного тогда института - Точной механики и оптики (ЛИТМО), за нее выступали Эдуард Бухман, Вадим Файбисович, Исаак Радашкович, Григорий Лейнов. Мне в соперники достался мой тезка – Геннадий Дятлов – сильный и самоуверенный кандидат в мастера, входивший в состав юношеской сборной Ленинграда. Бланк этой партии я недавно обнаружил в своих архивных папках. Черными я разыграл любимый вариант французской защиты. Мой опытный противник попытался организовать пешечный штурм на королевском фланге, но мое давление в центре оказалось более действенным. После сорока ходов партия была отдана на присуждение. У черных была лишняя далеко продвинутая пешка, и современная компьютерная программа безоговорочно оценивает их перевес, как решающий. Дебаты проходили остро и, сначала жюри присудили мне победу, но мой напористый и нагловатый соперник поднял большой шум, и в конце концов, жюри решило избежать скандала и изменило свое решение. Оба участника дуэли получили по половинке. Не подав мне руки, и проворчав что-то нецензурное в адрес судей, Дятлов покинул игровое помещение. Было, конечно, обидно, но, партия, в творческом плане, удалась, и, это обстоятельство, во

многим, компенсировало незаслуженно отобранные у нашей команды пол очка. В целом, сборная "Техноложки" выступила в первой лиге успешно, и завоевала путевку в чемпионат вузов СССР, который был намечен на весну будущего 1966 года. У меня лично, шансов на участие в предстоящем турнире было немного. Дело в том, что по регламенту этих соревнований команда состояла всего из пяти мужских досок и одной женской. Я был включен в заявку лишь в качестве запасного, что само по себе было достаточно престижно для перворазрядника. На первой доске был заявлен опытный мастер и крупный ученый-химик – профессор Исаак Наумович Айзенштадт. Представительный высокий мужчина с хорошо поставленным низким голосом, необходимым для чтения лекций в больших аудиториях, он пользовался непререкаемым авторитетом и в научных, и в шахматных кругах нашего города. Ровесник и товарищ по довоенному шахматному кружку Ленинградского Дворца пионеров Иосифа Воркунова, он еще в школьные годы был знаком с моей мамой, и, естественно, выделял меня из группы студентов-шахматистов нашего института. Личная жизнь Исаака Наумовича сложилась непросто. Его сын страдал тяжелым хроническим заболеванием, и шахматы, как мне кажется, наряду с наукой, являлись своеобразной психологической отдушиной для этого, достаточно закрытого и гордого, человека.

На последующих досках должны были выступать мастера Александр Шашин и наш играющий тренер (сменивший на этой должности Исаака Вейнгера) Анатолий Ферштер (Измакин), а также сильные кандидаты в мастера, среди которых был и вскоре ставший мастером Лео Толонен.

Но, как часто бывало - "Не было бы счастья - да несчастье помогло". Перед самым началом соревнований заболел и попал в больницу лидер нашей команды – мастер Айзенштадт, а так как заявка уже была подана, и правила турнира не предусматривали сдвижки по доскам, - мне предстояло играть за свой вуз на первой доске. К счастью, болезнь Исаака Наумовича была не очень серьезной, и через тридцать с лишним лет после описываемых событий, он произнес прекрасный тост на моем пятидесятилетии в Олимпийском зале Спорткомитета.

16 апреля 1966 года я впервые встретился за доской один на один с находящимся в расцвете сил действующим мастером. Это был недавно вернувшийся из Таллинна с чемпионата страны, лидер команды ЛИТМО Эдуард Бухман. Что бы молодой читатель смог представить мое волнение перед предстоящим поединком, сообщу только, что в столице Эстонии мой соперник на равных

боролся с такими титанами шахматной истории как Давид Бронштейн, Пауль Керес, Виктор Корчной, Лев Полугаевский, Леонид Штейн, Семен Фурман, Марк Тайманов. Только перечень этих имен вызывал сакральный трепет. Однако, разыграв белыми редкий вариант английского начала, и получив довольно перспективную позицию, я пожертвовал пешку и предпринял попытку атаки на короля соперника. Мой опытный противник сделал пару точных ходов, и я погрузился в долгое раздумье. По мнению Марка Цейтлина, следовало решиться еще и на жертву качества, и после чего, согласно его анализа, возникал примерно равный эндшпиль с вероятным ничейным исходом. Я избрал другое продолжение, и, вскоре, моя инициатива иссякла, к тому же, флажок на моих часах стал угрожающе подниматься. Развязка наступила быстро, и мне пришлось признать свое поражение. Времени на переживания не было. На завтра предстоял поединок с Владиславом Воротниковым, – первым из моих земляков-одногодков завоевавшим звание мастера спорта. После напряженной борьбы партия была отложена. Мои шансы выглядели перспективнее, но домашний анализ доказал неизбежность мирного исхода. Не приступая к доигрыванию, мы согласились на ничью. После победы в третьем туре, я воспрял духом и оказал отчаянное сопротивление чемпиону Ленинграда Евгению Рубану. Партия была отложена в сложном ладейном эндшпиле на 59-м ходу. При домашнем анализе мне удалось найти фантастическую патовую идею, связанную с созданием "бешеной" ладьи. Удивительно, но эту идею удалось осуществить на практике – при доигрывании. На 86-ходу мой именитый соперник вынужден был согласиться на ничью. В следующем туре я победил талантливого мастера Виктора Адлера, и стало ясно, что первую доску я удержал. Может показаться, что я чересчур подробно рассказываю о своей игре в не столь уж значительном соревновании, но эта, представившаяся мне возможность сыграть на первой доске, этот незапланированный успех,- стал для меня важным импульсом к серьезному возвращению к шахматам и, теперь уже, навсегда. Если бы не этот счастливый случай, думаю, моя судьба сложилась бы совсем иначе, и, вряд ли бы, шахматная деятельность, стала основной в моей профессиональной жизни.

Наша сборная не сумела пробиться в следующий этап чемпионата страны, но зато, спустя некоторое время, мне был присвоен разряд кандидата в мастера, что по итогам командных соревнований происходило нечасто.

В оформлении требуемых документов мне помог методист Городского шахматного клуба Геннадий Сосонко, с которым мы к тому времени успели подружиться.

Мой тезка и сосед по Баскову переулку сыграл главную роль в моей шахматной судьбе. Рассказ об этом еще впереди. Но, именно после неожиданного для меня самого, уверенного выступления на первой доске команды Технологического института, я был, почти на равных, принят в амбициозное и эгоцентричное шахматное сообщество Ленинграда. Тогда же я познакомился и с легендарным директором клуба Н.А. Ходоровым – человеком, по- своему одаренным, но, мягко говоря, весьма своеобразным. Позволю себе процитировать фрагмент, посвященный моему будущему начальнику, из блистательного эссе Г. Сосонко:

"Полковник в отставке Наум Антонович Ходоров был тем известным типом советского руководителя, который за версту чувал, что хочет начальство и действовал, исходя из этого. Обладая хорошей памятью, он был мастером устного рассказа, импровизации, являя собой эдакого барона Мюнхгаузена, прибывшего в страну Советов и прекрасно там прижившегося. Шахматы он любил и, когда к нему приходил его старинный приятель, тоже отставной военный, старик с густыми седыми бровями, Наум Антонович запирался с ним в директорском кабинете и не откликался ни на стук, ни на телефонные звонки, пока они не кончали партии, игравшейся его любимыми утяжеленными фигурами.

У Наума Антоновича был сын Геннадий и, я думаю, что при моем поступлении на работу этот факт сыграл решающую роль: дома - Геннадий и на работе - Геннадий, здесь и запоминать ничего не надо.

Я уезжал тогда время от времени на соревнования или сборы и, конечно, Ходоров не был доволен моим отсутствием на работе. «Да ты только что целый месяц где-то пропал, как я тебя могу снова отпустить?» - качал головой Наум Антонович, читая официальное приглашение из Латвийского Спорткомитета на сбор с гроссмейстером Талем М.Н.

«Так ведь Таль, - говорил я, - к тому же я и замену подыскал: хоть и кандидат в мастера, но исполнительный, добросовестный, да и зовут – Геннадий, так что вам и привыкать не надо будет». При этих словах я вводил в директорский кабинет приятеля, жившего в доме напротив в Басковом переулке. Он стал заменять меня во время моих частых отлучек, поэтому было логично, что когда я летом 1972 года уехал в вечную как тогда

казалось командировку, Геннадий Ефимович Несис окончательно вступил на пост тренера-методиста".



Геннадий Сосонко комментирует партию матча на первенство мира в фойе Ленинградского городского шахматного клуба имени М.И. Чигорина

Приведя эту развернутую цитату, из которой не хотелось потерять ни одного слова, я, в очередной раз нарушил хронологическую последовательность своего повествования, и забежал далеко вперед. До моего поступления на работу в шахматный клуб мне предстояло еще отработать по распределению после окончания Технологического института, чему также предшествовало немало важных событий в моей жизни.



Алла Цыбульская
«Наш городок» Т. Уайлдера
на сцене Бостонского
драматического театра
Хантингтон



1979 году эта пьеса американского драматурга Торнтона Уайлдера((1897-1975), лауреата двух Пулитцеровских премий о завершенности жизненного цикла, неизменно состоящего из рождения, детства, взросления и смерти, была поставлена в знаменитом ленинградском Большом драматическом театре под руководством Г.А. Товстоногова, приглашенным им польским режиссером Эрвином Аскером. Пьесу комментирует персонаж, именуемый помощником режиссера. В том спектакле его играл О.В.Басилашвили - красивый, благородный, ироничный, вглядывавшийся в разворачивающиеся события с сочувствием. Память о том спектакле, о вызванном им переживании, как выяснилось, подспудно жила в моем сознании. Парадокс: мне казалось, что носители языка, на котором написана пьеса, с их неперменной любовью к фану не смогут передать ее глубину и драматизм, как когда-то сумели раскрыть их на ленинградской прославленной сцене русские актеры. Я отправилась на премьеру с некоторым недоверием. Скорее всего посмотреть спектакль меня подталкивал лишь профессиональный долг.

Оказалось, я была права.

Что правда, то правда, носители языка не выглядели так привлекательно, как артисты БДТ. Но они, похоже, были ближе к реальности, к тем человеческим типам и образам, каких мы - иммигранты из России встречаем в Америке. Если пьеса охватывает 1901, 1904 и 1913 годы, когда Первая мировая война еще вдали, то режиссер Дэвид Кромер сдвигает ее время к 40-м годам XX века, когда вблизи уже Вторая мировая война.

Но главное в раскрытии темы даже не в приближении во времени.

Режиссер-лауреат премии Обби выстроил спектакль, в соответствии с авторскими ремарками в пьесе - абсолютно безбытно, отказавшись от малейшей предметности, вещественности. Спектакль идет в филиале театра, в здании Calderwood Pavilion, в студийном камерном пространстве. Сцены нет. Действие разыгрывается на площадке, окруженной зрительскими рядами с трех сторон, и мест всего 250.

Четвёртая сторона справа закрыта черным занавесом и неприметна.

Две семьи, где мамы - домохозяйки, папы – труженики с интеллигентными профессиями и малым достатком, дети – школьники живут в маленьком городке Гроверс-Корнерс, в New England. Но все события точно также могли бы происходить и в большом городе. Просто в маленьком пространстве все события очевиднее.

На сцене властвует условность. На кухонных столах нет утвари, хозяйки, готовя еду, наливая воду, ставя тарелки на стол, перебирая фасоль, выполняют это, разыгрывая хорошие актерские этюды, в руках у них ничего нет. Но что-то приковывает к их действиям, во всем присутствует серьезность и ничем еще не объяснимое чувство печали... А помощника режиссера, именуемого менеджером сцены, играет сам режиссер-постановщик Дэвид Кромер. И нет в нем ничего от образа того привлекательного европейца, которого играл О.В. Басилашвили. Перед нами худощавый натруженный человек с интеллигентным лицом и похожий на загнанного работой сотрудника какого-нибудь warehouse. Он разбирается в произошедших обстоятельствах не со стороны, а изнутри того мира, из которого все герои пьесы.

Действие поочередно происходит в интерьере двух домов, где в одном подрастает юноша Джордж Гиббс (Деррик Трамбли), в другом - девушка Эмили Уэбб (Тереза Плен). Интерьеры эти открыты без декораций. Когда молодые начинают испытывать любовь, и переговариваются из окон, режиссер ставит на кухонные столы каждого дома стулья, и молодые люди оказываются на возвышении... Так создается иллюзия... Сценический дизайн, осуществленный Стефаном Дубэй в единстве с режиссером, удивительно прост, но нужно воображение для такого обозначения места действия... И оно убедительно.

Освещение показывает то одну хозяйку, миссис Гиббс – (Мелинда Лопес) за столом справа, то другую, миссис Уэбб – (Стаси Фишер) за столом слева. Идет рутинное существование, детей нужно будить по утрам, чтобы они ушли в школу, мужья возвращаются с работы, размышляющие о своих проблемах... Доктор Гиббс изнурен каждодневными и еженощными вызовами к больным, редактор газеты мистер Уэбб сверх перегружен выпуском своего издания. И так изо дня в день. И нет ни у кого минуты задержаться взглядом на этих сменяющих друг друга днях, на окружающих, на самих себя... А ведь значимость уходящих исчезающих дней не в том, на что они ушли, так или иначе, весь труд съедает время, а в самих драгоценных мгновеньях жизни... Чтобы это осознать, чтобы ощутить поэтическую прелесть существования, озаряющую прозаические занятия, героям пьесы потребуются что-то пережить в дальнейшем.

Поразительно емко организовано пространство, в котором герои разговаривают, встречаются, расстаются. Середина зала становится центром, но наверху есть галерея, и там располагается группа репетирующих для церковного пения католической службы. Дирижер ими все время недоволен, он требует повторенья, другого начала, и вся идущая фоном сцена становится контрапунктом к происходящему внизу. Между тем... Пока взрослые были заняты своими проблемами, Джордж и Эмили подросли, закончили школу и не смогли расстаться. Так юное поколение оказалось ввергнуто в общий земной кругооборот. Волнение невесты перед свадьбой – явление понятное. Но Эмили волнуется как-то необычно, она готова даже отказаться от венчанья, если Джордж не подтвердит слова любви... Игра Терезы Плен волнует тонкостью нюансов, которые она передает взглядом, глазами, полными слез, расцветающей улыбкой счастья... Очень тонкая по передаче эмоций игра... Она проживает каждое мгновенье, каждую перемену в душевном состоянии... И кажется, у нее словно другая актерская школа... Нет-нет, ошибки быть не может. При прочтении программки обнаружилось, что актриса закончила в Бостоне совместную театральную школу МХАТа и Американского Репертуарного театра при Гарвардском Университете...

Чье лицо остается еще особенно в памяти от сцены венчанья? Ведь перед зрителем проходят чередой горожане, пришедшие на свадьбу... И все они отличаются какой-то характеристической чертой...

Более всего обращает на себя внимание прелестное красивое растроганное лицо миссис Гиббс - Мелинды Лопес.

Актриса здесь предельно органична. Она предстает нарядной, одетой торжественно, как и подобает для церемонии, и облик ее отличается от обычного, домашнего... Но почему на ее лице сквозь радость ощутима тревога, печаль? Предчувствие?

Менеджер знает обо всем, что случится. И своей осведомленностью он подчас делится. Например, когда к мистеру Гиббсу прибегает Джо Кроуэл (Джэй Бен Марксон) – рассыльный, он рассказывает, что мальчик оказался талантливым, что на его обучение в Университете были выделены деньги, что он блестяще завершил образование, но погиб в начавшейся мировой войне... Напрасны были усилия....

Если менеджер знает все о персонажах пьесы, то они сами пребывают в неведении. Только предчувствие, как у миссис Гиббс может сжимать сердце...

Третий акт выглядит как второй. Только все горожане, присутствовавшие на свадьбе, собрались на похороны. Прошло десять лет. Молоденькая Эмили умерла родами. Действие происходит на кладбище.

И тут автор stalkивает два мира: живых и умерших. Только тот, для кого все кончено, может оценить счастье жить. Как хочется Эмили вернуться из-под земли к свету! <...> Ей - пребывающей за чертой бытия помощник режиссера дарует возможность один раз прожить заново какой-нибудь день ее жизни. Поколебавшись, она выбирает свой 12-й день рожденья.

И тут внезапно с правой стороны в глубине зала раздергивается неприметный прежде занавес, и на маленькой сцене предстает воспроизведенный в реалиях декораций весь “утраченный рай” домашнего мирка. И тут все вещественно, предметно. Кухня, окна, занавески, стол, плита, стулья... И все как бывало прежде. Как она это видела... Мама занята работой у плиты, стиркой... И Эмили – Тереза Плен одновременно и девочка 12-ти лет, какой она была в тот незабвенный день, и молодая женщина из царства мертвых, умоляет мать: “Взгляни на меня!” Но маме некогда поднять голову от работы. И она не знает, что лишает себя единственной и последней возможности увидеть дочь живой...

О чем пьеса? О кругообороте жизни, о детстве, взрослении и смерти... Пессимист или оптимист – автор? Судите сами. О чем спектакль? Пожалуй, о том же, о чем был и спектакль БДТ... О том, что под бременем житейских обязанностей и долга люди не замечают, как быстротечны, как безвозвратны, как неповторимы дни жизни... И о том, что на эту жизнь, когда она становится прошлым, мы смотрим совсем по-другому: с сожалением, с любовью, с горечью утраты...

Безо всякого пафоса, с вниманием к типическим черточкам в облике и поведении жителей американского маленького городка, оказался раскрыт глубочайший вселенский драматизм пьесы. И театр Хантингтон явственно послал свой месседж – нашему городку - Бостону. И Бостон услышал его. На спектакли проданы билеты, и срок его показа продлен.

Так совпало, что по телевидению недавно показывали очаровательный телефильм, снятый в 70-е годы: “Соломенная шляпка”. В нем снималась плеяда уникальных артистов, любимых, ослепительно талантливых. Если перечислить ряд имен, то сразу можно будет заметить, что большинства, увы, нет в живых: Андрей Миронов, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Людмила Гурченко, Михаил Козаков, Владислав Стржельчик... Играли они по сути водевиль, жанр, определенный К.С. Станиславским, как ситуация, “когда один персонаж лезет под стол, а другие его “оттуда ташат за ногу”. Но как феноменально смешно, очаровательно, непринужденно, с каким шармом эти выдающиеся актеры вели свою игру, пели, пародировали, импровизировали! И я смотрела на их незабвенные лица, слушала их великолепными модуляциями окрашенные голоса по-другому, чем когда они были живы. И их значимость становилась масштабнее. Они – украсившие мою жизнь своим даром, знакомые по спектаклям и фильмам с юности, ныне стали моей личной утратой, хранимой как драгоценные реликвии. Скорблю я и о безвременно ушедшем из жизни талантливым Андрее Толубееве - исполнителе роли Джорджа в спектакле БДТ.

Пьеса “Наш городок” по сути призывает внимание к жизни до того, когда ее прервет неизбежный холод смерти. И этим дает ответ на вопрос нами самими себе заданный: ”Автор пессимист или оптимист?” Наверное, в нем было и то, и другое.



Игорь Ефимов

Опять о Бродском



Бродский в разговоре сказал, что великое искусство возникало лишь там, где художнику казалось, что его задачи утилитарны: выстроить Храм Божий, исправить нравы, воспеть возлюбленную. Никогда ничего великого не было создано с установкой на величие.

Мы не любим тех поприщ, где наша ограниченность, то есть наша несвобода, становится заметной. Не потому ли Толстой не любил стихотворство, а Набоков и Бродский не любили Толстого-философа?



Иосиф Бродский в ссылке

Почти все великие поэты были язвительными эпиграммистами. Или просто язвительными. Пушкин, Лермонтов, Бродский. Но не проявляется ли в этом ещё раз их подсознательное убеждение в том, что они посланы на землю тревожить наши души? «Приятно дерзкой эпиграммой...» или «Глаголом жги сердца людей» – так ли уж велика здесь разница?

Бродский мог бы подать в суд на американскую медицину: она дважды извлекала его с того света и тем разрушила нормальную биографию великого русского поэта, которому не пристало доживать до шестого десятка.

В своей Нобелевской речи Бродский сказал, что, выбирая правителей, мы должны были бы интересоваться не их политическими взглядами, а тем, какие книжки они читают. Подобный панэстетизм весьма соблазнителен. Может быть, всё дело в том, что Нерон плохо пел, Гитлер рисовал невыразительные акварели, а Сталин и Мао-Цзедун были посредственными поэтами?



Игорь Ефимов навещает Иосифа Бродского в ссылке

Террор против собственных лояльных граждан – уникальный и непостижимый феномен истории XX века. Многие писатели пытались показать нам его абсурдность – Платонов, Орвелл, Набоков, Сароян, Ионеско, Стоппард, Бродский. Но историки продолжают делать вид, будто ничего необычного не произошло, будто всё поддаётся старым объяснениям.

Пушкин и Мицкевич, Цветаева и Рильке, Бродский и Дерек Уолкотт... Поэты по-настоящему способны поддерживать дружеские отношения только с братьями, пишущими на другом языке. Дружба королей, которые знают, что границу между их царствами преодолеть невозможно.

«Я занят собственным совершенством...» говорит Бродский в стихотворении «Речь о пролитом молоке». Но можно с таким же увлечением заниматься и собственным

несовершенством: «Кровь моя холодна, / холод её лютей / реки, промёрзшей до дна. / Я не люблю людей». Эгоцентризм многолик.

Невнятица в стихах Бродского порой рождает ощущение необычайной близости поэта с персонажем, с читателем. «Не то, что женихи твои в бою / поднять не звали плотников стропила...» заставляет вообразить, что Мария Стюарт не только слышала свадебную песенку, но и Сэлинджера читала, и всё поймёт с полуслова.

Знаменитый Чёрный конь Бродского так и не смог найти себе среди нас достойного всадника.

В 1989 году Бродский прочитал в виде напутственной речи выпускникам Дартмутского колледжа своё замечательное эссе «Похвала скуке», убедительно разъяснявшее молодым людям, входящим в жизнь, что ничего кроме скуки ждать от будущего не следует. Интересно, позволил бы он, чтобы кто-то прочёл над кроватью его дочки Ани, например, не менее замечательный рассказ Кафки «Исправительная колония»?



Иосиф Бродский в Нью-Йорке

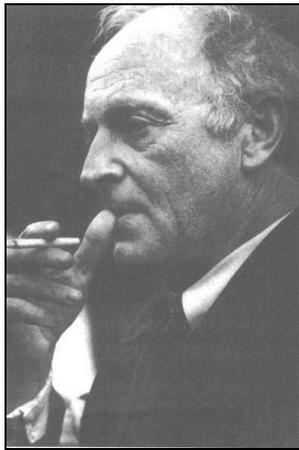
Грусть расставания так похожа на грусть любви, что многие люди, обделённые любовью, обожают прощания, разлуки, «несвиданья». Их любимые поэты – Блок, Ахматова, Цветаева. У Бродского можно набрать два увесистых тома стихов, посвящённых расставаниям, куда, конечно, попадёт и стихотворение «Эней и Дидона». Интересно, что Блаженный Августин, легко расставшийся с матерью его сына, когда она ему наскучила, признаётся в «Исповеди», что в юности он тоже любил плакать в театре на сценах расставаний и особенно – над несчастной, покинутой Дидоной.

У людей, очень боящихся смерти, любовь к Богу порой приобретает черты «стокгольмского синдрома»: любовь как

последнее средство защиты от того, кто распоряжается твоей судьбой. Отношение к Богу как к террористу. Или, словами Бродского, как к «коменданту того острога, в котором всем нам бока намяло, но только и слышно, что дали мало».

Слава Бродского вызывает у американской профессуры почтительное изумление: «Смотрите, он всерьёз писал о высоком и низком, о добром и злом, даже о Боге и Дьяволе – и это сошло ему с рук в нашей среде! Чудотворец – не иначе».

В Средневековой Европе Кампанелла спасся от костра, разыграв безумие. В Советской России Бродский тоже пытался спрятаться от суда в психушке. Не вышло.



Иосиф Бродский

Племя «Здесь и сейчас» почувало в молодом Бродском полномочного посла державы «Везде и всегда» и погналось за ним дружной сворой без всякого науськивания со стороны КГБ.

Политика – искусство возможного.

Художник – всегда порыв к невозможному.

Именно поэтому художнику так трудно не презирать политиков. Именно поэтому только великие художники умели разглядеть отблеск метафизического величия в политических событиях: Гомер, Софокл, Данте, Гёте, Державин, Байрон, Пушкин, Мицкевич, Гюго, Томас Манн, Бродский.

В христианском учении отчаяние считается тяжким грехом. Понадобились усилия гениальных безбожников, чтобы приукрасить и облагородить отчаяние: Гёте, Кафки, Сэлинджера, Бродского.

Снобизм – это тоже своего рода попытка «брать нотой выше». Не потому ли Бродский питал слабость к снобам да и себе не отказывал в этом удовольствии?

Русский патриотизм еврея Бродского проявлялся в том, что он умирал от стыда за вторжения в Чехословакию, Афганистан и прочие мерзости советского режима. В отличие от него, Татьяне Толстой, Вайлю, Генису и сотням других интеллигентов казалось диким принимать на себя какую-то ответственность за то, что творила коммунистическая диктатура. «Разве это были мои танки?», говорила Толстая чехам на литературной конференции в 1990 годы.



Марина Басманова (предположительно)

Когда человек слишком быстро поднимается из морских глубин вверх, кровь его вскипает – это называется кессонова болезнь. Видимо, то же самое происходит, когда человек заныривает слишком глубоко в духовные глубины: начнёшь подниматься слишком быстро – душа вскипит отчаянием. Примеры: Экклезиаст, Паскаль, Гоголь, Кьеркегор, Кафка, Сэлинджер, Бродский.

Конец января в истории русской литературы отмечен смертью Пушкина, Достоевского, Бродского. Кто следующий?

Русская литература XX века переполнена выдающимися литературными секретарями. Ходасевич был секретарём у Горького, Евгений Шварц – у Чуковского, Найман – у Ахматовой, Довлатов – у Пановой, Гандельсман – у Бродского. Если напишут книгу об этом феномене, называться она будет «Секретариат».

О женщине, которой посвящены «Новые стансы к Августе»: очень рано, своим русалочьим умом, она поняла, что

удержать Бродского можно только непрерывно уплывая от него, погружаясь в пучину Непредсказуемого, Непокоримого. И так продержала его сердцем привязанным на берегу своего пруда дольше всех – почти двадцать лет.

Бродский обожал покорять людей. Не в этом ли секрет его одержимости Мариной Басмановой? Она была навеки непокоримая, поэтому её можно – и нужно – было покорять снова и снова.

Когда мы – безвестные и бесправные молокососы – кидались на защиту молодого Бродского, в запуганных душах средних советских чиновников это рождало тревогу: «А вдруг им ПОЗВОЛИЛИ вступаться? Вдруг это новые веяния, которых мы ещё не знаем?» И опасались душить нас до конца.

Уже в октябре 1964 года, во время ночных разговоров в деревне Норенская, Бродский говорил о близком ему духе искусства. Вот то, что мы видим вокруг себя и среди чего живём, – это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, во вне. Всё, в чём не содержится такого устремления – хоть немного, – чуждо ему и неинтересно. Ещё он говорил, какая это жуткая штука – самоконтроль, взгляд на себя со стороны, осознание собственных приёмов и ходов, отвращение к себе за эти приёмы до отчаяния, до ненависти к работе, и единственное, что может спасти здесь, это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыда и страхи – с последующим подчищением, с возвратом назад, – идти ва-банк, рискуя полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться, может быть, в пустоту, может быть, в гибельную – но только так. Позже я замечал, что возвращаться назад и подчищать он не очень склонен и что, действительно, некоторые вещи разваливаются от несоразмерности, кончаются неудачей, катастрофой, но даже эти катастрофы – великолепны в своей подлинности, как развалины Колизея или Парфенона.



Ася Лapidус

Так все и было

Яков Соломонович Пан (И.Нечаев)



Перед вами групповая фотография, типичная для начала 20-х годов прошлого столетия – студенты рабфаковцы – все, как один переросшие юный студенческий возраст - во главе с преподавателем, скромно примостившимся слева – ничего не замечаете? – да, я понимаю вас - вы недоверчиво удивлены – преподаватель 15-летний - нет, не капитан - просто мальчик в очках и коротких штанишках.



Это Яша Пан - в будущем инженер, журналист – сначала автор, а потом и сотрудник журнала Знание - Сила, писатель, один из самых оригинальных зачинателей советской научно-популярной литературы, волшебную книгу которого «Рассказы об элементах» мне хочется рекомендовать всем и каждому. Почему волшебную – если прочтаете, поймете – так о науке не писал никто, даже жанра такого не существовало. Это потом, через четверть века появился заморский Мартин Гарднер, завлекший в

сети точных наук целое поколение американских подростков (как показала наука и жизнь, не только американских и не только подростков). А предтеча – предтечей была не больше, не меньше, как История свечи Майкла Фарадея – незабываемая, но, как по мне, все-таки не такая завлекательная. Я бы назвала этот уникальный жанр – поэтическим научным детективом. Читается захлеб. Я не буду ничего рассказывать – это надо прочитать самому. А мне хочется сказать хотя бы несколько слов об авторе.

Но сначала, как водится – предисловие. Много, очень много лет тому назад в разговоре с папой я упомянула имя моего университетского знакомого и некоторым образом коллеги - математика Вити Пана.

- Погоди, погоди – сказал папа – он живет на Кропоткинской в большой коммунальной квартире?

– Да, а ты откуда его знаешь?

– Я когда-то работал с его отцом в знаменитой газете «За индустриализацию», которую делали делала полтора энтузиаста – в частности, мы с Паном – прекрасные были времена, кончились, впрочем, быстро и отнюдь не благополучно. Мне бы хотелось познакомиться с его сыном. Должен тебе сказать, что Пан был первым - лучшим из всех, кто когда бы то ни было писал научно-популярные книги. Нет, не одним из лучших, а именно лучшим – поверь мне, как-никак я читатель-профессионал, хотя и пишущий. И человеком он был особенным, к тому же родом из легендарного города Бердичева, – папа смеялся, он не умел и не хотел говорить возвышенно.

Книга И.Нечаева (псевдоним Я.Пана) «Рассказы об элементах», изданная в 1939 году, оказалась библиографической редкостью, и буквально до последнего времени мне никак не случалось прочитать ее. И вот теперь она передо мной на экране, благодаря всезнающему интернету. Не могу удержаться – хочется сказать о собственном впечатлении.

Химию я изучала только в школе, и она была моим врагом номер один. От химических формул и разных валентностей рябило в глазах, а таблица Менделеева на уныло выбеленной школьной стене вызывала непроходимую скуку и тупую тоску. А тут – не просто интересно, а именно интригующе, по-настоящему любопытно. И как просто, как понятно – я бы сказала – очаровательно написано, при этом, о вещах далеко не тривиальных, и нисколько, ни капельки не подстраиваясь под неграмотного читателя, наоборот - с той особенной простотой, которая ставит знак равенства самого благородного свойства между учителем и учеником, писателем и читателем,

исследователем и последователем. И как живо – к тому же ничуть не устарело.

Теперь, наконец, об авторе. Яков Соломонович Пан родился в 1906 году, как я уже говорила, в фольклорно знаменитом городе Бердичеве, где, кстати, за 50 лет до этого в семье ссыльного польского аристократа родился известный английский писатель Джозеф Конрад.

Анекдоты не обманывали - в начале XX века Бердичев считался да и был вполне захолустным местечком. А семья Пан была не просто бедной, а ужасающе бедной. Достаточно сказать, что из 18-и детей (!) выжило только 10. Родители умерли рано. Дети жили по родственникам, в школу ходили по очереди – одна пара башмаков на Яшу с братом. Насчет еды – подголадывали, конечно, а то и просто голодали. Зато с учебной – любознательности и способностям Яши можно было только позавидовать, с учебной дело шло блестяще.

Мальчик понимал, что ему надо учиться дальше и всерьез, но как? И вот он в возрасте 14-и лет, ничтоже сумняшеся, пишет письмо не больше и не меньше, как наркомун просвещения А.В. Луначарскому. Детская наивность города берет – сановный покровитель искусств, культуры и советского просвещения помог мальчику приехать в Москву.

Я просто не могу не привести этих удивительных документов – переписку никому не известного малолетнего Яши Пана с влиятельным Луначарским, характеризующую некоторым образом и непостижимое смутное время, но еще больше юный талант, научная заинтересованность которого просто не умела понимать границ.

*Из переписки Я.С. Пана (И.Нечаева) и А.В. Луначарского
«14 – VII – 1921 г. Бердичев, Киевской губ.*

Гов. Луначарский!

Имею смелость обратиться к вам с необычайною просьбой, осуществление которой может быть в вашей власти. Я – мальчик 14 лет, сирота, ученик 5-го класса б. Коммерческого училища. <...> С 10 лет я читаю научные книги и знаком со всеми отраслями науки. В школе я всегда проходил курс по пятеркам. Во мне горит страшное желание учиться. Здесь я могу потерять свои способности и кончить свою жизнь рядовым, пешкой, в то время как я, подобно Илье Муромцу, чувствую в себе силушку великую, понятно, духовную, ибо физической силой и ростом природа меня обидела, что мне очень вредит. Я хочу начать службу обществу рано и в очень крупном масштабе. И, понятно, здесь, в гнилом Бердичеве с его затхлой мещанской атмосферой я

только понапрасну растрчиваю свои силы. Я бы хотел быть всем: экономистом, естествоиспытателем, изобретателем и т.д. Мне кажется, что я в себе соединяю гении Маркса, Дарвина, Мечникова, Менделеева, Уатта, Стефенсона и т. п. В советской России, этом первом опыте великого социалистического общества таланты и гении не должны пропадать, и я, даже увеличивая свое значение в 100 раз, тоже могу пригодиться обществу. Не знаю я только, как скорее этого достичь. Учиться здесь, в этой обстановке нельзя, тем более, что я – сирота, и, кроме всего, должен весьма серьезно заботиться о самом прозаичном и зверском – о желудке. Здесь и лежит гвоздь моей просьбы: еще раз извиняясь за беспокойство (ведь вы все-таки заведываете Наркомпросом и вам заниматься пустяками некогда), прошу придумать план моего извлечения из Бердичева и дать развиться моим талантам.

Ради социализма, товарищ! Не думайте, что я взбалмошный мальчик, страдающий манией гениальности, не думайте, что это письмо подсказано мне родными, с целью избавления от едока, только не подумайте этого, товарищ! Я пишу вам совершенно искренно и самостоятельно, т.к. во мне говорит великая страсть к науке, и если эта страсть в ближайшем будущем не будет удовлетворена, я сгорю от этой страсти. Я вас не знаю, вы меня не знаете, но общая идея – служение человечеству пусть руководит как вами, так и мной. Я обращаюсь к вам как к Народному Комиссару Просвещения Российской Социалистической Республики и как к коммунисту – придумайте, как я могу водвориться в Москве, чтобы с успехом изучать науки и развить те богатства, которые, как мне кажется, мне дала природа. И кто знает, может быть, я буду Ломоносовым XX века?

Не махните рукой на это письмо, как на надоедливую муху, не бросьте его в сорный ящик, а прислушайтесь к голосу ищущего света и ответьте мне лично, что вы об этом думаете. Еще раз извиняюсь и прошу меня извинить, и если вы меня найдете дураком, страдающим психической болезнью, то простите и не говорите другим, чтобы не осмелили мою молодую зеленую душонку.

Жду скорого ответа.

Яков Пан

P.S. Я владею хорошо еврейским и русским языками. Знаю немного по эсперанто, древнееврейски, украински, французски и немецки. Если вы не найдете нужным мне ответить, я вас больше беспокоить не буду.

Ответ Луначарского.

26/12 1921 г.

Дорогой товарищ.

По недоразумению мое письмо, при котором сопровождалась моя записка к Советской власти о содействии Вашему выезду, к Вам не попала. Снова сообщаю Вам, что готов, несмотря на некоторую действительно слегка мальчишескую самоуверенность, которая проглядывает в Вашем письме, поверить, что Вы человек обещающий. Пройти мимо не хочется. Поэтому предлагаю Вам выехать в Москву. Здесь Вы будете помещены в так называемый «Дом юношества» Наркомпроса. Условия сносные. Вы сможете также совершенно свободно пользоваться всеми культурными ресурсами Москвы. По приезде в Москву направляйтесь на Поварскую улицу, Хлебный переулок, дом 15 и спросите там Евгению Егоровну Соловьёву.

Нарком по Просвещению А. Луначарский

Так благодаря А.В. Луначарскому, Яша попадает в Москву и тут же поступает на рабфак – курс которого щелкает, как орешки, - экстерном и в охотку. А через год талантливый мальчик начинает преподавать на том же рабфаке, где учился сам, взрослым студентам (откуда и фотография). Потом продолжает образование в бауманском МВТУ, по окончании которого поступает на работу в Химический институт им. Карпова (ныне НИХФИ – Научно исследовательский физико-химический институт им Карпова). К этому же времени относятся его первые публикации в газетах и журналах - очерки и рассказы по истории науки, которые сначала печатались в журналах «Знание – сила» и «Техника - молодежи», а позже продолжились «Рассказами об элементах».

Он оставляет научную деятельность и переходит на журналистскую работу сначала в газету «За индустриализацию», а затем в журнал «Знание – сила». Война обрывает его планы. Он отправляется на войну добровольцем – слабого здоровьем, больного туберкулезом, в армию его не взяли – зато в народное ополчение, куда брали всех, зачислили и его. Вскоре ему удастся перейти в регулярную армию. А осенью 41-го лейтенант Яков Пан уже командует ротой – у него все получается первосортно. Только вот пережить мясорубку войны – оказалось невозможным. В своем последнем письме он писал жене: «Попадаем в такие передряги, что надо быть готовым ко всему». Так оно и случилось. В самом начале войны, в октябре 1941 года он погиб в боях в районе озера Селигер, оставив жену вдовой и двухлетнего сына сиротой.

В заключение должна заметить, что почти забытая на родине (последнее издание в 1960-м), книга «Рассказы об элементах» переводилась и издавалась за границей неоднократно: в США (“Chemical Elements”, Coward-MacCann, Inc., New York, 1942), в Англии (изд. Lindsay Drummond, 1944; “The Chemical Elements”, Tarquin Publications, Norfolk, 1997 and 2003) и во Франции (Belin: Pour la Science, Paris, 2005). И всегда ей сопутствовал неизменный читательский успех. Причина этого проста – книга замечательная. Искренне рекомендую и советую ее прочитать.

Даю интернетовскую ссылку: <http://dutum.ru/element/elem00.htm>. А статья эта еще написана с некоторой надеждой, что все-таки книгу переиздадут – она того стоит.

Расширенная версия статьи в журнале Знание-Сила №11 2012 г.



Анатолий Абрамов

Человек Альберт Швейцер

(Окончание. Начало в №12/2012)

Глава 7

1915. Рождение формулы “Благоговение перед жизнью”



огда в Европе происходило международное побоище, называемое Первой мировой войной, в Африке Швейцер открыл универсальный этический принцип. Это было озарение – результат изучения и сопоставления философских систем Запада и Востока и напряжённых раздумий, результат долгого поиска ответа на фундаментальный вопрос: что же всё-таки может быть положено в основу культуры такое, что придало бы ей всеобщий этический мировоззренческий характер и дало людям этический ориентир во всех конкретных проявлениях их деятельности. Решение поставленной им перед собой грандиозной проблемы долго не давалось ему.

В автобиографии Швейцер рассказал, как оно пришло. «Решаемо ли вообще то, что до сих пор не удавалось решить? Или, быть может, мировоззрение, благодаря которому только и возможна культура, следует рассматривать как иллюзию, никогда не оставляющую нас...<...>

Месяцами я находился в постоянном внутреннем напряжении... и даже ежедневная работа в госпитале не могла меня отвлечь. Я блуждал в чаще, не находя дороги. Я упирался в железную дверь, которая не поддавалась моим усилиям.

Все знания по этике, какими вооружила меня философия, оказались непригодными. <...>.

К своему удивлению, я должен был констатировать, что та область философии, куда завели меня размышления о культуре и мировоззрении, оставалась неведомой страной. То с одной, то с другой стороны пытался я проникнуть внутрь неё. И каждый раз вынужден был отступать. Я уже потерял мужество и был измотан.

Пожалуй, я уже видел перед собой то самое здание, о котором идёт речь, но не мог схватить его и выразить.

В таком состоянии я был вынужден предпринять длительную поездку по реке...» [2, с. 533].

К нему пришла просьба оказать врачебную помощь жене одного из миссионеров. В это время они с Элен жили на берегу океана недалеко от порта Кейп-Лопес. Отдыхали. Особенно остро нуждалась хотя бы в небольшом отдыхе Элен.

Познакомимся с событиями того дня, когда он отправился в небольшое путешествие вверх по течению реки, в рассказе самого Швейцера: «Единственным доступным средством передвижения оказался маленький пароходик, волочивший за собой перегруженную баржу. Все пассажиры, кроме меня, были чернокожими; в одном из них я узнал своего ламбаренского друга Эмиля Огуму. Поскольку в спешке я не запасся достаточным количеством съестного, они предложили мне есть с ними из одной кастрюли.

Мы медленно продвигались вверх по течению, петляя среди песчаных отмелей, – сезон дождей ещё не начался. Я отрешённо сидел на палубе баржи, мучительно пытаюсь дать простое и в то же время универсальное определение «этического», которое не смог найти ни в одной из философских систем. Я исписывал листок за листком бессвязными фразами – единственно ради того, чтобы сосредоточиться на занимавшей меня проблеме. На исходе третьего дня, когда солнце опускалось за горизонт и мы как раз пробирались через стадо гиппопотамов, перед моим внутренним взором внезапно всплыли слова, которых я не ждал и не искал: «благоговение перед жизнью». «Железные ворота» поддались; в дебрях показалась тропа. Наконец-то я вышел к идее, соединяющей в себе миро- и жизнеутверждение¹ и этику! Теперь я знал, что мировоззрение, основанное на этическом миро- и жизнеутверждении и вытекающих из него идеалах культуры имеет основание в мысли [3, с. 98]. Это было 13 сентября 1915 года.

Принципом, выраженным в мысли «Благоговение перед жизнью», перед любой жизнью, Швейцер расширил поле этики человека европейской цивилизации от отношения «человек к человеку» до отношения «человек ко всему живому» и предложил идеальную формулу для новой, универсальной этики.

¹ Миро – и жизнеутверждение – проникнутость бодростью, оптимистичным отношением к миру и к жизни.

Это был и есть революционный шаг, указывающий путь к принципиально новому сознанию человека, к принципиально новой жизни общества.

В дальнейшем Швейцер разъяснил в своей работе «Культура и этика», что человек вынужден приносить одни жизни в жертву другим, вынужден уничтожать живые существа. Но, если он делает это не бездумно, а сознательно и испытывает чувство вины, то он вынуждается к уменьшению наносимого вреда, к уменьшению страданий живых существ.

Необходимо особенно подчеркнуть, что правило минимизации наносимого вреда не распространяется на жизнь человека – она выше этого. Принцип «Благоговения перед жизнью» объявляет жизнь каждого человека полностью священной.

Вспомним, что все преступные тоталитарные режимы XX века ни во что не ставили человеческую жизнь и, как следствие, из этого проистекали все ужасы и уродства социальной жизни.

С момента озарения сознания Альберта Швейцера великой формулой² она постоянно жила в нём, и его собственная жизнь, осветившись благоговением перед таинством жизни, шла в этом свете, тончайшем свете универсальной этики³. В ней он нашёл жизненную опору.

² Вот что пишет о формуле, данной миру через Альберта Швейцера, Николай Болдырев в своём мистическо-этическом философско-психологическом, наполненном словесными кружевами интуитивно проникновенном очерке «Этическое тело и вечность»: «Сама эта формула может оказаться сегодня столь «захватанной», что с неё взгляд просто-напросто соскользнёт. На самом же деле она синонимична по смыслу благоговения перед Тайной, перед неизвестностью, перед громадой непознаваемого, то есть в сущности перед Духом, который манифестирует себя во всём живом. Швейцер жил в измерении именно такого благоговения. Он стоял перед Тайной на коленях, стоял перед Духом, который всем управляет. Чтобы это ежедневно чувствовать, нужно обладать колоссальнейшим энергетическим воображением и прочищенным каналом интуиции» [3, с. 227].

³ «Интересно, сколько людей в каждом поколении способно испытывать именно благоговение перед тайной жизни? Вероятно, таких людей единицы. Описать благоговение, конечно же, могут сотни и тысячи писателей и журналистов, но переживают эту дрящуюся сквозь жизнь эмоцию – мистики-одиночки, затерянные в толпах...» [3, с. 227].

На сезон дождей 1916/1917 года чета Швейцеров снова поехала в Кейп-Лопес для кратковременного отдыха Элен, с большим трудом переносившей местный климат. Они работали в Африке без отпуска четвёртый год. Даже самые выносливые европейцы не выдерживали в тех условиях более двух-трёх лет работы без отпуска и уезжали после этого в Европу на длительный отдых и лечение.

Когда они жили в домике на берегу океана, произошел очень характерный для Швейцера эпизод. Габон торговал лесом, и брёвна сплавливались к Кейп-Лопесу с верховьев Огове. В воде их оставлять было нельзя из-за жука древоточца, который быстро приводил брёвна в негодность, поэтому аборигены выкатывали их на берег. С некоторыми особенно тяжелыми брёвнами несколько здоровенных мужчин еле справлялись за несколько часов напряжённого труда. И вот Швейцер решил, что он должен помочь африканцам, вошёл в воду и принялся работать вместе с ними.

Глава 8

1917-1918. Семья Швейцер-Бреслау – военнопленные

Наступил 1917 год. Война в Европе продолжалась. И вот в сентябре, в разгар больничных работ, из Франции в это абсурдное время пришёл совершенно абсурдный приказ министра обороны считать находящихся на французской территории германских подданных Альберта Швейцера и мадам Швейцер военнопленными и немедленно интернировать их во Францию. Опоздание парохода позволило Швейцеру принять меры к консервации имущества больницы и, главное, к сохранению набросков рукописи своего философского труда. С собой он взять их не мог, поскольку опасался, что написанные на немецком языке тексты могут быть у него отобраны французским таможенником при досмотре багажа. Он доверил наброски книги своему близкому другу американскому миссионеру Форду, входившему в состав миссии в Ламбарене.

«Форд, как он признался, охотно бы выбросил их в воду, так как считал философию штукой бесполезной и даже вредной, но из чувства христианской любви решил сохранить их с тем, чтобы вернуть мне после войны» [9, с. 339].

Швейцер успел также обменять золото у знакомого лесоторговца-англичанина на французские деньги, которые они с Элен зашили в одежду.

Пришёл пароход, и «пленённых» супругов повезли во Францию, в неизвестность. Трудности начальной части пути были несколько сглажены африканским авторитетом Швейцера.

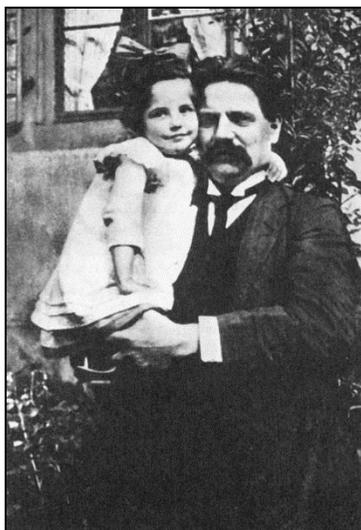
Вскоре после отплытия от африканского берега немецкая подводная лодка атаковала вражеский французский пароход, но торпеда в цель не попала. Судьба (или Высшие силы, кому как ближе) хранила Швейцера. Интересно то, что подводной лодкой командовал лейтенант немецкой армии Мартин Нимеллер, который после Первой мировой войны стал пастором в Берлине. За свою независимость и антигитлеровские высказывания Нимеллер был заключён в концлагерь Дахау, едва избежал газовой камеры. В последующие годы он сделался известным борцом за мир и получил в 1967 году международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами». Альберта Швейцера он боготворил.

Во Франции супруги были помещены в лагерь для интернированных лиц, устроенный в Пиренеях в старинном замке Гарэсон. Заключённые в лагере приводили в порядок разрушающийся замок. Начались немислимые в своей глупости месяцы неволи. Авторитет Швейцера, теперь европейский, и медицинские услуги окружающим людям помогли и тут. Лагерный врач не справлялся с нагрузкой, а Швейцер оказался единственным врачом среди интернированных лиц. Вскоре один из заключённых сделал для Швейцера стол, который он использовал для занятий философией. Он начал по памяти восстанавливать и расширять наброски «Культуры и этики», оставленные в Ламбарене. За тем столом Швейцер занимался и музыкой. Он, как бывало в детстве, воображал, что стол – это клавиатура органа, и разучивал на нём музыкальные произведения Баха и Видора.

В новых условиях жизни в заточении Швейцер усмотрел и новые возможности: «В лагере тебе не нужно было никаких книг, чтобы пополнить своё образование. Что бы ты ни захотел узнать, в твоём распоряжении были люди, имевшие специальные знания в интересующей тебя области, и я широко использовал эту уникальную возможность. Едва ли где-нибудь в другом месте я мог бы почерпнуть столько полезных сведений о банковском деле, архитектуре, строительстве и оборудовании фабрик, выращивании злаков, доменном строительстве и многих других вещах...»[26, с. 104].

Тут невольно возникает вопрос – зачем Швейцеру знания, например, в банковском деле или в доменном строительстве? Как врачу, как сельскому хозяину, которым он был в больнице, как философу? Ответ очевиден – незачем. Впрочем, может быть, философы ищут пищу для своих обобщений в любых знаниях. Но всё же наиболее вероятным представляется ответ – это всё нужно

было Швейцеру-писателю. Он был в душе прирождённым писателем, а писателю, как известно, интересна вся жизнь. А может быть, объяснение в том, что он, обучаясь в стеснённых лагерных условиях, нашёл выход своему ненасытному интересу к знаниям, даже, казалось бы, для него бесполезным. Одновременно он тренировал мышление.



С дочерью Реной в 1922 году

Весной 1918 года Швейцер с женой были переведены в лагерь Сен-Реми на юге Франции. Это был лагерь специально для эльзасцев. По условиям он был хуже первого, но, к счастью, его возглавлял добродушный француз, благоволивший к Швейцеру. Они потом тепло переписывались.

В середине июля Швейцера с Элен повезли обменивать на военнопленных французов и – о свобода! Элен сразу же уехала к родителям в Страсбург, а Швейцер – в Гюнсбах, куда Элен вскоре приехала. Он уже очень нуждался в её помощи. Швейцеру была сделана операция, он болел – сказались тяжесть труда в Африке и все эти нелепые лагерные передрыги. Вскоре, в день сорокачтырёхлетия Альберта, в 1919 году, Элен дарит мужу дочь. Рена впоследствии нередко приезжала и работала в африканской больнице своего отца.

Швейцер начинает трудиться в Страсбурге врачом в городском госпитале и проповедником в церкви Святого Николая. Он переносит ещё одну операцию, продолжает работу над

«Культурой и этикой» и отправляется на первые гастроли как музыкант-органист.

Но будущее оставалось неясным...

Глава 9

1924. Начало пути к возвращению в Африку.

Две книги. В путь!

За несколько дней до Рождества 1919 года Швейцер получил телеграфное приглашение от архиепископа Швеции приехать к нему в гости и прочитать курс лекций в университете Упсалы. Это несло спасение. В апреле 1920 года Швейцеры приезжают в гостеприимный дом архиепископа и одновременно ректора университета Натана Сёдерблума. Швейцер получает согласие ректора на тематику лекций. Он наметил для них проблему миро- и жизнеутверждения и этики в философии и мировых религиях как часть философии культуры.

Вдохновлённый открывающимися возможностями, согреваемый необыкновенным дружелюбием архиепископа и его жены, в мягком климате Упсалы Швейцер начинает восстанавливать здоровье. У него появляется надежда на возвращение в Ламбарене. Но его угнетает мысль о долгах Парижскому миссионерскому обществу и парижским знакомым. Он залез в эти долги, чтобы обеспечить работу больницы во время войны. Архиепископ замечает беспокойство Швейцера, однажды выведывает у него причину и предлагает Швейцеру путь решения его материальной проблемы: гастроли по Швеции. Нейтралитет Швеции в минувшей войне не нарушил и даже увеличил её благоденствие, что предвещало успех в гастролях. Заботливый архиепископ даёт Швейцеру рекомендательные письма в города. И турне состоялось – лекции и органные концерты на старинных органах.

Несколько недель Швейцер в разных городах рассказывал о бедах Африки, о долге европейцев помочь африканцам в такой степени, в какой это только возможно. Он говорил, а сопровождавший его студент Элиас Седерстром, увлечённый его делами и мыслями, переводил на шведский язык его рассказы о буднях их с Элен жизни и работы в далёкой стране у самого экватора. Швейцер возгласил идею всемирного Братства Боли, неизъяснимым образом объединяющего всех страдающих от боли людей. Он говорил, что страдания африканцев превосходят страдания европейцев, поскольку кроме практически всех европейских болезней в Африке есть ещё и ужасные тропические, а врачебной помощи зачастую нет никакой при очень тяжёлых условиях жизни. Он вдохновенно взывал к лучшим чувствам

своих слушателей, и был ими услышан. И он одаривал их своей возвышенной музыкой.

После окончания одной из лекций к лектору подошёл шведский крестьянин и попросил принять в подарок семейную реликвию – меховую шапку, полученную им от деда. При этом он сказал: «Только тебе могу я подарить её, потому что ты Швейцер» [7, с. 129].

«На последней лекции, резюмировавшей основные мысли благоговения перед жизнью, я был так взволнован, что с трудом мог говорить. Взволнованы были и слушатели из-за нового и более глубокого обоснования этики. Мои мысли встретили поддержку и у архиепископа Сёдерблума» [9, с. 340].

После турне у Швейцера появилось достаточно средств, чтобы расплатиться с больничными долгами, и немного сверх того для продолжения работы больницы. Через три месяца он вернулся в Гюнсбах, потом в Страсбург и здесь в доме при церкви Святого Николая написал книгу, в которой представил, начиная со своего решения стать врачом, тот африканский период жизни, с которым мы уже кратко познакомились. В конце книги, это был август 1920 года, он написал: «Когда я смотрю на избавление от страданий больных в этом далёком краю как на задачу всей моей жизни, я исхожу из чувства милосердия, к которому призывает Иисус Христос и религия вообще. Но вместе с тем я взываю и к разуму человека, На то, что нам следует совершить во имя облегчения участи негров, нельзя смотреть, как на простое «доброе дело». Это наш неотъемлемый долг перед ними» [6, с. 107].

Его совесть буквально кричит, когда ум просматривает ужасающую картину вторжения европейцев в Африку. «Что же сотворили белые разных национальностей с цветными после того, как были открыты заморские страны? Как много означает один только факт, что с появлением европейцев, прикрывавшихся высоким именем Иисуса, немало племён и народов было стёрто с лица Земли, а другие начали вымирать или же влачат самое жалкое существование! Кто опишет все несправедливости и жестокости, которые племена эти претерпели за несколько столетий от народов Европы! Кто отважится измерить те бедствия, которые мы им причинили, завезя в колонии спиртные напитки и отвратительные болезни!»

Книга «Между водой и девственным лесом» вышла в 1921 году сначала в Швеции (в Упсале), вскоре в Швейцарии и в Германии, в 1922 году – в Англии, Дании, Голландии и Финляндии, в 1923 – во Франции. А в дальнейшем и в других странах. Книга эта стала бестселлером. Гонорары от её издания

позволили уже реально планировать возвращение в Ламбарене и возобновление деятельности больницы. Издание книги имело очень большое значение и для привлечения помощи больнице в последующие годы.

Швейцер отверг очень выгодную с точки зрения европейца перспективу стать профессором в одном из самых престижных университетов Европы – в Цюрихе, где ему присвоили степень доктора и предложили занять должность, и уехал в Гюнсбах для продолжения работы над книгой о культуре и этике.

К этому времени он уже получил по почте от Форда наброски рукописи и имел возможность учесть их при окончательной отделке текста. В феврале 1923 года он подготовил книгу к публикации. В предварительном замечании к своему труду он написал: «Первоначальные наброски этой философии культуры, первые две части которой публикуются здесь, относятся к 1900 году. Она разрабатывалась в 1914-1917 годах в девственных лесах Африки. Я благодарю за помощь в работе над корректурой мою жену и моего друга Карла Лейрера» [2, с. 43]. Найти издателя было нелегко. Помогла Эмми Мартин (Эмма Мартини). Находясь в Мюнхене по своим делам, она зашла в тамошнее издательство и переговорила с заместителем директора господином Альбером. Тот в её присутствии раскрыл рукопись и, едва взглянув на неё, сказал: «Мы возьмём эту рукопись без чтения. Альберт Швейцер не является для нас незнакомцем» [9, с. 341]. В том же году «Культура и этика» была в Мюнхене опубликована.

Шведское турне сделало пребывание Швейцера в Европе известным. Его начали приглашать для чтения лекций и проведения концертов в разных странах. Он проехал по Швеции, Швейцарии, Дании, Испании, Франции, Англии, Чехословакии. Это открывало новые возможности для возобновления африканского Служения. Швейцер принимал приглашения, ездил, радовал слушателей своей игрой на органе, своими возвышенными речами и, может быть, главное – общением со своим высоким духом. Он был прост, как бывает прост истинно великий человек, прост как дитя.

Гонорары от своих концертных выступлений Швейцер в виде валюты разных стран складывал в отдельные подписанные мешочки: «английские фунты», «марки», «шведские кроны» и др. Однажды в Париже в общественном транспорте с ним произошёл забавный эпизод. Он не успел купить билет, сидел задумавшись. Из этого состояния его вывел контролёр, потребовавший уплатить

штраф. Швейцер, не говоря ни слова, достал свои мешочки, нашёл среди них мешочек с франками и начал его развязывать. Но тут за него вступились умилённые его поведением пассажиры. Они закричали на контролёра: «Да как вы смеете его штрафовать? Вы что, не видите, что дедушка только что из деревни приехал?» [5, с. 246].

Во время этой поездки по Европе, как и в последующих, Швейцер встречал интерес к этике благоговения перед жизнью и укреплялся в мысли её обязательного осуществления на Земле, поскольку она следует из мышления подобно научному выводу. Как именно следует, мы вскоре узнаем из второй книги о жизни Швейцера. Она будет называться «Универсальная живая этика».

Среди вопросов, которые Швейцеру задавали в Швеции в 1920 году, был и вопрос об отличии его этики благоговения перед жизнью от этики святого Франциска Ассизского (1182–1226). Спрашивали: «Не является ли его этика простым повторением того, что проповедовал и демонстрировал своей жизнью Великий святой?» Швейцер на это отвечал: «К такому заключению пришёл и я сам. Ещё со студенческих лет я был почитателем этого святого.

Он проповедовал братство людей с живыми тварями, как небесную весть. Для его слушателей она была божественной поэзией, и они не стремились посвятить себя опыту её осуществления на Земле» [9, с. 340].

В 1923 году Швейцеру начали приходить письма из Ламбарене и ближайших поселений. Видимо, прослышав об активности их доктора в Европе, знавшие его европейцы и ученики миссионерской школы, чернокожие мальчики и девочки, звали его скорее приехать, писали, что они его ждут. Их легко можно понять. Тем временем Швейцер опять закупал всё необходимое для больницы и усовершенствовался в медицинских познаниях в Страсбурге и в Гамбурге. Ему предстояла разлука с женой и дочерью. Элен с ним ехать не могла, оставалась с 5-летней дочерью, была не вполне здорова. Мужа она благословила на отъезд. Необходимость помогать африканцам была их общей, глубоко укоренившейся в сердцах и двигавшей их жизнями идеей. Опять личное отступало перед общественным, перед любовью к Иисусу.

21 февраля 1924 года Швейцер, сопровождаемый своим добровольным помощником, восемнадцатилетним английским студентом Оксфордского университета, химиком и геологом Нозлем Джилеспи, отплывает, как всегда из порта Бордо, в Африку. В этот раз у него ещё больший багаж, чем в первом

плавании: 73 ящика и 75 мешков с медикаментами и вещами для больницы.

Швейцер специально выбрал для этого путешествия грузовой пароход, заходящий во все порты, чтобы познакомиться с жизнью в отдалённых от Европы землях, особенно на африканском побережье. Немалый штрих к портрету Швейцера: он везёт с собой четыре больших мешка с письмами, на которые он не успел ответить, с намерением ответить на них во время путешествия на пароходе. А он взял за правило отвечать на все письма. Это тоже вид помощи, в которой, размышляет Швейцер, написавший ему человек, может быть, остро нуждается. Всю ночь перед отплытием он отвечал на неотложные письма.

В первых строках его нового дневника 1924-1927 годов Швейцер записал: «Мысли мои уносятся назад, к первой моей поездке, когда меня сопровождала моя верная помощница, жена. Пощатнувшееся здоровье вынудило её на этот раз остаться в Европе» [6, с. 113].

К концу морского путешествия Швейцер и его юный спутник Ноэль приплывают в город Дуалу (Камерун). Они посещают местную протестантскую церковь, а утром следующего дня на почтовом пароходе «Европа», том, на котором они с Элен плыли в 1913 году, отправляются в дальнейший путь. Через два дня пароход причаливает в порту Жантиль (бывший Кейп-Лопес). На берегу Швейцера узнают туземцы и радостно приветствуют. Он слышит слова «наш доктор снова вернулся». На следующий день Швейцер со студентом продолжают путь на речном пароходе «Алембе», опять на том же самом, на котором он с женой плыл по Огове в 1913 году. На пароходе Швейцер встречает несколько старых знакомых – белых лесоторговцев. Те тоже его радостно приветствуют. Далее впечатления самого Швейцера: «В тихий день страстной пятницы я снова еду между водой и девственным лесом. Всё те же допотопные ландшафты, те же заросшие папирусами болота, те же оборванные негры. Сравнивая всё это с Золотым Берегом и Камеруном, видишь в какой бедности живёт эта страна... в бедности, а меж тем она так богата лесами и драгоценными породами деревьев» [6, с. 126].

Пассажиры парохода говорят о людях-леопардах. Это несчастные одержимые безумием туземцы, которым местные колдуны внушают мысль, что они леопарды и поэтому должны убивать людей. Ими напугано население всего западного берега Африки. Колониальные власти не могут справиться с этим бедствием. Швейцер узнаёт, что два года назад человек-леопард совершил убийство на территории самого миссионерского пункта

в Ламбарене. «До чего же бывает радостно после подобных разговоров укрыться на палубе и погрузиться в созерцание природы! Пароход наш медленно движется вверх по реке вдоль тёмного берега. Вода и лес залиты мягким сиянием полной луны, какое бывает лишь на востоке. Трудно даже представить себе, что под лучами этого света находит себе место столько ужасов и человеческого горя...» [6, с.127].

Наконец оказался конечный пункт плавания. Швейцер снова вспоминает об Элен:

«В страстную субботу 19 апреля на восходе солнца прибываем в Ламбарене. <...> Когда мы после поворота въезжаем в боковой рукав Огове, видны раскинувшиеся на трёх холмах дома миссионерского пункта. Сколько всего я пережил с тех пор как осенью 1917 года, когда мы уезжали отсюда вместе с женой, домики эти скрылись из наших глаз! Сколько раз я уже окончательно терял надежду, что когда-нибудь их увижу! А теперь вот я гляжу на них снова, но со мной нет моей помощницы и подруги...» [6, с. 127].

Глава 10 **1924-1925. Воссоздание больницы**

За семь лет его отсутствия больничные строения пришли в полную негодность. Он прямо в день приезда начинает искать по окрестным деревням обуты – маты, сделанные из бамбуковых жердей и листьев пальмы рафии. Этот простейший материал издавна используется в тех местах для кровли. Он является африканским аналогом европейской глиняной черепицы. В первый же день Швейцер берёт каноэ и плывёт со своим лодочником в ближайшую деревню (один час пути), с трудом приобретает там, пользуясь своими знакомствами, первую порцию обутов – 64 штуки, но их надо значительно больше. Начинает восстанавливать крыши у двух строений с уцелевшими стенами. Это барак, где прежде находились операционная, аптека, приёмная, а также барак стационара. Ему удаётся привести их в порядок за две недели, но первые больные, как и в первый приезд, появились уже через три дня. Больных стало больше, чем тогда. И принадлежат они к десяти африканским племенам, а не к двум, как в 1913-1917 годах. Прослышав о больнице, к ней стали стягиваться туземцы из отдалённых районов страны. А говорят-то они на разных языках!

Невозможно вкратце пересказать те новые невероятные трудности, которые Швейцер переживает в первые недели после возвращения. А с ним только один помощник – студент. Много больных с травмами, много малярии, сонной болезни, есть случаи слоновой. Швейцер вдвоём со студентом хоронит умерших, так

как аборигены отказываются в этом участвовать – для них это занятие нечистое. Строится новый курятник, недоступный для леопардов и змей. Наконец, через три с половиной месяца, 18 июля 1924 года из Страсбурга приезжает первый медицинский добровольный помощник – Матильда Коттман. Она становится медсестрой. Но на ней и хозяйство, и уход за белыми больными, а иногда и палавры, поэтому в первое время она как сестра почти не может помочь. Приезжает ещё один доброволец – миссионер Абрезол из Швейцарии, но через месяц он, прекрасный пловец, тонет при загадочных обстоятельствах в озере, на глазах у ошеломлённого студента. Швейцер очень огорчён его гибелью, пишет, что все успели его полюбить. Студент тем временем уезжает для продолжения занятий в университете. Швейцер не может справиться с возросшим объёмом врачебной работы, у него начинается фурункулёз.

Но продолжает лечить, каждый вечер принимает по 60-70 больных. Одновременно он работает над восстановлением больницы, вплоть до того, что сам делает двухэтажные нары для стационара (помощники аборигены сделать это не смогли), сооружает запирающийся склад.

Элен рядом нет, он взывает в письмах в Европу о помощи.

Теперь даже и его здоровье подходит к своему пределу. «После Троицына дня я несколько недель чувствую себя плохо. Мне с большим трудом удаётся работать. Как только я возвращаюсь из больницы – вечером или днём, – я должен сейчас же лечь. Я не в силах даже сделать необходимые заказы на медикаменты и перевязочные материалы» [6, с.144]. Швейцер предполагает, что это следствие небольшого солнечного удара, который он получил через маленькую щель в ветхой крыше.

Наконец, 19 октября 1924 года на помощь приезжает первый помощник-врач. Виктор Нессман – сын эльзасского пастора, учившегося со Швейцером на медицинском факультете Страсбургского университета. Он высаживается на берег и первым делом говорит Швейцеру, что тот теперь сможет отдохнуть, а всю работу в это время он возьмёт на себя. «Хорошо, - отвечает Швейцер, - а для начала проследите-ка за тем, как будут выгружать ваши ящики и чемоданы в каноэ. Это уже некое испытание для впервые приехавшего в Африку человека» [6, с. 151].

На палубе речного парохода груз навален так, что вытащить из кучи свои вещи нелегко. Вдобавок необходимо присмотреть за неграми, чтобы те ничего не забыли, не погрузили чужих вещей, не уронили ничего в воду и как следует

распределили груз на дне каноэ. Туземцы с удивлением смотрят на нового доктора, он по их понятиям слишком молод. Но он хорошо справляется с руководством разгрузкой. Швейцер плывёт к берегу на том же большом каноэ и очень взволнован тем, что у него появился врач и новый помощник. «Какое же это блаженство – иметь возможность признаться самому себе, до какой степени ты устал!

Впечатление, сложившееся у меня при выгрузке багажа, в последующие дни всё более и более укрепляется. Новый доктор как будто создан для Африки, Он практичен, обладает административными способностями и знает, как обращаться с туземцами. К тому же у него есть чувство юмора, без которого здесь не проживёшь» [6, с. 152].

С его приездом Швейцер получает возможность продолжить строительство больницы. Неотложных строительных работ очень много. Абсолютно необходимы, причём быстро, новый барак на тридцать коек, палата для послеоперационных больных на пятнадцать коек, ещё двухэтажные койки-нары, складские помещения для хранения вёсел и инструментов и для продуктов (бананов, риса), чулан для банок, пузырьков, жестянок под лекарства. Нужен домик из трёх комнат для Нессмана и размещения белых больных. Многие из работ, включая труды по добыванию материалов для них, выполняет сам главный врач. Часто просто не находится ни другого исполнителя, ни подходящего помощника. Несколько недель Швейцер не может найти ремесленника, который бы смог распилить подаренные ему брусья на доски. Отсутствие досок останавливает строительство. А у него самого не хватает на это ни времени, ни сил. Есть сколько угодно писарей-негров, но оказывается невозможным найти хотя бы одного пильщика.

Это обстоятельство наводит Швейцера на размышление о том, что «культура начинается не с чтения и письма, а с ремесла! <...> Негры учатся читать и писать без того, чтобы одновременно обучаться ручному труду. Эти познания дают им возможность получать места продавцов и писарей, и они сидят в помещении, одетые во всё белое. <...> Будь на то моя воля, я бы не стал учить ни одного негра читать и писать без того, чтобы научить его какому-нибудь ремеслу. Никакого развития интеллекта без одновременного развития способностей к ручному труду! Только так можно создать здоровую основу для прогресса» [6, с. 183]. Наконец на помощь приходит ...ангина жены одного местного лесоторговца. В плату за лечение тот предоставляет врачу двух своих квалифицированных пильщиков.

Строительные работы продолжаются, их Швейцеру оставить нельзя и приём больных – тоже. Положение усугубляется тем, что у него в результате травм при строительстве появляются язвы на стопе. Они, как обычно для тропиков, распространяются выше по ноге. Швейцеру приходится время от времени ненадолго ложиться в больницу. Мучительная боль от язв вызывает нервное возбуждение. Вслед за главным заболевает Виктор Нессман (у него фурункулёз), а вскоре больна и Матильда Коттман. Положение становится критическим. Больные прибывают: чернокожие, среди которых много прокажённых, и белые. Превозмогая болезнь, врачи оказывают им медицинскую помощь. Вдобавок недалеко от больницы, на территории миссионерского пункта, объявляется леопард, задирающий домашних животных.

В конце января Швейцер и Коттман едва не тонут в реке. В темноте только предчувствие опасности позволяет Швейцеру в последний момент отвести каню от губельного столкновения с огромной плавающей корягой, на которую направляли лодку негры-гребцы. На следующий день после этого случая в больнице появляется долгожданный удобный и устойчивый катер, присланный в подарок шведскими друзьями, долго собиравшими на него деньги. Катеру дают название «Большое спасибо» и пишут его на обшивке судна на шведском языке. Приходит сообщение о скором приезде третьего врача.

И вот в 1925 году: «16 марта, возвращаясь после двухдневной поездки на катере, я вижу на причале рядом с доктором Нессманом стройную фигуру мужчины в несколько небрежной позе кавалерийского офицера. Это наш новый врач, доктор Марк Лаутербург» [6, с. 178], приехавший из Берна. Он оказывается очень энергичным и дельным помощником, приводит Швейцера в восхищение тем, что умеет совмещать функции оперирующего хирурга и операционной сестры. Швейцер записывает, что «он мужественно справляется со своей двойной ролью. Туземцы называют его «Нчинда-Нчинда», что означает «человек, который здорово режет». Доктора Нессмана они зовут Огула, что значит «сын вождя». Под «вождём» они разумеют меня» [6, с. 180].

Именно Лаутербург впоследствии положил начало поездкам врачей больницы Швейцера в глубинки Габона с целью выискивать там больных, которые по тем или иным причинам не имели возможности прийти, приехать или быть доставленными в Ламбарене. Эти выезды Швейцер стремился делать регулярно – на несколько дней почти каждый месяц.

Вслед за Лаутербургом из Швейцарии без предупреждения и приглашения, по своей инициативе и очень вовремя, приезжает плотник Шатцман, который узнал, что плотники Швейцеру очень нужны, и поспешил на помощь. Он работает и как плотник, и как производитель работ (прораб). Швейцер у него учится плотницкому делу. Незадолго до этого Швейцер учился этому у поляка господина Роховяцкого – плотника и столяра, которому он спас жизнь. В благодарность тот помогал Швейцеру в строительстве.

Шатцман, работая с плотником-африканцем Монензали, ускоряет строительство. Неожиданно, после трёхнедельного траура по умершей матери, объявляется уже известный нам Жозеф. «Доктор – раб своей работы, – глубокомысленно говорит он, – а бедный Жозеф – раб доктора» [6, с. 179].

В этот период много хлопот своей дикостью доставляют больные из племени бенджаби из глубинных районов страны. В первой больнице их не было. Швейцер пишет: «Однажды утром я обнаруживаю, что два бенджаби, живущие в самом углу барака, развели огонь под нарами, меньше чем на метр поднятыми над полом. Разводить небольшой огонь около своего места разрешено каждому. Без этого негру, здоровому или больному, никак не прожить. Целый день он себе что-нибудь стряпает. Ночами пламя помогает ему перенести сырость, а дым отгоняет москитов. Сами мы с трудом переносим этот чад. Больные же наши нисколько от него не страдают. <...> Но когда огонь начинают разводить под нарами, я впадаю в тревогу. Поэтому с помощью переводчика и пуская в ход жесты я запрещаю им это делать, тушу сам огонь и водворяю больных на свои места. Через два часа огонь под нарами зажёг снова. Повторяется та же сцена, только жесты мои становятся выразительнее, а голос – громче. Теперь они всё отлично поняли. После полудня огонь под нарами горит снова. Я выхожу из себя, в голосе моем появляются патетические ноты. Но оба бенджаби смотрят через моё плечо куда-то вдаль, как будто слова мои – гимн, обращённый к солнцу. Ночью я по какому-то поводу захожу ещё раз в больницу. Оба огня под нарами продолжают гореть...» [6, с. 162].

При чтении этих строк возникает желание как следует наподдать этим бенджаби, а он сохраняет равновесие («выхожу из себя» несомненное преувеличение). Какое же нужно иметь терпение, чтобы всё это без взрыва перенести?! Поистине, «Величайший тот, кто велик в терпении» [10, с. 279]. И разгадка этого великого терпения заключается в любви. Швейцер любит негров в самых тяжёлых для себя обстоятельствах. Это

соответствует его принципу благоговения перед жизнью, который, как он неоднократно подчёркивал, включает в себя великую заповедь любви.

Может сложиться представление о Швейцере как об эдаком мягком добряке. Оно совершенно не соответствует его волевому и требовательному характеру. Он неуклонно, иногда очень жёстко, добивается того, что необходимо для его дела, для всех, кому он служит. И он хорошо это знает: «Стоит кому-нибудь из чернокожих поработать у меня в больнице, как он уже считается «образованным». Теперь ему легко найти работу, потому что о нём говорят: «Ну, если уж он выдержал у того...» [3, с. 7]. Чернокожих он любит, как и всех людей, но спрашивает с них строго. Если бы не спрашивал, ничего бы не смог добиться и сделать для них же. К нему полностью применим высший комплимент, который школьники дают учителю: «Он добрый и строгий».

В октябре приезжает из Эльзаса еще один доброволец – Эмма Хаускнехт, давняя знакомая Швейцера, предложившая ему свою помощь уже несколько лет назад. Она, бывшая учительница, становится второй сиделкой и сестрой-хозяйкой. Берёт на себя также уход за белыми больными. С её приездом Матильда Коттман получает возможность полностью посвятить себя работе в больнице.

Штат больницы и строителей растёт, но ещё быстрее увеличивается число больных. Недалёко возникает эпидемия дизентерии, а заболевшие ею африканцы, поступающие в больницу, необходимых правил изоляции и санитарии не соблюдают, в результате чего увеличивается смертность. Морга нет, и тела умерших лежат впережку с живыми людьми до тех пор, пока их не унесут на кладбище. Скученность больных огромная: в больнице, рассчитанной на сорок больных, находится в три раза большее их число. Постоянно появляются новые прокажённые, которых необходимо устроить на лечение и изолировать от других больных.

В близлежащих к больнице местностях начинается голод, что осложняет продовольственное снабжение больницы. Нет возможности создать условия для сколько-нибудь удовлетворительного размещения психических больных, и они лежат в тёмной каморке без окон в близком окружении «палат» с другими больными. А некоторых буйных приходится оставлять связанными в их деревнях, обрекая тем самым многих из них на смерть, в то время как в больнице они могли бы и выздороветь.

Из-за скученности строений постоянно существует угроза пожара, который может спалить всю больницу. Нет возможности создать удовлетворительные условия для жизни напряжённо работающего медицинского персонала и для самой медицинской работы. Всё это мучительно переживается Главным Врачом и управляющим больницей, держит его в состоянии тревоги. Положение часто осложняется поведением больных. Швейцер ищет выход.

В этот период он записывает в дневник: «Однажды, доведенный до отчаяния теми же бенджаби, которые снова набрали себе грязной воды (заражённой дизентерийными микробами) для питья, я валюсь в приёмной на стул и восклицаю: „Какой же я всё-таки дурак, что взялся лечить этих дикарей!“ На это Жозеф философически замечает: «Да, на земле ты действительно большой дурак, а на небе – нет» [6, с. 194].

В тяжелейших условиях Швейцер не теряет чувство юмора: «В середине сентября идут уже первые дожди. Теперь строительные материалы надо хранить под навесом. Так как у нас в больнице почти нет работоспособных мужчин, я сам с двумя помощниками таскаю брусья и доски. Вдруг на глаза мне попадается одетый в белое негр; он сидит около больного, навещать которого он приехал.

– Послушай-ка, друг, – обращаюсь я к нему, – не поможешь ли ты нам немножко?

– Я человек интеллигентный и брусьев не ношу, – отвечает он.

– Тебе повезло, – говорю я, – мне бы тоже вот хотелось быть человеком интеллигентным, да что-то не удаётся» [6, с. 195].

Глава 11

1925-1927. Строить третью больницу!

И вот в этот полный драматизма момент, когда сам Швейцер и его коллектив предельно измотаны, когда пациенты выходят из-под врачебного и вообще из-под всякого контроля и гибнут, Швейцер принимает, казалось бы, парадоксальное решение: строить новую больницу. Это один из узловых моментов в его и его помощников Служении.

Швейцер обращается к тем людям, которые поддерживают жизнь больницы. «Нам предстоит тяжёлая работа. Если бы только наши европейские друзья могли знать, что мы исполняем её с радостью, как это и нужно, как того требует дело! Если бы они могли также знать, как глубоко мы признательны им за то, что они так поняли наши нужды, и за всю ту помощь, которую они так трогательно нам оказали! Исполненные доверия к

ним, набираемся мы сейчас мужества и решаемся предпринять всё необходимое для того, чтобы по-настоящему победить в этой несчастной стране страдание и горе» [6, с. 202].

Больничный городок, решает он, будет построен на новом месте, вдали от старого, и там он сможет построить и изолятор, и специальный корпус для умалишенных, и всё, что позволит более эффективно лечить больных; а также жилища для персонала. Необходимо также организовать рядом с больницей плантацию для производства продуктов питания.

Швейцер находит подходящее место в трёх километрах выше по течению Огове на холме Адолинонго (в переводе – «тот, кто наблюдает за племенами», там когда-то жил туземный король племени галоа); он получает у колониальных властей разрешение на аренду семнадцати гектаров земли. После этого он объявляет своим европейским помощникам о новой перспективе. «Вначале они не могут прийти в себя от изумления. Потом оно сменяется ликованием. Уговаривать их не приходится. Они уже давно, как и я, убеждены в необходимости переезда на новое место. Не можем себе представить, как со всем этим справимся. В изумлении взирают на нас негры. К такой бурной жестикуляции и шумным разговорам между нами они не привыкли.

А я думаю о той жертве, которую во имя перемещения больницы должны будут принести моя жена и маленькая дочь. Они ждут, что в конце зимы я к ним вернусь. Теперь же в Европу я смогу попасть не раньше начала следующей зимы. Строительство требует моего присутствия. Для закладки больницы строителям нужен мой опыт. Когда бараки будут уже подведены под крышу, руководство внутренними работами могут взять на себя другие» [6, с. 203].

Кроме всех тягот по очистке нового участка от леса и кустарника, по освоению заболоченных мест, по вспашке плантации под посадки маиса, когда с большим трудом мобилизуются все, в том числе и выздоравливающие больные и их родственники, много тревог и лишений приносит истощение продуктами питания и угроза голода. Швейцер заказал из Европы неочищенный рис; ему хорошо известно, что только он содержит необходимые витамины, но приходят пароход за пароходом, а риса всё нет. А голод уже подошёл вплотную.

Швейцер организует работы по расчистке участка под строительство. Использует для этого всех способных к труду больных, назначает им поощрения в виде полного, не урезанного, как для остальных, рациона питания, и выдаёт талоны на получение подарков – одеял, ножей и других необходимых

туземцам вещей. Помогающие строить выздоравливающие пациенты и их родственники, ежедневно числом обычно около пятнадцати, доставляют персоналу больницы много хлопот. Сначала их трудно поднять на работу и усадить в каноэ, чтобы плыть к месту строительства, а потом за ними надо наблюдать, потому что «предоставленные самим себе, эти люди чаще всего не ударят палец о палец» [6, с. 203]. А нужно ещё проследить за тем, чтобы они, как и врачи и сёстры, вовремя укрылись в помещениях и не заболели малярией от укусов москитов, которые появляются с наступлением темноты. И нужно ещё следить, чтобы они (и все белые тоже) успели укрыться от торнадо – так называются в тех местах внезапно налетающие бури, сопровождающиеся ливневыми дождями. Нельзя допускать, чтобы туземцы промокали, от этого они быстро заболевают малярией. Кроме того, плавать многие из них не умеют, и если буря перевернёт лодку, то они почти наверняка утонут.

Строительство в тех специфических условиях всегда чрезвычайно трудно. Пользуясь компасом, Швейцер с помощниками прорубал тропинки в лесу, чтобы разметить контуры стройплощадки. По пути попадались болота, и на этих участках в топь забивались жерди. «А когда мы натываемся на заросли кустарника, в котором живут наводящие на всех страх красные муравьи, то белые и негры соревнуются в том, кто быстрее сумеет от них убежать. Муравьи эти укрываются в ветках кустов и целыми кучами валяются на того, кто вторгается в их владения» [6, с. 203].

Деревья Швейцер бережёт. На будущей больничной территории – для защиты от солнца. И везде, где только возможно, он оставляет деревья нетронутыми. На участках, намечаемых под плантации, деревья, кроме масличных пальм, приходится сваливать. Деревья в джунглях огромные, и требуется труд артели из нескольких человек, чтобы за несколько дней свалить одно дерево. Всё, что оказывается им по силам, распиливают на дрова. Самые толстые стволы остаются лежать. Из земли торчат огромные пни. Посадки будут производиться между ними и стволами на доступных участках. Приходится затрачивать много труда на освобождение оставшихся на плантации масличных пальм от лиан.

В районе, откуда в больницу стекаются больные, продолжается эпидемия дизентерии. Это, кроме гибели самих больных этой болезнью, ведёт к заражению других пациентов, что предотвращать очень трудно. Как обычно, приходится делать

много хирургических операций – грыжи, слоновая болезнь; бывают и травмы. А на строительстве свои большие сложности.

Швейцер решил строить в этот раз более прочные и долговечные сооружения, используя рифлёное железо. Именно тогда он получил титул «господин рифлёное железо». Им покрывают стены больничных барачков. Крыши делаются двойными: внутренняя – обычная, из бамбуково-лиственной «черепицы», поверх неё – из рифлёного железа. Между ними – продуваемый воздушный промежуток. Открытая для ветров и непогоды лиственная крыша недолговечна, через два-три года начинает продырявливаться и требует частого ремонта, отвлекая медицинский персонал больницы от лечения. С этим Швейцер решил покончить.

Барачки будут поставлены на сваи, что обычно для этих мест. Сваи дают возможность исключить работы по выравниванию площадок и защищают находящиеся близко к берегу строения от разливов воды. Для свай подходят только деревья твёрдых пород, которые не могут прогрызть термиты и которые устойчивы к действию влаги. Швейцер с помощью туземца из числа своих друзей находит на доступном расстоянии участок джунглей, где растут подходящие деревья. Он находится на небольшой горной речке – притоке Огове. Надо спешить со сплавом, пока речка не обмелела. Вся операция по доставке стволов берёт на себя доктор Нессман. В январе 1926 года он за несколько плаваний с помощниками привозит около 400 стволов.

Теперь их надо обжечь для придания прочности. И это вынужден взять на себя сам Швейцер. Он придумывает технологию обжига, руководит работами туземцев и непосредственно в ней участвует. На обжиг уходит около трёх недель. Далее следует очень непростая операция транспортировки свай на строительную площадку. Переноску двух-трёхметровых свай диаметром до 30 сантиметров могут осилить только 6-8 мужчин. Вот тут-то и начинается самое интересное. Туземцы пыхтя несут груз, еле удерживая его, и очень насторожены. Они знают, что любой из них способен, не говоря ни слова, бросить непосильную тяжесть и отскочить от неё. Поэтому, как только кому-то из них кажется, что один из грузчиков сделал подозрительное движение, он тут же бросает груз и отскакивает в сторону с целью своей безопасности. Он знает, что оставшиеся грузчики могут не выдержать нагрузки, бревно упадёт и раздавит ему ноги.

Швейцеру стоит большого труда приучить своих помощников не бросать бревно, слушать его команду и опускать

сначала один конец тяжёлой сваи на землю, а затем медленно клонить к земле другой! За каждое подозрительное вздрагивание он штрафует виновного – лишает его одного талона на право получения подарка (чтобы получить подарок, нужно накопить несколько талонов). Сам он берётся за тот конец, который последним должен быть опущен на землю. «Чего стоит мне уберечь моих подопечных от несчастного случая, может понять только тот, кому приходилось работать с туземцами» [6, с. 215].

Но, несмотря на все трудности, строительство больницы продвигается, и скоро она начинает напоминать небольшую деревню из трёх рядов прочных хижин. В ней уже есть специальный дом для больных европейцев, дома для персонала. В декабре 1926 года в новую больницу переводят часть больных. А в конце января нового года происходит основной переезд.

«Вечером я еду в последний рейс и привожу оставшихся больных, среди которых есть и психические. Ведут они себя очень спокойно. Им уже рассказали, что в новой больнице они будут жить в палатах с деревянным полом. <...> До сих пор они жили в помещениях с земляным полом, где было сыро. Никогда не забыть мне первый вечер, проведенный в новой больнице. От всех разложенных костров, из-под всех москитников раздаются крики: “Какая славная у нас хижина, доктор, какая славная хижина!”

В первый раз с тех пор, как я живу в Африке, мои больные оказались в человеческих условиях. Сколько я выстрадал за эти годы, когда мне приходилось втискивать их в тёмные и душные помещения! Всей душой благодарю я Бога за то, что он послал мне такую радость. С глубоким волнением благодарю я друзей моего дела, живущих в Европе. Полагаясь на их помощь, отважился я перевести больницу на новое место и заменить бамбуковые хижины бараками из рифлёного железа» [6, с.237].

Территорию огораживают изгородью в полкилометра длиной. Эта работа выполняется, чтобы разводимые в больнице козы не уходили в лес. Там они стали бы добычей леопардов.

Через полгода Швейцер получает возможность уехать. Вместе с ним уезжает на отдых после трёхлетней работы Матильда Коттман и сестра врача Лаутербурга Марта.

Швейцер записывает: «29 июля мы отплываем. Медленно отходит наш пароход из залитой солнцем бухты. Вместе с моими верными помощниками гляжу я на исчезающий вдали берег. Я всё ещё никак не могу представить себе, что я уже больше не в больнице. Передо мной снова встают все нужды её и вся работа последних трёх лет. Охваченный глубоким волнением, мысленно я благодарю моих помощников и помощниц, разделявших со мной

все лишения и работу, а также моих покровителей и друзей в Европе, которые доверили мне здесь дело милосердия. Чувство, овладевающее мною сейчас, это не радость от успеха, которого я достиг. Я смущён. Я спрашиваю себя, чем я заслужил право совершить это дело и, совершая его, добиться успеха. И я снова и снова печалюсь, что на какое-то время приходится прерывать эту работу и расставаться с Африкой, которая стала мне второй родиной.

В сознании у меня никак не укладывается, что я теперь на целые месяцы оставляю моих негров. Как нежно привязываешься к ним, несмотря на то, что на них приходится затрачивать столько сил! Сколько прекрасных черт открывается в них, если только различные сумасбродства, которые совершают эти дети природы, не помешают тебе в каждом из них разглядеть человека! С какой полнотой раскрываются они перед нами, когда у нас хватает терпения и любви на то, чтобы в них вникать!» [6, с. 241-242].



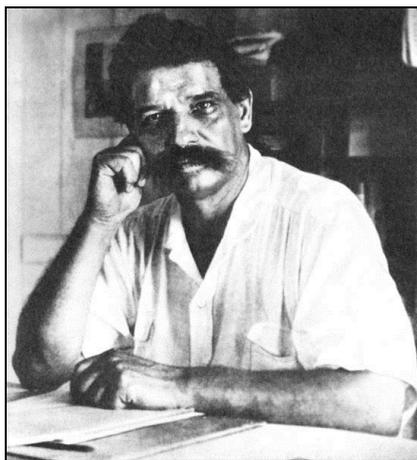
Строят дом с двойной крышей

Глава 12 1928-1929, 1932. Швейцер и Гёте

Швейцер приехал в Европу в свой дом в Кёнигсфельде, где жили его жена и дочь. В Европе было много друзей, которые поддерживали больницу все эти годы, и он хотел навестить их всех. Первым делом он поехал в Швецию к Натану Сёдерблему, который несколько лет назад, будучи архиепископом Швеции, сыграл такую большую роль в его жизни. Потом начались поездки

по другим странам и городам: Дания, Страсбург, Париж, Голландия, Англия. Путешествовал с Элен. В перерывах возвращался в Кёнигсфельд, работал над книгой об апостоле Павле, уделял внимание дочери; иногда они вместе ходят в горы.

Одной из целей этой, 1928 года, поездки было посещение Франкфурта-на-Майне, – города, где родился великий деятель немецкой и мировой культуры Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832). Швейцеру предстояло выступить в день рождения Гёте 28 августа с речью и получить премию имени Гёте, присужденную ему «за заслуги перед человечеством». В числе заслуг в решении премиальной комиссии назывался пример «фаустовского преобразования своей жизни» [5, с. 280].



В Европе в 1927 году

«Фауст» – основное произведение Гёте, которое он писал почти всю свою творческую жизнь, особенно интенсивно в последние два десятилетия. Главный герой поэмы-драмы Фауст, врач по профессии, стремится понять «вселенной внутреннюю связь», смысл человеческой жизни, цель человеческой истории, понять то, как человеку пристало жить. Широко известны его слова:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой.

Свободу Гёте ставил на первое место среди необходимых условий жизни человека. Свобода для Гёте была свободой проявляться в доброте и справедливости, в свободе творчества, во

внесении в жизнь светлых мыслей, в совершении общепользных дел.

Жизнь Швейцера была связана с жизнью Гёте неведомыми тайными нитями. Род Швейцеров появился в Эльзасе из города-республики Франкфурта, в котором родился Гёте. Швейцер учился в Страсбургском университете, где за столетие с четвертью до него (в 1770/71 годах) учился медицине Гёте. Университет хранил память о своём великом студенте, и в годы студенчества Швейцера атмосфера Гёте витала там. Живя в Страсбурге, Швейцер не раз благоговейно обращался мысленно к Гёте, когда проходил по старинной улице Фишмаркт (Рыбный рынок) мимо дома, в котором в своё время жил Гёте. Он как бы переносился во время Гёте, в его жизнь. В такие минуты он почти полностью забывал о себе. В детстве Швейцер гордился тем, что он родился в городе, носившем имя великого страсбургского проповедника Гайлера фон Кайзерсберга (1445 – 1510). Увлечение проповедником пережил и Гёте в своей лейпцигской юности. Швейцер ходил и ездил на велосипеде в окрестностях Страсбурга, где до него верхом проезжал Гёте. Гёте путешествовал по Эльзасу и в автобиографии не раз называет Эльзас прекрасным. В прекрасном Эльзасе, в восторгавших Гёте ландшафтах, рос и напитывался красотой юный Швейцер.

Можно было бы продолжить список этих вневременных «пересечений» двух великих жизней, но оставим этот загадочный комплекс и зададимся основным вопросом: кем стал Гёте для Швейцера в его жизни?

В гётевской речи Швейцер сравнил себя с малозаметной крошечной планетой, которой позволено в этот день пройти перед ярчайшим светилом – перед Гёте [26, с. 8]. Только ли скромность Швейцера отразилась в этой метафоре? Кем был Гёте для своего времени, для времени Швейцера, кем остаётся он для нашего времени?

Гёте известен как величайший поэт Германии и один из величайших – мира.

По масштабу и разносторонности своих реализованных дарований и гуманистической устремлённости роль Гёте в немецкой культуре сродни роли великого А.С. Пушкина в русской. Гёте и его младшего современника Пушкина (1799-1837) сближает также их мощный выход из рамок национальных культур во всечеловеческую, мировую культуру, отличающий самых выдающихся деятелей национальных культур.

Гёте – первый по значению из трёх основоположников немецкой классической литературы: Готхольд Эфраим Лессинг

(1729-1781), Гёте, Шиллер (1759-805). Эти писатели, как отмечает выдающийся отечественный исследователь жизни и творчества Гёте Николай Вильмонт [12], внесли в немецкую литературу много сердечности, отвели её от прежней очень рассудочной колеи. А сам Гёте в автобиографии написал, что в отходе от холодности немецкой литературы (и французской тоже) на него и его окружение, на группу «Буря и натиск» («Sturm und Drang») огромное влияние оказал Шекспир (1564-1616). Вот она связь вершин национальных культур!

О силе притягательности личности Гёте говорит тот факт, что великий немецкий поэт Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер, познакомившись с Гёте в 1799 году, стал его близким другом и даже переехал жить в город Веймар, где с 1785 года жил Гёте.

Современники Гёте Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) и Людвиг ван Бетховен (1770-1827) творили, вдохновляясь творчеством Гёте. И другие известные музыканты, писатели, художники.

Всемирная слава пришла к Гёте в 1774 году после издания автобиографического в своей основе романа «Страдания юного Вертера». Это произведение было переведено на все европейские языки, в том числе и русский. И даже на китайский язык. Из Китая Гёте получил фарфоровые изделия, расписанные сценами из его романа. Наполеон Бонапарт (1769-1821) перечитывал роман несколько раз⁴. А европейская известность была у Гёте и до «Вертера».

Гёте был одарён многосторонне. Поэт и писатель сочетался в нём с выдающимся натурфилософом и учёным-естествоиспытателем. О Гёте как основоположнике нескольких научных направлений великий учёный нашего времени Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) говорил так: «Как бы далеко ни

⁴ 2 октября 1808 года по инициативе Наполеона произошла его встреча с Гёте в Эрфурте. На ней присутствовал Талейран. Как протекали приём и встреча, описал сам Гёте [12a]. Оглядев его, Наполеон сказал – «Вы человек». По роману о Вертере он «сделал различные, абсолютно верные замечания». Гёте сделал вывод, что Наполеон роман «изучил досконально». Через три месяца Гёте в письме своему издателю выразил общее впечатление, оставшееся у него от встречи. «Никогда ещё лицо выше меня по положению не принимало меня подобным образом: он с особенным доверием приблизил меня к себе и, если можно так выразиться, достаточно ясно дал мне понять, что по натуре своей я ему по плечу» [13, с. 640].

ушла и ни уйдёт наука от воззрений Гёте, за ним останется неоспоримая заслуга зачинателя сравнительной анатомии, морфологии, генетической биологии и т.д.» [12, с. 35]. За этим «и т.д.» остались ещё и начала физиологической оптики – «Учение о цвете» (1810).

Швейцеру была близка приверженность Гёте философии стоиков и особенно близка натурфилософия (философия природы) Гёте: «Главное, что его отличает от Канта, Фихте и Шиллера, – это его благоговение перед действительностью природы. Природа для него – нечто в себе, а не только нечто, соотносящееся с человеком. Гёте не требует от неё, чтобы она целиком подчинилась нашим оптимистически-этическим намерениям. Он не насилует её ни гносеологическим, ни этическим идеализмом, ни самонадеянной спекуляцией, а живёт в ней как человек, который с удивлением созерцает бытие и не умеет свести своё отношение к мировому духу ни к какой формуле» [8, с. 215-216]. Гёте видел природу, человека в ней и всё живое как единое целое, что тоже было чрезвычайно близко Швейцеру.

Гёте был одарён и как художник-живописец. Он даже выбирал в юности, кем ему становиться: поэтом или художником. Он был одарён и как музыкант. Он говорил, что для лучшего понимания его стихов их надо хотя бы мысленно пропевать. Гёте был поэт-музыкант.

Интересно, что Швейцеру был близок поэт-музыкант Гёте и музыкант-поэт Бах.

Гёте был божественный поэт. Своё посвящение он выразил в одноимённом стихотворении 1784 года [12, с. 49]. Ему на праздничном рассвете явилась Богиня и Поэт вступил с ней в разговор:

Прекрасный дар ты мне дала в удел,
И, радостный, иду я к высшей цели.
Я драгоценным кладом овладел,
И я хочу, чтоб люди им владели.
Зачем так страстно я искал пути,
Коль не дано мне братьев повести!

Здесь ясно выражена устремлённость неутолимо деятельного Гёте к общей, к общественной пользе. Он любил людей. Он проявлял это своё качество, своё желание улучшить жизнь людей всю свою жизнь. И как писатель, и как поэт, и как учёный, и как общественный и политический деятель, первый министр в Веймарском герцогстве. Например, он восстановил рудники вблизи Веймара и дал тем самым работу местным

жителям, пребывавшим в устрашающей нищете. Он был, как бы сейчас сказали, и природоохранником, украшал и чистил «любовными руками» окрестности своего домика в долине Ульма [14].

Гёте верил в существование человека в ином мире после смерти земного тела и в возвращение души в земную жизнь⁵.

⁵ Это явление в эзотерической и имеющей к ней отношение научной литературе называется перевоплощением или реинкарнацией. Закон перевоплощения признавали, не отвергали или признавали необходимой гипотезой очень многие известные, в том числе близкие к нам по времени жизни поэты, писатели, философы, учёные. Очень неполный список из числа мыслителей Запада, начиная с XVIII века: Александр Апухтин (поэт), Александр Блок (поэт), Валерий Брюсов (поэт), Вольтер (писатель, поэт, философ), Георг Гегель (философ), Генрих Гейне (поэт, писатель, публицист), Иоганн Гёрдер (философ, теоретик искусства, языка), И.В.Гёте (поэт, писатель, философ, учёный), Виктор Гюго (писатель, поэт), Гаврила Державин (поэт, философ, государственный деятель), Чарльз Диккенс (писатель), Фёдор Достоевский (писатель), Артур Конан Дойл (писатель), Готхольд Лессинг (драматург, теоретик искусства), Аполлон Майков (поэт), Дмитрий Мережковский (писатель, поэт, литературовед), Соммерсет Моэм (писатель), Борис Пастернак (писатель, переводчик), Макс Планк (учёный), Джон Пристли (писатель, драматург, литературовед), Бертран Рассел (философ, логик, математик, общественный деятель), Ромэн Роллан (писатель, драматург, музыковед, общественный деятель), Эмануэль Сведенборг (учёный, философ), Владимир Соловьёв (философ, поэт, публицист), Фёдор Сологуб (поэт, писатель, переводчик), Марк Твен (писатель), Лев Толстой (писатель, философ-этик, религиовед, общественный деятель-просветитель), Иммануил Фихте (философ), Гюстав Флобер (писатель), Бенджамин Франклин (общественный деятель, учёный, изобретатель, дипломат), Марина Цветаева (поэт), Артур Шопенгауэр (философ), Джордж Бернард Шоу (писатель, драматург, общественный деятель), Дэвид Юм (философ, историк, экономист), Альберт Эйнштейн (учёный, общественный деятель). Многие крупные мыслители верят и сейчас. Вера эта распространена на всех континентах, она входит в большинство религиозных направлений. Недавно она получила подтверждение опытным путём (например, [15]). Мысль о жизни души на Земле не один раз, о её неоднократных путешествиях в иной мир и возвращениях в мир

Об этом известно из его высказываний и из его поэзии. Например, из последних строк стихотворения «Посвящение»:

Плечом к плечу мы встретим день грядущий, –
Так будем жить и так пойдём вперёд.
И пусть потомок наш возвеселится,
Узнав, что дружба и за гробом длится.
Тот же мотив есть ещё в нескольких его стихотворениях.
И доколь ты не поймёшь:
Смерть – для жизни новой,
Хмурым гостем ты живёшь
На Земле суровой.
(Из «Блаженного томления» [12, с. 332])
Смерть – для жизни новой...

Великий гуманист, художник, философ, мыслитель-энциклопедист Н.К.Рерих так сказал о Гёте в очерке, написанном в 1931 году:

«Солнцеподобность, мощь личности, эти знамёна значения Гёте сказаны им самим. Опять вовремя смятенному человечеству напоминает непобедимо прекрасный облик, в котором выражена вся сущность времени. Не надо никаких прилагательных к выражению «время Гёте», или, вернее, «эпоха

земной, пришла из глубокой древности. Способность к распознаванию прошлой жизни человека существует сегодня среди аборигенов Австралии, «цивилизация» которых насчитывает, как считается, более 200 тысяч лет. Кратко и выразительно о перевоплощениях написано в жемчужине индийской духовной литературы «Бхагаватгите»: «Как обветшавшие сбросив одежды, новые муж надевает, иные, так обветшавшие сбросив тела, в новые входит, иные, носитель тела. <...> Рождённый неизбежно умрёт, умерший неизбежно родится...» [17]. В более поэтической редакции: «Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые».

Сам Гёте во время одной из прогулок в окрестностях Веймара сказал своему спутнику (Эккерману) : «Наш дух есть существо, природа которого остаётся неразрушимой и непрерывно действует из вечности в вечность... Я уверен, что тот самый, кто перед вами, уже тысячи раз жил, и ещё буду жить тысячи раз» [18, с. 381]. В этом же смысле он высказывался о своей внешности как о достойной оболочке своего духа.

Гёте». Имя Гёте стало почётным гербом не только творчества, цельности мысли, глубины познания, мужества сознания, благородства чувства – это имя действительно собрало в себе целую эпоху, полную сильнейших выражений духа. <...> Гёте кульминировал время Шиллера, Хёрдера, Бюргера, Винкельмана, Канта, Лессинга. Великое время, и Франкфурт-на-Майне – хорошее место!» [19, с. 241, 243].

Перечисленные Рерихом имена принадлежат людям – свободолобцам, утверждавшим человеческое достоинство, религиозную терпимость, гуманность. Все они были, каждый в своей сфере, основоположниками.

Гёте был чрезвычайно близок Швейцеру в духовном плане, как мыслитель, как деятельный человек, при всём различии их личных проявлений в жизни.

Они оба выдающиеся гуманисты. Они оба выдающиеся труженики не только в сфере интеллектуально-духовной, но и в единой с ней деятельности практической. И саму гениальность Гёте определял как превосходную степень всякой продуктивной деятельности: «Да, да, дорогой мой, не только тот гениален, кто пишет стихи и драмы. Существует ещё и продуктивность деяний, и во многих случаях она стоит превыше всего» [12, с. 34]. И в свете этого взгляда Швейцер был гением деяний милосердия, во многом вдохновлённым примером Гёте.

И вот в 1932 году (22 марта) в том же Франкфурте, когда отмечалось 100-летие со дня смерти Гёте, Швейцер, приехав по приглашению оргкомитета, произнёс речь-обращение, в которой более подробно, чем в первой речи, высказался о своём отношении к Гёте, о своём видении его личности. Выступая, Швейцер отметил у Гёте те черты характера, которые были присущи ему самому. Подобное восприятие других людей и действительности неизбежно для всех нас в силу действия закона психологической проекции. Психологи называют его также «законом зеркала». Знаем мы этот закон или нет, не имеет значения. Мы ему практически всегда подчиняемся. Согласно закону зеркала, человек видит в другом человеке прежде всего то, что есть в нём самом. Швейцер подчеркнул у Гёте строгую самодисциплину, доброжелательность и высочайшую сердечность и человечность во всех её проявлениях.

«Гёте не есть некий идеальный персонаж, непосредственным образом притягивающий и воодушевляющий. Он и меньше этого, и больше.

Основу основ его личности составляют правдивость и честность. Он имеет право заявлять – и он делал это, - что

лживость, лицемерие, интриганство ему так же чужды, как тщеславие, недоброжелательность и неблагодарность. <...> В Гёте пленяет его манера раскрываться и тут же уходить в себя. Природа наделила его большой добротой, но в то же время он может быть очень холоден. Он необычайно остро переживает всё происходящее и в то же время прямо-таки страшится мысли, что может выйти из равновесия. Он импульсивен и одновременно нерешителен. <...> Гёте признаёт для себя важным никогда не навязывать себе ничего чуждого своей натуре, а стараться совершенствовать то доброе, что заложено в него природой и что живёт и теплится в его душе, и избавляться от всего, что есть в ней недоброго.<...>

В работе над собой Гёте достигает вершин человечности, которая, опираясь на фундамент правдивости и честности, характеризуется отсутствием зависти, уравновешенностью, миролюбием и добротой» [25, с. 27-29].

Продолжим, памятуя, что в этих словах перед нами предстаёт не только Гёте, но и сам Швейцер.

«С юных лет и до последних дней своей жизни Гёте в глубине души всегда был сердечным и отзывчивым человеком. Он, как мы знаем из многочисленных источников, никогда не сторонился тех, кто действительно в нём нуждался. Особенно он старается оказывать действенную помощь, когда сталкивается с духовными и душевными страданиями, ибо для него нет ничего более естественного, чем оказание помощи таким людям. Его принуждает к этому “властная привычка”, – признаётся он однажды.<...>

Так Гёте воплощает в жизнь человечность, суть которой он выражает словами «благороден, скор на помощь и добр» и чудодействующая сила и величие которой заключается в её необыкновенной искренности и естественности. Именно эта человечность столь сильно действовала на всех, кто наяву видел свет её лучей в удивительных глазах Гёте;» [25, с. 30-31].

Постоянное сильное бескорыстное желание помочь – это отличие всех высоких душ – было выражено у Гёте и у Швейцера в превосходной степени.

Гёте и Швейцера роднит и благоговейное отношение к Природе, ощущение близости к ней. Швейцер в этой речи сказал: «Гёте воспринимает своё бытие в постоянном духовном контакте с природой. Мальчиком он чувствует потребность пойти на рассвете к самостоятельно сооружённому алтарю, чтобы воздать хвалу Господу и принести Ему в дар плоды.<...>

Если чувство дружбы, помогающее людям воодушевлять друг друга на добрые дела и служащее им опорой в несчастье, не занимает главного места в творчестве Гёте, то это потому, что для него близость с Природой – это и есть та великая дружба, рядом с которой блекнет всякая другая. Даже в дружбе с Шиллером, которая явилась к нему подобно чуду, он хранил частичку себя для себя самого. Целиком отдаться он способен только природе.

Для него человек, оторвавшись от природы, совершает роковую ошибку. Поэтому трагическая мысль, которую он вкладывает в сказание о Фаусте, делая её символичной, – это мысль о пагубности разобщения человека с Природой» [25, с. 33-34].

Далее Швейцер особо отметил у Гёте чрезвычайно близкую ему самому мысль о преобразующем человека чувстве вины и мысль о принципиальной незавершённости истинной философии. В Природе, по Гёте, для человека, стремящегося к её познанию, всегда будет оставаться «неведомое ядро» и «неразличимая окраина».

В заключительной части речи Швейцер спросил, есть ли у Гёте завет для человечества, терпящего ныне (1932 год!) жесточайшие бедствия? Он ответил на свой вопрос утвердительно и достаточно подробно обрисовал завет Гёте, который воплощал в своей жизни. Своим мышлением и своими делами следует возвыситься над временем и, сохраняя независимость своей личности, обращаться не к современному обществу, не к человеку, зажатому в этом обществе, а к человеку как таковому. «Общество есть нечто меняющееся во времени; человек же – всегда человек» [25, с. 55]. Следует сохранять «идеал личной человечности. Если он будет предан, то человек как духовная личность погибнет, что было бы равнозначно гибели культуры и даже гибели человечества» [25, с.60]. Швейцер сказал о Гёте как о провозвестнике старого, единственно истинного идеала личного гуманизма и повторил его простую заповедь человечности: «Благороден будь, скор на помощь и добр».

Швейцер любил Гёте со студенческих лет, любил всю жизнь. Образ Гёте, его мысли и память о его делах Швейцер нёс в душе всю жизнь. Он ежегодно в пасхальные дни перечитывал Гёте. Полное собрание сочинений Гёте стояло на полке в африканском больничном кабинете Швейцера.

После посещения Франкфурта в 1932 году Швейцер проехал по городам Германии, прочитал в Ульме 9 июля ещё одну речь памяти Гёте («Гёте как мыслитель и человек»), после этого посетил несколько европейских стран с организованными концертами,

работая во время этого европейского «отдыха» по шестнадцать часов в сутки. В Англии один из друзей посоветовал ему пощадить себя, сказав: «Нельзя жечь свечу с двух концов». На это последовал ответ: «Можно, если свеча очень длинная» [5, с. 292]. Он прочитал ещё одну лекцию о философии Гёте, в Манчестере, сказав в её конце о Гёте то, что с полным правом можно сказать и о нём самом: «Для него мысль и поведение были одно, и это самое замечательное, что мы можем сказать о философе» [5, с. 293].

Единство мысли и действий мыслителя было для Швейцера настолько обязательным, что когда он узнал, что известный философ А. Шопенгауэр (1788 – 1860) как-то позволил себе заметить, что философ в жизни не обязательно должен следовать своим призывам к святости, Швейцер откликнулся на это резко: «С этими словами философия Шопенгауэра совершает самоубийство» [5, с. 113].

Глава 13 **1933-1938**

В марте 1933 года Швейцер в четвертый раз отплывает в Африку (а всего он за время своей африканской эпопеи совершил 14 таких плаваний). И начинаются всё те же будни, всё те же тяготы. Медицинский персонал и персонал санитаров-габонцев выросли в числе, и объём медицинской помощи тоже: в 1934 году в больнице было сделано более шестисот крупных операций.

В этот раз Швейцер работал в Ламбарене сравнительно недолго, около года. В феврале он уехал, чтобы в Гюнсбахе подготовиться к курсу лекций, на которые его пригласил университет в Оксфорде (Англия). С октября 1934 года он читает здесь лекции о философии культуры, об универсальной этике, о европейской церкви, неспособной помочь решению современных проблем, анализирует взгляды европейских философов и причины прошедшей мировой войны. А в ноябре он уже читал лекции в столице Шотландии – Эдинбурге: культура, этика, философия в свете мыслей выдающихся философов Индии, Китая, Греции и Персии. Вскоре выходит в свет его книга «Мировоззрение индийских мыслителей». Воспользовавшись полугодовым перерывом в лекциях, Швейцер снова уезжает в Ламбарене.

В ноябре следующего, 1935 года он продолжил лекции в Эдинбурге, на этот раз по-французски, развивая идеи, вошедшие в его труд «Культура и этика». И снова – в Ламбарене. Он лечил больных и строил новые дома на пожертвования его европейских почитателей. В 1938 году написал серию рассказов о местных габонских обычаях, о благородных чертах африканского характера,

о склонности габонцев к размышлениям над глубокими вопросами жизни.

В 1937 и 1938 годах Элен ездила с дочерью в Соединенные Штаты Америки, выступала там с лекциями о больнице в Ламбарене, устанавливала необходимые связи, что через несколько лет очень пригодилось. По следам её выступлений в Бостоне в 1940 году возникло «Содружество Альберта Швейцера».

Глава 14

1939-1948. Трудности Второй мировой

В январе 1939 года после двух безвыездных лет работы в Ламбарене Швейцера направился в Европу, чтобы спокойно поработать над продолжением своего основного философского труда. Больницу уже было на кого оставить. И тут произошел эпизод, говорящий об исключительной его проницательности. На пароходе он услышал речь Гитлера, уверявшего слушателей в горячей приверженности фюрера миру. И Швейцера подумал: скоро будет война. Он доплыл до порта Бордо, по инерции доехал до Гюнсбаха, с которым связывал надежды на спокойный умственный труд, укрепился в своем интуитивном предвидении и сразу заказал билет на тот же пароход, который через 12 дней после прибытия отплыл в обратный путь.

Прибыв в Ламбарене, Швейцера начинает спешно закупать в Африке и заказывать в Европе всё, что нужно для работы больницы. Он уверен, что близятся тяжёлые времена. По счастью, он успевает сделать все закупки и получить многие посылки до начала войны. Он сокращает количество больных в больнице, чтобы не истощить запасы продовольствия, прекращает делать все операции, кроме неотложных, отпускает нескольких санитаров-габонцев. Это всё протекает очень нелегко. С ним работают хирург из Вены Ладислав Гольдшмидт и эльзаска Эмма Хаускнехт, опытный организатор.

В это время он получает из Германии письмо от министра пропаганды гитлеризма Геббельса с приглашением приехать в Берлин в качестве гостя «третьего рейха». И это несмотря на то, что Швейцера женат на еврейке, а преследования евреев в Германии в полном разгаре. Письмо заканчивалось патриотической фразой: «С германским приветом!». Швейцера, естественно, отвечает отказом и завершает письмо не без иронии: «С центральноафриканским приветом!»

В начале 1940 года на помощь в больницу приезжает молодой врач Анна Вильдикан, еврейка из Риги. Война в Европе уже идёт. В середине 1941 года неожиданно появляется Элен,

которой удалось из нейтральной Швейцарии кружным путем добраться до Ламбарене. В этот раз она лучше переносит климат и интенсивно трудится, ухаживая за больными.

У Швейцера в больничной деревне, кроме врачебной работы, много неотложной другой: под его руководством и при его участии восстанавливается сад, который оползни грозят снести в реку, восстанавливаются размываемые дороги сообщения между отдельными частями больницы, и очень много труда уходит на приведение в порядок плантаций, на которых растут бананы, маниок, а также масличные пальмы.

В мае 1942 года приходит пароход с медикаментами и вещами из США. (Из Англии тоже пришёл пароход с помощью, но только в 1945 году). Помощь из США даёт возможность увеличивать объём врачебной работы и число больных, находящихся в больнице. Время от времени его помощники уезжают на отдых и только он – Швейцер – бессменен. В своём дневнике тех лет он записывает: «В 1944 году мы сами уже понимаем, до какой степени мы устали. Причина этой усталости – как слишком длительное пребывание в жарком влажном африканском климате, так и постоянное переутомление, вызванное непомерной нагрузкой. Приходится напрягать последние силы, чтобы справиться с работой, которой ежедневно требует от нас наше дело. Только бы не захворать, только бы быть в состоянии его продолжать: вот чем мы повседневно озабочены. Ни одному из нас сейчас уже нельзя оставить работу, и мы все это понимаем. Ни одного из нас ещё долго никто не сменит... И мы не сдаёмся.

В то время как мы всё больше устаем, работы всё прибавляется. В значительной степени это происходит за счёт притока белых больных, которые нуждаются в госпитализации» [6, с. 252-253]. Белые больные доставляют дополнительные трудности. Кроме лечения, для них нужно ещё готовить пищу и разносить её по палатам. А обслуживающего персонала не так много. Среди белых больше всего больных малярией, среди черных – с разъедающими язвами. По-прежнему много внимания берут прокажённые и психически больные габонцы.

Персоналу и пациентам много досаждают насекомые-термиты – неперенные обитатели тропического леса. Они залезают на аптечные полки, в штабеля с досками, в бумаги, перегрызают, повреждают, уничтожают. Борьба с ними отнимает много времени и сил. К тому же на полках поселяются мелкие скорпиончики; это требует постоянной осторожности. Свой вклад в трудности вносят милые и умные животные – слоны.

«Очень страдаем мы от слонов; те вторгаются на плантации, посаженные туземцами, которые снабжают нас бананами, и варварски их опустошают. Из-за них большим нашим часто приходится голодать» [6, с. 257]. Препятствовать слонам трудно, поскольку они действуют ночью. И это далеко не все трудности, переживаемые горсткой подвижников, взявших на себя лечение и поддержание жизней сотен людей.

Швейцер очень тревожится за родной Эльзас, попавший в зону боевых действий. Он узнаёт об этом из листков, выпускаемых радиостанцией в Ламбарене. «С глубокой печалью читаем мы обычно искажённые названия хорошо знакомых нам эльзасских городов и деревень, разрушенных бомбами! В первые дни февраля приходят сообщения, что Эльзас спасён. Из телеграммы, посланной из Парижа 28 февраля и дошедшей до нас 2 марта, мы узнаём, что сёла и деревни Мюнстертала в эти ставшие роковыми для других районов месяцы не пострадали. Мне уже трудно себе представить, что Гюнсбах, который я считал разрушенным, пока ещё цел. Брожу эти дни как во сне» [6, с. 258].

Наконец 7 мая 1945 года приходит известие об окончании ужаса войны в Европе. Узнав об этом, Швейцер обращается к китайскому философу IV века до н. э. Лао-цзы. Он берёт со своей книжной полки сборник его изречений и читает: «На празднике победы государственный муж должен занять место своё, как то в обычае на похоронах. Убиение множества людей надлежит оплакивать слезами сострадания. Поэтому победивший на войне должен вести себя, как на похоронах» [6, с. 259].

Но мировая война ещё не окончена. Есть ещё японский театр её масштабной трагедии.

Всю ночь на 6 августа 1945 года врачи больницы боролись за жизнь роженицы и в предельном напряжении сил, прибегнув к хирургии, спасли её и ребёнка. Утром, предельно измотанные, они узнали об атомной бомбардировке японского города Хиросима. Все были подавлены этим известием. У всех опустились руки. Собственный труд показался им бессмысленным. Именно в этот момент в больнице появилась Матильда Коттман, которая вынужденно во время войны была в Эльзасе. После окончания там военных действий она «на перекладных» (товарный вагон, военные самолёты и др.) сумела достичь Габона. Попав в расположение больницы, она увидела чуть ли не всеобщее отчаяние. Что было дальше в этот момент встречи, узнаём из её собственных слов: «Когда я очутилась лицом к лицу с доктором, мы сначала долго смотрели друг на друга, потом он спросил:

– Что же ты привезла?

– Себя и только. – Я не сразу выдавила из себя этот ответ. Потом я удручённо спросила:

– Может мало этого?

Доктор обнял меня. Я всё ещё сжимала в руках свой чемоданчик.

– Нет, это уже много, – ответил он. – Очень много.

Затем он произнёс слова, которые, сколько буду жить, я никогда не забуду:

– Когда одной-единственной бомбой убивают сто тысяч человек – моя обязанность доказать миру, насколько ценна одна-единственная человеческая жизнь!»[7, с. 172].

После окончания войны сильно затруднилось приобретение минимально необходимого продовольствия, выросли цены. Надежды на сохранение больницы Швейцер связывает только со своими друзьями, к которым много раз обращается с просьбами о помощи [6, с. 261-265].

Глава 15

1948. В США

В 1948 году Швейцер после почти десятилетнего перерыва обрёл возможность посетить Европу и США. Он получил специальное приглашение из Чикагского университета, который просил его выступить с речью на праздновании 200-летия со дня рождения Гёте. Его популярность в Европе и в Америке была уже очень высока. Сначала он поехал в Гюнсбах, в свой дом для гостей, потом в Шварцвальд, в Кёнигсфельд, где встретился с женой, уехавшей из Африки ранее, и дочерью и познакомился с четырьмя своими внуками. Во время этой поездки произошло несколько занимательных, а то и забавных эпизодов, описанных биографами Швейцера. Однажды в Гюнсбах приехал корреспондент агентства Рейтер и спросил у Швейцера, как тот относится к сообщению в прессе, что он уже собирается оставить Ламбарене? Швейцер ответил: «Не верьте ничему из того, что говорит пресса. Это как осенние листья: они падают на землю, и о них забывают. Вы можете прочитать, что я украл у соседа серебряные ложки, но пусть это вас не беспокоит, все скоро забудут, что я их украл»[5, с. 321].

Он принял решение поехать в США в значительной степени потому, что там его ждал гонорар за речь памяти Гёте, а больница очень нуждалась в средствах. Но не меньшую роль сыграло и то, что его приезда ждали американские друзья, которые очень помогли его больнице во время войны. Его приглашали на лекции в один из интеллектуальных центров США – Принстон, где работал его друг Альберт Эйнштейн, его

пригласил всемирно известный элитный Гарвардский университет, где ему предлагали прекрасные условия для работы над философской книгой. Само собой, очень надеялись на то, что он даст несколько органичных концертов.

Он выехал с Элен в Англию, а оттуда они отплыли с английскими друзьями в Америку. Репортеры сопровождали его на корабле и при входе в гавань Нью-Йорка «тучей облепили Швейцера и стали помывать им, пресмыкаясь» [5, с. 324]. А когда он сошёл на берег, то тут же получил в высшей степени «оригинальный» вопрос: «Доктор, что вы думаете об Америке?» Швейцера ответил: «Я ещё ни разу не был в этой стране, а вот вы живёте здесь, так что уж лучше вы расскажите мне, что вы думаете об Америке» [5, с. 325].

Сойдя с борта корабля, он своеобразно извинился за незнание английского языка, сказав: «Леди и джентльмены, в молодости я был очень глуп. Я учил немецкий, французский, латинский, греческий и древнееврейский, но не учил английского. В своем новом воплощении я первым делом выучу английский» [5, с. 325]. Далее Б. М. Носик, у которого мы взяли приведенные строки, пишет [5, с. 325]: «Его поволокли в отель, как назло забитый цветами: доктор не терпел, когда рвали или срезали цветы».

Любопытная, характерная для Швейцера, сцена произошла на одной из железнодорожных станций Чикаго. Швейцера вышел на платформу, чтобы немного отдохнуть от долгого сидения в вагоне. Он разговаривал с друзьями. Вдруг он прервал разговор и направился к женщине, несущей тяжёлые чемоданы. Он попросил у неё разрешения помочь ей, взял её чемоданы и отнёс их в вагон. В период его интернирования он получил подобную помощь от незнакомого человека и дал себе слово точно так же помогать, когда представится возможность. Вот она и представилась. Вслед за этим друзья Швейцера кинулись помогать другим пассажирам, произведя переполох на станции.

Другой эпизод записала одна из попутчиц Швейцера: «Две девушки робко остановились в купе доктора Швейцера и спросили: “Не имеем ли мы честь разговаривать с профессором Эйнштейном?”

“Нет, – ответил он, – к сожалению, это не так, хотя я вполне понимаю вашу ошибку, потому что у него на голове всё совершенно так же, как у меня (при этом он взъерошил свой чуб), но в голове у меня всё совершенно по-другому. Впрочем, он мой очень старый друг, так что, может, вы хотите, чтобы я дал вам его

автограф”. И он написал: “Альберт Эйнштейн через своего друга Альберта Швейцера”»[5, с. 326].

Он с готовностью разговаривал со всеми, кто просил его совета, никому не отказывал ни в интервью, ни в автографах, ни в ласковом слове, ни во всяком ином внимании.

Везде, где теперь появлялся Швейцер, в Соединенных Штатах или в Европе, его окружали почтительным вниманием и осыпали почестями. Он запасся в Америке новыми лекарствами для лечения проказы и перед отъездом сделал заявление перед журналистами в Бостоне, одном из главных научных центров США. Он заявил, что больше всего мир сейчас нуждается в духе, ибо, если высокий дух не будет править миром, мир погибнет.

Его путь проходил через Европу. В Страсбурге он закупил ещё лекарств, необходимые материалы и 24 октября 1949 года выехал вместе с Элен на свою вторую родину.

Он вёз туда средства, решив на них строить отдельную лечебницу – деревню для прокажённых, посвятив её памяти своих родителей.

Глава 16

1953. Начало строительства деревни для прокажённых

К этому времени число прокажённых в больнице достигло двухсот человек. Располагались они в бамбуковых хижинах чуть поодаль от основных больничных строений. Но такие хижины очень недолго выдерживают местный климат и приходят в негодность. Швейцер решает затратить усилия на строительство более долговечных сооружений и возглавить эту работу. Строить в низине нельзя из-за болот и малярийных комаров, и он находит недалеко от больницы подходящий холм в двадцати минутах ходьбы от основной больницы. Приходится срезать вершину холма, разровнять и утрамбовать снятый грунт. Получается строительная площадка около двух гектаров. Это очень трудоёмкие земляные работы. Швейцер почти ежедневно проводит всё своё время на этой площадке и руководит работами. Он подходит к этому делу как инженер-строитель, организует перемещение грунта в вагонетках, идущих по проложенным рельсам. Особая забота – следить за техникой безопасности. Трудятся под его началом работоспособные прокажённые числом до 30–40 человек. Он им еженедельно платит.

Швейцер поясняет (помогающим из-за границы), почему он не может нанять на эту работу подрядчика и освободиться от неё для других дел, которых более, чем достаточно: подрядчику надо будет платить, а средства приходится экономить; потребуется нанимать ещё и рабочих, так как прокажённые не

будут подчиняться подрядчику, слушаются они только его, Белого Доктора, Нгангу. На такой обширной площади и при таких работниках он один не справляется с наблюдением за работами, ему помогают несколько европейцев. Но не все из них работали одинаково успешно. Не всем удавалось хорошо поладить с рабочими-туземцами, потому что для этого нужно иметь способность «разумно сочетать твёрдость и доброту, избегать излишних разговоров и уметь пошутить, когда это нужно» [6, с. 220].

«У моих чёрных пациентов много хороших сторон. Главные из них – добродушие и верность. Но, к сожалению, у них есть одна черта, которую мы находим у всех примитивных и полупримитивных народов: как постоянные работники они ненадёжны. Тот, кто не имел с ними дело, не может даже себе представить, какого напряжения и каких сил требует работа с ними на строительной площадке и сколько она приносит разочарований» [6, с. 272]. Далее Швейцер говорит о том, что очень важно «воспитать в них сознательное отношение к труду. Только когда они и в этом смысле продвинулись вперёд, они придут к тому образу мыслей, который является предпосылкой настоящей культуры. Проведя известное время в общении с европейцем, если тот человек достойный, туземцы действительно начинают к ней приобщаться. Мы наблюдали это и в нашей больнице: среди туземного персонала и тех больных, которые, как, например, прокажённые, задерживаются у нас на длительное время, оказываются люди, которым не что иное, как воспитание трудом, даёт возможность развиваться духовно» [6, с. 272-273]. Строительство деревни для прокажённых продолжалось в общей сложности около двух с половиной лет и было закончено только в 1955 году.

А пока что в больнице появился рентгеновский аппарат, чему Швейцер рад чрезвычайно – туберкулёзных и больных с травмами всегда было много.

Глава 17

1954. Нобелевская премия мира

В октябре 1953 года, в больницу из ближайшего почтового пункта, из Ламбарене, пришла весть о присуждении Швейцеру Нобелевской премии мира. Лауреат в это время как раз выгребал навоз из вольеры, где содержались антилопы. Когда врач, принеший эту новость в больницу, донёс её до Швейцера, тот спокойно погладил доверчиво смотрящую на него антилопу и продолжил свой труд.

Поначалу это событие осложнило и без того сложную жизнь Врача.

«Корреспонденты прискакали, как кузнечики (и всем, конечно, надо подыскать жильё), и стали вытягивать из меня, бедняги, обращения, интервью, ответы на длинные списки вопросов... Приходилось отсылать по телеграфу газетные статьи размером в 200 и 300 слов, писать их по ночам, оставляя при этом на сон всего три-четыре часа» [5, с. 339].

Поехать в столицу Норвегии на торжество вручения премии он сразу не мог, так как в этот момент, кроме него, в больнице не было хирурга. Он смог выехать в Европу только весной следующего года. Приехав в Гюнсбах, Швейцер в своём Доме гостей подготовил нобелевское обращение. В начале ноября он с женой уже был в Осло и 4 ноября на церемонии вручения Нобелевской премии мира произнес речь на тему «Проблема мира в современном мире» [2, с. 491-499]. Швейцер говорил о трудностях обеспечения мира в тревожном нестабильном мире после первой и второй мировых войн. Он отметил, что отсутствие признания исторической данности и отсутствие стремления к справедливому решению территориальных вопросов оставляли и оставляют обстановку в Европе взрывоопасной. Более того, некоторым народам отказывается в праве оставаться на обжитых землях, от них требуется переселяться в другие места. Существовавшая в период Первой мировой войны надежда на то, что эта война будет последней, оказалась несбывшейся.

Предельно ясно, что война в наше время стала страшным злом. В результате достижений в науке и технике человек «стал сверхчеловеком», но он «страдает роковой духовной неполноценностью. Он не проявляет сверхчеловеческого здравомыслия, которое соответствовало бы его сверхчеловеческому могуществу и позволило бы использовать обретенную мощь для разумных и добрых дел, а не для убийства и разрушения» [2, с. 494]. А теперь даже не война, а одни только испытания атомного оружия ставят под вопрос само существование человечества. Швейцер обратил внимание на то, что люди знали об уничтожении больших масс других людей и не противились этому. Отсюда закономерно следует обвинение их в бесчеловечности. Будучи человеком индивидуального действия, он обращается непосредственно к людям с призывом проявить активность в недопущении войны. «Сознание, настоятельно необходимое нам сегодня, должно сводиться к убеждению, что все мы повинны в бесчеловечности. Всё то страшное, что нам пришлось пережить, должно встряхнуть нас, пробудить в нас

потребность содействовать приближению времени без войн» [2, с. 495]. Он напоминает о великом гуманисте Эразме Роттердамском (1469-1539), который в своем трактате «Жалоба мира» в 1517 году впервые выдвинул против войны чисто этические соображения высшего благоразумия.

Его призыв скользя по человечеству как утопия и не нашёл последователей. Утопичными взгляды Эразма признавал и великий немецкий философ Иммануил Кант. Кант в трактате «К вечному миру» (1795 год) и в других работах связывал прекращение войн с ростом авторитета международного права, с созданием и работой международного судебного органа, который будет разрешать споры, возникающие между государствами. Кант утверждал, что не имеет «смысла приводить этические основания в пользу идеи союза государств» [2, с. 495], а идти к ней путём совершенствования института права. Он считал, что человечество будет медленно подталкиваться именно к такому решению проблемы прекращения череды войн двумя факторами: самими военными бедствиями и всем ходом исторического процесса. (Кант верил в культурный прогресс человечества.)

Швейцер сказал, что план союза государств с функциями арбитражного органа первым начал обстоятельно развивать Максимилиан Сюзли (1559-1641), друг и министр французского короля Генриха IV, а вслед за ним аббат Шарль Ирине де Сен-Пьер (1568-1743). Кант основывался на идеях своих предшественников. Швейцер отметил далее, что сегодня уже имеется основанный на правовом урегулировании опыт работы Женевской Лиги Наций и Организации Объединённых Наций⁶. Эти организации много сделали для облегчения положения людей, оказавшихся в бедствиях в результате войн, и в решении межгосударственных споров. Но ни та, ни другая – не сумели

⁶ Лига Наций – международная организация, уставная цель которой – развитие сотрудничества между народами с целью гарантии мира и безопасности. Учреждена после Первой мировой войны в 1919 году. Главный инициатор и основатель – педагог и 28-й президент США (в 1913-1924 гг.) Томас Вудро Вильсон (1856–1924) получил за свои миротворческие усилия Нобелевскую премию мира за 1919 год. Считается, что именно он внёс в международную политику принцип человечности.

Организация Объединённых Наций (ООН) – международная организация, созданная в целях поддержания мира и развития сотрудничества между государствами. Основана после Второй мировой войны в 1945 году странами антигитлеровской коалиции.

обеспечить в мире состояние нерушимого мира. Решить эту проблему подобные организации не могут в принципе, поскольку ищут решение не на том пути.

Необходимо «устремлённое на достижение мира сознание» [2, с. 496]. Такое сознание может породить только этический дух, а никак не юридические институты. Именно этический дух создаёт гуманистические убеждения людей, которые преобразуют к лучшему их жизнь.

И Швейцер задал свой основной вопрос: «Но действительно ли этический дух способен сделать то, что мы в нашей нужде должны ему доверить?» [2, с. 496]. Он стал приводить доказательства возможности ответить положительно. Он указал, что именно этический дух в XVII–XVIII веках вывел человечество из ужаса средневековья с его проявлениями жестокости и глупости. В своей речи он высказал и такую глубокую мысль: этический дух, оставив светлый след в истории человечества, уступил своё первенствующее значение и «растерял свою силу, - главным образом потому, что не смог найти обоснования своей этической сущности в познании мира, вытекавшем из естественнонаучного исследования» [2, с. 496].

Если считать, что русский перевод речи Швейцера, которым мы пользуемся, точен, то это утверждение не вполне прозрачно, что для Швейцера-писателя совсем не характерно. Что такое этическая сущность этического духа? Из последующих слов Швейцера становится ясным, что он имеет в виду.

Благоговение перед жизнью как раз и является сердцевинной, этической сущностью этического духа. «Рядом с прежней этикой, которой недоставало должной глубины, широты и убеждения, поднимается и находит признание этика благоговения перед жизнью» [2, с. 497]. Естественнонаучное исследование не могло обосновать этический дух потому, что дух коренится в самой сущности человека, в его мыслях, чувствах, в его стремлении познавать самого себя.

Швейцер уже тогда, опережая весь мировой цех учёных, косвенно отметил недостаточность исследований сущности самого человека в мировой науке, серьёзный крен в сторону исследования внешней по отношению к человеку природы. Заметим попутно, что массив работ, посвящённых человеку, глубокому духовному человекознанию, хотя и значительно вырос в последние десятилетия, но и по сей день остаётся недостаточным. Преобладает естествознание в том виде, когда исследуемая природа мысленно отгорожена от человека.

Ценнейшие человековедческие исследования не получают необходимой государственной поддержки, а их результаты очень медленно продвигаются к людям.

Но этический дух жив. И на него вся надежда. «От того, что созревает в убеждениях отдельных людей, а тем самым и в убеждениях целых народов, зависит возможность или невозможность мира» [2, с. 497].

Швейцер вновь обратился к теме национализма, в своё время рассмотренной им в «Культуре и этике». Разгул национализма в его худшем виде проявился в мировых войнах и продолжает препятствовать взаимопониманию между людьми и народами, как в Европе, так и вне её. Победить национализм возможно только возрождением гуманистических убеждений в человеке, которые станут идеалами народов. Но вначале требуется усвоение этих идеалов людьми. «Но каковы пути и возможности подобной трансформации? По-видимому, она может осуществиться через нас – европейцев. Если этический дух окрепнет настолько, что сможет увести нас от наносной внешней культуры назад к опирающейся на гуманистические убеждения внутренней культуре, он через нас воздействует и на людей, и на народы, которые пережили затормозившую их развитие колониальную эпоху. «Все люди, в том числе и самые отсталые и полудивилизованные, несут в себе как существа, наделённые даром сочувствия, способность к усвоению гуманистических убеждений. Эта способность таится в них как горячее, ожидающее лишь, чтобы пламя подожгло его» [2, с. 498].

Переходя к завершающей части своей речи, Швейцер напомнил, что у народов, достигавших «определённого уровня культуры, выкристаллизовалось всеобщее убеждение, что царство мира непременно наступит. Впервые эта идея встречается в Палестине у пророка Амоса (VIII в. до Р. Х.), но в дальнейшем она изжила себя в виде ожидания Царства Божия в иудейской и христианской религиях. Она фигурирует также в учении, которое проповедовали вместе со своими учениками великие мыслители Китая Лао-цзы и Конфуций (VI в. до Р. Х.), Мо-цзы (V в. до Р. Х.) и Мэн-цзы (IV в. до Р. Х.). Она встречается у Л.Н. Толстого (1828–1910) и других европейских мыслителей. Её считают утопией. Ныне, однако, положение таково, что она, так или иначе, должна стать реальностью, или же человечеству суждено погибнуть» [2, с. 498].

Швейцер, по существу, чётко и определённо обозначил в своей речи вставший перед человечеством этический императив, объясняя, что другого пути в будущее нет. Это он уже делал

неоднократно, говорил и писал. Когда дух человечества проснётся, он приведёт его к миру. Этический дух благоговения перед жизнью.

Сегодня, как и полвека назад, когда Швейцер произносил свою речь, этический дух большинства людей спит. И, более того, низкие побуждения, вражда и разъединённость между людьми, народами и государствами создают как бы непреодолимые препятствия для воздействия на жизнь этического духа людей старающихся помочь эволюции человечества.

Принцип «Благоговение перед жизнью» для части людей, небольшой их доли в человечестве, представляет собой очень притягательный, хотя и нелегко достижимый, идеал. Для иных он совершенно неприемлем по своей сущности, поскольку для них вполне естественно делать зло. Делать его из человеконенавистничества, невежества и порабощённости тьмой, даже ценой собственной гибели. По сознанию третьих этот великий этический принцип скользит, почти не оставляя следа. А к благим переменам в жизни может привести только этический дух «критической массы» человечества.

Ясно, что этический императив-постулат сам по себе неспособен привести к положительным переменам в жизни людей на Земле, неспособен привести к прочному миру. А на что надежда?

Продолжая наше отступление от основной темы – изложения нобелевской речи Альберта Швейцера, предложим краткий ответ на этот важнейший вопрос.

Главная сила общества заключается в его мировоззрении. Швейцер это отлично понимал и, более того, ставил целью своей жизни и жизни своего поколения выработку и утверждение нового, гуманистического, мировоззрения. На общественном, главенствующем в обществе мировоззрении основываются социальные институты, с помощью которых общество удерживает свою жизнь в состоянии организованности. Прежде всего, это институт права и неформализованный «институт» морали (этики). Право ограничивает и направляет человека извне, этика – изнутри. Мировоззрение индивида может значительно отличаться от принятого в обществе, от мировоззрения, наделённого силой общественного. Некоторые люди вообще могут быть лишены непротиворечивого мировоззрения. Но, подчиняясь институту права и общепринятой морали, большинство индивидов вынужденно или добровольно держится в установленных рамках.

Настоящему этапу эволюционного развития умственных сил человечества отвечает мировоззрение, совмещающее в себе

силу науки, религии, философии и искусства, то есть мировоззрение-синтез всех высочайших интеллектуальных и духовных достижений прошлого. И такое мировоззрение человечеству дано, но оно им в своей массе ещё не воспринято. Продолжает порождать многие несчастья и страдания отжившее, но ещё не отброшенное человечеством узкое мировоззрение, «младенческий материализм», как гласит древняя мудрость Востока в Учении Живой Этики. Когда новое мировоззрение, более широкий материализм, войдёт в жизнь, тогда и раскроется вся глубина и величие универсального этического принципа, предложенного Швейцером. Его глубина будет понята и осознана. Сам автор указал на неё так: «Благоговение перед жизнью относится как к её природным проявлениям, так и духовным проявлениям... Человек в притче Иисуса спасает не душу потерянной овцы, но саму её. Благоговение перед естественной жизнью неизбежно влечёт за собой также благоговение перед духовной жизнью» [2, с. 29].

Но уже и сейчас универсальный этический принцип и пример жизни его автора «работают» на увеличение стана воинов Добра, на приближение победы Добра над злом на Земле.

В заключение речи Швейцер сказал: «Я отдаю себе отчёт в том, что, говоря о проблеме мира, я не сказал ничего принципиально нового. Я придерживаюсь убеждения, что мы сможем решить эту проблему лишь тогда, когда отвергнем войну по этическим убеждениям, поскольку именно война делает нас варварами. Еще Эразм Роттердамский и некоторые мыслители после него провозглашали это истиной, заслуживающей всеобщего признания.

Единственное, что я осмеливаюсь высказать от себя, – это признание, что у меня с этой истиной ассоциируется основанная на глубоком раздумье уверенность, что дух в наше время способен создать этическое убеждение. <...>

Лишь в той мере, в какой дух будет пробуждать в народах убеждение в необходимости мира, созданные для сохранения мира институты смогут делать то, что от них требуется и ожидается. <...>

Пусть те, кому доверены судьбы народов, стремятся избегать любых шагов, способных осложнить существующее положение и породить новые угрозы; пусть они всем сердцем примут удивительные слова апостола Павла: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Это касается не только отдельных людей, но и целых народов. Пусть они в своих усилиях по сохранению мира сделают всё возможное, чтобы

обеспечить этическому духу в р е м я (разрядка наша – А. А.) для становления и действия!» [2, с. 499].

Это были последние слова прочитанного им обращения. Он добавил, обращаясь к королю Норвегии, что теперь, согласно ритуалу, он должен ему поклониться. На это король красиво ответил, что это он должен поклониться лауреату.

Вечером в большом зале городской ратуши – административного центра города – Швейцер встретился с молодёжью Осло. Зал не мог вместить всех желающих. По окончании встречи Швейцера с женой попросили выйти на балкон. Они увидели море людей с факелами. Это были студенты, устроившие факельное шествие в честь лауреата и теперь восторженно его приветствовавшие.

Авторитет и слава Швейцера в Европе и Америке к тому времени были не просто велики, а велики чрезвычайно.

Приближалось 80-летие Альберта Швейцера, и Европа не хотела так просто его отпустить. На него предьявлял права город Страсбург, и город Кольмар, и, конечно, родной Гюнсбах. Но Швейцер устал от чествований и стремился скорее уехать к своей трудовой жизни в Африке. Поздравления пошли туда. Франция и Англия наградили его своими высшими государственными орденами. Невозможно перечислить все знаки отличия, которые были добавлены в обширный уже список официального признания заслуг юбиляра перед человечеством. Американские граждане собрали для его больницы 20 тысяч долларов, города Франкфурт и Париж также сообщили о дарении значительных сумм. Во Франкфурте появилась улица его имени, в США вышел специальный сборник, посвящённый 80-летию Швейцера со статьями Ганди, Эйнштейна и других его друзей и единомышленников.

Глава 18

Будни больницы в 1955 году

Больница так разрослась, что может принять до 360 туземцев и 20 белых. В ней работают пять врачей, десять сиделок и двадцать санитаров-негров. «Из десяти сиделок, приехавших сюда в помощь врачам, четыре занимаются ведением хозяйства, работают в кухне, в саду, ухаживают за курами и другой нашей живностью» [6, с. 277]. Чёрные пациенты и их родственники сами готовят себе еду из выдаваемых им продуктов. Помощники Доктора закупают её в окрестных деревнях в дополнение к тому, что получают на плантациях больницы. Строительные работы продолжаются – строятся новые бараки и время от времени требуют текущего ремонта сорок восемь барачных корпусов на основной

территории. Требуют усилий по поддержанию в порядке и внутренние дорожки больничной деревни, размываемые дождями.

Швейцер организует постройку 500 метров настоящей дороги от больницы до шоссе, ведущего в столицу Габона Либревиль. Это упрощает путь больных и доставку необходимых грузов.

Во всех строительных и ремонтных работах Швейцер участвует как снабженец и прораб, разумеется, не оставляя врачебной и другой работы. Самым трудным, по признанию Швейцера, было для него наблюдение за ходом работ с целью, чтобы всё делалось так, как он считал необходимым.

На денежные средства Нобелевской премии продолжается и в мае 1955 года заканчивается строительство деревни для прокажённых. Построены бараки на шесть и на двенадцать комнат. Рядом с каждым бараком – ещё такое же помещение, оборудованное под кухню. Прокажённые проводят в больнице два-три года, пока их здоровье не улучшится значительно, и им требуются условия для обеспечения приемлемого быта.

После окончания строительства Швейцер получает возможность не только более эффективно лечить, но и просвещать больных, беседуя с ними и давая им уроки французского языка. В деревне начинает работать школа для детей прокажённых.

Из Германии в деревню приходит подарок – колокол мира.

Представление об условиях поддержания работы больницы между рекой и девственным лесом было бы неполным без описания трудностей, связанных с местной быстро развивающейся растительностью. В условиях жаркого и влажного климата все плантации очень быстро зарастают. «„Авангарды“ девственного леса – это лианы; они подползают по траве к плодовым деревьям и обвивают их так плотно, что через несколько недель могут совсем задушить. Если вы долгое время не заглядывали в какой-нибудь отдалённый угол сада, то может случиться, что, придя потом, вы обнаружите там задушенные лианами деревья. <...> Среди травы прорастают занесенные туда птицами и ветром семена деревьев и кустиков, и в землю уходят очень глубокие и мощные корни. <...> Приходится выкапывать их один за другим лопатой. <...> У нас просто не хватало сил делать всё необходимое в больнице и – одновременно – на плантации. И вот нам пришлось повернуться к лесу спиной, а возвратившись на прежние позиции, мы увидели, что они уже захвачены <...> В течение нескольких недель человек пятнадцать рабочих занимались только тем, что выкапывали достигшие уже тридцати сантиметров высоты кусты и приземистые деревья, которых

выросло немало среди травы» [6, с. 281-282]. В напряжённом труде они восстанавливают четыре пятых плодового сада. В его создании Швейцер проявил себя и как садовник. В саду растут введенные им здесь в культуру апельсины, грейпфруты, манго, авокадо.

Много внимания во все годы персонал больницы и её руководитель вынуждены были уделять обеспечению питанием больных и их родственников, доставлявших больных в больницу и остающихся жить рядом с ними, и, само собой, самих себя. Возможности получения продуктов питания в тропиках очень специфические. Закупки продуктов у местных жителей в отдалённых деревнях требовали немалых трудов и были не всегда успешны. Огород возможен только в сухое время года. Ливневые дожди, начинающиеся в октябре, прибывают растения к земле, и они гниют. Огород должен принести урожай раньше этого.

Швейцер тщательно отобрал культуры, которые можно быстро и продуктивно выращивать и сохранять от поедания животными. Картофель не растёт. А если и удаётся его вырастить, то он весь уходит в ботву и не набирает клубней. Можно было бы заменить его бататом (сладким картофелем), но крысы поедают его клубни раньше, чем они успевают созреть. Не созревают и злаки. Не приходится думать и о винограде, к которому он так привык в Эльзасе. Не даёт плодов и горох. Корни распространённой в тропиках культуры маниока, если не принять специальных мер защиты, поедают дикие кабаны. К тому же для людей они ядовиты и их приходится долго вымачивать в проточной воде. Хорошо растущий горный рис невозможно сохранить из-за птиц. Оставалось сажать только салат, бобы, капусту, редиску, морковь и помидоры. Для массовых посадок всегда были пригодны введенные здесь раньше бананы (банановые пальмы) и хлебные деревья.

Невозможно было и запастись овощами, как это делается в родном Эльзасе. Высокая влажность и температура этого не допускают.

В отсутствии у местного населения возможности делать запасы продуктов и, как следствие этого, постоянной занятости их добыванием, Швейцер усмотрел главное препятствие на пути приобщения аборигенов к культуре.

Он также отметил в своём дневнике, что его помощники лишены полноценного привычного для них питания, поскольку из-за мух цеце невозможно держать коров, и у них совсем нет масла и сыра.

На праздничном обеде, устроенном сотрудниками больницы в честь 76-летия Доктора, Швейцер сказал: «Если бы вы подвергли клиническому анализу мою душу, вы обнаружили бы в ней три части: первая её треть – профессорская, преподавательская, вторая треть – врачебная, а третья принадлежит сельскому жителю, крестьянину. Вдобавок ещё несколько капель туземца, „примитивного человека“» [5, с. 329].

В этот день он в разговоре с гостьей из США кинорежиссёром Эрикой Андерсон признался в своей усталости, что делал крайне редко. Он сказал, что больше всего ему хотелось бы как следует выспаться, забыв на время о многочисленных делах.

Этой естественной простой человеческой мечте не суждено было осуществиться. Больница вынуждала Швейцера постоянно жить на пределе сил. Мы с этим уже отчасти познакомились. А чтобы ещё лучше представить его труд, послушаем Геральда Геттинга, неоднократно наблюдавшего Швейцера в его повседневности. «Встаёт он рано – одним из первых – и руководит работой больницы. Нет ничего, что не интересовало бы Швейцера. Советы его ценны и всем нужны. Если после обеда он не на строительстве нового дома, то занят своими научными работами. Обычно в вечерние и ночные часы Швейцер изучает научную литературу, отвечает на бесчисленные письма, которые шлют ему отовсюду, беседует с гостями. И так изо дня в день» [11, с.37].

Глава 19

1957-1962. В защиту будущего

«Действие силы таинственно», – одно из наиболее известных выражений Швейцера.

Всегда трудно определённо сказать, как именно воздействуют на мир мысли и дела людей такого масштаба, как Швейцер. Несомненно, действие их велико, но оно часто находится не на поверхности социальных явлений и его почти невозможно в них распознать. Но иногда оно проступает совершенно явно, как, например, влияние Альберта Швейцера на экологическое движение.

Всем экологическим активистам известно, что одним из запалов американского, а в значительной степени и всего планетарного движения в защиту природы, стала вышедшая в 1960 году в США книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Но не все помнят, что книгу свою она посвятила ему, великому гуманисту «Альберту Швейцеру, который сказал: „Человек утратил

способность предвидеть и предсказывать. Он кончит тем, что уничтожит Землю“».

А в 1989 году Карсон, как человек полностью погружённый в биоэкологию, написала:

«На мой взгляд, современность явила миру лишь одного по-настоящему великого человека – доктора Швейцера. Если в последующем мы сможем наконец справиться с огромным количеством стоящих перед нами проблем, в большой степени это будет возможно благодаря более широкому пониманию и применению его принципов.

Я часто перечитываю его собственное краткое, но чрезвычайно живое описание того момента, в который он сформулировал для себя принцип благоговения перед любым проявлением жизни. <...>

В его работах мы встречаем философское определение этого понятия. Но для многих из нас наиболее верное понимание принципа благоговения перед жизнью, как и у самого Швейцера, происходит из какого-то очень личного опыта, неожиданного впечатления от природного явления, иногда – общения с маленьким домашним любимцем. Каким бы образом ни происходило, это всегда выводит нас за пределы ощущения одного лишь собственного существования, даёт ощущения понимания какой-либо иной жизни.

Сама я часто вспоминаю одинокого краба на ночном берегу, маленькое хрупкое существо, застывшее в ожидании у полосы грозно kloкочущего прибоя, который был его домом. Для меня он стал символом повсеместного проявления жизни и её полного приспособления к окружающей среде. Временами мне вспоминается рассвет на берегу болотистого озера в Северной Каролине, когда стаи канадских гусей, поднимающиеся после отдыха из воды, пролетали над самой моей головой. В оранжевом свете зари я отчетливо видела переливы коричневого бархата на их хохолках. Иногда чувство понимания какой-то иной жизни возникает, если глубоко заглянуть в глаза любимого кота.

Швейцер говорил нам, что мы не станем полностью цивилизованными до тех пор, пока нас будут заботить отношения лишь в человеческом сообществе. Чрезвычайно важно определение отношения к любым проявлениям жизни. Трагедией нашего времени является война с окружающей средой, вызванная применением современных технологий. Вряд ли, допуская применение подобных технологий, вызывающих бессмысленные разрушения и лишения, мы сохраняем право именоваться цивилизованным обществом.

Идеи Швейцера получили мировое признание, но на практике его философия применяется слишком редко» [16].

На Швейцера сослался уже во введении к своей книге «До того, как умрёт природа» и другой пионер планетарной экологической тревоги – Жан Дорст. А в качестве эпиграфа к одной из частей книги он взял высказывание Швейцера: «Симпатия, испытываемая человеком ко всем живым существам, делает его настоящим человеком».

Приведенные примеры, разумеется, не позволяют утверждать, что экологическое движение пошло от Швейцера. Но его влияние на этот крупнейший социальный феномен нашего времени неоспоримо.

Второй планетарной заслугой Альберта Швейцера являются его миротворческие достижения.

Нобелевская премия мира была присуждена Швейцеру ещё до того, как он прямо вышел на общественную сцену как борец за мир. Видимо, Нобелевский комитет уже тогда посчитал, что умиротворяющее влияние Швейцера на мир столь велико, что он заслуживает этой награды. Нобелевская речь была фактически его первым обстоятельным публичным выступлением, посвящённым проблемам войны и мира.

Швейцер долго не хотел касаться политики, считая, что это не его дело (хотя в гимназические годы очень интересовался политикой). Но в 1948 году во время встречи в Америке Эйнштейн взял у Швейцера обещание бороться против «бомбы» и угрозы атомной войны. И вот теперь, когда прошло уже 9 лет после той памятной и последней для них встречи и два года после ухода Эйнштейна с земного плана, он ещё активно не выступил.

Гостящий у Швейцера Норман Казинс беседует с женой Швейцера и с ним самим, убеждая более не медлить. Элен уже очень плохо себя чувствует, сказывается давняя травма позвоночника, полученная в молодости на лыжной прогулке, да и совсем не лёгкая жизнь. Она с грустью говорит Казинсу: «Мне так тяжело чувствовать себя такой беспомощной; я должна была бы трудиться вместе с Доктором. Это непостижимый человек. Я убеждена, что сейчас он работает ещё напряжённее, чем двадцать лет назад. А двадцать лет назад я боялась, что он убьёт себя работой. Он всегда говорит, что у него есть хороший рецепт для людей, которым за шестьдесят, если они плохо себя чувствуют: напряжённая и ещё более напряжённая работа».

Как вы имели возможность убедиться, рецепту этому он следует сам» [6, с. 376]. И вот однажды Швейцер говорит Казинсу как бы уже в прошедшем времени: «Всю мою жизнь я старался

воздерживаться от заявлений по общественным вопросам... Не потому вовсе, что я не интересовался международными делами или политикой. Мой интерес к ним и озабоченность ими очень велики. Просто я чувствовал, что мои отношения с внешним миром должны произрастать непосредственно из моей работы и моей мысли в области теологии, философии или музыки. Я пытался скорее искать подход к проблемам всего человечества, чем ввязываться в противоречия между той или иной группировкой. Я хотел быть человеком, который говорит с другим человеком» [5, с. 351].

Эти разговоры происходят в 1957 году. В том же году Элен уезжает, и вскоре в одной из больниц Цюриха покидает наш мир. Казинс возвращается в Америку, а Швейцер решает начать публичные выступления против проведения испытаний атомного оружия.

Он шёл к этому уже давно. Ещё тогда, вернувшись из США, возможно, главным образом под влиянием бесед с Эйнштейном, он написал статью «Идея Царства Божьего в ходе преобразования эсхатологической веры в неэсхатологическую», в которой есть такие строки: «Мы присутствуем при начале гибели человечества. <...> Пока оно располагало лишь ограниченной способностью к разрушению, ещё можно было надеяться на то, что призыв к здравому смыслу положит предел тому, что творится. Однако по мере того, как возможности человека становятся всё более неограниченными, эта надежда становится всё более иллюзорной. Остается уповать лишь на то, что дух Божий вступит в противоборство с духом этого мира и одолеет его» [3, с. 125].

Приходится только удивляться силе интуиции этого человека, его очувствованию всего трагизма момента. Теперь мы знаем, что вскоре после его высказывания над человечеством нависла угроза уничтожения. Мы все сидели на пороховой бочке с зажжённым фитилем. Возможно, кульминацией опасности, висевшей над Землёй и человечеством, стал Карибский кризис 1962 года, когда вот-вот могла начаться атомная война со всеми её катастрофическими последствиями. Спас Землю не иначе как «дух Божий», проявившийся, как всегда, через действия людей.

Швейцер как раз и не считал, что можно только лишь уповать на дух Божий и самим ничего не предпринимать. Об этом он говорил Казинсу приблизительно так. Бессмысленно ждать, что Бог будет сам предотвращать зло и несправедливости, совершаемые человеком. Нет оснований считать, что Бог вмешивается в человеческие дела, чтобы поддерживать справедливость, после всего, что произошло в последнюю

мировую войну со всеми её убийствами и несправедливостями, с преследованием религиозных меньшинств, с концлагерями и газовыми камерами, где делали мыло из трупов зверски умерщвлённых людей. Человек несёт ответственность за зло и должен бороться с ним, а не сидеть, сложа руки, ожидая божественного вмешательства [5, с. 353; 11, с. 155].

Лютеранин и священник, но не скованный ничем человек независимого мышления, Швейцер обращал внимание на то, что именем Бога церковью совершались преступления, в корне противоречащие истинным религиозным учениям: «Кальвин убивал врагов <...> ранние израэлиты иногда верили, что убийство было их божественной миссией; крестоносцы, не задумываясь, поднимали меч во имя Божие... Разговоры о «воле Божьей» были самообольщением и профанацией, особенно когда ими прикрывались всякие неблагоприятные действия». И далее главное: «Мы должны принять действительность, в которой Бог проявляет себя через дух человека. И когда индивид способен раскрыть и развить своё духовное сознание, он заодно с Божеством» [11, с. 155].

Отечественный исследователь А.Н. Кочетов, приводя взгляды Швейцера на ответственность церкви за земные дела, написал: «Швейцер высказывает мысль о том, что неспособность церкви предотвратить победу фашизма в Германии «сделала нас соучастниками вины тех дней. В конечном счёте неудачу потерпела не только католическая церковь, но и протестантская тоже. На католической церкви лежит большая вина, потому что она была организованной, наднациональной силой, способной хоть что-либо сделать, а протестантская церковь была неорганизованной бессильной национальной силой. Но и она тоже взяла на себя вину одним только признанием ужасного, бесчеловечного факта преследования евреев» [11, с. 156].

Швейцер мог прямо в глаза сказать христианскому священнику, приехавшему к нему в больницу от одной из самых крупных американских церквей: «Жаль только, что вы совсем не христиане. <...> Возможно, я ошибаюсь, но мне неизвестно, что вы и ваша церковь боретесь против атомной бомбы. К сожалению, это касается многих, называющих себя христианами» [11, с. 156].

Анализируя события, предшествующие выходу Швейцера на общественную трибуну, Кочетов ссылается на биографов, которые считают, что непосредственным толчком к тому послужил поступок тринадцатилетнего негритянского подростка. Это восхитительный эпизод, а его следствия удивительны. Бобби Хилл, так звали того мальчика, узнав об удивительном Белом

Докторе и его больнице, купил коробочку с аспирином и обратился к генералу авиации с просьбой сбросить её с воздуха в пожертвование больнице Швейцера. Журналисты разнесли этот случай как сенсацию, и в результате в больницу сразу хлынул благотворительный поток: одних только лекарств четыре с половиной тонны, а денег четыре тысячи долларов. Через год уже сам этот мальчик, сделавшийся знаменитостью и посланцем помощи, прилетел в Ламбарене с тонной лекарств и чеком на сто тысяч долларов. Швейцер, утверждая его биографы, был изумлён результатом этой, совсем вначале маленькой, инициативы одного ребенка.

И он решает начать свою антивоенную кампанию – передает Нобелевскому комитету для печати и для радио своё обращение «Декларация совести». Этот документ возник не вдруг, не одновременно. Швейцер изучал проблему атомной угрозы до этого восемь лет, изучал её досконально. Он проработал несколько десятков книг на эту тему; начинал в 1949 году с книги М. Гартмана «Атомная физика, биология и религия». Он хотел вникнуть в проблему по существу, хотел быть в ней достаточно квалифицированным, чтобы, если и когда он вступит в борьбу, не ограничиваться призывами к этике и к совести, а опираться ещё и на научные факты.

И вот этот момент настал. 24 апреля 1957 года его обращение вышло в эфир через радио Осло и было передано журналистам. Швейцер обратился к правительствам США и СССР с призывом прекратить атомные испытания. Он заявил, что в конце года ставит свою подпись под требованием большого коллектива ученых и общественных деятелей немедленно прекратить атомные испытания в атмосфере. Это требование с 9235 подписями, собранными в 44 странах, было вручено дважды нобелевским лауреатом (премии по химии и премии мира) Лайнусом Полингом (1901–1994) генеральному секретарю ООН 13 января 1958 года. Далее, 28, 29 и 30 апреля 1958 года, Швейцер через радиостанцию Осло передаёт три воззвания под общим названием «Мир или атомная война». Он обрушивается на тех, кто говорит о «разрешимой дозе радиации». «Кто разрешил её? Кто имеет вообще право её разрешать?». Швейцер с полным знанием говорит о том, что пагубные результаты даже, казалось бы, малых доз радиации скажутся через несколько поколений. «Те, кто решаете предпринять ядерные испытания, должны отдавать себе отчёт, какие бедствия они навлекают этим на будущие поколения, они должны быть готовы нести невыносимое бремя ответственности за рождение сотен тысяч уродов».

Это он написал в статье, опубликованной в СССР «Литературной газетой» 26 июня 1962 года. Швейцер в своих обращениях говорит о том, что атомное оружие должно быть отвергнуто как по соображениям разума, так и по этическим соображениям. Оно является «наиболее страшным современным выражением антигуманизма». Его выступления способствовали тому, что 5 августа 1963 года в Москве был заключён международный договор о прекращении атомных испытаний в атмосфере, под водой и в космосе.



Благоговение перед жизнью

Швейцер ставил вопрос: «Что же может придать постоянную силу этому соглашению?» И отвечал: «Только упрочение каких-то духовных связей между Востоком и Западом» [5, с. 392].

6 июня 1962 года Швейцер получил письмо от президента США Джона Ф. Кеннеди (1917-1963): «Вы оказываете необыкновенное моральное воздействие на наш век. Я очень надеюсь, что Вы приложите огромную силу своего воздействия к движению за полное и безоговорочное разоружение» [16].

Он ответил президенту, выразил поддержку его усилий в Конгрессе провести ратификацию Московского договора. Возможно, именно это сыграло решающую роль в ратификации договора в Конгрессе США, повлияв на колеблющихся конгрессменов.

Глава 20 В последние годы

Больница жила своей обычной жизнью. По реке на каное и через лес по тропам габонцы привозили и приносили на носилках своих заболевших родственников и оставались в больнице жить. Когда требовалась неотложная хирургическая операция, включался электрический двигатель.

В Ламбарене в очередной раз приехал журналист Норман Казинс. Он и стоматолог Фредерик Фрэнк оставили прекрасные описания тогдашнего медицинского персонала больницы в джунглях и самого Подвижника. Начнём с внешнего, с того, что годы не смогли его ссутулить, разве чуть-чуть в последние два-три года. Был прям. Прямота его несколько маскировалась привычкой ходить слегка наклонившись вперёд. О памяти Швейцера Фрэнк пишет, что она была как у «усовершенствованной электронно-счётной машины». Он помнил все мелочи своей жизни, все свои лекции, все мелочи, упоминавшиеся в разговоре с ним недавно и десятилетия назад. Свою одежду, как правило простую и удобную, Швейцер носил очень долго, не сменяя. Однажды в разговоре выяснилось, что сюртук, который был сшит Швейцеру портным в Гюнсбахе в 1905 году, чтобы он мог достойно предстать во время игры на органе перед королем Испании, Швейцер использовал в 1936 году при чтении лекций в Шотландии, при всех гастролях и торжественных выступлениях, в том числе когда получал премию Гёте и во время нобелевской речи, то есть полвека спустя; и Швейцер сказал, что сюртук и теперь хранится в Гюнсбахе на тот случай, когда он потребуется.

Ещё одна немаловажная деталь: Швейцер очень экономил бумагу. На свои блокноты, которые изготавливал собственноручно, и рукописи своих трудов он употреблял бумагу, с одной стороны уже использованную. Казинс пишет в своей книге «Альберт Швейцер из Ламбарене», что, увидев рукопись философского труда Швейцера о царстве Божием, он ахнул. Она была написана на листках разных типов и размеров – на обороте деловых бумаг, бланков, счетов, листков календаря, старых писем. Вот уж, поистине, эколог по своей сути! На себе он экономил во всём – брился без мыла, ездил по железной дороге, как, заметим попутно, и Ганди, третьим классом, «потому что не было четвёртого» [5, с. 350]. И уж, конечно, не признавал никакой роскоши. Он носил в Европе одну и ту же шляпу, а в Африке – шлем, старые, но всегда чистые брюки цвета хаки и белую рубашу. Поскольку костюм его не сменяется, говорил он, зачем же ему покупать новый?

Швейцер, имея в виду своих многочисленных активных доброжелателей, описал в дневнике будничный день в больнице. «Строки эти я пишу, сидя за столом в большой приёмной, и стараюсь не обращать внимания на царящий здесь шум. Каждую минуту меня отрывают различными вопросами. Приходится то и дело вскакивать и давать какие-то указания. Но писать в таких условиях я уже привык. Для меня важно быть в это время в больнице, на своём посту, чтобы видеть и слышать всё, что там происходит, и нести ответственность за всё. <...> Наша больница (Швейцер никогда не говорил «моя больница», только «наша») является хирургическим центром для большого лесного района. <...> В среднем у нас каждый день бывает до четырёхсот едоков» [6, с. 277-278].

Больница значительно разрослась в конце 50-х годов. В ней размещалось до двух тысяч человек – одних только больных более пятисот человек, да плюс их семьи и родственники, среди которых много детей. Семьи заболевших людей приезжали в больницу жить, приезжали со всем своим скарбом, собаками и мелкой живностью. А врачей оставалось немного – 4-6 человек. С ними работали 20-30 помощников и было ещё несколько десятков служащих-туземцев. Больницу необходимо было реорганизовать, оснастив современным оборудованием, обеспечить электро- и водоснабжение, построить систему канализации.

В этот период в один прекрасный момент – бах! – рядом с больницей, в Ламбарене, был построен небольшой аэродром. Это облегчило задачу. У Швейцера нашлись помощники, которые взяли на себя основные тяготы реорганизации.

Впечатления советских туристов

В декабре 1963 года в Ламбарене заезжала путешествующая по Африке делегация советских туристов; хрущевская оттепель позволила им вступить в контакт с этим опасно независимым человеком в его оазисе милосердия. В 1970 году в Москве был опубликован сборник «Альберт Швейцер – великий гуманист XX века». Среди его статей есть и воспоминания бывших в составе той делегации К.И. Коничева и Н.С. Португалова. Кроме того, Б.М. Носик взял интервью почти у всех членов делегации и включил их в свою книгу [5]. Познакомимся по этим источникам с впечатлениями близких нам, как теперь говорят, по менталитету людей, прошедших через атеистическое воспитание.

Итак, Швейцеру без малого 89 лет. Сюжет первый – встреча. У причала делегацию встретил Швейцер,

«жизнерадостный и приветливый». Он по-немецки сказал: «Здравствуйте, русские друзья. Впервые вижу русских в Ламбарене. Прошу ко мне в гости» [11, с. 116]. И, сняв пробковый шлем, поклонился. Журналист Николай Португалов начал было по-немецки говорить приветственную речь, но Швейцер тут же остановил его, добродушно хлопнув по плечу и сказав: «Оставим это, молодой человек, я не выношу превосходных степеней имён прилагательных» [11, с. 124]. Сюжет второй – знакомство с территорией больницы. «Когда он вёл нас по территории, там была у дерева обезьяна, Швейцер подошел к ней, и видно было, что обезьяна эта его любит. Он тоже с ней очень трогательно общался» [5, с. 386] (Р. Кольцова).

Далее в основном по описанию К.И. Коничева. Швейцер поясняет: «Как видите, у меня нет специальных зданий и палат для больных. Лечение проводится в таких же условиях, в каких туземцы живут в своих лачугах, им не надо привыкать к необычной обстановке. Всё здесь соответствует требованиям их житейского общежития. У меня осуществляется такое правило: больным и здоровым африканцам – полная свобода действий, сохраняется простота их нравов и быта, всё дозволяется, кроме, конечно, поступков, приносящих зло человеку, а также запрещается торговля. <...>

Мы видели здесь людей, страдающих от самых различных заболеваний – тропической дизентерии, желтой лихорадки, поражённых мухой цеце, душевнобольных, запертых в особых помещениях, женщин, пришедших рожать под наблюдением медицинских сестёр.<...>

Все пациенты разделяются не по роду заболеваний, а по племенным признакам (кроме душевнобольных и инфекционных). В госпитале оказались больные из пятидесяти племён, говорящих на разных диалектах, были даже пигмеи, языка которых никто не понимал.

Доступ к незаразным больным свободен для их родственников. Они часто их навещают, приносят фрукты и рыбу, испеченную на кострах.

Среди врачей – медики, прибывшие из Англии, Франции, Германии. Для всех них существует нерушимое правило: кроме родного языка, каждый обязан знать ещё один европейский и три африканских...» [11, с. 114 - 122].

Размещение пациентов в помещениях по племенным признакам было вынужденным, так как туземцы помогают только соплеменникам. Члены других племён для них чужие люди, и даже не просто чужие, а опасные. Отношение к ним в лучшем

случае умеренно недружелюбное. Среди «своих» туземец чувствует себя наиболее комфортно.

Гости из деликатности хотели быстро уехать, но гостеприимный хозяин пригласил их остаться на обед и повёл в свою комнату, чтобы они оставили лишние вещи. Вспоминает И. Ястребова: «Мы спросили, куда сумки положить. Он сказал: „Прямо на кровать кладите“. Комнатка исключительно проста. Никакого намёка на комфорт. Стены из оструганных досок. Стол простой, заваленный бумагами. Кровать под белым пологом, табурет, тазик для умывания» [5, с. 387].

К. Коницев: «Покинув кабинет, мы идём по обширному двору, где в тени вечнозеленых деревьев разгуливают крупные птицы, а за проволочной сеткой пасутся антилопы.<...>

Подходя к столовой, мы обратили внимание на большую обезьяну, которая, соблюдая строгий порядок, снимала шляпы и пробковые шлемы с тех, кто хотел пройти в столовую в головном уборе. Она напяливала их на свою голову, отбегала в угол сада и там складывала в кучу» [11, с.119].

«Обед – тоже незабываемое зрелище: два длинных стола, накрытых белой бумагой, тарелки с хлебом. Швейцер вошёл. Все встали. Он громко прочёл «Отче наш», потом «амен», все сели. За столом человек тридцать медиков-европейцев, в основном молодые. Там был один врач с чёрными большими усами. Сёстры почти все одеты, как сестра Матильда Коттман, - длинные платья, башмаки» (Р. Кольцова) [11, с.119].

«Сёстры все красивые, белые. Рядом со мной сидела сестра, говорят, дочь миллиардера, высокая, красивая» (К. Коницев) [5, с. 387].

У женщин на плечах во время обеда сидели многоцветные попугаи, а под столом расположились собаки.

За обедом Швейцер сказал: «Русские у меня в Ламбарене впервые. А ведь вы, молодые люди, верно, и не представляете, что значили для нас в прошлом веке книги Льва Толстого. Мы тогда вдруг увидели и поняли, что человек может и должен быть Человеком» [5, с. 388].

После обеда и беседы на темы разоружения Швейцер показал гостям плодовый сад, созданием которого он занимался много лет.

Переходим к сюжету заключительному – общее впечатление от Швейцера.

Р. Кольцова: «Он не любит церемоний, говорит тихо и быстро: мне кажется, он вообще не может повысить голос.

Походка у него уверенная, и, хотя возраст чувствуется, он очень прямой...» [5, с. 388].

Н. Португалов: «Запомнились суровые, аскетического склада губы под густыми нависшими усами, добрый взгляд светло-голубых глаз...» [5, с. 389].



Забота

А. Роу: «Он очень мил, любезен и прост. Глазки весёлые, живые, блестят. Молодые глазки. А вообще я считаю, что он настоящий подвижник, человек необыкновенных душевных качеств. Ведь вы подумайте: вот так вот запереть себя, как он!» [5, с. 389].



Вылеченный Швейцером пеликан сопровождал его на прогулках

И. Ястребова: «Да, это правда, вспоминается, как Горький писал о Толстом, когда описывал обед в Ясной Поляне: настоящая простота, истинный аристократизм простоты. И очень сердечный человек Швейцер» [5, с. 388].

К. Коницев: «Ни от кого в жизни такого впечатления не было. Святой человек!...» [5, с.388].



На территории больницы недалеко от реки

А. Роу: «Это настоящий доктор Айболит. Он лечит этих животных, и они у него остаются жить навсегда. Я уж и Корнею Ивановичу Чуковскому про это рассказывал. А в столовой что творилось – всё квакало, тьякало, верещало, пищало, гоготало.<...> Наседки какие-то, однорукие обезьяны...» [5, с. 386].



Гости охотно вовлекались в строительные дела

Журналист, писатель и учёный В.А.Петрицкий за полтора года до описываемых здесь событий послал Швейцеру письмо, на которое получил незамедлительный обстоятельный ответ. Вдохновлённый вниманием, а главное, величием жизни великого

подвижника, он написал, кроме статьи «Эстафета гуманизма (Лев Толстой и Альберт Швейцер)» [1, с. 198-212], ещё серию работ. Их список приведен в книге «Благоговение перед жизнью» [2, с. 520]. Среди них популярные публикации: очерк для детей «История о докторе Айболите – был». Очерк был опубликован в ежегоднике «Глобус» в Ленинграде в 1964 году. Позже вышла книга для юношества «Свет в джунглях» (Л., «Детская литература», 1972, 253 с.). А также: «Габон – Ленинград» («Нева», 1962, №19, с.214-215), «Полвека в джунглях» («Смена», 1965, 27 января), «Право обращаться к нашим душам: Русская литература в жизни и творчестве Альберта Швейцера» («Вопросы литературы», 1976, №5, с. 312-316).

Глава 21

Полвека больницы

В 1963 году был подведен итог работы больницы Швейцера за пятьдесят лет. В том году число больных в стационаре часто достигало 560 человек. Это был целый больничный городок, очень своеобразный. Ежегодно в больницу обращалось в среднем около 5 тысяч больных, из них треть госпитализировалась. Постоянный штат состоял из европейцев: 5-7 врачей и 9-12 сестёр и сиделок, попутно ведущих больничное хозяйство, – и около 20-ти африканцев – помощников по всем больничным нуждам. В больнице действовала лаборатория, делающая анализы крови, мочи и т. д. В ней трудились прошедшие специальную подготовку местные жители. В лаборатории часто, по несколько месяцев в году, работала дочь Швейцера Рена Эккерт-Швейцер, специально для этого получившая в Европе квалификацию лаборанта.

Ежегодно в больнице рождалось 300-400 детей. Производилось много хирургических операций: в 1934 году 622 серьезные операции, в 1961 году – 802, в 1962 – 950. Смертность при операциях была необыкновенно низкой – 0,44%, то есть два случая на 450. Подсчёты смертности при операциях выполнили американские врачи Р.Голдуин и Р.Фридман и опубликовали результаты в специальном медицинском журнале в 1961 году. Операции проводились практически на всех органах, включая даже некоторые глазные. Сам Швейцер прекратил оперировать в 75 лет. В результате успешного лечения прокажённых в больнице Швейцера значительно снизилась их число в обширном районе вокруг Ламбарене.

Немалой характеристикой является то, что тяжёлых больных из габонской государственной больницы в Ламбарене многие годы везли в больницу Швейцера, к Швейцеру.



«Господин рифлёное железо» обдумывает планы на завтра

Медицинская помощь в больнице была, как правило, бесплатной. Плата за лечение допускалась добровольным трудом. Иногда, когда не хватало денег на лекарства, плата принималась у тех больных, которые могли её внести. Средства шли исключительно на нужды больницы. Когда трудоспособные пациенты и их родственники привлекались к строительным и другим работам, Швейцер тем или иным образом им платил. А нужда в средствах была почти постоянной. Наглядно это видно уже из того, что все годы бинты стирались и использовались для перевязок неоднократно.

Историю больницы можно живо себе представить через отношения Швейцера к своим помощникам. Основу этим отношениям давало необыкновенно развитое у Швейцера чувство благодарности. Это чувство он сознательно прививал и своим чернокожим пациентам: «Я постоянно напоминал им, что благодеяниями больницы они пользуются потому, что много людей в Европе пожертвовали деньги на её содержание; следовательно, теперь их долг – самим оказать больнице посильную помощь. Так я постепенно установил обычай, согласно которому в благодарность за лечение я получал подарки деньгами, бананами, домашней птицей или яйцами»[26, с. 86].

Хотя общая стоимость подарков, полностью идущих на нужды больницы, составляла лишь небольшую долю её бюджета, она была всё же существенной. И, что не менее важно, туземцы больше ценили больницу, получая медицинскую помощь не совсем даром. Таков закон психологии: мы любим тех и то, кому и чему оказываем помощь. Не потому ли родители любят своих детей больше, чем дети – родителей?



Акушер Альберт Швейцер

Некоторые из вылеченных туземцев, двигаясь чувством благодарности, становились лекарскими помощниками. Многие трудились на больничных плантациях. Похожим образом вели себя и белые пациенты. Выражая свою благодарность трудом, часто квалифицированным и очень на тот момент необходимым, или помощью строительными материалами, или какой-либо иной, они облегчали бремя трудов Швейцера и его приезжих сотрудников.



Дом Швейцера на территории больницы

Эти самоотверженные люди отказывались от заработной платы или какого-либо жалованья. Швейцер проявлял всю

возможную заботу о них, об улучшении условий их жизни. Он организовал осушение заболоченных земель, что оздоровило микроклимат вокруг больницы. Окна он оборудовал металлическими сетками, защищающими от moskitov. Благодаря этим мерам европейские помощники могли продлевать своё непрерывное пребывание в Ламбарене до двух с половиной лет. Результатом была не только экономия средств на их поездки для отдыха в Европу, оплачиваемые из всегда напряжённого больничного бюджета, но и, главное, экономия здоровья сотрудников.



В африканском кабинете, как всегда не один

Первым, и многие годы ближайшим самоотверженным разносторонним помощником Швейцера была, как мы уже знаем, Элен Бреслау-Швейцер.

А первым на африканской земле был Жозеф Азовани (? – 1966). Он трудился не вполне бескорыстно. Он получал жалованье, но вдвое меньшее, чем до больницы, когда служил поваром в порту. Был он на местный манер изрядный франт, следил за модой. Швейцер с юмором описал, как однажды он пытался отговорить Жозефа от покупки в местной фактории залежалых и потрескавшихся, но «модных» лакированных чёрных ботинок, даже толкнул его под бок тайком от торговца. Тогда это удалось. Но на следующий день Жозеф всё же наведалься в лавку и ботинки приобрёл, истратив на них всё своё жалованье. Когда Жозефу понадобились деньги, чтобы купить себе жену и одеть её по европейской моде, он, после тринадцати лет работы в больнице, оставил свой пост лекарского помощника и занялся торговлей лесом, где можно было больше заработать. Но был он безусловно

незаурядный человек, преданный и добросовестный. И одарённый полиглот. Он неизменно с гордостью называл себя первым помощником доктора Альберта Швейцера. Швейцер поддерживал с Жозефом дружеские отношения при всех обстоятельствах.



За клавиорганом после дневных трудов

Вторым африканским помощником был Базиль Аатомбогонь. Он поступил на работу в 1913 году и оказал большую помощь Швейцеру в начальный период работы больницы как плотник, лекарский помощник и сапожник, кем он и был по своей профессии. Было у Швейцера много и других чернокожих помощников, которых он отметил в своей книге [6], но оставим их имена за пределами нашей повести, кроме упоминавшегося уже плотника Монензали. Он работал в больнице более 30 лет до своего 60-летия в 1954 году.

Общий вклад коренных местных жителей в больничную работу был значителен, что Швейцер отметил в 1955 году. «Среди нашего медицинского персонала двенадцать человек негров. Подготовили их мы сами. Двое или трое из них работают самостоятельно в лаборатории или ещё на какой-нибудь должности. Остальные помогают нашим прибывшим из Европы сиделкам. Старейшие из этих лекарских помощников работают у нас больше двадцати пяти лет. Примерно столько же времени здесь находятся и оба наших повара-негра.

Старейшие из лекарских помощников пользуются авторитетом среди молодых и оказывают нам немалую помощь в деле воспитания их и приобщения к больничной работе» [6, с.277].

Обратимся теперь к памяти приезжих помощников Швейцера, к их судьбам, используя его дневниковые записи [6, с.

220-277] и тексты А.М. Шадрина [6, примечания]. Так мы наполним живой интернациональной плотью жизнь больницы в контексте того времени и дополним в своём представлении образ самого Швейцера.

Нессман Виктор. Родился ок. 1900 г. в Эльзасе, в селе Вестхофен. Окончил медицинский факультет университета в Страсбурге. Работал в Ламбарене с середины октября 1924 до конца февраля 1926. Возвратился на родину, чтобы отслужить в армии. В дальнейшем был хирургом в Страсбурге. В 1939 году, в начале второй мировой войны, был мобилизован как военный врач. Во время немецкой оккупации Франции жил с женой и четырьмя детьми во французском городке Сарла, служил в госпитале. Был арестован гестапо и в 1943 году умер от пыток как герой, не выдав борцов французского Сопротивления.



Закончилась ещё одна поездка в Европу

Коттман Матильда (1897-1974). Одна из ближайших сотрудниц Швейцера. Проработала в его больнице более 40 лет (1924-1967). Родилась в Эльзасе, окончила акушерскую школу в Страсбурге. У габонцев пользовалась большой любовью. Ушла из жизни в Германии, в Билсфельде. По её желанию урна с прахом её тела захоронена на территории больницы.

22 февраля 1926 года на смену В.Нессману приехал врач Фредерик Тренс, так же, как и Нессман, сын пастора в Эльзасе.

Тренс Фредерик Альбер (р. 1901) – врач и биолог. Образование получил в Страсбургском и Парижском

университетах. Работал в Ламбарене много лет. Одно время, после Швейцера, возглавлял его больницу. Самоотверженный врач-исследователь. В Ламбарене ввёл себе вибрион дизентерии, так как это был единственный способ провезти его в Европу для квалифицированного исследования. Нашёл, что местная тропическая дизентерия близка к холере. Впоследствии – доктор медицины и научный сотрудник Института Пастера в Париже. Автор трудов по медицине и воспоминаний об Альберте Швейцере.

26 апреля 1926 года в Ламбарене приехал Ганс Муггенштурм, молодой столяр из Сент-Галлена. Он взял на себя руководство работой всех плотников и их помощников на строительстве третьей больницы. Швейцер с его приездом получил возможность целиком заняться другой первоочередной на тот момент работой: забивкой свай, подготовкой строительной площадки и доставкой материалов. Одновременно с Муггенштурмом приехала Марта Лаутербург, работала сиделкой.

Больничное хозяйство вела, что было, по словам Швейцера, самым трудным из всего, Эмма Хаускнехт (1894-1956) – учительница из Эльзаса, давняя знакомая и одна из ближайших помощниц Швейцера. Она приехала в Ламбарене в середине октября 1925 года. Взяла на себя ещё и уход за белыми больными, включая уборку палат. Долго была самой занятой из всех помощников. Проработала в больнице 30 лет. Помимо основной, больничной деятельности, сумела собрать уникальную, музейного значения, коллекцию прикладного искусства жителей Габона.

23 марта 1927 года из Швейцарии приехал врач Эрнст Мюндлер, сменивший доктора Тренса.

Вместе с Мюндлером в Ламбарене появилась госпожа Рассел из Канады. «Она берёт на себя руководство людьми, которые валят лес и работают на плантациях». Из всего персонала больницы она имеет самый большой авторитет у туземцев. Вместе с ней трудится Карл Суттер – швейцарец, бывший торговец лесом, сам предложивший свою помощь.

После своего первого приезда в 1927 году Лириан Рассел приезжала помогать в работе больницы ещё несколько раз на продолжительное время. «Мне лично она оказала большую услугу своими хорошими переводами моих книг и тем, что во время моих выступлений в английских университетах, где я говорил по-немецки или по-французски, настолько искусно слово в слово переводила мои речи на английский язык, что слушатели забывали, что это перевод».

С 1933 года по 1946 (с тремя отлучками в Европу и отдыхом во время войны в Бельгийском Конго) в больнице работал Ладислав Гольдшмидт, врач-хирург из Австрии. «В его отсутствие я снова оперирую, как то было в начале моей деятельности в Африке, тогда как в остальное время я являюсь только его ассистентом. Доктор Анна Вильдикан, которая в отсутствие доктора Гольдшмидта отвечала за больницу и положила на это много сил, уезжает в 1944 году на несколько месяцев отдохнуть».

Рене Поль Копп, врач (1904-1974). Приехал в больницу в марте 1946 вместе с женой, сначала на два года. Родился в Мюнстере (Эльзас). В детстве неоднократно видел Швейцера в Гюнсбахе. Учился в школе в Кольмаре, изучал теологию в Париже. Потом был пастором в Страсбурге. Но постоянно стремился в медицину. Изучал её по ночам. Отказался от пасторства и перед второй мировой войной начал работать хирургом в Эльзасе. Давно мечтал поехать в Ламбарене к Швейцеру на два года. Осуществив свою мечту, 20 лет работал врачом в Габоне. В 1968 году по просьбе тогдашнего руководителя швейцеровской больницы Тренса возвращается в неё на всю жизнь. Он принял на себя, подобно Швейцеру, всю тяжесть работы в больнице, трудясь с утра до глубокой ночи. Специализировался по хирургии проказы.

«Следует особо отметить работу сиделки-швейцарки Элизы Штадлер. Она пробыла здесь с февраля 1930 до января 1932 и с декабря 1932 до ноября 1934. После войны, когда мне были крайне нужны сиделки, имеющие опыт работы в Африке, она по моей просьбе согласилась приехать сюда ещё раз. Она проработала в свой последний приезд с декабря 1945 до января 1948.»

Кроме отмеченных лиц, в больнице в послевоенное десятилетие трудились от полугода до трёх лет, а иногда и больше, врачи-эльзасцы Пауль Израэль с женой, Ж.П.Энгеле, Шарль де Ланж, Ги Швейцер (родственник Альберта Швейцера), швейцарцы Арнольд Брак, Маргрит Шредер, венгр Эмерик Перси, немец Херберт Гро, американец Уильям Уикофф, а также сиделки Лидия Мюллер и Гертруда Кох.

«Фрейлейн Мюллер руководила работами в саду и на плантации. Фрейлейн Кох была деятельна во всех областях медицинского обслуживания. Ей поручались самые разные работы. И всюду она оправдывала наше доверие. В течение ряда лет она самостоятельно вела родильное отделение. На административных должностях, которые она занимала, ей очень пригодились её

организаторские способности и природная жизнерадостность. К сожалению, состояние здоровья вынудило её остаться в Европе».

Швейцер скрупулёзно перечисляет (чтобы никого не забыть!) с указанием периодов работы сиделок послевоенных лет. Это: американка Глория Кулидж, эльзаска Алиса Швопе, швейцарки Ирмагарт Цинзер и Труди Бохслер.

Труди работала и в 1956 - 1957 годах. Тогда ей было 25 лет и её называли в больнице «девушка с фонарём». Она бесстрашно, в рано наступающей в тропиках темноте, ходила через джунгли с фонарем в деревню для прокажённых. Там она занималась с детьми. Ставила с ними спектакли, обучала хоровому пению. Очевидец доктор Фрэнк написал, что, общаясь с детьми, она «повелевает, усыновляет, лечит, шлепает, утешает, балует» [5, с. 346].

«Из числа сиделок, приехавших к нам после войны, дольше всего пробыла у нас голландка Алида Сильвер (с октября 1947 по март 1951 и с декабря 1951 по май 1954). Она занята на медицинской работе. После недолгого пребывания в Европе она возвратится к нам снова». Алида (Али) Сильвер вернулась и осталась надолго, она стала секретарём Швейцера, вместе с М.Коттман помогала ему вести обширную переписку; вошла в число его ближайших помощниц.

«Датчанка фрейлейн Эрна Спор-Хансен (которая находится у нас с сентября 1952) обслуживает прокажённых.

Медицинской работе посвятили себя и находящиеся здесь с сентября 1952 уроженка Лиона сиделка Сюзанна Мовсесян, приехавшая в августе 1953 швейцарка Ирма Боссхарт и голландка Тони Ван Леер, работавшая здесь с декабря 1951 до сентября 1953 и после проведенного на родине отпуска возвратившаяся к нам снова.» [6, с.263].

Хозяйственные работы (уход за плантациями и садом) выполняли швейцарки Полетт Кревуазье, Хедвиг Мейер, Фриди Гисслер, Врени Хуг, Грети Бальзигер, Верена Шмид и Врени Штюсси, эльзаски Алиса Шмид и Жаклин Циглер.

«Неоценимые услуги оказывал мне живущий у нас с октября 1950 эльзасский механик Эрвин Матис, племянник нашей сиделки Матильды Коттман. Он брался выполнять самые разнообразные работы: следил за исправностью всех моторов, действующих у нас в больнице, ведал ремонтом больничных корпусов, руководил работами наших трудоспособных больных, производил утреннюю и дневную проверку, а по вечерам раздавал пищу. Тем самым он в течение трёх с половиной лет в очень значительной степени облегчал работу мне и моим занятым

хозяйством сотрудникам. Скоро он уезжает домой. Мы благодарны ему за всё и желаем счастья.

Начиная с декабря 1951 года, в нашей работе принимает участие находящийся на отдыхе французский пастор Андре Винь. Я знаю его ещё по тем временам, когда он работал в протестантской миссии в Ламбарене. Когда он после этого возвратился в Европу, мне удалось уговорить его снова вернуться сюда, для того чтобы нам помочь – обслуживать прокажённых и руководить работами женщин на плантациях».

Винь продолжал работать в больнице и в 1955 году: «Работами на плантации руководит господин Винь, в прошлом пастор, который из своих поездок в Европу и в Америку нередко привозит сюда всё новых «добровольцев». Мы прозвали его «свалившимся с неба помощником».

Б.М.Носик [5, с. 344-347] на основе описаний врача-стоматолога Ф.Фрэнка и Н.Казинса дал красочное описание помощников Швейцера 1956-1957 годов. Большинство из них продолжали трудиться в Ламбарене и в последующие годы. Воспользуемся возможностью, вслед за названными свидетелями и писателем, рассмотреть круг сотрудников Швейцера того периода.

У персонала больницы ужин, на который сходятся все, кроме тех, кто не может придти из-за срочных дел. В столовой стол, накрытый белоснежной скатертью, и 24 деревянных стула, сделанных плотником Монензали по образцу капитально сработанных увесистых крестьянских стульев Эльзаса. На столе – синие и серые глиняные кувшины с водой, блюда с едой, простой, питательной и вкусной. Время – седьмой час. Тропическая темнота уже спустилась на Ламбарене. На столе зажжённые керосиновые лампы. Собираются врачи и сёстры. Когда все в сборе, прямо от письменного стола в своём кабинете приходит Швейцер. Он садится на своё место и, сложив руки, ждёт, когда все рассядутся. После этого Швейцер произносит молитву «Отче наш». Начинается ужин. Свободно, непринуждённо, в обстановке взаимного доброжелательства идут беседы, слышится смех.

Швейцер ест с аппетитом, просит добавки. Прежде, чем взять себе, оглядывает стол, чтобы выбрать того, кого он решит угостить. Собственноручно отрезав кусок рыбы или ломтик ананаса, он предлагает угощение тому, на кого пал выбор, и говорит: «Это для вас» – в тоне отеческого приказа. Однажды, когда Фрэнк уже почти закончил ужин, Швейцер, вспомнив, что тот любит чечевичный суп, предложил его врачу. Описание Фрэнка: «Я получил из его порции честно отмеренную половину.

Я действительно очень люблю чечевичный суп, и я высоко оценил этот знак внимания, но мне, право же, трудно было доесть суп после фруктового салата».

Вокруг стола в этот вечер очень тесно, – сидят сотрудники Швейцера и гости. Слева от него – эльзаска Матильда Коттман, справа, – голландка Али Сильвер, у которой, по словам Фрэнка, «лицо фламандской святой из алтаря Ван дер Вейдена или герцогини с миниатюры де Лиона». Она сидит через одного человека от Швейцера, потому что рядом с ним гость – молодой дипломат из Эфиопии, захвативший познакомиться и посмотреть больницу на пути домой после обучения в университете Гарварда (США). На той же стороне стола сидит ещё одна «фламандская мадонна» – женщина с необыкновенно красивым, тонким лицом. Это врач Маргарет Ван дер Крик, «ля докторесс», как её называли. Н. Казинс был настолько очарован красотой этой молодой женщины, что в своей книге о Ламбарене посвятил ей много страниц и почти треть фотографий. «Маргарет родилась и выросла в Голландии. Отец у неё – художник, мать – поэтесса. Она ещё в детстве мечтала о медицине. Вероятней всего, ею руководило стремление, сходное с тем, какое охватило полстолетия назад молодого Альберта Швейцера, – отплатить за безмятежное счастье своего детства, за здоровье, красоту, радость своего мирного дома; отдать себя тем, на чью долю выпали горе и страдания».

Рядом с ней крупный чёрноусый человек, похожий на тридцатилетнего Швейцера. Это врач Фридман, чудом выживший в нацистском концлагере, потерявший там всех своих близких. На его руке выжжен лагерный номер. Рядом с Фридманом – ещё одна голландка, сестра психиатрического отделения Альбертина, тоже красивая, высокая, рыжая, зелёноглазая. Она надолго приехала в Ламбарене, в ней очень силен дух подвижничества. Это настоящая интеллигентка и интеллектуалка, знаток литературы, музыки, театра. В джунгли она привезла любимый инструмент – старинную лиру.

Рядом с Альбертиной светловолосая, сероглазая, очень живая, неунывающая юная швейцарка – Труды Бохслер. О ней мы уже знаем. Рядом с Труды ещё одна красавица (прямо-таки созвездие красавиц!) – Ольга Детердинг – любимая дочь нефтяного мультимиллионера. Она вообще не человек, а легенда. Во время путешествия по Африке в джипе высокой проходимости она, воспользовавшись остановкой из-за поломки машины, улизнула от спутников и явилась к Швейцеру. Стала работать на кухне и в прачечной. Уехала, а потом приехала снова. Никто не знал, кто она. Скоро отец с помощью журналистов сумел её

выследить, и в Ламбарене пошли телеграммы. Она попросила Швейцера никого к ней не допускать. А, когда без всякого разрешения в больницу всё-таки приехали журналисты из Франции и Японии, она скрылась в кухне. Швейцеру пришлось водить непрошенных гостей по больнице, и они старались всю её обыскать. Заглянули они и на кухню, где Ольга в тот момент чистила рыбу. Она им даже улыбнулась, но не была узнана.

Швейцер был раздосадован тем, что «сыщики» отняли у него почти весь день. Казинсу он рассказал об этом приключении со своим обычным юмором: «Они тщательно обошли больницу. А напоследок, чтобы занять их чем-нибудь, я прочёл им лекцию по философии. Это была хорошая лекция. Впрочем, я не уверен, что они были в философском настроении».

Рядом с Ольгой за столом – врач Кэтчпул, высокий худой англичанин. Ему тридцать два года, но выглядит он старше. Он английский квакер, приехал в больницу на полгода, но работает здесь уже два года.

Фрэнк написал о нём в своей книге: «В каждом его движении заметен самый глубокий интерес, как профессиональный, так и человеческий, чисто личный, к каждому, самому жалкому существу, принесённому сюда из джунглей. Я думаю, он и хуеет оттого, что отдает им не только своё искусство медика, но и всего себя. <...> Несправедливость и просто равнодушие он воспринимает как личное оскорбление. Он, кажется, физически неспособен отличить чёрный цвет кожи от белого. Он воистину воплощает тот дух братства и уважения к жизни, с которым связывают имя Швейцера. Если он когда-нибудь, упаси боже, прочтёт эти слова, он, без сомнения, стукнет кулаком и буркнет: “Вот уж чушь собачья!”».

По правую руку от Кэтчпула сидит небольшого роста японец Такахаси, врач, человек удивительной самоотверженности и сострадания. Он приехал к Швейцеру с заученной заранее на немецком языке фразой, единственной, которую знал: «Я хочу здесь служить. Ничего не надо, кроме того, чтобы служить» [11, с. 72]. Теперь он заведует лепрозорием – деревней для больных проказой. Он считает, что прокажённых надо занимать трудом, что трудотерапия спасает их от отчаяния. Больные у него ткут, режут по дереву, работают по дому. Много они поработали на строительстве деревни для прокажённых. Действительно, в его лепрозории не было попыток самоубийства, обычных в аналогичных больницах.

Медицинский коллектив больницы Швейцера являл собой своеобразную общину милосердия. Её сёстры и братья находились

в единении с Ним, с Главным, а он сам – с Иисусом Христом, которому посвящал весь свой труд, всю свою жизнь.

Всем членам его общины, морально выдающимся людям, не мешала нелёгкая, а временами очень трудная для его помощников особенность характера Швейцера, вытекавшая из его самозабвенного отношения к их общему общественно полезному труду. Главкомандующий и первый солдат своей трудовой армии, Главный ответственный за всё, он ежедневно впрягался в перегруженный воз, тащил его изо всех сил и того же ждал от помощников.

Представление об этом качестве Швейцера даёт запись госпожи Эшли, которая, занималась с ним музыкой, готовясь к концертам: «С ним бывало всегда легко, когда он был вашим гостем. Но когда вам приходилось работать с ним, человек этот превращался в настоящего тирана. Не зная усталости сам, он был способен довести своих помощников до изнеможения. Помню, как, при том, что он всегда умел владеть собой и не показывать своих чувств, он был и поражён, и смущён, когда я ему об этом сказала». И о том же чуть дальше: «Случалось, что непримиримая требовательность Швейцера к своим помощникам по работе в Ламбарене, проистекавшая от чувства большой ответственности за дело и от сознания того, что то или иное решение продумано им до конца и изменить ничего нельзя, ставила его ближайших сотрудников в трудное положение. От них требовалось полное подчинение, и нередко они только впоследствии узнавали, почему им надлежало поступать так, а не иначе. Об этом, например, рассказывал доктор Марк Лаутербург» [6, с. 376].

Швейцер иногда мог быть резок и с больными, если они нарушили режим или не выполнили порученную им работу. Он мог даже на них прикрикнуть. Но это не вызывало в них раздражения. Норман Казинс в книге «Доктор Швейцер из Ламбарене» приводит слова одного из таких больных (прокажённого): «Мы на него не сердимся, да разве это возможно? Может ли человек сердиться на родного отца, когда тот говорит ему, что надо делать».

Швейцер вовлекал в неотложную работу не только персонал и всех сколько-нибудь трудоспособных больных, но и приезжавших в Ламбарене гостей. В книге Гомера «Одиссея», стоявшей у него на полке в африканском кабинете, он подчеркнул место, где говорится, что гость должен просить себе в доме работы. Тогда он входит в семью и становится другом этого дома. Не раз случалось, что люди, приезжавшие в больницу, оставались надолго и работали вместе со всеми. «Вот это лепта четырёх

студентов, которые приезжали к нам в гости, – говорит Швейцер, указывая на только что проложенный участок дороги» [6, с.380].

«В качестве гостей здесь перебивали молодой американский врач Невил Грант (с февраля 1954) и японский специалист – пульмонолог и лепролог доктор Минори Номура, который в своё время перевёл на японский язык мою книгу «Между водой и девственным лесом» и который принадлежит к моим старейшим японским друзьям.

Большую пользу принёс нам за время своего короткого пребывания здесь фармаколог доктор Роберт Вейсс из Страсбурга».

При строительстве деревни для прокажённых: «Привлекаю я к этой работе тех из моих гостей, которые способны с ней справиться. Последнее время нам помогает одна голландка, за эти несколько месяцев она приезжает к нам уже второй раз. Господин Мишель из Страсбурга, который в течение двадцати пяти лет в свободное время принимает участие в постройке больницы, этой весной провёл здесь месячный отпуск, чтобы познакомиться с ведущими в Ламбарене работами. Большую часть этого времени он отдал нашей строительной площадке, руководя работой по прокладке рельс для наших вагонеток, на которых мы собирались перевозить землю. Он был поражён обилием и разнообразием требований, которые предъявляла эта работа, равно как и парижанин Ги Бартелеми, который в течение пяти месяцев помогал мне строить деревню для прокажённых».

Сам Швейцер помогал всем своим энтузиазмом и ободрением.

Особое положение занимала в жизни Швейцера и его больницы Эмми Мартин (1882–1971). Родилась она в Эльзасе в семье садовода. Получила музыкальное образование в Страсбурге и в Берлине. Певица. Вышла замуж за эльзасского проповедника, с которым Швейцер был дружен. Рано овдовела, оставшись с восьмилетним сыном. После окончания Первой мировой войны вернулась к прерванной замужеством музыкальной деятельности.

Весной 1919 года знакомится со Швейцером, просит его давать ей уроки игры на рояле. Тяготеет к музыке Баха. Между ней и семейством Швейцеров возникает сердечная дружба, Швейцер называет певицу «звонкий баховский соловей». Выступает со Швейцером на концертах. Увлекается идеями Швейцера и загорается энтузиазмом помочь ему в его благородной деятельности в Африке, предлагает ему свою помощь и сотрудничество. Начинает выполнять у Швейцера роль импресарио: составляет маршруты и организует гастрольные

поездки по сёлам и городкам Эльзаса. С 1920 года живёт на мельнице в баденской деревне Корк. В доме её собираются музыканты из всей Европы. Начиная с 1922 года частым её гостем и участником дающихся там концертов становится Швейцер. Много раз в своих письмах вспоминал он потом «Мельницу в Корке», где он был окружён заботой Эмми Мартин и её двух сестёр и где в трудные для него годы ему были созданы исключительно благоприятные условия для работы. Именно там он закончил свои «Воспоминания о детстве и юности».

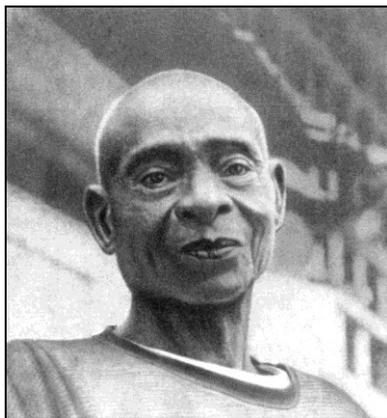
В дальнейшем Эмми Мартин оставляет музыку и становится ближайшей помощницей Швейцера. Она сопровождает его, теперь уже в поездках по всей Европе. Благодаря её усилиям труд Швейцера «Культура и этика» был издан в 1923 году. Она принимает на себя большую долю забот о больнице в Ламбарене. Поселившись в доме гостей Швейцера в Гюнсбахе, она ведёт обширную переписку со всеми странами, вместе с Элен Швейцер совершает необходимые закупки, привлекает новых сотрудников и средства. При этом она много раз ездит в Ламбарене.

Предпринятое нами перечисление помощников Швейцера, вынужденно неполное, не может обойтись без упоминания о Мореле. Миссионер Леон Морель (1883–1976) был именно тем предшественником Швейцера, в курятнике которого Швейцер в 1913 году «оборудовал» своё первое больничное помещение. А познакомились они в Страсбурге, куда Морель вернулся в 1911 году после своего первого, трёхлетнего, пребывания в Африке. Жена Мореля Жоржетта проходила в то время в городской больнице Страсбурга медицинскую практику, а Швейцер заканчивал обучение медицине и работал ассистентом в больнице. Встреча с Морелями окончательно утвердила Швейцера в его решении ехать в качестве врача на миссионерский пункт в Ламбарене. Морели вернулись в Африку на другой миссионерский пункт, находившийся также на реке Огове – в Самкиту. Швейцеры после приезда в Ламбарене часто встречались с ними, перенимали от них ценнейший опыт жизни и работы между водой и девственным лесом. Они дружили. Морель, будучи большим мастером на все руки, много помогал другу своим трудом. Швейцер оказывал Морелям медицинскую помощь.

Любовь к людям проявлялась у Швейцера в его исключительном дружелюбии. Это приводило к тому, что многие из встречаемых им в жизни людей становились его друзьями. За ним по траектории его жизни как бы тянулся шлейф дружбы.

Были среди его друзей люди общемировой известности – Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганди, Джавахарлал Неру, Ромен

Роллан, Альберт Эйнштейн, Пабло Казальс. Их мысленная дружеская поддержка много значила. А были и другие, не проявившиеся ярко на арене мировой истории, никогда не приезжавшие в Ламбарене, но сыгравшие большую роль в жизненном подвиге Швейцера.



Жозеф Азовани – первый африканский помощник Швейцера

Глава 22

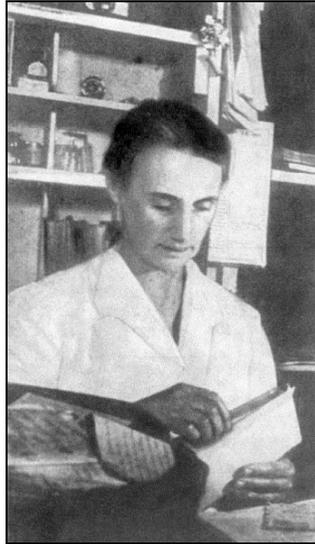
1965. Уход

Подошел 1965 год. Длинная свеча Швейцера, горевшая с двух концов – предельно напряжённого интеллектуально-духовного труда и труда физического, – догорала. Он считает себя молодым и после 90-летия и производит впечатление молодого на гостившего у него в это время американского врача Джозефа Монтегю: «У него не было и следа слабости и забывчивости, столь характерных для человека, которому перевалило за шестьдесят. Он энергично ходил, и если походка его не была больше по-молодому пружинистой, то в ней было всё-таки много силы» [5, с. 398].

Старость его настигнуть не смогла.

Но Швейцер предчувствовал близкий уход. В феврале он назначил главным врачом больницы проработавшего в ней пять лет хирурга и акушера швейцарца Вальтера Мунца, а 13 августа в письме в «Швейцеровскую ассоциацию» сообщил о желании видеть свою дочь административным руководителем его дела. Заранее он сам сделал себе крест и распорядился, чтобы его тело было погребено рядом с прахом Элен.

Достоверно, по свидетельствам многих очевидцев, последние недели жизни Альберта Швейцера описаны Б.М. Носиком [5, с. 399-401] и Х. Штефаном [3, с. 128-130].



Матильда Коттман – первый европейский помощник Швейцера, его многолетняя сотрудница

18 августа его в последний раз видели сидящим за письменным столом в кабинете. Через несколько дней он в последний раз играл на фортепьяно и сыграл свои оригинальные вариации, а потом хорал. 27 августа Швейцер написал письмо Монтегю:

«В своей будущей книге, описывающей мою работу и больницу, пожалуйста, выразите то глубокое братское уважение, которое я испытываю к медицинской профессии.

Мне кажется, что врачи всегда проявляли большой интерес к человечеству, чем многие другие люди.

Есть, однако, возможности для ещё большего служения гуманности и в сфере просвещения, и в народных делах. Придавая этому должное значение, мы, вероятно, сможем приблизиться к великой цели достижения мира во всём мире» [5, с. 400].

И в этот же день своё последнее письмо – благодарность германскому епископу за пожертвование больнице. 28 августа он позаботился о дочери, сказав ей, что она должна готовиться к неизбежному. Он попросил её известить младшего брата Поля и

всю семью в Страсбурге. После этого он уснул. В следующие три дня его возили на джипе по всей территории, принадлежавшей больнице; он выходил из машины и немного прогуливался. Приехав, он лёг. 1 сентября он встал с намерением написать письмо. Но не смог этого сделать и попросил книгу. Ему дали сборник «Встречи с Альбертом Швейцером», недавно ему присланный и частично уже им прочтённый. Он перелистывал страницы с отрешённым взглядом. Снова лёг в постель и заснул. Он заранее договорился с друзьями, чтобы вокруг не было суеты и чтобы его не пытались оживить. Б.М. Носик пишет, ссылаясь на очевидца – врача Дэвида Миллера, что, «всё ещё сохраняя сознание, но с каждой минутой теряя силы, Швейцер принимал посетителей, прощался с ними за руку» [5, с. 401].

В последние дни он лежал и с закрытыми глазами слушал музыку Баха и Бетховена. 3 сентября – четвёртую симфонию Бетховена, которая подействовала на него благотворно.



За месяц до ухода из жизни. С Эмми Мартин на берегу Огове

Возле него постоянно находилась его дочь и ближайшие сотрудники-друзья: Али Сильвер, Матильда Коттман, Эмми Мартин. За их спинами постоянно появлялись люди, пришедшие попрощаться с Доктором. Одна африканка пропела печальным голосом на своём языке: «Большой доктор, ты пришёл чтобы ухаживать за нами, чтобы лечить больных и поражённых проказой африканцев. Спасибо тебе и пусть твоё путешествие будет спокойным» [3, с. 130].

Рена послала пирогу на почту в Ламбарене – дать телеграмму родственникам в Европу: «Он умирает, это случится скоро и с неизбежностью. Он уходит спокойно, мирно и с достоинством».

В субботу 4 сентября к нему приехали попрощаться священники из католической миссии. Он продолжал слушать музыку, последним произведением было анданте из пятой симфонии Бетховена.

Ушёл он 4 сентября незадолго до полуночи, через 90 лет 7 месяцев и 21 день после прихода в земной мир.

Доктор Миллер в бюллетене о смерти 5 сентября 1965 года написал: «Всё это время он не испытывал страданий, и, когда в 11 часов вечера наступил конец, он умер спокойно, мирно и с достоинством в своей постели среди джунглей Ламбарене, в больнице, которую он строил и любил» [5, с. 401].

Африканцы оплакивали уход Великого Белого Доктора своими ритуалами – горели костры, стучали тамтамы. Слышались слова: «Он нам отец». Простимся и мы с этим Человеком, не стесняясь слёз, выступающих на глазах.

Некрологи в газетах всего мира часто напоминали объявления людей, потерявших близкого родного человека. Вот отрывок из цейлонской газеты «Трибьюн»: «Найдётся ли ещё на Западе человек, который стал бы зарабатывать органными концертами в Европе, чтобы оплатить работу в Африке?... Найдётся ли ещё человек, который в убогой больничке, от которой отворачивались многие западные идеалисты, приходя в ужас от всей этой грязи и запахов, от примитивности всего этого, найдётся ли человек, который заслужил бы здесь титул колдуна-врачевателя, к которому стекались бы тысячами туземцы, полные любви и обожания, и который бы сорок два года прослужил в стране, принявшей его?» [5, с. 403].

Президент Габона, который в это время не мог приехать на похороны, соблюдая народный обряд по недавно умершему отцу (он потом объяснил это вместе с извинением дочери Швейцера), прислал своего представителя (через два года ставшего президентом Габона) Альбера Бонго, который сказал:

«От имени президента Республики Габон, господина Леона Мба, от имени правительства, от имени всего Габона я с глубокой печалью склоняюсь перед прахом того, кто был и останется величайшим из приёмных сынов Габона, другом и благодетелем нашего народа. <...> Более полувека назад он приехал в излучину нашей огромной реки Огове, на поляну, окружённую необъятным, непроходимым лесом. Там он построил

себе хижину из дерева и соломы, и так же, как некогда страждущие и несчастные шли к Христу, живущее по берегам озёр чёрное население шло к нему со своими страданиями – телесными и душевными. Собственными руками, с помощью самоотверженной жены, возле которой он будет теперь покоиться вечно, он долгие годы строил больничный городок, куда со всех концов Габона прибывали больные, уверенные, что найдут здесь заботливый уход и попадут в привычную для них обстановку.

<...>

И наша габонская земля примет бrenную оболочку этого человека, Великого Доктора, как мы его здесь зовём, как драгоценный дар, как неиссякаемый источник добра и духовного богатства.

И его высокая душа нас не покинет.

Дружественная и благодная, она воспарит над верхушками деревьев, среди лёгких облаков, которые реют по утрам над Огове, пробуждая в нас благие чувства и воодушевляя нас на благие дела.

Нет, Великий Доктор, Вы не покинули нас, Вы нас никогда не покинете!» [6, с.301-302].

Как-то, в год своего 80-летия, Альберт Швейцер, будучи у себя на родине в Гюнсбахе, сказал, глядя в небо на стаю птиц, что однажды ласточки, улетающие в теплые края, не встретят его там, потому что «я отправлюсь в большое путешествие за пределы этого мира» [3, с. 122].

Его большое путешествие началось...

Эпилог жизнеописания

Альберт Швейцер в своей жизни лечил и просвещал больных; исполнял высокую музыку и ремонтировал-восстанавливал старые добротные, ручной работы, органы; писал философские труды, музыковедческие и теологические работы, статьи, письма, дневники и литературные произведения; читал проповеди, лекции и произносил публичные речи, исполненные глубокого смысла; заботился об уменьшении страданий, выпадающих на долю животных и растений, лечил и их; проектировал и строил дома – специальные больничные бараки, хижины; вводил в культуру прежде не произраставшие в тропиках фрукты и овощи, ухаживал за больничным садом и огородом; трудился как снабженец и хозяйственник, обеспечивающий стройку стройматериалами, больницу медикаментами, оборудованием и продуктами питания; нёс бремя отца большого

больничного семейства, взяв на себя ответственность за всю его жизнь.

Если считать себя вправе поставить вопрос – что же было главным наполнением жизни этого Человека, то ответ возникает как бы сам собой. Главным была Помощь, Самоотверженная Помощь, Самоотверженная Помощь африканцам, человечеству и всему Миру.

Альберт Швейцер был Гигантом Помощи. Он был выдающимся Помощником самых святых Спасителей человечества, был верен Иисусу Христу, верен предельно.

Он говорил, что человеку «предстоит в рамках сверхорганизованного общества, которое тысячью способов подчиняет его своей власти, вновь стать независимой личностью и оказать обратное воздействие на само общество. С помощью всех своих институтов общество будет прилагать усилия к тому, чтобы по-прежнему держать человека в выгодном для себя состоянии безличности. Оно боится человеческой личности, ибо в ней обретают голос дух и правда, которым оно предпочло бы никогда не давать слова» [2, с. 69-70].

Швейцер трудился всю жизнь, не будучи связанным какой-либо организацией и какой-либо государственной машиной. Он был истинно религиозным человеком по образу своих мыслей и поведению. Он жил в полном согласии и соответствии с основами всех подлинных Высоких Учений. Своим самоотверженным трудом он находился в постоянной молитве Высшему. А в человечестве он нёс свою большую долю в эстафете гуманизма. Во многом он продолжал в этом линию Л.Н. Толстого. Это и отметил в очерёдности своего списка выдающихся гуманистов А.А. Гусейнов. Тему развил исследователь наследия Швейцера В.А. Петрицкий в статье «Эстафета гуманизма (Лев Толстой и Альберт Швейцер): «Важнейшим во взаимоотношениях людей Толстой считал принцип взаимной помощи, взаимного служения». И далее он процитировал мысль Швейцера: «Человек принадлежит человеку. Человек имеет право на человека... Этика благоговения перед жизнью требует от нас в чём-нибудь быть для людей человеком» [11, с. 205-206].

Альберт Швейцер всей своей жизнью выполнял завет, выраженный в древней мудрости Востока, сверхактуальной и сегодня. Эта мудрость, этот Завет призывает людей к помощи друг другу, призывает настойчиво. Этим заветом пропитано всё Евангелие, как его канонические, так и неканонические тексты. Пришедший на Востоке Великий Учитель человечества Иисус Христос показал высочайший пример служения людям, помощи

им во всём, помощи в самом главном, в спасении их духовной жизни.

Если ты хочешь помочь –
Слов не затрачивай зря,
Ровным лучом обернись
В тёмную ночь;
Всеми огнями зажгись,
Сердцем как солнце горя –
Если ты хочешь помочь!⁷

Альберт Швейцер глубоко чувствовал единство человечества, единство всей жизни на Земле. Он был мыслящим здоровым органом единого человечества. И, не отделяя себя от Целого, вкладывал все свои силы в его исцеление. Он был из того Времени, в котором люди будут жить как любящие братья и сестры, и старался его приблизить. Он жил радостью единения в духе с Христом. Он жил высшими радостями творчества. Ему были присущи три радости людей высочайшего духовного развития: счастье помощи в самых невыносимо тяжелых условиях, счастье безличного даяния всей Жизни на планете и счастье бесконечного познания Истины силой своей независимой мысли и этического чувства [10, с. 369].

И он сказал слова, которые воспринимаются как его завет нам: «Быть простым и добрым, работать самому и думать самому» [5, с. 332].

В православной и католической церквях существует практика причисления выдающихся подвижников к лику Святых.

...Нет института Святых у протестантов...

Подражание Иисусу Христу

Книгу по истории поисков исторического Иисуса Швейцер заключил словами, высоко торжественно звучащими у Александра Меня в очерке «Два интерпретатора евангельской истории»:

«Он приходит к нам Неведомый, как пришел Он некогда на берег озера к людям, не знавшим Его. Он говорит нам «Следуй за Мной!» и ставит перед нами задачи, соответствующие нашему времени. Он зовёт. И тем, кто повинуется Ему, – мудрым и простецам – Он открывает Себя в труде, в борьбе и страданиях,

⁷ Наталия Спирина. Капли. Сборник стихов. – Изд. 4-е, доп. – Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество, 1999. – 368 с.

через которые ведёт Своих учеников; и на собственном опыте, как невыразимую тайну, они постигнут – кто Он».

Альберт Швейцер подражал Христу всей своей жизнью. Он прожил её на Великом Служении людям.

Мир увидел, как может быть силён человеческий человек.

Этот путь открыт для всех.

Швейцер мог бы сказать нам: «Подражайте мне, как я подражал Христу».

Подражание Христу выводит любого человека к истинной, единой для всех религиозности, независимо от его прилежания к той или иной церкви, религии, конфессии, и даже вовсе атеиста.

Подвижниками и им подражающими Земля стучится в лучшее будущее.

Врач Альберт Швейцер предложил больному миру проверенный на себе рецепт. Он прожил в постоянных трудах, обитая духом на Эвересте Любви. Во всеобъемлющей любви к жизни Он совершил свой великий подвиг.

Послесловие: внимание к Альберту Швейцеру

Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения.

Альберт Эйнштейн

Великие подвижники всегда привлекали внимание людей. Подвижники – звёзды на небосклоне истории. Знание их жизней-житий действует благотворно и вдохновляет. Особенно важно оно в современный, очень и очень нелёгкий период в истории человечества. Напоминание о действенном добре останавливает поток зла.

Давно начавшаяся борьба Добра и зла продолжается⁸. Она проходит через человеческие души. Участвует в ней каждый землянин, осознанно, а чаще совсем неосознанно. Многие явления в природе и, особенно, в человеческом сообществе дают основания предполагать, что она близка к завершению. Порождённые человечеством экологические проблемы угрожают всей жизни на Земле. Значение того, что делает каждый человек,

⁸ В кумранских свитках, написанных до нашей эры, есть древняя рукопись общины ессеев «Борьба Сил Света с Силами тьмы» (хранится в государственном Музее Израиля).

возросло необычайно. Он волен, или даже обязан по своему человеческому достоинству, свободно мыслить, свободно выбирать свои действия, определяя тем самым свою судьбу и влияя на судьбу планеты.

Подвижники оздоравливают Землю и вдохновляют людей на правильный выбор.

Большое благотворное влияние Альберта Швейцера на человечество и Землю представляется несомненным. Его невозможно «пощупать», измерить. И не нужно. Важно, что оно есть, и в наших силах его увеличивать привлечением внимания к этому Человеку, развитием его мыслей и дел, подражая ему, насколько это в наших силах.

Наследие Швейцера открыто для всех, но ещё не может быть принято многими. «Дайте этическому духу время...».

Лучшие из семьи человечества, чей этический дух уже бодрствует, сознательно или не отдавая себе в том отчёта, живут приближаясь к идеалу Швейцера.

Говорит выдающийся современный музыкант-виолончелист и общественный деятель, посол доброй воли ООН⁹ Йо Йо Ма: «В 1991 г. Марк Вольф из Бостона пригласил меня принять участие в междисциплинарном симпозиуме, посвящённом Альберту Швейцера, музыканту, теологу, и врачу, который также был выдающимся исследователем творчества И.С. Баха. Швейцер относит Баха к музыкальным художникам или музыкантам изобразительного таланта. Его трактовка музыкальной изобразительности у Баха дала мне мужество начать необычный проект, связанный с баховскими сюитами, проект «Вдохновлённые Бахом». Этот проект, в котором под воздействием баховской музыки рождается танец, фильм и садово-парковый дизайн, стал одним из самых воодушевляющих событий в моей жизни.

Швейцеровский симпозиум, прошедший под патронажем Общества друзей Швейцера в 1991 г. в Бостоне, продолжает оказывать воздействие на мою жизнь. Во время концерта Лонгвудского симфонического оркестра было зарезервировано несколько мест для бездомных людей и для обитателей приютов.

⁹ Посол доброй воли ООН – высший почётный титул, установленный организацией ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). Присваивается людям, имеющим выдающиеся достижения перед человечеством в сфере культуры, улучшения взаимопонимания между людьми, народами и странами.

Хотя зал был практически полон, эти места сохранились свободными. Это оставило осадок у меня в душе, и во время различных гастролей я старался посещать приюты, и играл в них для детей. Приятно было встретить в них множество людей, остающихся идеалистами и обладающих чувством гражданского долга. Я увидел в них то же благоговение перед жизнью и стремление воплотить его в ежедневной жизни»[16].

Забвение Швейцера, как и других великих подвижников, означало бы симптом деградации общества. К счастью, этого не происходит. Мир помнит Альберта Швейцера, пусть небольшой частью клеток своего организма, но помнит. Память о нём работает на воспитание человечества.

Интересно, и полезно, и возможно, во всяком случае отчасти, проследить интерес к Швейцеру после его ухода с земной арены.

В Европе ещё до Второй мировой войны были изданы десятки его биографий. В СССР внимание к Швейцеру долго держалось, а точнее удерживалось, ниже, чем во многих других странах, и только после преобразований М.С. Горбачева, принесшего стране бесценный дар – свободу от рабства тоталитаризма, начало отчётливо проявляться.

Но ещё до этого была книга Б.М. Носика, изданная в серии «Жизнь Замечательных Людей» (ЖЗЛ). Она увидела свет спустя шесть лет после ухода Швейцера, вышла сравнительно большим тиражом (65 000 экземпляров) и сделала тогда имя Швейцера известным в нашей стране. И сейчас эту биографию можно найти во многих библиотеках. Тираж немаленький, но в те годы и немного позже книги серии ЖЗЛ выпускались стандартно тиражами в два с половиной раза большими.

До неё, в 1967 году, были книга Геральда Геттинга [20] и содержательный сборник «Альберт Швейцер – великий гуманист XX века» (1970, тираж 12 000). Но эти издания не были столь замечены читателями. Следующей публикацией была «Культура и этика» - основной философский труд Швейцера. Он увидел свет в 1973 году, вероятно, благодаря усилиям В.А. Карпушина, написавшего содержательное предисловие. На книге стоял гриф «Для научных библиотек» (почти «Для служебного пользования!»); тираж издания не указан, вряд ли он был большим. У нас в новосибирском Академгородке появление этой книги в книжном магазине было тихой сенсацией. Через пять лет в Ленинградском отделении издательства «Наука» в серии Академии наук СССР «Литературные памятники» тиражом 50 000 экземпляров была издана книга под названием «Письма из

Ламбарене», включающая кроме «Писем» ещё один труд Швейцера – «Между водой и девственным лесом». Издание было подготовлено Д.А.Ольдерогге, В.А.Петрицким и А.М.Шадриним. В 1982 году, по-видимому, по инициативе В.А.Петрицкого, Главная редакция восточной литературы издательства «Наука» опубликовала книгу Пауля Герберта Фрайера – «Альберт Швейцер, картина жизни» (тираж 40 тыс. экземпляров). После этого для объёмных изданий русской «Швейцерианы» наступила пауза в 10 лет.

Только в 1992 году, благодаря А.А. Гусейнову, читателю был предложен первый сборник избранных работ Альберта Швейцера «Благоговение перед жизнью» [2]. По-академически обстоятельное издание, снабженное предметным и именным указателем, библиографией трудов Швейцера и работ о нём с большой интересной статьёй составителя («Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера») вышла тиражом в 25 тыс. экземпляров.

В 1996 году опубликован (5 тыс. экз.) сборник работ Швейцера [26] со статьёй его составителя А.Чернявского («Философия и теология Альберта Швейцера»).

Две замечательных биографии Швейцера были изданы в 2003 году: Харальда Штефана – «Альберт Швейцер, свидетельствующий о себе» (1 тыс. экз.) и Бориса Носика – «Альберт Швейцер. Белый Доктор из джунглей» (2-е перераб. издание, тираж 3 тыс. экз.).

В 2002 году тиражом 3 тыс. вышел ранее у нас не издававшийся труд Швейцера «Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика». В 2005 – «Четыре речи о Гёте» [25]. Существует ещё несколько диссертаций и обстоятельных статей, посвященных Швейцеру и его наследию. А всего публикаций о нём на русском языке на конец XX века около пятидесяти.

Но все они, вместе взятые, в нашей великой читающей (или читавшей?) стране проигрывают огромному литературному потоку работ о Швейцере и его собственных трудов, изданных в других странах при его жизни и после. Достаточно сказать, что в Японии ещё в 1956 году увидело свет собрание сочинений Швейцера в 19 томах.

Влияние А. Швейцера на современную жизнь проявляется не только в сфере литературы и журналистики, привлекающих внимание людей к его жизни и творчеству. Оно заметно в разных областях общественной жизни. Современное чудо света, и одновременно большой хронофаг (пожиратель времени), –

Интернет позволяет получить об этом определённое представление.

Начнём с влияния на медицинский мир, с продолжения медицинской линии Швейцера. Медицина заняла календарно две трети жизни Альберта Швейцера: 42 года непосредственной работы в Африке, ещё 7 лет подготовки к этому труду и ещё 12 лет его отсутствия в Африке, полного дум и забот о ней. Даже когда Швейцер был интернирован или выезжал для чтения лекций, он неизменно жил и трудился для существования больницы.

Медицинская линия Швейцера сегодня продолжается. Узнаём об этом из опубликованной в 2002 году статьи ректора Государственной медицинской академии Нижнего Новгорода В. В. Шкарина [21]. Вот что он сообщает. Ламбаренская больница Швейцера продолжает действовать. Рядом с ней «выстроен великолепный современный медицинский комплекс, куда обращаются до 50 тысяч человек в год, где работают и делают сложные операции дети и внуки тех, кого в свое время выходил и вернул к жизни А.Швейцер».

По предложению президента Польской медицинской академии Казимижа Имелинского, поддержанному учеными из 42 стран, в Варшаве в 1998 году основана Всемирная медицинская академия имени Альберта Швейцера. В неё избраны известные своими благородными трудами учёные медики, психологи, теологи, правоведаы, медики-педагоги, антропологи. На начало 2002 года в Академии состояло «более 250 известных профессоров из 66 стран, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии». Из России – Е.И.Чазов и В.В.Шкарин. Первым президентом Академии стал К.Имелинский. Почётным президентом Академии была единогласно избрана дочь А.Швейцера госпожа Рена Швейцер-Миллер, живущая ныне в США. Она является также Почётным президентом Гуманитарного института имени Альберта Швейцера в Уоллигфорде (США).

Уставные цели Академии:

- деятельность, направленная на гуманизацию научного и технического прогресса в медицине;
- сотрудничество и интеграция медицинской науки с другими науками;
- изучение духовного наследия А.Швейцера и воплощение его в жизнь;
- воплощение этических принципов и идей А.Швейцера в работе врачей.

Академия поощряет медиков-студентов и молодых специалистов в их исследованиях жизни и творчества А.Швейцера.

Академия присваивает научные звания и титулы за выдающиеся достижения в медицине и реализацию идей гуманизма. Среди наград: Золотая медаль А. Швейцера, Большая золотая медаль А. Швейцера, Золотая звезда А. Швейцера. Золотые медали уже получили несколько ректоров высших учебных заведений России и Украины.

В конце статьи В.В. Шкарин пишет: «Академия призвана противостоять растущему влиянию идеологии денег и потребительства...», – и говорит, что А. Швейцером нам завещаны «идеи планетарного гуманизма».

Однако главным медицинским наследием А.Швейцера является его личный пример – фигура врача-гуманиста, глубоко сострадающего своим пациентам, отдающего всё, что только можно отдать, сохранению их жизней, утешению их болей и, кроме этого, думающего об их духовном развитии. Как было бы благотворно для государств, если бы такой идеал сделался притягательным для множества врачей. Неуклонное воплощение врачом золотого принципа медицинской этики – “Non posse” («Не навреди») составляет только часть высокого идеала. Элементарная экономическая обеспеченность, которую государство может, и просто обязано, создать врачам и всем медицинским работникам, очень бы помогла множеству специалистов в приближении к идеалу медика-гуманиста.

Этот оставленный Швейцером образ идеального врача чрезвычайно важен для нас, людей, в какой бы стране мы ни находились.

Швейцер породил последователей, которые по его примеру строили больницы в разных странах. Сайт Общества друзей Альберта Швейцера (центр в Бостоне, США) даёт возможность назвать некоторых из них.

В 1956 году врач Лаример Меллон вместе со своей женой Гвен основали госпиталь, аналогичный швейцеровскому на Гаити. Интересно, что Меллона привела к этой идее статья в журнале, повествовавшая о работе Швейцера в Габоне. Эта статья побудила его, сына банкира из Техаса, получить медицинское образование, чтобы иметь возможность открыть больницу там, где в ней есть большая нужда. Он выбрал Гаити.

Английский Фонд друзей Швейцера с 1995 года поддерживает проект госпиталя для лечения проказы в двухстах километрах южнее Нагпура в Индии. Там работает инициатор проекта врач Баба Амте с двумя своими сыновьями – врачами и их жёнами, тоже врачами.

Американское общество друзей Альберта Швейцера, начиная с 1979 года, ежегодно посылает в больницу Швейцера в Ламбарене четырёх студентов-медиков последнего курса. Студенты проходят там клиническую практику в качестве младших врачей в течение трёх месяцев.

Продолжению практического гуманизма Швейцера служат немало организаций. Все их отметить невозможно, перечислим хотя бы несколько. Центр по исследованию духовного наследия Швейцера и применения его идей для медицинской практики в Киргизии; Клиника Альберта Швейцера на лечебно-климатическом курорте Кёнигсфельд (в центре Шварцвальда в Германии); Международный университет имени Альберта Швейцера; Институт Альберта Швейцера в США (г.Хэмден, штат Коннектикут); Австрийское товарищество имени Альберта Швейцера; Центры Альберта Швейцера во многих университетах мира; Нижегородский Институт развития образования, проводящий Швейцеровские Чтения на чрезвычайно важную тему «Современные подходы к экологическому и духовному развитию детей»; Центр защиты животных «Вита»; Центр Альберта Швейцера в Кунгуре (Урал); Центр в Азербайджане.

Многие больницы, особенно в бедных странах, носят имя Альберта Швейцера.

Приложения

Об Альберте Швейцере

Чрезвычайно важно шире освещать жизнь людей, посвятивших свою жизнь общему благу. Альберт Швейцер большую часть своей деятельной жизни работал на улучшение состояние здоровья и условий жизни населения Африки. В довершение к этому, его философские взгляды, отражающие благоговение перед жизнью, и организованная им кампания против ядерного оружия по сей день остаются источником вдохновения для других [16].

*Его Святейшество Тэнзин Гьятсо, Далай Лама XIV,
лауреат Нобелевской премии мира за 1989 год*

Я, пожалуй, не встречал никого, в ком так же идеально переплетались бы доброта и стремление к прекрасному, как у Альберта Швейцера <...> Он любит истинную красоту не только в искусстве, но и в науке, не признавая, в то же время внешней красоты.

Здоровый инстинкт позволяет ему сохранять непосредственность и стойкость вопреки всем превратностям судьбы. Он избегает всего бездушного и холодного. Это отчетливо

чувствуется в его классическом труде об Иоганне Себастьяне Бахе, где он разоблачает недостаточную чистоту исполнения и манерность музыкантов-ремесленников, искажавших смысл произведений его любимого мастера и мешавших восприятию музыки Баха.<...>

Он не проповедовал, не убеждал, не стремился стать образцом и утешением для многих. Он действовал лишь по внутреннему побуждению. В сущности, в большинстве людей заложено несокрушимое доброе начало, – иначе они никогда не признали бы его скромного величия [24].

Альберт Эйнштейн

От доктора Швейцера исходит уверенность, и там, где он, всегда царит атмосфера доверия и согласия. Он никогда не произносит пустых фраз. Его слова значимы. Их можно печатать. Его вежливость и похвала по адресу других идут от сердца; они – свидетельство доброты.

По-моему, источником неиссякаемой силы Швейцера служат:

- любовь и преданность делу, которые позволили ему в Ламбарене больше, чем где бы то ни было, развить свои многосторонние таланты;
- широта поля деятельности, которая дает ему возможность отдыхать, переходя от одной работы к другой;
- спокойствие и хладнокровие, дополняемые юмором, позволяющие ему одновременно самоусовершенствоваться и закаляться в трудностях;
- непоколебимая уверенность действовать так, а не иначе, сознание своей правоты, делающее его свободным и глубоко счастливым;
- признание людьми его принципа благоговения перед жизнью.

Швейцер участвует в судьбе своих современников непосредственно. Не слава и не честолюбие постоянно толкают его писать и советовать (даже незнакомым), а потребность помогать и помогать. Для доктора Альберта Швейцера день, наполненный трудом, не угнетающая тяжесть, а стимул к развитию духовных и физических сил.

Перед встречей со Швейцером я предполагал, что увижу человека, который в интересах своей философской и научной деятельности считает себя свободным, помимо врачебной практики, от всяких второстепенных и кажущихся незначительными мелких работ, легко выполнимых каждым. Как же я был удивлен, когда обнаружил, что замешиванию цемента,

сбору камней для фундамента дома, ремонту лодки, перевозке медикаментов, уходу за фруктовыми деревьями и многому другому, требующему длительного пребывания под жарким солнцем, Швейцер придает такое же значение, как и работе над своими рукописями [11, с.40].

Геральд Геттинг, политик

Альберт Швейцер говорил нам, что всегда можно столкнуться с огромными проблемами, но наша способность их преодоления станет от этого ещё больше. Думаю, что это очень поддерживало нас в то время, когда казалось, что все возможности исчерпаны; когда приходило время полной беспросветности. Швейцер убеждал нас в необходимости продолжения работы. Мы должны понять силу индивидуума в этом мире, меру его власти; мы можем воздействовать на всю нацию, из того места, на котором мы сейчас находимся. <...> Мы должны подумать о моральном влиянии Швейцера на современный мир: в чём проявляется его влияние на нас? Мне кажется, что самое сильное его воздействие заключается в способности выявить в нас лучшее и в соответствии с этим побудить нас к действию. Нас напитывает и воодушевляет его пример. Мы осознаем, что его вклад в дело сохранения мира заключается не столько в развитии нашего понимания принципов мира, сколько в формировании чувства ответственности за наши действия. Когда я вспоминаю его работу в Ламбарене, то думаю прежде всего о том, какой непомерный объём работы он выполнял ежедневно. Часто он работал сутками напролет. Мне особенно вспоминается то, с каким юмором он воспринимал все эти обстоятельства, и множество занимательных историй, которые он любил рассказывать тем, кто работал с ним рядом. Он заставлял нас никогда не терять чувство юмора, который он рассматривал как средство примирения с жизнью. И ещё он учил нас никогда не терять чувство уверенности в себе [16].

Норман Казинс, журналист и писатель

Мы все страшно устали, но Доктор самый мужественный из нас. После долгого трудового дня он играет в своей комнате на пианино с органами педалями, и в тишине ночи, среди огромного леса мы наслаждаемся этими прекрасными концертами. Музыкальные часы служат для нас большим утешением и моральной поддержкой. Для меня они так много значили в эти годы разлуки с домом! [5, с. 317].

Эмма Хаускнехт, ближайшая сотрудница А. Швейцера

Всё, что он делал, – будь то литературный труд или медицинское обследование, исполнение органных произведений или строительство больничного барака, – отмечено непреклонной

волей достичь в каждом деле совершенства и методичной последовательностью усилий в соответствии с однажды продуманным планом. Подобно Франклину, Альберт Швейцер ни в чём не полагался на случай: предельная степень трезвости, которую он выработал в себе (он – мечтательный мальчик и порывистый юноша!) как бы уравнивает его пылкую натуру, нисколько не уменьшая, а, наоборот усиливая её притягательное воздействие на людей вокруг. И не приходится сомневаться, что именно это и объясняет его бесчисленные и неоспоримые достижения в столь различных сферах [6, с. 360].

Жак Фешотт

В чём значение Альберта Швейцера? Без сомнения, достижения его в области искусства, науки и религии интересны и ценны. Но еще более ценно и незаблемо то, чего он достиг силой своей личности и своей этической воли. Человечество богато людьми, которые сослужили ему великую службу в отдельных областях прогресса и специальных разделах человеческого знания. Но оно было и остаётся бедно великими беззаветными людьми, которые поднимают над землей путеводный свет, бедно людьми сильной этической воли.<...>

Я думаю, не преувеличу, если стану утверждать, что нынешний цивилизованный мир не может назвать никого, кто по многосторонности таланта, силе интеллекта и особенно нравственной энергии был бы равен Альберту Швейцеру [11, с. 14].

Оскар Краус, философ, автор первой биографии Швейцера

Альберт Швейцер – явление в культуре XX века уникальное, почти диковинное. Он был старомоден на манер древних мудрецов, не отделявших мыслей от поступков. Будучи одарённым мыслителем, он сторонился интеллектуального поиска как профессионального занятия. Обладая мощной витальной силой, он не удовлетворялся непосредственными радостями жизненного процесса. <...> Швейцер искал высшую философскую истину, но не для того только, чтобы просто явить её миру, а для того прежде всего, чтобы самому воплотить её в жизнь. Этой истиной явился принцип благоговения перед жизнью. <...>

Его называют гением человечности. Он стремился на опыте собственной жизни показать, как можно оставаться человечным в нашу бесчеловечную эпоху... [2, с. 522].

А.А.Гусейнов, философ, биограф Швейцера

Возвращение в рай чистого философствования отныне заказано. И у врат этого рая стоит уже не архангел с мечом, а мужчина с пышными усами [3, с. 107].

Х.Штефан, писатель, биограф Швейцера

Главным же достижением больницы Швейцера, с точки зрения мировой медицины, были, наверное, даже не успехи его хирургической практики, не ранние успехи в лечении сонной болезни, не деревня прокажённых, а образ врача. Врача, сохраняющего в век массовой, механизированной и сверхорганизованной медицины человечный, гуманистический, не притуплённый привычкой к чужим страданиям подход к больному. Как и сорок лет назад, после изнурительного дня в душных джунглях, после своих врачебных, хозяйственных, строительных и писательских трудов, доктор Швейцер обходит перед сном тяжело больных, с беспокойством вполголоса советуется за обедом с кем-нибудь из лечащих врачей, по-прежнему волнуется, вкладывая всю силу своего сострадания в избранный им труд. <...> Швейцер и в девяносто лет оставался для врачей всего мира образцом сострадания, «вникновения», любви к людям, символом этого благороднейшего рода служения людям – медицины, её философом, её идеологом (хотя и не написал ничего по теории медицины). Недаром отзвуки его философии зазвучали в послевоенной международной клятве врача. [5, с. 338].

Б.М.Носик, писатель, биограф Швейцера

Множество раз я и другие врачи консультировались у него, и его суждения всегда оказывались правильными. Надо помнить, что большинство своих операций доктор Швейцер проделал во время Второй мировой войны (ему было тогда 65-70 лет), и его дотошные отчёты об операциях можно найти в старых журналах... [5, с. 337].

Роберт Голдуин, американский хирург

Мы все сегодня подвержены самоуничтожению. Миллионы людей думают: «Мои действия ничего не значат». Но, вообразите, насколько изменится мир, если мы перестанем думать подобным образом – миллионы людей во всем мире будут осознавать, что каждое их действие в любой момент времени что-то меняет в этом мире. Альберт Швейцер воплотил идеал жизни индивидуума – каждая секунда его жизни была значимой [16].

Д-р Джейн Гудалл, основатель Института Гудалл, посол доброй воли ООН

Альберт Швейцер являлся одним из наиболее мощных и разносторонних мыслителей начала двадцатого века. Он не только изучал, но и оказывал влияние на философию, музыку, теологию и

медицину. Он также утвердился как наиболее авторитетный эксперт в области баховедения и органостроения. После всего этого он в благодарность за оказанные ему судьбой дары посвятил большую часть своей жизни уменьшению страданий населения Центральной Африки.

Несмотря на испытываемую им в Африке изолированность, которую невозможно представить себе в наш век коммуникаций, д-р Швейцер не отошел от мировых событий и продолжал выступать в защиту этических ценностей, охраны окружающей среды, против войн и ядерного оружия. Широка его личности распространялась не только на Африку, но и на весь остальной мир [16].

Джимми Картер, президент США в 1977-1981, лауреат Нобелевской премии мира за 2002 г.

Невозможно представить себе большего комплимента, чем быть основателем движения, воплощающего собой идеи Швейцера. Тем не менее, движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» является прямым продолжением постоянной борьбы доктора Швейцера с этой непрерывной угрозой всему живому на Земле [16].

Д-р Бернард Лоун, сопresident и один из основателей движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны»

Нас вдохновляют примеры моральных личностей. Далее это воодушевление побуждает многих из нас к действию. Посмотрите, как мир тянется к Матери Терезе, Нельсону Мандела или Альберту Швейцеру. Кто-то в мире страждет добра и распознаёт его при встрече – и получает огромный импульс к добру. Что-то в нас стремится к добру и истине, и когда мы видим его отблеск в людях, то приветствуем это. Мы сильно стремимся быть похожими на них. Через их сердца мы ощущаем боль мира и находим сострадание. Иногда, когда всё вокруг становится плохим или просто ужасным, их воздействие на нас оставляет нам возможность сочувствия к жизни, которое ощущается всеми нами [16].

Десмонд Туту, Лауреат Нобелевской премии мира за 1984 год

С кончиной Альберта Швейцера исчезла одна из самых ярких звёзд на нашем небосводе. Его долгий и богатый трудами жизненный путь учёного и подвижника во имя человечности стал героической поэмой XX столетия [6, с. 338].

Мартин Лютер Кинг, общественный деятель

Что за колосс был этот человек! Поистине, совесть Земли.

Пабло Казальс, композитор, виолончелист.

Из мыслей Альберта Швейцера

О себе, этике и этике благоговения перед жизнью

Я как раз не теолог, я предан философии, «думанию». Это божественная и одновременно страшная болезнь, как на то намекал ещё Сократ – человек, которого после Иисуса я ставлю превыше всех.

1908 год, из письма [3, с. 64].

Два переживания омрачают мою жизнь. Первое состоит в понимании того, что мир предстаёт необъяснимо таинственным и полным страдания; второе – в том, что я родился в период духовного упадка человечества. С обоими помогла мне справиться мысль, приведшая меня посредством этического миро- и жизнеутверждения к благоговению перед жизнью. В нём нашла моя жизнь точку опоры и направление.

На том я стою, и так я действую в мире, руководствуясь стремлением сделать человечество посредством мысли духовнее и лучше [2, с. 23].

Я потрясён тем, что на мою долю выпало столь высокое призвание; осознание этого позволяет мне идти своим путём, оставаясь внутренне непобеждённым. Спокойная, величественная музыка наполняет мою душу. Мне дано пережить, как этика благоговения перед жизнью начала прокладывать себе дорогу в мире. Это позволяет мне быть выше всего, что могут мне поставить в упрек или причинить [3, с. 9].

Стоит человеку задуматься над загадочностью своей жизни и над теми отношениями, которые существуют между ним и другими заполняющими мир жизнями, и он почувствует благоговение перед своей собственной жизнью и перед любой другой жизнью, которая с ней соприкасается. <...> Его бытие станет тогда во всех отношениях труднее, чем если бы он жил только для себя, но вместе с тем и богаче, полнее и счастливее. Вместо жизни, влекомой общим течением, он теперь углубляется в действительное проживание жизни [2, с. 29].

Я не вправе отказать во внимании ни одному человеку, который верит, что я способен помочь ему, пусть хотя бы автографом. Быть может, когда-нибудь в тяжёлую минуту этот автограф поднимет ему настроение [3, с. 12].

Я проживаю свою жизнь в Боге, в таинственной этической божественной личности, которую я не могу познать в мире, а лишь переживаю в самом себе как некую таинственную волю.

Итак, беспредпосылочное рациональное мышление упирается в мистику. Отношение к многообразным проявлениям воли к жизни – это этическая мистика. Любое глубокое

мировоззрение – мистика. Ведь существо мистики в том, что из моего непосредственного, наивного бытия в мире благодаря размышлению над сущностью «Я» и мироздания вырастает духовная преданность таинственной бесконечной воле, проявляющейся в универсуме (мире). <...> Ещё в юности я осознал, что любое мышление, не останавливающееся на полпути, приходит к мистике [2, с. 88].

Глубокое мировоззрение мистично в той мере, в какой оно ставит человека в духовное отношение к бесконечному. Мировоззрение благоговения перед жизнью является этической мистикой. Оно позволяет осуществить единение с бесконечным посредством этического действия. Эта этическая мистика возникает в рамках логического мышления. <...>. Рациональное мышление, погружаясь в глубину, с необходимостью оканчивает иррациональной мистикой. Оно имеет дело с жизнью и миром, а они оба – иррациональные величины. <...>

Так, мировоззрение благоговения перед жизнью имеет религиозный характер. Человек, исповедующий и практикующий его, является элементарно верующим [2, с. 31].

Этика благоговения перед жизнью – это универсальная этика любви. Это осознанная во всей своей логической необходимости этика Иисуса [2, с. 29].

Этика благоговения перед жизнью позволяет нам достичь духовного отношения к универсуму (миру). Самоуглубление, переживаемое нами при этом, даёт нам и волю и способность создать духовную этическую культуру, благодаря которой мы в большей степени, чем прежде, укореняемся и действуем в мире. Этика благоговения перед жизнью делает нас другими людьми [9, с. 338].

Предшествующая этика была неполной, поскольку она верила в то, что может ограничиться лишь отношением человека к человеку. В действительности же речь идёт о том, как человек относится ко всем жизням, к жизням, вовлечённым в сферу его существования. Человек этичен только тогда, когда для него священна жизнь как таковая, и человеческая, и всех созданий.

Только этика, ощущая бесконечную ответственность перед всем, что живёт, может быть обоснована мышлением. Этика отношения человека к человеку не замыкается в себе, она должна быть выведена из чего-то более общего. Благоговение перед жизнью, к которому мы, люди, должны стремиться, заключает в себе всё: любовь, преданность, сострадание, сорядость, соучастие. Мы должны освободить себя от бездумного существования. <...>

Благоговение перед жизнью, возникающее в мыслящей воле к жизни, содержит в себе во взаимопроникновении и этику, и жизнеутверждение, исходит из осуществления прогресса и созидания ценностей, которые служат материальному, духовному и этическому возвышению человека и человечества [9, с. 338].

Гуманным отношением ко всем живым тварям мы проявляем своё духовное отношение ко Вселенной [5, с. 331].

Благоговение перед жизнью относится как к её природным, так и духовным проявлениям... Человек в притче Иисуса спасает не душу потерянной овцы, но саму её. Благоговение перед естественной жизнью неизбежно влечёт за собой также благоговение перед духовной жизнью [2, с. 29].

Борьбу против зла, заложенного в человеке, мы ведём не с помощью суда других, а с помощью собственного суда над собой. Борьба с самим собой и собственная правдивость – вот средства, которыми мы воздействуем на других. Мы их незаметно вовлекаем в борьбу за глубокое духовное самоутверждение, прорастающее из благоговения перед собственной жизнью. Сила не вызывает шума. Она просто действует. Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами [8, с. 312].

В этических конфликтах каждый человек решает за себя сам. Никто не вправе определять за него, где в каждом отдельном случае проходит та граница, за которой исчезает возможность сохранения и поддержания жизни [3, с. 14].

Истинная этика так же широка, как и Вселенная. Всё этическое связано с единственным основополагающим принципом: высшая цель есть сохранение и продолжение жизни. Сохранение собственной жизни с точки зрения высшей цели есть духовное самоусовершенствование, сохранение других жизней с точки зрения высшей цели есть действия, совершаемые под влиянием чувства взаимопомощи и любви, - вся этика в этом. И то, что мы называем любовью, является по своей сути благоговением перед жизнью. Все материальные и духовные ценности являются ценностями лишь постольку, поскольку они служат высшим целям сохранения и продолжения жизни [22, с. 248].

Чем пристальнее мы всматриваемся в природу, тем больше мы осознаём, что она наполнена жизнью, и тем яснее становится нам, что жизнь есть тайна и мы связаны со всем живым в природе.

Человек не может дольше жить только для себя. Мы должны осознать, что любая жизнь – ценность и мы все с ней связаны... [11, с. 113].

Особенно странным находят в этике благоговения перед жизнью то, что она не подчеркивает различия между высшей и низшей, более ценной и менее ценной жизнью. У неё есть свои основания поступать таким образом.

Попытка установить общезначимые ценностные различия между живыми существами восходит к стремлению судить о них в зависимости от того, кажутся ли они нам стоящими ближе к человеку или дальше, что, конечно, является субъективным критерием. Ибо кто из нас знает, какое значение имеет другое живое существо само по себе и в мировом целом?

Если последовательно проводить такое различие, то придётся признать, будто имеется лишённая всякой ценности жизнь, которой можно нанести вред и даже уничтожить её без всяких последствий. А потом к этой категории жизни можно будет причислить в зависимости от обстоятельств те или иные виды насекомых или примитивные народы.

Для истинно нравственного человека всякая жизнь священна, даже та, которая с нашей человеческой точки зрения кажется нижестоящей. Различие он проводит только от случая к случаю и в силу необходимости, когда жизнь ставит его в ситуацию выбора, какую жизнь он должен сохранить, а какой – пожертвовать. При этом он должен сознавать, что решение его субъективно и произвольно, и это обязывает его нести ответственность за пожертвованную жизнь. <...>

Я покупаю у туземцев птенца скопы, которого они поймали на прибрежной отмели, чтобы спасти его от жестоких рук, но теперь я должен решать, оставить ли его умирать с голоду или же убивать ежедневно множество рыбок, чтобы сохранить ему жизнь. Я решаюсь на последнее. Но каждый день я ощущаю тяжесть своей ответственности за принесение в жертву одной жизни ради другой.

Находясь вместе со всеми живыми существами под действием закона самораздвоения воли к жизни, человек всё чаще оказывается в положении, когда он может сохранить свою жизнь, как и жизнь вообще, только за счёт другой жизни. Если он руководствуется этикой благоговения перед жизнью, то он наносит вред жизни и уничтожает её лишь под давлением необходимости и никогда не делает этого бездумно. Но там, где он свободен выбирать, человек ищет положение, в котором он мог бы помочь жизни и отвести от неё угрозу страдания и уничтожения.

Но особую радость доставляет мне, с детства преданному движению защиты животных, то, что универсальная этика благоговения перед жизнью признаёт сострадание к животному –

многократно осмеянное как сентиментальность, – свойственное каждому мыслящему человеку. Все предшествующие этические учения останавливались перед проблемой отношения человека и животного, либо не понимая её, либо не видя возможности решения. Даже в тех случаях, когда они считали правильным сострадание к живым существам, они не знали, как реализовать его, потому что были ориентированы, собственно, лишь на отношение человека к человеку.

Придет ли наконец время, когда общественное мнение не будет больше терпеть массовых развлечений, состоящих в мучении животных? [2, с. 30].

Чтобы понять, есть ли душа у животных, надо самому иметь душу.

Сам я никогда не выжигая поле. Подумайте, сколько насекомых погибает в огне! [5, с. 375].

На вопрос о том, пессимист я или оптимист, я отвечаю, что мое познание пессимистично, а мои воля и надежда оптимистичны.

Я пессимистичен, глубоко переживая бессмысленность – по нашим понятиям – всего происходящего в мире. Лишь в редчайшие мгновения я поистине радуюсь своему бытию. Я не могу не сопереживать всему тому страданию, которое вижу вокруг себя, бедствиям не только людей, но и всех вообще живых созданий. Я никогда не пытался избежать этого сострадания. Мне всегда казалось само собой разумеющимся, что мы все вместе должны нести груз испытаний, предназначенных миру. Уже в гимназические годы мне было ясно, что меня не могут удовлетворить никакие объяснения зла в мире, что все они строятся на софизмах и, по существу, не имеют иной цели, кроме той, чтобы люди не так живо сопереживали страданиям вокруг себя.<...>

Как ни занимала меня проблема страдания в мире, я, однако, не потерялся в догадках над ней, а твердо держался той мысли, что каждому из нас позволено кое-что уменьшить в этом страдании. Так постепенно я пришел к выводу, что единственное доступное нашему пониманию в этой проблеме заключается в следующем: мы должны идти своей дорогой, не отступая от стремлений принести искупление этим страданиям [2, с. 33-34].

О мысли и мышлении

Организованные государственные, социальные и религиозные объединения нашего времени пытаются принудить индивида не основывать свои убеждения на собственном мышлении, а присоединяться к тем, которые они для него

предназначили. Человек, исходящий из собственного мышления и поэтому духовно свободный, представляется им чем-то неудобным и тревожащим. Он не предъясвляет достаточных гарантий того, что будет вести себя в данной организации надлежащим образом <...> ...современный человек всю жизнь испытывает воздействие сил, стремящихся отнять у него доверие к собственному мышлению. Сковывающая его духовная несамостоятельность царит во всём, что он слышит и читает; она – в людях, которые его окружают, она – в партиях и союзах, к которым он принадлежит, она – в тех отношениях, в рамках которых протекает его жизнь. Со всех сторон и разнообразнейшими способами его побуждают брать истины и убеждения, необходимые для жизни, у организаций, которые предъясвляют на него права. Дух времени не разрешает ему прийти к себе самому. Он подобен световой рекламе, вспыхивающей на улицах больших городов и помогающей компании, достаточно состоятельной для того, чтобы пробиться, оказывать на него давление на каждом шагу, принуждая покупать именно её гуталин или бульонные кубики.

Итак, дух времени способствует скептическому отношению современного человека к собственному мышлению, делая его восприимчивее к авторитарной истине. Этому постоянному воздействию он не может оказать нужного сопротивления, поскольку он является сверхзанятым, несобранным, раздробленным существом. Кроме того, многосторонняя материальная зависимость воздействует на его ментальность таким образом, что в конце концов он теряет веру в возможность самостоятельной мысли.

Он также утрачивает доверие к самому себе из-за того давления, которое оказывает на него чудовищное, с каждым днём возрастающее знание. Он более не в состоянии ассимилировать обрушивающиеся на него сведения, понять их, он вынужден признавать истиной что-то непостижимое. При таком подходе к научным истинам он испытывает соблазн признать недостаточной свою способность суждения и в делах мысли.

Так в силу обстоятельств мы оказываемся в оковах времени. <...>

Стремление быть правдивым должно стать столь же сильным, как и стремление к истине. Только то время, которое имеет мужество быть правдивым, может обладать истиной как духовной силой. Правдивость есть фундамент духовной жизни. Наше поколение, недооценив мышление, утратило вкус к правде, а с ним вместе и истину. Помочь ему можно, только вновь наставляя

его на путь мышления. Поскольку я уверен в этом, я встаю против духа времени и убежденно принимаю на себя ответственность за возжигание огня мысли. <...>

О себе самом я могу сказать, что именно мышление помогло мне остаться религиозным человеком и христианином. Мыслящий человек относится к традиционной религиозной истине свободнее, чем не мыслящий; но глубину и непреходящую значимость её он схватывает живее, чем последний [2, с. 32].

Сделать людей снова мыслящими – значит вновь разрешить им поиски своего собственного мышления, чтобы таким путем они попытались добыть необходимое им для жизни знание [2, с. 27].

О философии, религии, науке, культуре, образовании, познании, мировоззрении, праве, мистике

Конечная цель всякой философии и религии состоит в том, чтобы побудить людей к достижению глубокого гуманизма. Самая глубокая философия становится религиозной, и самая глубокая религия становится мыслящей. Они обе выполняют своё назначение только в том случае, если побуждают людей становиться человеческими в самом глубоком смысле этого слова [8, с. 9].

Любая глубина – это одновременно и простота, и достигнута она может быть только тогда, когда обеспечена её связь со всей действительностью. В этом случае она представляет собой абстракцию, которая сама по себе обретает жизнь в многообразных её проявлениях, как только соприкасается с фактами [2, с. 47].

В XVIII и начале XIX столетия философия формировала и направляла общественное мнение. В поле её зрения были вопросы, вставшие перед людьми и эпохой, и она всячески побуждала к глубоким раздумьям о культуре. Для философов того времени было характерно элементарное философствование о человеке, обществе, народе, человечестве и культуре, что естественным путём порождало живую, захватывающую общественное мнение популярную философию и стимулировало культуротворческий энтузиазм [2, с. 45].

Рядом с таким мышлением, остающимся по меньшей мере в своей исходной точке и по своим интересам элементарным мышлением, формируется, особенно в европейской философии, мышление, которое совершенно неэлементарно уже тем, что оно более не ставит в центр внимания вопрос об отношении человека к миру. Оно интересуется теоретико-познавательными проблемами, логическими спекуляциями, естественными науками, психологией,

социологией или чем-либо другим, как будто философия занимается решением этих вопросов самих по себе. Или как будто она состоит только в рассмотрении и обобщении результатов различных наук. Вместо того чтобы побуждать человека к постоянным размышлениям о себе самом и о своём отношении к миру, эта философия сообщает ему результаты теории познания, логических умозаключений, естественных наук, психологии или социологии как нечто такое, что может служить ориентиром для понимания жизни и отношения к миру. Всё это она преподносит ему так, как будто он не является существом, которое живёт в этом мире и ощущает себя его частью, но выступает созерцателем, стоящим где-то рядом с ним [2, с. 26].

Ценность любой философии в конечном счёте измеряется её способностью превратиться в живую популярную философию [2, с. 47].

Слишком долго мы занимались лишь ранжированием наших философских систем и игнорировали то обстоятельство, что существует всемирная философия, в отношении которой наша западная составляет лишь часть. <...> Восточное мышление представляется нам чуждым, так как оно, с одной стороны, ещё продолжает оставаться мифическим и наивным, а с другой – неожиданно обнаруживает эволюцию к утончённо критическому и надуманному. Но это ничего не значит. Существенная функция мышления – борьба за мировоззрение. Форма играет второстепенную роль. Наша западная философия, если судить о ней по её конечным и непосредственным выводам, намного наивнее, чем мы себе представляем. Только это не так бросается в глаза, потому что мы овладели искусством облекать самые простые мысли в слишком мудрёные формулировки [2, с. 85].

Ныне мышление ничего не получает от науки, так как последняя стала по отношению к нему индифферентной. Прогрессирующая наука сочетается с предельно бездумным мировоззрением. Она утверждает, что её дело – заниматься разработкой конкретной проблематики и констатированием частных результатов исследований, так как только в этом случае будет гарантирована деловая, трезвая научность. Обобщение научных фактов и распространение полученных выводов на мировоззрение не входит-де в её задачу. Раньше каждый человек науки был одновременно и мыслителем, вносившим свою лепту в общую духовную жизнь своего поколения. Наше же время обрело способность воздвигать стену между наукой и мышлением [2, с. 68].

В современном преподавании и в современных школьных учебниках гуманность оттеснена в самый тёмный угол, как будто перестало быть истиной, что она является самым элементарным и насущным при воспитании человеческой личности, и как будто нет никакой необходимости в том, чтобы вопреки воздействию внешних обстоятельств сохранить её и для нашего поколения [2, с. 52].

Всякое истинное познание переходит в переживание. Я не познаю сущность явлений, но я постигаю их по аналогии с волей к жизни, заложенной во мне. Таким образом, знание о мире становится моим переживанием мира. Познание, ставшее переживанием мира. Познание, ставшее переживанием, не превращает меня по отношению к миру в чисто познающий субъект, но возбуждает во мне ощущение внутренней связи с ним. Оно наполняет меня чувством благоговения перед таинственной волей к жизни, проявляющейся во всём. Оно заставляет меня мыслить и удивляться и ведёт меня к высотам благоговения перед жизнью. Здесь оно отпускает мою руку. Дальше оно может уже меня не сопровождать. Отныне моя воля к жизни сама должна найти свою дорогу в мире [2, с. 217].

Мы все опять должны осмелиться стать «мыслящими», чтобы прийти к мистике, являющейся единственно непосредственным и единственно глубоким мировоззрением. Все мы должны идти в познании до тех пор, пока оно не перейдёт в переживание мира. Все мы должны через мышление стать религиозными.

Это вразумляющее мышление должно стать силой, способной господствовать над всеми нами. Все ценные идеи, в которых мы нуждаемся, проистекают из него. Ни в каком другом горниле, кроме горнила мистики благоговения перед жизнью, не может быть вновь закалён притупившийся клинок идеализма [2, с. 89].

Мистика есть мировоззрение в его идеальном виде. Человек с таким мировоззрением пытается достичь духовной связи с бесконечным Бытием, к которому он принадлежит как часть Природы. Он изучает Вселенную для того, чтобы постичь таинственную Волю, которая в ней господствует, и чтобы достичь единства с этой Волей. Только в состоянии духовного единства с бесконечным Бытием видит он смысл своего существования и находит силы переносить страдания и действовать [22, с. 22].

И та и другая (европейская и индийская философии – А.А.) – хранительницы бесценных плодов философской мысли. Но и той и другой необходимо обрести такой образ мышления,

который, оставив в стороне все различия, связанные с историческим прошлым, сделает их частью мышления, общего для всего человечества. Действительное значение противопоставления западной и индийской философии состоит в том, что каждая сознаёт свою неполноту и вследствие этого испытывает стремление добиться полноты философской мысли.

Ибо нам нужна такая философия, которая будет глубже и теснее связана с жизнью, будет нести в себе ещё больший духовный и этический заряд, чем та, которую мы теперь имеем. В это ужасное время, которое сейчас переживает человечество, нам всем, и на Востоке, и на Западе, необходимо преисполниться надеждой на этот безупречный и всевластный образ мышления, который сначала завоюет сердца отдельных личностей, а затем и побудит все народы осознать его мощь [22, с. 12].

Мы живём в период отсутствия права. <...> Началось это с того момента, когда мы отказались от поисков естественного, обоснованного в рациональном мышлении представления о праве.

Следовательно, и в праве не остаётся ничего другого, кроме как возобновить движение вперёд с того рубежа, на котором остановилось рациональное мышление XVIII века. Мы должны приступить к поискам такого понятия права, в основе которого лежала бы некая непосредственная, вытекающая из мировоззрения идея. Нам надлежит вновь установить неотъемлемые человеческие права – человеческие права, обеспечивающие каждому максимальную свободу его индивидуальности внутри собственного народа, человеческие права, защищающие его жизнь и его человеческое достоинство от любого возможного посягательства извне. <...> Право стало жертвой отсутствия мировоззрения, и лишь на почве нового мировоззрения оно сможет снова возродиться. Оно должно вытекать из некоего основного представления о нашем отношении ко всему живому как таковому – из никогда не иссякающего и никогда не загрязняющегося источника. Таким источником является благоговение перед жизнью.

Право и этика вытекают из одной и той же идеи. Право – это всё объективно кодифицируемое в благоговении перед жизнью, а этика – то, что уже не нуждается в кодификации. Фундаментом права является гуманность.

Было бы глупостью пытаться отрицать связь, существующую между правом и мировоззрением. Мировоззрение является зародышем всех идей и убеждений, которые определяют образ действий индивида и общества [2, с. 89-90].

О жизни людей

Утверждение о том, что с потерей собственного участка земли и собственного жилища у человека начинается противоестественная жизнь, оказывается на поверку слишком правильным, чтобы считаться парадоксальным [2, с. 49].

С подневольным существованием органически связано перенапряжение людей. В течение двух или трёх поколений довольно многие индивиды живут только как рабочая сила, а не как люди. То, что вообще может быть сказано о духовном и нравственном значении труда, на их труд уже не распространяется. Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во всех слоях общества ведёт к отмиранию в нём духовного начала [2, с. 49].

Между материальной и духовной свободой существует внутреннее единство. Культура предполагает наличие свободных людей, ибо только они могут выработать и воплотить в жизнь её принципы.

Современный же человек ограничен как в своей свободе, так и в способности мыслить [2, с. 49].

Простое размышление о смысле жизни уже само по себе имеет ценность... Как многое было бы достигнуто на пути к исправлению нынешнего положения, если бы мы ежевечернее посвящали три минуты созерцанию бесконечного мира звёздных небес и размышлениям над ними [5, с. 197].

Подавляющее большинство граждан наших бескультурных культурных государств всё меньше предаются размышлениям как нравственные личности, дабы не вступать беспрестанно во внутренние конфликты с обществом и заглушать в себе все новые побуждения, идущие вразрез с его интересами [2, с. 54].

Этика общества хочет иметь рабов, которые бы не восставали.

Даже общество, этика которого стоит сравнительно высоко, представляет собой опасность для своих членов. Когда же становятся явственными дефекты этики общества и когда общество начинает оказывать к тому же слишком сильное духовное влияние на индивидов, тогда этика нравственной личности погибает. Такое явление мы наблюдаем в современном обществе, этическая совесть которого роковым образом заглушается биологически-социологической и националистически извращённой этикой.

Величайшим заблуждением прежнего этического мышления было непонимание и непризнание разноприродности

этики нравственной личности и этики, созданной в интересах общества. Оно всегда полагало, что обе этики можно и должно отлить из одного куска. Это привело к тому, что этика нравственной личности была принесена в жертву этике общества. С этим надо покончить. Надо ясно понять, что они находятся в конфликте друг с другом и конфликт этот не следует смягчать. Или этика нравственной личности доведёт этику общества, насколько это возможно, до своего уровня, или она сама будет сведена до уровня этики общества.<...> Этика нравственной личности и этика общества не сводятся одна к другой и не являются равноценными. Подлинная этика есть только первая. Вторая не есть собственно этика [2, с. 209].

Единственная возможность придать своему бытию какой-либо смысл состоит в том, чтобы поднять свое естественное отношение к миру до уровня духовного. [2, с. 28].

Как деятельное существо, человек вступает в духовные отношения к миру, проживая свою жизнь не для себя, но вместе со всей жизнью, которая его окружает, чувствуя себя единым целым с нею, соучаствуя в ней и помогая ей, насколько он может. Он ощущает подобное содействие жизни, её спасению и сохранению как глубочайшее счастье, к которому он может оказаться причастен [2, с. 28].

Всё, что ты можешь сделать, всегда будет в сравнении с тем, что должно сделать, лишь каплей, а не потоком; однако это придаёт твоей жизни единственный смысл, который она может иметь, и делает её значимой [3, с. 50].

Всё великое в Африке или в любом другом месте – это всегда труд одного человека. Действия коллектива могут иметь значение лишь как соучастие [5, с. 116].

Об отношениях между людьми

Отчуждение между людьми возникает из-за того, что мы не даём в достаточной мере проявиться чувству благодарности [3, с. 11].

В отношениях между людьми много холодности, ибо они не отваживаются обращаться друг с другом со всей сердечностью, на какую способны. Там, где это нужно, закон сдержанности должен уступать праву сердечности [3, с. 36].

Существует такой грех, как слишком большая отрешённость, слишком большая беспристрастность [23, с. 76].

Нормальное отношение человека к человеку становится затруднительным для нас. Постоянная спешка, характерная для нашего образа жизни, интенсификация взаимного общения, совместного труда и совместного бытия многих на ограниченном

пространстве приводит к тому, что мы, беспрестанно и при самых разнообразных условиях встречаясь друг с другом, держимся отчуждённо к себе подобным. Обстоятельства нашего бытия не позволяют нам относиться друг к другу как человек к человеку [2, с. 51].

Я слышал, как люди говорят: «О, вот если бы я был богатым, я смог бы помочь людям!» Но все мы можем быть богаты любовью и щедростью. Более того: если мы даём с любовью, если мы находим, что именно дать тем, кто больше других нуждается в нашей помощи, мы отдаём этим людям наше собственное нежное внимание, нашу заинтересованность и заботу, которые стоят больше, чем все деньги в мире [5, с. 332].

Наяутствие юношеству

Пребывая в состоянии юношеского идеализма, человек прозревает истину. В нём заключается то богатство, которое он не должен менять ни на что. Нужно только закалить мягкое железо юношеского идеализма в сталь непреходящего жизненного идеализма. Если бы люди оставались такими, какими они были в 14 лет, насколько иным был бы мир! [3, с. 36].

О влиянии христианства на негров

Что воспринимает обитатель девственного леса в христианстве и как он его понимает? В Европе мне постоянно твердили, что христианство слишком высоко для примитивных народов. Вопрос этот волновал меня и раньше. Теперь на основании собственного опыта я отвечаю: «Нет».

Прежде всего следует сказать, что дитя природы в гораздо большей степени мыслящее существо, чем это принято думать. Несмотря на то, что туземец не умеет ни читать ни писать, он способен размышлять о таких вещах, которые мы считаем для него недоступными. Разговоры, которые я вёл у себя в больнице со стариками-неграми о кардинальных вопросах жизни и смерти, глубоко меня потрясли. Когда начинаешь говорить с обитателями девственного леса о вопросах, затрагивающих наше отношение к самим себе, к людям, к миру, к вечности различие между белыми и цветными, между образованными и необразованными начисто исчезает.

– Негры глубже, чем мы, - сказал мне недавно один белый, - потому что они не читают газет. – В этом парадоксе есть доля правды.

Сама природа делает человека восприимчивее к простым истинам, которым учит религия. Всё относящееся к истории христианства туземцу, разумеется, чуждо. Мироззрение его лишено всякого историзма. Он не в состоянии представить себе,

как много времени отделяет Иисуса Христа от нас. Равным образом догматы веры, устанавливающие, что Господь велит нам делать для искупления грехов, и диктующие, как люди должны исполнять заветы Христа, понять ему нелегко. Однако у него есть своё элементарное представление о том, что такое искупление грехов. Христианство для него – это свет который озаряет его полную страхов тьму. Оно убеждает его, что духи природы, духи предков не властны над ним, что ни один человек не обладает зловещей силой, могущей подчинить другого, и что всем, что совершается в мире, управляет божья воля.

Я жил в оковах тяжких,
Ты мне несёшь свободу.

Эти слова из предрождественской песни Пауля Герхарда лучше всего выражают то, чем является для примитивного человека христианство. Когда я слушаю мессу на миссионерском пункте, мысли мои невольно возвращаются к этому вновь и вновь. Известно, что надежды на загробную жизнь и страхи перед ней не играют в религии примитивного человека никакой роли. Дитя природы не боится смерти: в его представлении это нечто вполне естественное. С той формой христианства, которая как средневековая, зиждется на страхе перед судом господним, у него меньше точек соприкосновения, чем с той, в основе которой лежит этическое начало. Христианство для него – это открытый Иисусом нравственный взгляд на жизнь и на мир, это учение о Царстве Божьем и о Божьей милости.

<...> Знакомясь с высокими нравственными идеями христианской религии, он научается выражать то, что до этого в нём молчало, и в какой-то мере развязывать то, что было дотеле связано. Чем больше я живу среди негров Огове, тем больше я в этом убеждаюсь.

Таким образом, через Учение Христа туземец обретает как бы двойное освобождение: мировоззрение его из исполненного страхов превращается в свободное от страха и из безнравственного становится нравственным.

Никогда я не так ощущал живительную силу воздействия мысли Иисуса, как в большом школьном зале в Ламбарене, помещении, служащем также церковью, в день, когда я излагал неграм нагорную проповедь и притчи, а также слова Апостола Павла о новой жизни, которую мы обретаем.

Но можно ли сказать, что, сделавшись христианином, негр становится другим человеком? Приняв крещение, он действительно отрывается от всех суеверий. Однако суеверия эти

так глубоко вплелись и в его личную жизнь, и в жизнь общественную, что сразу ему от них не избавиться. И он всё равно продолжает придерживаться их – и в большом, и в малом. Но я считаю, что нет ничего страшного в том, что он пока ещё не может окончательно избавиться от самих обычаев. Важно всеми способами убедить его, что за укоренившимися обычаями не стоит ничего другого, никакого враждебного ему злого духа.

Когда в больнице появляется на свет ребёнок, то и ему, и матери его всё тело и лицо до такой степени измазывают белой краской, что на них страшно бывает смотреть. Процедура эта распространена едва ли не среди всех примитивных народов. Считается, что этим можно отогнать или обмануть злых духов, особенно опасных в эти дни и для матери, и для ребёнка. Подчас даже и сам я, как только приму роды, говорю себе: «Не забыть бы только их обоих покрасить!». <...> Позволю себе напомнить, что у самих нас, у европейцев, существует немало обычаев, которые мы соблюдаем, не думая о том, что в основе их лежат языческие представления о мире.

<...> Для того чтобы справедливо судить о неграх-христианах, необходимо видеть разницу между нравственным чувством, идущим от сердца, и соблюдением принятых в обществе нравственных устоев. Что касается первого, то тут оно нередко поднимается до высоких пределов. Надо жить среди туземцев, чтобы понять, как это много значит, когда один из них, сделавшись христианином, отказывается от мести, которую ему надлежит учинить, или даже от кровной мести, к которой его принуждают его обычаи страны! Вообще я нахожу, что примитивный человек гораздо добродушнее, чем мы, европейцы. От соприкосновения с христианством от добрых по природе туземцев могут сформироваться натуры исключительно благородные. Думаю, что я не единственный среди белых, кто уже сейчас испытывает перед туземцами чувство стыда.

Но исповедовать религию любви – это одно, а искоренить в себе привычку лгать, равно как и склонность к воровству, и сделаться человеком надёжным в нашем значении этого слова – это совсем другое. Как это ни парадоксально, я позволю себе сказать, что обращённый в нашу веру туземец чаще становится человеком благородным, нежели порядочным.

Однако, осуждая туземцев за их проступки, мы в сущность мало чего можем добиться. Мы должны следить за тем, чтобы как можно меньше вводить принявших христианство негров в соблазн.

Но бывают туземцы-христиане, которые сделались во всех отношениях личностями высоконравственными. С одним из таких я общаюсь каждый день. Это Ойембо, учитель-негр в нашей школе для мальчиков. Это один из самых славных людей, каких я когда-либо знал¹⁰. Ойембо в переводе означает «песня» [6, с. 96-99].

Норман Казинс.

Побольше смейтесь, и жизнь не будет вам казаться такой грустной

<...> Я был в гостях в больнице Альберта Швейцера в Ламбарене и однажды за обедом обронил: «Как повезло местным жителям – они могут прийти в больницу Швейцера и не зависеть от знахарей». Доктор Швейцер спросил, а много ли я знаю о знахарях и лекарях. В тот же день он повел меня в ближайшую деревню, где представил своему коллеге – пожилому знахарю. После взаимного почтительного обмена приветствиями доктор Швейцер попросил, чтобы мне разрешили посмотреть африканскую медицину в действии.

В течение двух часов мы наблюдали прием больных. Одним пациентам знахарь просто давал травы в бумажном мешочке и объяснял, как ими пользоваться. Другим не давал никаких трав, а начинал громко произносить заклинания. С третьей категорией пациентов он тихо разговаривал, а потом указывал на доктора Швейцера.

На обратном пути Швейцер объяснил мне, что происходило. Знахарь распределял пациентов на три группы, в зависимости от типа жалоб. Больные с несерьезными симптомами получали травы, так как, по мнению Альберта Швейцера, знахарь прекрасно понимал, что они и так быстро поправятся. Нарушения здоровья в этом случае носили не органический, а функциональный характер. Следовательно, не было необходимости в «лечении». Больные второй группы страдали психогенными заболеваниями, поэтому применялась своего рода психотерапия «по-африкански». У пациентов третьей группы были более серьезные нарушения: внематочные беременности, грыжи, вывихи, опухоли. Многие из них требовали хирургического вмешательства, и знахарь направлял своих пациентов на прием к доктору Швейцеру.

¹⁰ Швейцер написал отдельную повесть «Ойембе, школьный учитель в девственном лесу» [6, с. 294-299].

«Некоторые из моих постоянных пациентов переданы мне знахарями, – едва заметно улыбнулся Швейцер. – Но не думайте, что я буду слишком строго судить своих коллег».

Когда я спросил Швейцера, почему знахарь может помочь любому из нас, он ответил, что я прошу раскрыть секрет, который врачи держат при себе еще со времен Гиппократата.

«Но вот что я скажу вам, – опять легкая улыбка осветила его лицо, – знахарь преуспел по той же причине, по какой все мы добиваемся успеха в лечении. У каждого пациента есть свой собственный «внутренний» врач. Люди приходят к нам в больницу, не зная этой простой истины. И мы добиваемся наилучших результатов, когда даём возможность «внутреннему» врачу приняться за работу».

Плацебо – это и есть наш «внутренний» врач.

<...> Альберт Швейцер всегда верил: лучшее лекарство от любой болезни, которая могла его поразить, – это сознание того, что есть работа, которую он должен сделать, плюс чувство юмора. Он как-то сострил, что болезнь стремится побыстрее уйти от него, потому что его организм оказывает ей слишком мало гостеприимства.

Если попытаться выразить то, что являлось его сутью, хватит двух слов – «воля» и «творчество». Работая в Ламбарене, он проявил сверхъестественную работоспособность. За обычный день в больнице (а ему исполнилось уже 90 лет) он успевал выполнять обязанности врача и совершать обход, плотничать, передвигать тяжёлые ящики с лекарствами, отвечать на многочисленные письма, уделять время своим рукописям и играть на пианино. «Я не собираюсь умирать, – признался он как-то своим сотрудникам. – Если я в силах заниматься разными делами, совершенно нет нужды умирать...»<...>

Так же как и его друг Пабло Казальс, Альберт Швейцер не мог позволить себе хоть день не играть Баха. Его любимым произведением была токката и fuga ре минор. Пьеса написана для органа. Но в Ламбарене органа не было. Было два пианино, оба древние, разошедшиеся. Одно, совсем разбитое, стояло в столовой медперсонала. На экваторе воздух всегда насыщен влагой, и это изменило инструмент почти до неузнаваемости. На одних клавишах не было слоновой кости, другие пожелтели и растрескались.

Войлок на молоточках вытерся, и звуки получались резкие. Инструмент не настраивали годами, а если бы даже настроили, вряд ли этого хватило надолго. Когда я впервые приехал в больницу в Ламбарене и зашёл в столовую, то сел за

пианино и отпрянул, услышав искажённые звуки. Поразительно, как Швейцер умудрялся каждый вечер перед ужином играть на нём духовные гимны – каким-то чудом под его руками нищета и убожество звука исчезали.

Другое пианино стояло в его хижине (с пышным африканским названием «бунгало»). Оно было в гораздо лучшем состоянии, но вряд ли подходило для исполнителя с мировым именем, каким был органист Швейцер. У пианино было приспособление, как у органа, но эта органная педаль имела – приводящее в ярость! – обыкновение западать в кульминационный для исполнителя момент.

Однажды, приехав в Ламбарене далеко за полночь, когда почти все масляные лампы уже были погашены, я пошел прогуляться к реке. Ночь была душная, и мне не спалось. Проходя мимо хижины доктора Швейцера, я услышал звуки токкаты Баха.

Я подошел ближе и несколько минут стоял перед зарешеченным окном, на фоне которого в тусклом свете лампы был виден силуэт доктора, сидящего за пианино. Музыка подчинялась его сильным рукам, и он достойно выдерживал требование Баха: полновесное звучание каждой ноты. Каждый звук имел свою силу и длительность, и все они гармонично сливались в единое целое. Даже если бы я был в самом большом соборе мира, я не получил бы такого великого утешения, как здесь, в глубине Африки, вслушиваясь в игру Швейцера. Стремление показать красоту музыкальной архитектоники, возродить величественную мощь своего музыкального прошлого, излить душу и очиститься – все это Альберт Швейцер выражал игрой.

Когда он кончил играть, руки его, отдыхая, еще покоились на клавишах, голова чуть наклонилась вперед, он как бы пытался услышать отголоски ускользающих звуков. Музыка Иоганна Себастьяна Баха дала ему возможность освободиться от тягот и напряжения больничной жизни.

Музыка питала его душу так же, как и душу Пабло Казальса. Швейцер чувствовал себя отдохнувшим, возрождённым, окрепшим. Когда он встал, не было и намёка на сутулость.

Музыка была его лекарством. Музыка да ещё великолепное чувство юмора. Альберт Швейцер рассматривал юмор как своего рода противозкваториальную терапию, как способ выдержать жару и влажность, снять напряжение.

Жизнь врачей и сестёр в клинике была отнюдь не лёгкой. Швейцер понимал это и старался укрепить их дух с помощью юмора. Во время еды, когда весь персонал больницы собирался вместе, у Швейцера всегда была наготове пара смешных историй.

До чего приятно было видеть, как сотрудники буквально молодели, покатываясь со смеху от его шуточек.

Например, однажды за столом он сообщил: «Всем хорошо известно, что в радиусе 75 миль есть только два автомобиля. Сегодня произошло неизбежное: машины столкнулись. Мы обработали лёгкие раны шофёров. Кто испытывает почтение к машинам, может полечить автомобили».

На следующий день он рассказал, что у курицы Эдны, устроившей себе гнездо около больницы, появилось шесть цыплят. «Для меня это большой сюрприз, – заявил он торжественно. – Я даже не подозревал, что она была в интересном положении».

Как-то за ужином, после особенно тяжёлого дня Швейцер рассказал, как несколько лет тому назад он был приглашён на торжественный обед в Королевский дворец в Копенгаген. На закуску подали сельдь. А Швейцер терпеть её не мог. Улучив минутку, когда на него никто не смотрел, он ловко стащил её с тарелки и засунул в карман пиджака. На следующий день одна из газет, специализирующаяся на светской хронике, писала о докторе из джунглей и о его странностях. Доктор Швейцер – только представьте себе! – съел не только мякоть селедки, но даже кости, голову и всё остальное.

Я обратил внимание, что в этот вечер молодые врачи и сёстры встали из-за стола в прекрасном настроении. Усталость доктора Швейцера также исчезла, сменившись сосредоточенностью на предстоящих делах. Юмор в Ламбарене был хорошей поддержкой.

В Библии говорится: «Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи Соломона, 17,22). Трудно сказать, какие именно физиологические и психические изменения, вызываемые юмором, происходят в организме человека. Об этом на протяжении веков задумывались не столько врачи, сколько философы и учёные. Почти четыре столетия назад Роберт Бартон в книге «Анатомия меланхолии» описал свои наблюдения: «Юмор очищает кровь, омолаживает тело, помогает в любой работе». Бартон назвал радость «машиной для тарана стен меланхолии» и утверждал, что она несёт в себе исцеление от болезней.

Иммануил Кант в книге «Критика чистого разума» писал, что «смех дает ощущение здоровья, активизируя все жизненно важные процессы. Усиливается перистальтика кишечника и движение диафрагмы, достигается гармония души и тела». Если Кант хочет этим сказать, что человек, обладающий даром

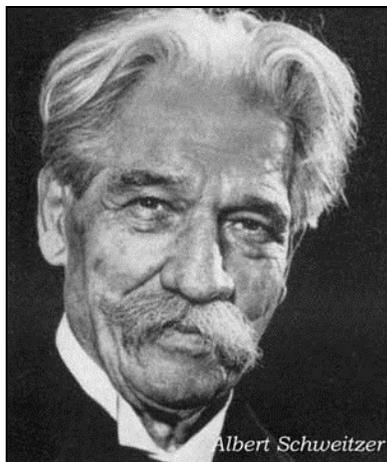
искренне смеяться, не может страдать от запора, я готов согласиться с ним.

Зигмунд Фрейд считал, что остроумие и юмор – уникальные проявления человеческой психики, а шутка – эффективное средство лечения.

Уильям Ослер назвал смех «музыкой жизни». Он советовал врачам, уставшим психически и физически в конце долгого рабочего дня, черпать силы в радости и веселье. «Есть счастливая возможность, - писал он, - сохранять свою молодость, смеясь, как Лионель из поэмы Шелли».

<...> В каждом человеке изначально есть воля к жизни, способность мобилизовать все внутренние силы на борьбу с болезнью. Когда мы пополним знания о резервах нашей психики, искусство целения станет более совершенным.

(Из книги «Анатомия болезни с точки зрения пациента: Размышления о лечении и выздоровлении». – М.: Физкультура и спорт, 1991.)



Правдивость есть фундамент духовной жизни. Наше поколение, недооценив мышление, утратило вкус к правде, а с ним вместе и истину...

Сделать людей снова мыслящими – значит вновь разрешить им поиски своего собственного мышления, чтобы таким путем они попытались добыть необходимое им для жизни знание.

Я слышал, как люди говорят:

«О, вот если бы я был богатым, я смог бы помочь людям!»

Но все мы можем быть богаты любовью и щедростью.

Более того: если мы даём с любовью, если мы находим, что именно дать тем, кто больше других нуждается в нашей помощи, мы отдаём этим людям наше собственное нежное внимание, нашу заинтересованность и заботу, которые стоят больше, чем все деньги в мире

Альберт Швейцер

Благодарности

Невыразимая словами благодарность, благоговение и восхищение приносятся самому Альберту Швейцеру – великому сыну нашей планеты.

Написание книги сделалось возможным благодаря большому труду предшественников – исследователей жизни и творчества Альберта Швейцера и его биографов, прежде всего благодаря А.А. Гусейнову, Б.М. Носику, В.П. Петрицкому, П.Г. Фрайеру и Х. Штефану, чьи работы были изданы на русском языке.

Большую помощь в работе над улучшением текста (его литературных качеств, устранению неясных или недостаточно проработанных мест) оказали автору В.В. Балыкова и ещё один редактор, пожелавший остаться неизвестным.

Автор признателен Элеоноре Ревиной, Сергею Ольшевскому, Алексею Совенко, Илье Тихаеву, Наталье Кумилис и Ольге Смирновой за помощь в работе над книгой.

Особая благодарность моему дорогому другу Изабелле Захаровне Шпунт за материальную поддержку, позволившую приступить к изданию книги.

Автор благодарен своему любимому племяннику Михаилу Скоблинку за бесценную помощь, ускорившую издание.

Литература

1. *Гусейнов А.А.* Великие моралисты. – М.: Республика, 1995 351 с.
2. *Швейцер А.* Благоговение перед жизнью: Сборник работ / Пер. с нем., сост. и посл. А. А. Гусейнова. Общ. ред. А. А. Гусейнова и М.Г. Селезнёва. – М.: Прогресс, 1992. – 576 с.
3. *Штефан Х.* Альберт Швейцер, свидетельствующий о себе / Пер. с нем. Е. Мусихина под ред. О. Мичковского. – Челябинск: Аркаим, 2003. – 240 с.
4. *Кант И.* Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – С 165.
5. *Носик Б.* Швейцер. – М.: Молодая гвардия, 1971. – С 412.
6. *Швейцер А.* Письма из Ламбарене. – Л.: Наука, 1978. – 390 с.

7. *Фрайер П. Г.* Альберт Швейцер. Картина жизни / Пер. с нем. С. А. Тархановой. Отв. ред. и автор посл. В. А. Петрицкий. – М.: Наука, 1982. – 228 с.
8. *Швейцер А.* Культура и этика. – М.: Прогресс, 1973. – 343 с.
9. *Швейцер А.* Возникновение учения о благоговении перед жизнью и его значение для нашей культуры. Очерк 1963 г. / Пер. с нем. А. А. Гусейнова [1, с. 334-342].
10. Письма Елены Рерих. В 2-х тт. – Т.1. Новосибирск, 1992.
11. Альберт Швейцер – великий гуманист XX века. Воспоминания и статьи / Сост. В. Я. Шапиро. Отв.ред. В. А. Карпушин. – М.: Гл. ред. вост. лит.-ры изд. Наука, 1970. – 238 с.
12. *Гёте И. В.* Собрание сочинений в 10 тт. – М.: Художественная литература, 1975-1980. – Т. 1.
- 12а. Там же. – Т. 9. – С. 436-438.
13. *Эккерман И. П.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.: Художественная литература, 1986. – 669 с.
14. *Калер М.* Загородный домик Гёте в Веймаре. – Веймар, 1980.
15. *Шеффер Х.* Мост между мирами: Теория и практика электронного общения с Тонким Миром. – СПб.: Невская перспектива, 2005. – 350 с.
16. Сайт общества друзей Альберта Швейцера (США). (The Albert Schweitzer Fellowship, <http://www.schweitzerfellowship.org>).
17. Философские тексты Махабхараты. Вып. 1. Книга 1. Бхагавадгита / Пер. с санскрита, предисловие, примечание и толковый словарь Б.Л.Смирнова. – Ашхабад: Ылым, 1977. – С. 86.
18. Переселение душ. Сборник. – М.: Издательство Ассоциации Духовного Единения «Золотой век», 1994. – 426 с.
19. *Рерих Н. К.* Избранное. – М.: Советская Россия, 1979. – С. 241.
20. *Геттинг Г.* Встречи с Альбертом Швейцером. – М.: Наука, 1967. – 132 с.
21. *Шкарин В. В.* Воспитание нравственности будущего врача на идеях гуманизма Альберта Швейцера. // Нижегородский медицинский журнал, 2002, №1, с. 174-177.
22. *Швейцер А.* Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика / Пер. с нем. и посл. Ю. В. Дубровина. – М.: Алетея, 2002. – 287 с.
23. *Носик Б.* Альберт Швейцер. Белый Доктор из джунглей. – М.: Текст, 2003. – 431 с.
24. *Зелиг К.* Альберт Эйнштейн. – М.: Атомиздат, 1964. – С. 191.
25. *Швейцер А.* Четыре речи о Гёте. – СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2005. – 123 с.

26. *Швейцер А.* Жизнь и мысли: Сборник работ / Сост., пер., послесл., примеч. и указатели А.Л.Чернявского. – М.: Республика, 1996. – 528 с.



Зоя Мастер

**«Нам кажется, что мы ещё
успеем...»**

Интервью с Ниной Воронель



Нина Воронель - человек весьма известный и в Израиле, и в России - переводчик, поэт, драматург, сценарист, публицист, эссеист, романист. Именно её перевод "Баллады Редингской торьмы" О.Уальда считается классическим. Среди ее произведений 18 пьес, написанных по-русски и на иврите, и с поддожины сценариев на разных языках; по некоторым из них были поставлены фильмы в Израиле и в Англии. Её перу принадлежат романы и поэтические сборники. В 60-70х годах Нина Воронель вместе со своим мужем Александром, известным учёным-физиком, активно принимала участие в диссидентском движении. В 1974 году она иммигрировала в Израиль, а в 2004 и 2006 годах выпустила две книги воспоминаний "Без прикрас" и "Содом тех лет", в которых рассказала о своих встречах с К. Чуковским, А. Синявским, Ю. Даниэлем, Л. Брик, отцом и сыном Тарковскими, Давидом Самойловым и другими, не менее яркими личностями. Эти мемуары наделали много шума и были восприняты общественностью весьма неоднозначно. В феврале 2012 года Нине Воронель исполнилось 80 лет, но она по-прежнему выпускает знаменитый журнал "22", пишет рассказы, эссе. Недавно в издательстве «M-Graphics Publishing» вышел её роман "Чёрный маг", и к печати готовится новая книга. Поводом для нашего знакомства послужило её эссе «Клуб троечников», прочитав которое, я поняла, что непременно должна связаться с автором, чтобы задать несколько вопросов. Нина оказалась одним из редких собеседников, общаясь с которыми, не замечаешь бега времени.

Нина, вы уехали из Советского Союза почти 40 лет назад и позже в своих мемуарах признались в том, что вам было не очень уютно в Израиле 70-х годов. В чём это проявлялось?

Тогдашний Израиль очень отличался от сегодняшнего. Это была довольно заштатная, несчастная страна. Тель-Авив представлял из себя большую навозную кучу. Знаете, режиссёры любили показывать, как главный герой бежит по улице, а вокруг него свалки, вслед летят бумажные пакеты и мусор.



То есть, ваши представления о том, как должно быть, не соответствовали тому, что вы увидели.

Да. Например, я пошла в Институт кино, чтобы отдать сценарий. Ищу здание с этой вывеской, а оказывается, что весь Институт располагается в крошечной двухкомнатной квартирке, и там сидят два старичка, которые потом, в кафе, ещё и просят заплатить за их кофе. Кроме того, я не знала языка, а это решающий фактор для адаптации. В общем, потребовалось время, чтобы найти себя. И это было основной причиной ощущения неуюта.

Сходно ли было это ощущение тому, которое в 60-е годы вы испытывали, приехав из Харькова в Москву? Я спрашиваю об этом, потому что в ваших мемуарах вы часто называете себя провинциалкой.

Тогда, в юности, приехав в столицу и познакомившись с москвичами, я постоянно ощущала их превосходство.

Почему? Вы что, носили туфли с белыми носочками, задавали нетактичные вопросы, раскрывали душу первому встречному? В чём проявлялась ваша провинциальность?

В харьковском образе мысли. Бен Сарнов часто говорил, что мы, провинциалы, – десантники, которые всё разрушают. И в чем-то он был прав: у человека, живущего в провинции, где время течёт медленнее, есть время читать, размышлять о каждой проблеме, и потому его мнение выработано им самим. А мнение москвича – это, как правило, мнение группы или каких-то

отдельных выдающихся, блестящих людей: вот это сказал Сахаров, это – Сарнов. А мы, десантники, приезжали со своими мнениями и идеями, вступающими в противоречие с общепринятыми.

Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение по поводу недавнего израильско-палестинского конфликта, по окончании которого появилось невероятное количество статей, анализирующих его итоги. Принцип: два еврея – три мнения не стал исключением и в этом случае. Так кто же, на ваш взгляд, выиграл эту блиц-войну?

Знаете, у нас в Израиле есть такое определение – арабская работа. Это когда вы заказываете стол, а одна ножка длиннее остальных, и стол, естественно, качается.

А то, о чём вы спрашиваете, я называю арабской победой. Это проигранная война, которую по всему миру называют победой. Всю инфраструктуру Хамаса сровняли с землёй, уничтожили военные запасы, площадки, откуда запускали ракеты, тоннели, по которым провозили оружие, их самих загнали в подвалы, и после всего этого они объявили победу.

И выпустили духи под названием M75 в честь тех самых ракет. «Аромат этих ракет такой же освежающий, как запах ракет палестинского сопротивления», – сказал владелец палестинской косметической компании, и добавил, – использовать победу в качестве вдохновения – это так естественно».

Если запах этих духов соответствует идее арабской победы, их лучше всего разбрызгивать в туалетах. Как ни странно это может прозвучать, но мне кажется, что мировое сообщество, так упорно поддерживающее палестинцев, не осознаёт, что даже между собой они не могут найти общий язык.

В смысле?

Одна группа с центром в Рамалле, которой руководит Абу Мазен, непрерывно враждует с другой, находящейся в Газе, и между обоими руководителями – Абу Мазеном и Исмаилом Ханией, - существует жесточайшая борьба. Время от времени, люди Хании арестовывают каких-то людей в Газе, объявляют их шпионами Абу Мазена, возят их в клетках, по дороге избивают, режут на куски, и если этим людям «повезёт» выжить после всего этого, их расстреливают. Поэтому сложно представить, чтобы эти две группировки могли между собой договориться. И вообще, когда говорят о создании Палестинского государства, мы толком не знаем, о каком именно идёт речь. Но что парадоксально, общественное мнение на этом не закичивается. Никого не беспокоит, что это две разные географические местности, две

автономии, которые терпеть не могут одна другую, а их заочно объединяют, не спрашивая согласия.

Очень часто, веществом, цементирующим дружбу, становится общая ненависть к кому-то или чему-то, в данном случае, к Израилю.

Естественно. В этом у палестинцев, и «прогрессивного» человечества интересы сходятся.

Нина, я задам вопрос, который может показаться наивным, но, тем не менее, я его задам. На прекращение этой восьмидневной блиц-войны потребовалось восемь долгих дней, и всё это время, пока на израильские города сыпались ракеты, страна продолжала снабжать Газу водой и электроэнергией. Во многом благодаря этому, там функционировали все системы жизнеобеспечения, ночные обстрелы не прекращались, и «месседж» в «Хамастан» явно никак не доходил. Объясните, пожалуйста, почему Израиль проявляет такое странную снисходительность к провокаторам и террористам?

Мы обеспечиваем их не только газом, водой и электричеством, но даже йогуртом. Но мир, который и так настроен против нас, только и ждёт случая обвинить Израиль ещё в одном грехе. И если мы отключим жизненно важные системы обеспечения мирного населения, которое начнёт бегать перед камерами с (голодающими) детьми на руках, то это будет расценено, как самое страшное преступление со времён Иисуса Христа. Честно скажу, я лично отключила бы, но у правительства были свои причины этого не делать, а со мной оно своими соображениями не делится. Людей, возглавляющих наше правительство, я не могу обвинить в слабости или недалёковидности. Значит, у них есть более разумные соображения по этому поводу, чем у меня и многих других.

Почему всем, кому угодно, позволительно вмешиваться во внутренние дела Израиля? Вот свежий пример. Согласитесь, было бы абсурдным, чтобы Англия диктовала Турции или Арабским Эмиратам, где им возводить многоэтажки и где разводить сады. Но вот недавно МИД нескольких европейских государств, включая Англию, Швецию, Францию и Данию, вызвал послов Израиля и «посоветовал» повлиять на решение правительства о строительстве 3 000 квартир в районе Восточного Иерусалима.

Кстати, кроме квартир для евреев, в этих районах планируется построить примерно столько же квартир для арабов,

но это никто не хочет упоминать – а то исчезнет причина для всемирного гнева и осуждения.

В противном случае, эти страны грозились отозвать своих послов и выслать израильских. Чем объяснить такое навязчивое внимание и такую наглость по отношению именно к Израилю?

Этот вопрос я много раз задавала себе и своим знакомым, и ответа на него у меня нет. Я подозреваю, что миром уже давно управляют арабы.

А очень многие уверены, что – евреи.

Я имею в виду, что весь мир старается угодить арабам, а обычно угождают тем, от кого зависят. Разве нет? Даже не знаю, как давно, стало нормой требовать у Израиля отчёта, и в этом смысле мы – единственная страна, вынужденная спрашивать разрешение по любым вопросам. Вроде бы, все осведомлены о том, какие жуткие события происходят в мире, включая геноцид, преследования по религиозной принадлежности или политическим взглядам, итд. Об этом сообщают, но не более того. Но вот если на **нашей** границе убили палестинца, пытавшегося что-то взорвать, то это моментально появляется на первых полосах всех западных газет. Вот свежий пример: пару месяцев назад турецкая армия (танки и авиация) вторглась на север Ирака и провела там военную операцию, в результате которой были убиты не менее сотни курдов. Но никто не упрекнул Турцию в агрессии, не потребовал объяснений и не осудил за применение чрезмерной силы. А мы обязаны докладывать и спрашивать разрешения по поводу всего, что происходит даже в пределах наших границ. Может, к нам приковано всеобщее внимание потому, что мы – избранный народ? Но **и** тогда всё равно непонятно, почему человечество к нам так несправедливо. А впрочем, я не права – тогда понятно: кто любит избранных?

Да, некая предвзятость, присутствует.

Предвзятость... Вы когда-нибудь были в Берлине? Там есть замечательный Еврейский музей, его спроектировал бывший израильтянин, архитектор Даниэль Либескинд.

Тот, что выиграл конкурс на реконструкцию Ground Zero в Нью-Йорке.

Да. Должна заметить, что Еврейский музей на сегодняшний день – один из наиболее посещаемых, там всегда очередь. Так вот, переходя из зала в зал, вы, по сути, читаете одну и ту же историю: вот в этом городе, перебиваясь с хлеба на квас, жил герцог, а потом появился хитрый еврей и научил его добывать серебро или делать вино, и вот когда герцог невероятно разбогател,

он этого еврея казнил. Подобные истории повторяются без конца, и это настолько удручает, что я не смогла досмотреть экспозицию. На протяжении, скажем, 400 лет, из графства в графство, из княжества в княжество – словно в насмешку, всюду происходило одно и то же.

Получается, история нас ничему не учит; не понимают честолюбивые евреи, что надо им держаться подальше от власти.

Видимо, так. Но жить-то надо, а если не держаться поближе к власти, остаётся один выход – на тот свет. Но мы пока пережили всех врагов и, надеюсь, переживём и этих.

Предполагаю, что вы ежедневно следите за новостями. Вот, к примеру, не далее как вчера передали сюжет: дабы не оскорблять чувства мусульман, в Брюсселе решили упразднить рождественскую ёлку, и на главной площади установили какую-то непотребную конструкцию из тарелок. Броне, ерунда и нас это не касается, если, конечно, не вникать в суть. Скажите, как Вы реагируете на очередную новость, свидетельствующую о том, что политкорректность уверенно продолжает добивать остатки здравого смысла? Вообще, стоит ли принимать близко к сердцу всю нелепость того, что творится вокруг нас и тратить здоровье на то, что изменить не в наших силах?

Даже если те, кто так считают, примут решение не рисковать своим здоровьем, оно испортится по другой причине. Если люди, отменившие ёлку, придут к власти, то это неминуемо коснётся и тех, кто так заботится о своём сиюминутном спокойствии. Не надо думать, что последствия безразличия каким-то чудесным образом их обойдут. Честно говоря, когда я услышала в новостях об этой ёлке, мне стало дурно, хотя, как вы понимаете, Рождество я не праздную. Согласитесь, когда страна добровольно себя унижает, плюёт на собственные традиции ради тех, кто явился в благополучный, гостеприимный дом, а потом начинает бесцеремонно устанавливать там свои порядки, это сильно смахивает на мазохизм. Но почему-то никто не хочет, «огорчать» этих нервных, непредсказуемых гостей, и никого не интересует, если вы, я, или граждане Брюсселя огорчатся по какому-то поводу.

Потому что Вы, я, или граждане Брюсселя от огорчения не пойдут взрывать школьные автобусы.

Да, мир запуган. Вот ООН проголосовала за Палестину, которая получила право наблюдателя. Неужели же все эти 138 стран, отдавшие голос против Израиля и Америки, не понимают

истинного положения вещей и настолько ненавидят Израиль? Вряд ли. Но я вполне могу предположить, что некоторые из тех, от кого зависит голосование, получили угрозы личного характера, касающиеся их семей. Кстати, другая непонятная вещь: если из 188 стран, принявших участие в голосовании, 138 проголосовало против США, почему Ваша страна продолжает содержать эту организацию?

Вы меня спрашиваете? Ну, наверное, из тех же соображений, из которых вы продолжаете снабжать ХАМАС йогуртом.

Не так давно я брала интервью у Лии Ахеджаковой, и она призналась в том, что ей страшно жить. Если ретроспективно пройти этапами вашей жизни, какой вспоминается как радостный, а какой хотелось бы забыть?

Я всегда с неприязнью вспоминаю своё детство, точнее сказать, я его ненавижу. Война и всё, что с ней связано, ужасает меня до сих пор. Вторая чудовищная полоса – это время, предшествующее отъезду в Израиль. Когда мой муж, доктор наук, подал заявление на выезд, КГБ окружил нас весьма плотной заботой. Стоило выйти из подъезда или пройти по улице, за нами, в темпе шагов, следовала машина с гэбистами. Иногда они подходили и, не стесняясь, угрожали, запугивали. Пережить такое нелегко. Когда мы улетали, все отъезжающие подымались на такую галерейку и оттуда махали провожающим. А нас на посадку повели через какой-то подвал. Причём, вели так долго, что я засомневалась, может мы идём туда, где билеты уже не понадобятся. И главное, все подумают, что мы улетели, а нас увезут в тюрьму или Б-г знает, куда. Я ведь вовсе не герой и к подвигам не готова. Никогда не забуду эти каменные лица.

Вы говорите, что не герой, а я знаю, что противостояние власти всегда требует присутствия смелости и силы духа, особенно когда у человека есть семья, и он идёт на это осознанно, понимая возможные последствия. Вы и ваши друзья-соратники, Синявский, Даниэль, Сарновы, Войнович – как раз относились к таким «не-героям». Кстати, прошлым летом я прочитала книгу Владимира Войновича «Автопортрет» и, к своему удивлению, ни на одной из 900(!) страниц не увидела Вашего имени. Неужели он никак не может простить Вам критику относительно его высказываний по поводу Солженицына?

Видимо, не может. Когда он издал книжку о Солженицыне, мы с мужем, в интервью данном уже здесь, сказали, что нам было стыдно её читать, что так писать не следовало.

Особенно меня задела фраза Войновича об "Архипелаге ГУЛаг": «Подумаешь, я давно это знал». Может, и знал, но молчал. А Солженицын – написал. И вот эта «маленькая» разница ставит между ними забор, на который Войновичу никогда не забраться. Но я не хотела обидеть ни его, ни Бена Сарнова, который поссорился с нами, поддержав Войновича.



Вы встречались с Солженицыным?

Да, мы встретились один раз, в 2002 году, при особых обстоятельствах. За нами заехала Наталья Дмитриевна и привезла в довольно странное место: дача, забор, у которого стоял солдат. В общем, это оказался дом, который Александр Исаевич себе построил.

Видимо, вы говорите о доме в Строгино, который был построен на месте дачи маршала Тухачевского. За заслуги перед Россией московская мэрия передала Солженицыну в пожизненное владение этот участок, и он построил дом для проживания и хранения архива.

В отношении к Солженицыну общество разделилось на два лагеря: за него и против. А я не видела причины для того, чтобы отречься от человека, который в своё время вызвал у меня такое уважение и восхищение. Поэтому вступилась за него, ну просто как Улицкая за Ходорковского.

А его книга «200 лет вместе» вас никак не смутила?

Безусловно, там есть множество неприятных моментов, но то, что он сделал до этого, ведь не отменилось?

В Вашем стихотворении «Одержимые», вы пишете: «Нам кажется, что мы ещё успеем/ Любить любимых и платить долги».

Сегодняшнее поколение мало что знает о людях, рисковавших свободой за то, чтобы перепечатать или просто прочитать запрещённую книгу. Скажите, вы отчётливо понимали риск, которому подвергали себя и своих близких?

Конечно.

Несколько лет назад похожий вопрос я задала Софье Богатырёвой, бывшего мужа которой, известного переводчика и диссидента Константина Богатырёва, зверски убили. Она сказала, что участие в диссидентском движении объясняется «русской традицией приходить на помощь нуждающимся, а также верностью своим представлениям о морали».

Да, мы были знакомы и с Костей, и с Соней. Ответ красивый, но неправдоподобный. Понимаете, всё это происходило не вдруг.

С Юликом Даниэлем и Андреем Синявским мы дружили много лет, и только года за три до того, как их начали преследовать, они рассказали нам о том, что печатаются за границей, дали прочесть эти тексты. И мы увлеклись ситуацией, потому что тоже не любили советскую власть. Мы были вхожи в один весьма антисоветский дом, где собиралась молодёжь. Кстати, туда приходила и Улицкая, которая тогда была тихой, скромной девочкой. Муж хозяйки дома был участником знаменитого «трикотажного дела». В этом доме не просто не любили, - там ненавидели советскую власть с самого её прихода. Родителей хозяев дома, бывших нэпманов, пытали, били, искали золото. И вот мы собирались, обсуждали существующую жизнь, все эти процессы, литературные проблемы. Когда из Союза писателей исключали Пастернака, Синявский умудрился провести Даниэля с собой, и мы всю ночь ждали их, чтобы узнать, чем всё закончится. Мы не вдруг вошли в это движение, мы изначально в нём участвовали. Нас привела туда наша биография. Когда моему мужу было 14 лет, он в Челябинске, сразу после войны, создал кружок, где с такими же мальчишками печатал и расклеивал листовки. Потом он просидел полгода в лагере для детей, а это страшнее взрослой тюрьмы. Тогда и слова диссидент ещё не было, но были люди, не согласные с тем, что происходило вокруг.

Раз уж вы упомянули Даниэля, давайте поговорим о ваших мемуарах. Вы с мужем (Александр Воронель, профессор физики Тель-авивского университета, главный редактор журнала «22» - З.М.) активно участвовали в диссидентском движении. Андрей Синявский и Юлий Даниэль были не просто вашими единомышленниками, но и друзьями. Вы принимали активное участие в их судьбе во время процесса 1966 года. А спустя почти 40 лет, неожиданно выпустили две книги мемуаров «Без прикрас» и «Содом тех лет», в которых рассказали о близких вам людях многие неприглядные вещи. Например, вы написали, что Синявский являлся осведомителем или работником КГБ. Да и вообще, оказалось, что многие кумиры тех лет, властители умов - малосимпатичные личности. Естественно, книга вызвала скандал, вас упрекали в недостоверности. Многие обиделись и порвали с вами отношения. А вы написали: «Я не думала о возможных последствиях, негодованиях и обидах. То, о чём я писала, казалось мне слишком важным, чтобы отвлекаться на всякие пустяки».

Вы по-прежнему убеждены, что обидеть человека, который много лет считал вас другом, – пустяк и что правду надо говорить обо всём, всегда и всем?

Во-первых, я написала о вещах, которые не были известны. И мне было неважно, как к ним отнесётся общественность. Мне казалось, что для истории важно было сохранить живых людей, а не мраморные изваяния. Во-вторых, время работы над мемуарами было для меня абсолютным счастьем.

Но стоило ли жертвовать дружбой для того, чтобы получить удовольствие?

Да, на меня обиделись многие. Ну, реакция Марии Синявской меня не задела, потому что я ещё до этого перестала причислять её к кругу друзей. Но кроме неё обиделись многие настоящие друзья, и не только по поводу мемуаров. И всё же, отвечая на ваш вопрос, скажу - стоило. Тем более, что я никого из них не предала, не посадила в тюрьму. Более того, они все прекрасно знают, что я ничего не придумала, написала так, как оно было. А тогда почему они должны были прервать отношения? Скорее всего, потому, что это изначально не было дружбой.

Не жалеете о том, что диссидентство помешало вашей, так блестяще начавшейся, литературной карьере?

Вы правы, потери действительно были, хотя неизвестно, сложилось бы всё так, как мечталось, останься я в России. Мне не дано знать, что именно я потеряла, но я знаю, что очень многое

приобрела. Приехав сюда, я читала, в основном, английскую литературу и, как результат, поняла, что русская со всеми её замыслами и экивоками была неправа. А сегодня говорят, что русский роман умер. Нет, просто надо научиться его писать.



Писать интересно, не заменяя смысл игрой в слова?

Именно. Но, возвращаясь в вопросу о потерях, я должна сказать ещё и о том, что мне повезло увидеть мир. Я много раз подолгу жила в Америке, Англии, Германии. Я всё увидела своими глазами и поняла, что есть другой мир, другое пространство. Уехав из СССР, я приобрела вторую жизнь, которая, во многом, оказалась интереснее и насыщеннее первой.

Насколько я знаю, летом Вы работали над ещё одной книгой.

Да, но не только летом, я и сейчас над ней работаю. Зимой прошлого года я начала писать роман «Секрет Сабины Шпильрайн». Сегодня он почти готов, осталось нанести прощальные штрихи. Сама тема меня увлекла настолько, что я постоянно – во время еды, прогулок, каких-то домашних дел, и даже во сне, - прокручивала сцены, диалоги этой книги.

А что за тема?

Сабина – реальный персонаж, необыкновенно талантливая женщина, родившаяся в России, и в начале века уехавшая в Швейцарию, сделавшая блестящую карьеру в области психоанализа, ставшая подругой Юнга и поверенной Фрейда, после Революции вернувшаяся в СССР и затем расстрелянная фашистами под Ростовом. Меня буквально потрясла её биография и дело даже не в том, что Сабина была выдающейся женщиной, что у неё были отношения с великими людьми, а в том, что её

биография – отпечаток истории, причём, одного из самых трагических её периодов. Ужас её судьбы в том, что достигнув признания в Европе, в 1923 году, она по приглашению Троцкого вернулась в Россию, в Москву развивать психоанализ и создавать «нового человека». А потом психоанализ запретили, и все, кто были связаны с Троцким, исчезли из этого мира. Сабина вынуждена была скрываться, а в 1942 году, после взятия немцами Ростова, трагически погибла вместе с остальными евреями, расстрелянными в Змиевской Балке.

Я, честно говоря, не слышала об этом месте.

Да, о Бабьем Яре знают все, а информация о Змиевской Балке почему-то замалчивается. А ведь там в течение нескольких дней были убиты 23 тысячи евреев. Дело в том, что Ростов был условным ключом к Кавказу, и поскольку советская власть уверяла, что этот город никогда не сдадут, там скопилось огромное количество беженцев. Уже невозможно никого удивить рассказами о зверствах фашистов, но в процессе подготовки к написанию романа я обнаружила странную вещь: сразу после взятия города (к примеру, Мелитополя или Таганрога), не успев даже расквартироваться или распаковать чемоданы, немцы первым делом составляли списки евреев и в кратчайшие сроки с ними расправлялись. Причём, этим занималась одна и та же команда, переезжавшая из одного места в другое и приступавшая к уничтожению евреев с таким рвением, что казалось, это и было основной военной задачей нападения на Советский Союз. Это было похоже на помешательство, на всеобщее безумие.

Буквально на днях в бостонском издательстве M-Graphics вышла ваша книга с многообещающим названием «Чёрный маг».

Вы же знаете, что мой главный принцип: писать можно как угодно, лишь бы не скучно. Роман состоит из четырёх частей или повестей, объединённых теми же героями, оказывающимися в острых ситуациях. Весь сюжет связан с русским присутствием в Израиле и нашим пониманием данной реальности.

Как во всех ваших книгах, эти герои тоже являются «завихрителями пространства»?

Да, поэтому вокруг них и происходят необыкновенные вещи. И, к моему собственному удивлению, эти герои находят решение посредством самого несущественного персонажа – мужа главной героини, который никак не может приспособиться к здешней жизни, но зато знает основной принцип Набокова: главное – это литература, а жизнь является её повторением. И вот

каждая часть романа подтверждает, что решение проблем вырастает из литературы, написанной этим незадачливым героем.

Он и есть Чёрный маг?

Ну да. То, о чём он пишет, сбывается.

Набокова вы, наверняка, вспомнили не просто так.

Последняя часть моей книги называется «Глазами Лолиты» и по сути повторяет сюжет романа Набокова, но глазами девочки, дочки главной героини.

Не заинтересовались ли вашим романом кинематографисты?

Увы, я опоздала: ведь Гумберт – влюблённый в девочку педофил. А сейчас на экраны такое категорически не допускают. Сегодня, в принципе, фильм о «Лолите» был бы невозможен.

Помимо писательской, вы занимаетесь издательской деятельностью – вместе с мужем выпускаете весьма известный в литературных кругах журнал «22». Скажите, каких критериев вы придерживаетесь при отборе материала?

Эти критерии не просто сформулировать в одной фразе. Конечно, прежде всего, это качество текста и его актуальность в современном мире. Тот факт, что мы - евреи, делает нас особенно чувствительными к еврейской судьбе во всём мире, а израильское гражданство очерчивает круг политических проблем, которые нас особенно задевают. Наше российское воспитание привило нам также литературный вкус, который мы стараемся сохранить вопреки какофонии, царящей сейчас везде, в том числе, в России.

Тогда почему проза Дины Рубиной, пожалуй, самого известного русскоязычного автора Израиля, не появляется на страницах издаваемого Вами журнала?

Дину Рубину мы печатали, пока она с нами не поссорилась из-за какой-то критической статьи о ней, напечатанной в нашем журнале. Она кричала мне в трубку зычным голосом базарной торговки: «Я не переносу, когда меня критикуют!»

Говорят, чем талантливее человек, тем меньше он предрасположен к зависти. Вы с этим согласны?

Я не уверена, что зависть непременно воспалится от сравнения себя с другими. Мне кажется, она живёт сама по себе и сама себя подпитывает. В писательской среде ходит такая шутка, очень похожая на правду: я прочёл твой роман и с удовольствием обнаружил, что он мне не понравился.

А что вас привлекает в людях?

Талант, самобытность и обаяние.

Эти три качества невозможно приобрести. С ними рождаются.

Да, а что касается обаяния, его нельзя ни объяснить, ни передать словами. Это похоже на излучение каких-то химических веществ, которые исчезают с уходом самого человека.

Спасибо, Нина. Успехов Вам.

Роман Нины Воронель «Чёрный маг» можно заказать на сайте издательства “M-Graphics Publishing”

Вела интервью Зоя Мастер



Анатолий Добрович
Из блокнотов туриста
Мимолётное



Перудже ли, Флоренции – поди, припомни
чётко:

опять собор, посад, узорчатый фасад –
стоят кружком на площади, толкуючи о чём-то
шесть юношей, как век, да и как семь веков назад.
В одежде этой, прежней ли, стройны и быстроглазы,
они, красавцы, модники, играют свой театр.

Какие обсуждаются романы и проказы?
Какие искры сыплются меж этих двух триад?
Мне не понять, не выдумать; но взгляд на инородца,
случайно переброшенный, – насмешлив, мил, да так,
что захлебнулся юностью, и ладно, что сдаётся,
как будто я их публика, и в этом весь спектакль.
Мне на минуту кажется, что этот мир не шаток,
что я люблю Италию, улыбку и игру.

И башни генуэзские, как воины без шапок,
стоят кружком без куполов – на ласковом ветру.

2000

Пражский набросок

Б. Орлову

Мне снова захотелось в Прагу,
где человек в кафе читает книгу,
а за стеклом – всё в башенках да шпилях,
и ветки кружевом текут в автомобилях.

По улице безлюдной, где капелла,
навстречу – некто,
с крупным далматинцем,
и на минуту всё во мне запело,
как будто я в обоих воплотился.
Наверно, всюду славно в роли гостя.

Но мне милы славяне без монгольства,
 слова, чей смысл
 переведёшь, подумав,
и чешская фонетика с поддувом.
Мне снова захотелось в Прагу,
где тихий викинг на концерте Брамса
украдкой гладит по руке подругу,
 а час назад
 на льду за шайбу дрался.
Мне снова захотелось в Прагу,
где человек в метро читает книгу,
а выйдет – и ему, как конь из стойла,
 подставит щёку
 стена костёла.
А на холме – такое братство зданий,
глядящих в небеса без постной мины,
что хочется молиться вместе с ними,
 отбросив разницу
 исповеданий.
Флотилиями – лебеди на речке.
Мне к этой Праге, изразцовой печке,
прохладной летом, а зимой горячей,
прижаться б навсегда. Люблю барокко
в ущельях готики. И пряный сыр впридачу.
А на углу Парижской и Широкой
мне кажется, что я сейчас заплачу.
2001

Наташе

Под колоколом поклонения
над правдой хлеба и воды –
воображения и гения
неизгладимые следы.
Когда душа, раба и хищница,
выскивая кров и снесь,
успела куполом возвыситься,
резьбою в камне затвердеть?
Разбоем, торгом и политикой
от века жизнь оплетена.
А на ландшафт из фресок вытекли
небесные полутона.
И ангелы Бонфильи в розовом,
за сотни лет не затемнясь,

пылают негасимым отзывом
на зов. – Откуда это в нас?
Неведомо.
2005

Адриатика

Л. Чернину

1.

Рассыпан рафинад по камешкам лесистым.
Лагуны голубы.
Заливы огибать и соснами лечиться –
последний дар судьбы.
Сиреневые, серые местами
просторы за косой.
А там, где повелят, серебряные стаи
трепещут полосой.
Всю Адриатику, от Истрии картинной
до черногорских круч
вдруг рассекает, кажется, единый
венецианский луч.

2.

Венеция. Венец. Державы венценосной
приподнятая бровь.
Биенье плавников передается вёслам
от мышечных бугров.
Открыто свету влажное пространство,
и воздух закалён,
как этот сплав: как сводов мавританство
и гречество колонн.
Вот завершение долгого усилия
(наскокам не чета):
привод фронтона, купола и шпиля
под рыбий хрящ креста.

3.

Славянским овчарам, лесничим, краболовам,
перехватившим власть,
трудолюбивым и ясноголовым,
не выткать эту вязь.
А жить на островах – и выпадут на долю
две дюжины отчизн
и вёсла – продолжением ладоней,
предплечий, плеч, ключиц.
Но в герб ложатся с древним постоянством
кинжал, кошель, алтарь.

И родич мой, купец венецианский,
безжалостен, как встарь.
2003

К родине

Дух травяной и цветочный,
крыш и холмов крутизна.
Имя заветное - Дойчланд -
всплыло с озерного дна.
Я ли не знал эти дали,
мох и бруснику в борах,
велосипедной педали
стойкую тугость в горах.
Здесь
мое место - в ограде,
где и прапрадед, и дед.
Суть не в отдельном обряде -
роду полтысячи лет!
Звался я, помнится, Зиги.
Дрался за класс и за взвод.
В доме священные книги
буквами наоборот.
Наоборот мое сердце
вверх по Донау гребло...
Вы мне на тему «селекций» -
этого быть не могло!
Разве не пряность различий
красит народный пирог?
Разноголосицей птичьей
лес Бухенвальдский широк.
Так подтверди же мне, Дойчланд,
Богом и чертом прошу:
это неправда! Как то, что
русские вирши пишу.
2006

Скамья

Мужики-борова, сухопарые фрау,
белокурые дети, чья будущность – вот.
По земельному кодексу, римскому праву
продолжается круговорот.
Плицы в воду - и тут же являются плицы
из воды: механизм основательно прост.

Тот же самый пейзаж, те же самые лица,
и достоинств набор, и уродств.
Есть природный предел любопытству и братству.
Где колеблется разум, решает геном.
От одних лишь имен «Гогенцоллерн» и «Габсбург»
тянет гонором, салом, вином.
То, что Отто подмял и склепал Барбаросса,
стало домом для цепких и ценящих труд.
Куролесь и молись, но нельзя не бороться.
Уступившему землю – капут.
Выходя на лесные и горные тропы,
набрeдeшь на скамью: кто-то знал, что нужна.
И не считаны замки на скалах Европы
и немецкие гор имена.
2006

Как они стоят,
как они повернуты друг к другу!
Нет, архитектура есть театр:
мизансцены, реплики по кругу.
А когда с подсветкою собор
или башня с фризом драгоценным, -
что за диво! И каков разбор
отсветов по крышам и по стенам!
Это был великий режиссер,
ставивший свое Средневековье,
понимая связь, но и зазор
меж земной и неземной любовью.
Бог был Бог, и знали свой предел
четко разделенные стихии.
И реальностью небесных тел
обладали духи и святые.
2010

Я видел там собак нездешней красоты,
ухоженных, ласкаемых, как дети.
их теплые глаза и резвые хвосты -
из сферы междометий.
Я видел русских сдержанных мальцов
(отец решил – не поскандалишь),
приученных любить родителей и псов,
а не одних себя лишь.
2010

Ты меня, держава,
взаперти держала.
Действует на нервы
чемодан фанерный.
Как мне быть с твоим добром,
с молоком кормилицы?
В книжных лавках за бугром
нет твоей кириллицы.
Что ж ты вынесла на свет
за пределы Внукова?
Почему за сотню лет
так себя профукала?
У проснувшихся тигрят
в крохотной Корее
даровитей мастерят,
думают скорее.
Не в порядке баловства,
не за кекс и виски
мир коверкает слова
на манер английский.
Для чего ж ты ела жмых,
на войну накапливала,
сыновей полуживых
без могил закапывала?
Лишь следы твоих когтей
под бельем скрываются.
Пью здесь водочный коктейль,
«Русский» называется.
2009

От немецкого по телевизору
что-то в памяти вызвало
идиш матери.
Так и слышу ее проклятие:
«Чтоб они все сгорели!»
Знаю, кто эти «все»: приятели –
неевреи.
Все, кто смолоду сманивал
ингелэ, фейгелэ, гордость мамину,
в не-кошерное и недетское,
непонятное, диссидентское:
бабы-гойки, евреи христианствующие,

модернисты, поэты пьянствующие,
философствующие художники -
самохвалы и выпендрёжники...
Я хотел восполнить пробелы,
я и вправду, мама, проделал
долгий путь по разным чужбинам,
не был правильным сыном.
Ну, а, в сущности, право слово,
никому не надо чужого.
Все, растут по своей природе,
словно овощи в огороде.
Так прости, что не стал я тыквой,
хоть не стал и репой.
В прегрешенья лицом не тыкай,
возвращаться к утру не требуй -
Обними меня на прощанье:
нас укроет один песчаник.
2010

Соплеменнику

Менаше узколиций, Менаше Бен-Итай,
почаще за границу, пожалуйста, летай.
Не составляй маршрута и средств не береги.
Законами кашрута хоть раз пренебреги.
Негоже для еврея не осмотреть собор.
Так ты сними на время свой головной убор.
Там не крикливы дети. Продуман каждый шаг.
А мусора в кювете не может быть никак.
При терпеливой воле, при остроте ума,
у них скотина в холе, картинками дома.
Там не народ - священник: священники – попы.
А поп, любитель денег, - посмешище толпы.
Не ведали Шехины, но встарь, как и сейчас,
несли в тайник цехины, священством не кичась.
«Молитва» и «работа» в их языке поврозь.
Но не скрипят ворота, в оградах - купы роз.
Там в славе Еошуа, но это не Бин-Нун -
из нашего ишува давнишний говорун.
Предложишь им учиться - они и не поймут.
Их помыслам нечистым не впору наш Талмуд:
мол, исполняй обряды в угоду небесам, -
и все, что будет надо, Господь устроит сам.
Считают эти гои, что власть должна быть власть,
и что на поле боя солдат нельзя не класть.

Враждующие станы века сшибали лбы.
Повырастали страны, как скалы – не грибы.
И нам бы так, Менаше: когда теснят враги,
существование наше не ставить на торги.
И нам не грех иначе на вещи посмотреть.
Иначе смерть, Менаше. Не проигрыш, а смерть.
...Не морщясь, будто палец порезал об осот.
Молчу, молчу, скиталец. Ты веришь: Бог спасет.
2006

Канцона

Меня влечет канцона.
В России не слышали
ее напевно-жалостного звона.
Уже ее зачин – как жест невинный:
оправить стрижку, платье –
у женщины, поймавшей взгляд мужчины
(а в нем невоплощенное объятие)
с балкона, из машины.
Ни перед кем покрасоваться статью.
Позволить сердцу сжатье
в неодолимом поле
всемирного любовного закона.
А ведь сонет, застегнутый мундиром,
со штатностью мерцаний
всех пуговиц надраенных, с ранжиром
посылов, утверждений, отрицаний –
воспринят русским миром:
в нем чудится ампир дворцовых зданий
и волны придыханий
при выезде кортежа
любезнейшей владельницы трона.
Канцона милая, изыски южной школы!
Ты вся – рисунок танца.
А я сбиваюсь и топчу подола –
чего другого ждать от чужестранца?
Я отпрыск невеселый
далекого промерзшего пространства,
и не могу расстаться
с самим собой, постылым,
на пляж слепящий выйдя из загона.
Стучали кастаньеты и стаканы,
дожди кропили кровлю.
Соборы, променады, истуканы -

все отдаёт мне подлостью и кровью.
А я хочу с любовью
вслед за тоскою по холмам Тосканы
передавать стихами
сияние Сиены,
ее узор на фоне небосклона.
Что ж, муза, ты ко мне неблагоприятна?
2009

Каменные вертикали
в плотную чашу сбиты.
Может, понатекали
сверху, как сталагмиты.
Но полутьма в соборе
вдруг отдает пещерой.
Значит, порыв к свободе
не совмещался с верой.
Выйди на площадь в зное
и не сверяйся с датой.
Вывалишься в иное:
люди не в стиле статуй.
Нынче, взамен канцоны,
стадные вопли самок.
Дух обьял стадионы.
Оперный задник - замок.
Всюду с мелким товаром
негры и азиаты.
Верди с Леонковалло,
впрочем, с торгов не сняты.
Мессы, мугамы, рэпы –
всё ублажает вкус нам.
Проще пареной репы
смерть, но зачем о грустном.
Выживем, зубы стиснув,
связывая надежды
с вечным отвесом смысла
от вышины до бездны.
Может, штырям и слиться
через миллионлетье.
Жаль, никому на свете
в этом не убедиться.
2009

Еще колокола не зазвонили в Лукке.
Никто и никого не дернул за язык.
Строения глядят гравюрами из книг.
На одного меня накатывают звуки
рифмованных стихов. Спросонья не секу
старинный механизм оконного засова.
А всё плачу оброк родному языку.
Приманиваю слово.
Пойми же, говорю, придуман этот лад
в чужой тебе среде – дворяне, разночинцы.
Ты выбыл из Руси, пора и разлучиться.
Тем временем, рассвет, колокола звонят.
Латинское литье, неторопливый бой.
На россыпи монет чеканят профиль Данте.
Мне внятен их язык, я радуюсь, но дайте
перевести на свой.

2009

О, Бордо!

Наташе

Какой невежа из Тамбова
сказал «французик из Бордо»?
Бордо – гигантская подкова
строений, прочно и дворцово
над ширью выгиба речного
поставленных. Задолго до
Санкт-Петербурга. Здесь Гаронна
ячеиста, глубокодonna.
Океанический прилив
её вздымает. Город славен
как порт. Загрёшь, вообразив
в крестовых парусниках гавань,
где в качке выбирались в порт,
лишь с борта проходя на борт.
Соборы, шпили над подковой...
Нет слова «киевый», «московский».
«Бордовый» - есть. То цвет вина.
Земля холмов по-над Гаронной
вся в рубчатый вельвет зелёный,
что в твой камзол, наряжена.
Вино в цене. Нигде ни тени
хозяйственного запустенья.
Не видно сора...

Но в каких
дубовых бочках вековых
выдерживается уменье
не проявлять пренебреженье
к другим? «Французик» чаще тих.
С улыбкой, пригнанной к губам.
Учтив, приветлив по природе.
Самоподача здесь не в моде,
как бижутерия – у дам.
В одежде всё приглушено:
не встретишь яркое пятно.
Видать, лишь скок из грязи в князи -
даёт нужду в самопоказе.
В Бордо излишня мишура.
Зато в беседе за бокалом
на улице, вдруг ставшей залом,
здесь коротают вечера.
Где давние следы борьбы
сословий, партий и конфессий?
Не все же баловни судьбы!
Но в лицах вызова и спеси
ни капли. Вежливость – не дань.
Что ж, мы в Бордо, а не в Одессе.
Несносен шум. Вульгарна брань.
Незабываемая сцена:
в старинной городской среде
трамвай, прозрачная мурена,
скользит беззвучно, как в воде...
О, хоть бы месяц так пожить,
кредит обговоривши с банком!
О, как могучим негритянкам
(но также хрупким тайландкам)
идёт француженками быть!
О, как умеет улыбнуться
француженка! Ни из чего.
Ты существо, я существо,
глядишь, симпатии сойдутся.
Вот винодел. Вот стеклодув.
Вот клерк. Осмысленные лица.
А вы, чем удалю кичиться,
пришли бы разуму учиться,
косоворотку обтянув.

2012

Несколько вальсовых па

Ольге Калмыковой

Осень. Париж порыжел.

Сена сегодня сера.

Краски под взглядом Сера
освободились из тюрем.

Столик в бистро «Паризьен»
миниатюрен.

Столик всегда на двоих, а Париж для своих
и для приезжих -

всех, кто к узорчатой башне на Сене
из городов, из углов ли медвежьих
вырвался, чтоб осветиться на миг
мимом на сцене.

Жил ли ты, числясь в живых?

Вот подтвержденье.

Кружится голова и складывается стих
из ничего, от одного говоренья.

2012



Борис Юдин

Пейзажики

Девушка с веслом



аросший парк. Гниющий водоём.
Жасмины дышат душно и ненужно.
Вот здесь стояла "Девушка с веслом",
К целующимся парам равнодушна.

Цветут жасмины, времена поправ,
День из вчера перетекает в завтра.
И толстый грач кричит: - Физкульт- ура!-
Большого червяка поймав на завтрак.

МАКИ

Просияв белозубым оскалом
Красный конь на закат проскакал.
Горизонт наливается алым,
Наполняется ало бокал.

Словно сказки, прекрасны приказы.
Пусть в засаде кричит тишина,
Красной струйкой стекают лампасы
Да взлетают на грудь ордена.

А в забытом степном буераке,
Разрывая вечернюю мглу,
Кровью Авеля вспыхнули маки,
Чтобы Каин подсел на иглу.

КАРУСЕЛЬ

Бойкая девочка, - очи потерянной лани,-
Скулы номадские, чёрная грива - пурга

На карусели свиданий, лобзаний, прощаний
Крепко вцепилась в литые в оленье рога.

А карусель всё быстрее по кругу, по кругу.
Пол - оборота - и завтра догонит вчера.
Так увлекись, протяни занемевшую руку,
Счастье хватай на лету, только рук не порань.

В поисках принца и в происках чёрного леса
Ласково время, и стремя отыщет нога.
Тьмутаракани лишь восемь веков до Одессы,
Так же, как в песне до смерти четыре шага.

Раннею ранью очерчены тонкие грани,
И карусель замерла у зелёной воды.
Старая девочка, - очи подстреленной лани, -
Ищет потерянный день, да напрасны труды.

ЦЫГАНОЧКА

Вечер. Окон мутные зеркала.
Молода, свежа и весела
Выметает площадь у вокзала
Юбок разноцветная юла.

В птичьих трелях середина мая.
Пахнет площадь гарью и вином.
- Ай, давай, красивый, погадаю
На любовь и на казённый дом.

Про любовь – оно, конечно, стоит.
Вспомнилось как в давнюю весну
Аполлон Григорьев пел в запое,
Мучая гитарную струну :

“Басан, басан, басана,
Басаната, басаната!
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата”...

Предскажи, цыганка, всё, что было,
Расплещи цветастое враньё.
Дёшево ты что - то оценила
Прошное разгульное моё.

Что фальшивит ветхая шарманка,
Я об этом лучше промолчу,
И цыганке - шустрой обезьянке
Сморщенную лапку золочу.

ФОНТАН В ВАЛЕНСИИ

Гадает по руке цыганка,
Гитара - на разрыв струны.
Фонтана звонкое фанданго
И мы немного влюблены.

Мы солнцем яростным пропахли,
От жарких губ изнемогли.
И каблочки стучат, как капли,
По плоти высохшей земли.

И мы с тобою позабыли
Какой сегодня день и час,
И в радуге фонтанной пыли
Промокли волосы у нас.

И загорелые колени
Укрылись старым домино,
И не отбрасывают тени
Фонтан, цыганка и вино.

Где -то плещет прохладная Лета.
Лето. В житах русалки шалят
И росой выпадают рассветы
На умаявшихся лешачат.

Вызревает до времени вишня,
В батик радуг укутался гром,
И вороны кричат - Харе, Кришна! -
И сверкают индусским глазком.

Не сужу. Да и сам неподсуден
По тропинке иду босиком.
Ах, как утро ступни мои студит
И туманным поит молоком!

Близок берег. Там кружево веток

Горько пахнет седая лоза.
И размеренно капает в Лету
Всё, что я раньше срока сказал.

КРЫМ

Эос с перстами пурпурными вышла из мрака.
Тени неверны, как жёны, и склонны к измене.
Ночь была потно- глухой. Только выла собака
На бутафорски- картонный абрис Аюдага
Да Афродита мерещилась в кремовой пене.

Эос с перстами в крови под кликухой “Аврора”.
Колосники тяжелы и на дно тянут гардемаринов.
Слышишь – стихи прорастают из грязи и сора,
Чтобы в Чека неповинный Поэт шёл с повинной.

Чтобы “Серебряный век” позабытою ложкой в стакане
Звякнул тихонько. Чтоб пахло полынью и мятой.
Скалится “Век – волкодав” и толпа на горячем майдане.
Обыск, погромы, расстрелы, в заложники – каждый
десятый.

Крым - за кормой кораблей уходящих, играющих в прятки.
Список Гомера уже Мандельштам дочитать не успеет.

Всё позабудется, кроме стихов в пожелтевшей тетрадке.
“Скрым!” – вскрикнет галька на пляже под твёрдую
пяткой.
Крым... Аромат поцелуя и платице из бумазеи.

Скифской бабой был курган увенчан.
На все стороны была видна
Плещущая в горизонт и вечность
Сизая ковыльная волна.

Пустельга висела в чистом небе.
Тишина, раздолье и покой...
Но примчались. Бабу взяли в цепи
И в полон умчали городской.

В таинстве раскопа спозаранку,
Инструментом радостно звеня,

Археолог роется в останках
Страшного, но завтрашнего дня.
пляж

Там, где разбросаны бюсты и гладкость девических ляжек,
Где сковородка песочная терпит их терпкую тяжесть,
Там, где шипение пены, назойливых волн куннилингус,
Запахи йода, и гнили, и ветер прилипчив, как вирус.
Рыбий скелетик лежит на песке, как стрела Купидона,
В жабрах у чаек живут сладострастные стоны.
Вот и Венера выходит из моря разносчицей СПИДа -
Рыхлые бёдра покрыты тату целлюлита.
Вот и киты, одурев, свои туши бросают на берег
Возле Австралий и Африк и Южных Америк.
Высунул морду тупой динозавр, улыбнулся щербато,
В кембрии или в девоне забытый в подушках дивана.
Всё это было когда-то тогда, и не верится даже,
Что дельтаплан пеликана парил птеродактилем важным.

Фрикция моря, и небо, и плоть похотливая пляжа...

МЕТАМОРФОЗА

Когда звук превращается в цвет,
Украшая беременность сада,
Наступает пора листопада
И задерживается рассвет.

Когда цвет превращается в звук,
Стонут ветры и хлопают ставни,
И тела обнажившихся яблонь,
Словно тени забытых подруг.

Значит, скоро полозьевый скрип
И органно-тяжёлые тучи,
И деревья, нелепо колючи,
Как скелеты неведомых рыб.

Чтоб однажды без веских причин
Звуки приняли странные позы,
И под тяжестью метаморфозы
Исказилось лицо от морщин.

НОЧЬ

Проходят слоны, сны ногами топчя,
Творят обезьяны проказы,
Чугунные птицы поют по ночам
Роскошным Шаляпинским басом.

На их головах завиты парики,
Раскрашены в белое лица.
Потеют в постелях своих старики
И снова мечтают родиться,

Младенцы кричат, не желая взрослеть,
И парус по морде бьёт ветру,
Тяжёлой морокой качается смерть,
Бесстрастно баюкая жертву.

И женщины гонят любовников прочь,
Их сладким посулам не внемля,
И пахнет грядущими грозами ночь,
И падает небо на землю.



Александр Костюнин

Пёрышки

(Продолжение. Начало в №11(2012))

Третий день

Причеть



чера схоронили тестя.

В тесном деревенском доме полно народу, ночевали кто где. На кровать усопшего лёг старший сын. Утром, растерянный, он сбивчиво пересказывал кошмарный сон. И теперь уж никто не соглашался лечь на смертное ложе. Вызвался я... (С батей, так его величал, жили душа в душу.) К тому же я заметил: в поисках творчества важно идти туда, где нет очередей. Где другим «негламурно» либо страшно... Это знак: все – оттуда, мне – туда. Нужно быть открытым к таинству.

А ночью явились стихи...

За гармошкой
Не послал мя тесть –
Ведь не пахана
Истомилась десть.

Поле тучное
Неухожено,
На потерянных
Детей брошено.

Лампочка висит
Горит тусклым огнём.
Всё бы хорошо –
Нет хозяина.

Помер тесть родной,

Пётр Степанович.
Водку пьёт родня –
Я прикладываюсь.

Не по силам заглушить
Вопы – горькостью,
Слепоту замельтешить
Теленостью.

Сорняки – под плуг!..
Нескоромная,
Пусть родит земля.
Аль бездомная?

Лампочка висит,
Горит тусклым огнём.
Всё бы хорошо –
Нет хозяина.

Помер тесть родной,
Пётр Степанович
Водку пьёт родня –
Я прикладываюсь.

Все мы *однова*
Дети замети.
Ветки хвойные –
Меткой памяти.

Рады, ежли горь
У ворот чужих,
Да вот только соль
На висках своих.

И покуда весть
К нам летит стрелой,
Божий теплит день
Свечкой неземной.

Кабы только мог,
Не дал бы свою
Белую снежинку

Обернуть в хвою.

Сей гам – судный день
Чёрной кошкой котит.
Чёрной кошкою
Неживых котят...

Сны стоят кугой –
Бабой крупною,
Бабою страшною,
Непускаемой.

Глаз боюсь отвести,
Слушно вверх веду...
Ничегошеньки
Не говорят мне.

Ты, отец родной,
Дай хоть знак земной:
Как тебе без нас,
Чем вспомочь сей час?

Немота – в ответ,
Всё тихохонько.
Жуткой гостью сова
Глазам хлопает.

Серой пеленой
Солнца день застил,
И слеза кипит –
Горьким варевом.
с. Вешкелица, 29 октября 2012 года

Жёсткой прозы слог

Как втиснуть
В ямбы и хорей
Ядерный
Взрыв?

...

Вот ударит жизнь,
Поприцелившись,

На губах застынет
Ухмылочка:
– Да, поди ж,
Попали... в сам-самое!
Тут и слово свинцом
Наливается.

Непривычен метр
Смехотворных строф,
Неукладных рифм,
Оголённых чувств.

Рифм не масленных,
Не прилизанных,
Сладкой патокою
Не тронутых.

Строгих запятых,
Острых суффиксов.
Пулемётный след
Многоточия...

На разрыв! аорт
Слог надрубленный.
Горла... перехват,
Баррикады букв.

Не вздохнуть и, то ж...
И... не выдохнуть.
Лишь потрескивает
Нерв-струна во тьме.

На глазах у всех
Тело к-к-кромскает,
Корчит душеньку,
Вык-корёживат...

Строк обугленных
Откровенностью.
Жёсткой прозы ток!
Сердце б выдер-жа...
...
Как втиснуть

В ямбы и хорей
Взрыв...
Ядерный?
ноябрь 2012

Прилив морской отхлынет

Прилив морской отхлынет,
Корёжа глыбы.
Но, поразмыслив,
Прильнёт обратно.

Забыв о распри.

Деревни остов брошен
На камни века.
Склонив главу, вернём
Жизнь этим храмам.

Но будет поздно...
ноябрь 2012

Кодекс чиновника

В первую очередь
Мы имеем народ.
Ввиду...

Лишь потом радеем
О себе –
Люби-имых.
декабрь 2012 года

Достижение

Гордо вещал Президент между прочим:
– Я прикупил вам на рынке «Мистрали»!
– Вот как... – растерянно обмер рабочий –
Западу – помощь, а нам – поднакра...
декабрь 2012 года

Список Магнитского

Крысам не дали сбежать с корабля.
Может, корабль перестанет тонуть?..
декабрь 2012 года



Алексей Борычев

Прогулка



Настоящего нет. Обручаясь с прошлым,
Я ступаю по старой, сгоревшей роще
И вдыхаю событий грядущих запах,
Позабыв в темноте, где восток, где запад.

Впереди огоньками болота блещут,
Открывая, насколько первичны вещи:
Травы, мох, небеса, осины...
В лихорадке туманов дрожат трясины.

Как стрелой, я пронзён уходящим летом,
И луна острие заостряет светом.
Понимаю – бывлые события всё же
Мне больнее сегодняшних и... дороже.

В этом мире и звёздный покой не вечен.
Каждый зверя числом навсегда отмечен,
Потому что всегда на него делимы
Все просторы и жизни людей, и длины

Тех предметов, которых никто не знает.
Не помеха незнание (иль новизна их),
И, затёртые мыслью, события, даты -
На века на кресте бытия распяты!

...Как сгоревшая в прошлом когда-то роща -
Никогда о пожаре былом не ропщет,
Дым рассеяв по воздуху в тех пределах,
Где душа никогда не покинет тело,

Так и я в настоящем - грядущим связан,
О прошедшем своём позабыть обязан,
Доверяя реальность какой-то точке,

Словно та до вселенной разбухнет точно.
Настоящего нет! И в сознание пусто.
Старой мухой под снегом уснуло чувство...
Я, в былом проживая, творю законы,
От нелепых картин отличив иконы.

Захожу в позабытую сном сторожку,
Тихо дверь открываю в ней. Осторожно
Зажигаю в киоте огонь лампы,
Понимая, что большего и не надо...

Осенний фрегат

Небесным лоцманом ведомый
В цветную бухту сентября,
Корабль осенних окоёмов
В туманы бросил якоря.

На мачтах корабельных сосен
Качнулся парус облаков
Фрегата под названьем «Осень»,
Плывущего в простор веков...

А утром якоря подняли,
И, разрезая гладь времён,
Поплыл в тоскующие дали,
Сливаясь с призраками, он.

Пройдя все зимы и все вёсны,
Вернётся в гавань сентября,
И эти мачты, эти сосны –
Спалит прощальная заря.

Философическая элегия

Отрицая превосходство расстоянья над событьем
И сплетая паутину хаотичности миров,
Торжествуют над причиной - озаренья и наитья,
Открывая и скрывая сроки бед и катастроф.

Обращая нетерпенье в потемнение бумаги,
Всё прочнее и прочнее устанавливаем связь
Между точным и случайным, отвергая силу магий

И сюжетов сновидений переливчатую вязь.
Хор небесный, не смолкая, пропоёт о том, что будет,
А потом он приутихнет, откровенья исчерпав.
И задует время свечи, а тепло забытых судеб
Сгинет в холоде могильном на костях и черепак.

Только где-то на болотах пламя бледно-голубое
На мгновенье загорится и погаснет на века,
И забытое бывшее – злое, доброе – любое
Обратится под золою, под землёю в червяка...

Что останется? – немножко: горя маленькая ложка.
Что же будет в этом мире? – только то, что не
сбылось!
Снова путь пересекает чёрная, как дёготь, кошка.
За окошком – всё медведи трутся о земную ось...

О времени...

Наш мир – иллюзия, ведь он
Реален только в наших мыслях,
В страстях, эмоциях и числах,
Определяющих закон,

Где аниону – катион
Дан в соответствие. Их жизни
Выстраивают механизмы,
Которыми и сохранён

Наш мир. Его существованье –
В невыполнимости слиянья
Двух антиподов бытия,

И этому помеха – время,
Как невозможность расширения
Земного – в звёздные края.

Над тайнами встреч...

Над тайнами встреч с позабытым собой
Восходит цветущая памятью тьма
И тихо трубит в поднебесный гобой,
Взобравшись на мачту мороза, зима,

Озвучив покой голубой...
О лезвие холода точит ножи
Седая, во снах отражённая, грусть.
Но мир мой пред нею давно не дрожит,
Повадки её разучив наизусть
По книге с названием жизнь.

В полотна времён зашивая простор,
Усталая мысль каменеет, она
Легко погружается в некий раствор
Облатки истомы в кипении сна
И гаснет сознания костёр.

И близкое с дальним, сливаясь в одно
В зрачке ледяном остроглазой луны,
В иные миры открывают окно,
Где время, пространство не разделены
Законов глухою стеной.

Где точным лекалом провидческих дней
Очерчена горних высот кривизна.
Бессмертие птицей кружится над ней,
И бабочкой бьётся под ней новизна
Забывших, но верных идей.

Весенняя кантата

Смотря на весёлых небесных лошадок,
В карете везущих весеннее солнце,
Легко понимаешь:
Мир вовсе не шаток,
Но знают об этом лишь ели да сосны.

И знают ещё небеса и долины,
Молчащие мглою, поющие солнцем,
Хранящие тайны в сплетении линий
Руки Дульцинеи, не ставшей Альдонсой.

Беспечные лица весенних событий,
Смотря в зеркала беспокойных сомнений,
В себе не находят печали, забытой
В просторах пяти ли, семи? измерений.

Я вижу: смеются беспечные дети,
Купая себя в обжигающих росах,
И небо – лукавый игри их свидетель
Над ними – причудливым знаком вопроса...

Листая восток, обжигаясь зарёю,
С лесами толкуя на птичьем наречье,
Я сказку найду, а обычность – зарюю
В земле оживающих противоречий.

Полночь

Я помню тебя, одинокая полночь!
И ты не забыла, ты многое помнишь...
Обрезав ножом темноты
Незримые нити с бывлым расставаний,
Пронзаешь бестелость времён, расстояний,
И после, снежинкой застыв,

Холодным свеченьем приветствуешь вечность,
Плывущую тьмою над белой свечкой,
Горящей снегами зимы...
И кажется краткой дорога в бессмертье,
Но сказке не верьте, не верьте, не верьте, –
Обманет спокойствие тьмы.

Бессмертие – шарик на тоненькой нити,
Подвешенный вечной мечтою в зените,
Колблемый небытием...
И мы, восходя на немые высоты,
Полночного мёда попробуем соты
Пред тем, как пребудем ничем!

От полночи вдаль разбегутся столетья,
И полночь рассыплется на междометья,
Секундами тихо звеня.
Останутся в кипени прошлого света
На солнечных струнах игравшие дети,
Смотрящие в мир сквозь меня.

Я дам объяснение грядущему дню...
Я дам объяснение грядущему дню
Разрывностью линий былого.

В копилке времён тишиной сохраняю
Тщету объясненья такого.
На плечи беспечных загадок о том,
Что кровью пульсирует в венах
Событий, наброшен прозрений хитон,
Пошитый из ткани мгновений.

Усилие мысли – и порвана ткань,
И ветром космических буден
Обветрена кожа, белее листка
Бумаги, где вписана будет

Рукой наводнившей миры пустоты
История некой вселенной,
Где правила быть не собой так просты,
Что быть лишь собою – бесценно!

В ковше иномерных просторов, без нас,
Густеет бесцветное время,
И в меру длины обращается час,
Смущая вселенскую темень.

И там, где порой сгущены времена
До плотного дыма проклятий,
Роняет бессмертье свои семена
В сырой чернозём благодати.

Наблюдение

Я видел, как зажжённая зарёю,
Горела ярим пламенем роса
И над травой, спешащая за роем
Каких-то мошек, мчалась стрекоза.

Переливаясь радугой, сверкала,
Разбившись отраженьями в росе;
И понял я, что целой жизни мало –
Увидеть мир во всей его красе.

Под свирели ветров...

Последний летний день с небес слетел,
Прохладно стало тёмными ночами.

На мягкую листованную постель
Покой ложился тихими лучами.

Простор лесов прозрачнее, светлей.
Гуляют переливчатые блики
По сумраку пустеющих аллей
Под журавлей прощающихся клики.

Рядится осень в алые шелка,
И ветры, как осипшие свирели,
Свистят, и гонят, гонят облака
По выцветшей небесной акварели.

Ах, осень, осень, ты ли это? Я ль
Попал в твои холодные объятия?
И – понимаю:
Если есть печаль, –
Она приходит в самых ярких платьях!



Михаил Ландбург

На холмах, где мшистые валуны



видев на пороге комнаты парня с винтовкой, женщина тут же догадалась, что война за Независимость окончилась.

- А где он? - спросила она.

Парень сказал:

- Твой муж остался там...

- Остался?

- Остался!

- Там?

- На холмах, где большие валуны... - парень прикусил губу.

Женщина покачала головой и отошла к окну.

- На холмах?

- Легионеры забросали нас гранатами...

- Могила моего мужа на холмах?

- После гранат легионеров, там уже ничего не... Мы едва успели оттащить раненых...- парень надолго замолчал, но, заметив стоящую возле стены детскую коляску, заставил себя улыбнуться.

- Живите ещё! - сказал он, уходя.

Женщина отошла от окна лишь под утро, когда вдруг почувствовала, как её мозг раскалился от мучительно сверлящей мысли о том, что отныне она навсегда свяжет себя с тем, что осталось там, на холмах...

В один из весенних дней, когда земля под Иерусалимом подсохла, она взобралась на холмы не одна, как делала это обычно, а вместе с пятилетней девочкой. Та, весело перебегая от валуна к валуну, вдруг выкрикнула:

- Мамочка, может быть, это здесь?

- Может быть...- отозвалась женщина.

- А может, там?

- Может, там, - женщина шумно вздохнула, поправила на голове косынку и посмотрела туда, где над верхушками деревьев кружила большая чёрная птица.

В полдень девочка пожаловалась на усталость, и тогда они спустились с холмов на обочину дороги, чтобы дождаться пригородного автобуса в Иерусалим.

Водитель, открыв дверцы, спросил:

- Ну, что?

- Женщина опустила голову.

В один из летних дней девочка, прислонившись к самому большому валуну, сказала:

- Ты, мамочка, не знаешь... Ты каждый раз не знаешь...

Женщина пожала плечами.

- Сегодня ты опять не знаешь, да?

- Где-то здесь! - устало проговорила женщина.

- А может быть, там? - девочка махнула ручкой в сторону тех холмов, над которыми спешили белые облака.

Женщина посмотрела на дальние холмы и сказала:

- Может быть!

- У меня болят ножки! - пожаловалась девочка.

Женщина безвольно опустила руки.

- Мамочка, - сказала девочка, - на эти холмы, я больше не хочу.

В последующие полвека женщина взбиралась на холмы одна и, ласково трогая заросшие мхом валуны, жадно глотала воздух.

Безответная тишина.

Мысли всякие.

К концу дня женщина спускалась к обочине дороги.

- Ну, что? - спрашивал водитель пригородного автобуса.

Зимой мир становился мокрым, холодным, лишним.

Пустота.

Мертвенность.

Усталый мозг.

Усталые глаза.

По ночам женщина металась в постели, вызывая из памяти прошлого нежность.

И томила верой.

И безверием.

Спать!
Уснуть!
Спать!
Уснуть!
Утром был новый день...
Новые глаза...
Новые холмы...
Новые боли в груди...

Прибегал внук, и тогда женщина читала ему книжки о войне за Независимость или рассказывала о дедушке, который там, на холмах, остался...

Однажды внук сказал:
- Мама считает, что теперь дедушку не найти...
- Мы найдём! - перебила женщина.
- Правда?
- Мы найдём!

Мальчик обнял бабушку и спросил:
- Это тогда, когда я стану взрослым?
- Быть взрослым торопиться не надо.

Женщина отошла к окну и, разглядывая сквозь размытые ночным дождём стёкла окон дальние холмы, молилась долго, жарко, честно.

Однажды сердце женщины разорвалось.

Став взрослым, внук отличался от своих сверстников лишь тем, что два раза в год – весной, когда земля под Иерусалимом подсыхала, и ранней осенью, когда спадала жара – он взбирался на дальние холмы и там подолгу бродил, внимательно вглядываясь в огромные валуны, покрытые густым наростом унылого мха.



Эмиль Дрейцер

Косноязычие любви

Рассказ



Во вторник, поздно вечером, около одиннадцати, когда Филипп уже был в постели, пытаясь уснуть, – в последнее время засыпал он с трудом – раздался звонок.

- Я человек простой, - прокричал по телефону Боря, его дядя. - Тут все твои родственники говорят, говорят – сами не знают, чего говорят. Тот врач сказал это, этот - то. Пустое сотрясение воздуха... Короче! Если хочешь застать маму в живых и познакомиться с ней – прилетай в Сан-Диего немедленно. Все! Будь здоров.

И повесил трубку.

Смысл дядиных слов доходил плохо. Что за чепуха? Три дня назад отец по телефону сказал, что мать в больнице на каком-то обследовании. Тревоги в его голосе не было. Мать болела уже несколько лет. У нее был ущемлен нерв позвоночника, но от этого не умирают. Она сама часто говорила с некоторой гордостью, в которой, впрочем, можно было услышать тайный страх, что все анализы у нее нормальные. И легкие, и давление, и сердце – все в порядке. Если бы не глупое ущемление нерва, можно было бы считать ее абсолютно здоровой.

Филипп снова улегся в постель и долго ворочался с боку на бок. Он поймал себя на том, что почему-то винит за нелепый звонок не дядю, а мать. С ней у него были давние и сложные счеты. Он принял таблетку мелатонина. Решил прояснить дело, когда проснется, на свежую голову.

Утром, уже сидя за столом своего офиса – он служил в компьютерном отделе Бостонского банка, Филипп позвонил отцу.

- Да, - сказал тот растерянным голосом, – что-то там у нее нашли... Вот Миша тоже прилетает из Гонконга.

Ничего больше толком сказать он не мог.

Дело, стало быть, серьезное, если Миша оставляет бизнес и летит через полмира. В Союзе брат был обыкновенным

инженером-сантехником, но в эмиграции обнаружил в себе деловую жилку. Наскреб, где мог, на задаток и приобрел по случаю трикотажную фабричку в Гонконге. Решил, что сможет вести дело года два, неплохо заработать, а потом выгодно продать. Два года, однако, превратились в четыре. Перспектива перехода Гонконга под власть пекинских коммунистов отпугивала потенциальных покупателей.

Филипп набрал телефон брата. Может быть, тот все-таки разъяснит, что происходит с матерью? Но Миша был, как всегда, по-деловому краток. Ни в какие детали он входить не стал, лишь подтвердил, что прилетает в пятницу, с пересадкой во Франкфурте. Раньше вырваться не может. Видимо, и в самом деле придется лететь? Никто из близких Филиппа еще не умирал. Как-то само собой предполагалось: чего в его жизни никогда не случалось, того, должно быть, и не бывает... То есть, когда-нибудь в неопределенном будущем это, конечно, произойдет, но не таким же образом – ни с того ни с его, с бухты-баракты...

Филиппа впервые охватило беспокойство. Как всегда, от дурных предчувствий началась противная дрожь под ложечкой. Посоветоваться было не с кем. Единственный друг и коллега Матвей, с которым он ходил в кино и на редкие вылазки за город, побродить по лесу, был в командировке – отлаживал компьютерную программу какого-то банка в Небраске.

Филипп переговорил со своим супервайзером Джо. Сказал, что мать тяжело заболела, даже при смерти, но почувствовал, что сам своим словам не очень верит. Самому себе он говорил: «Поеду, побуду там день-другой, узнаю подробности о ее болезни не из вторых рук, а поговорив с врачами, и в понедельник вернусь». В четверг предстояла презентация новой программы для крупного клиента, французского банка, которую разрабатывал Филипп. Вот он и сказал Джо, что возьмет день за свой счет и отправится в Сан-Диего в пятницу, утренним рейсом.

Но улететь оказалось не просто. Была середина апреля, разгар пасхальных студенческих каникул. Филипп поймал себя на том, что втайне обрадовался – был повод для того, чтобы отменить поездку. Но тут с разочарованием вспомнил, что рядом, в штате Род-Айленд, есть еще один аэропорт. Там, в одной из авиакомпаний, место для него нашли...

Утро выдалось по-весеннему теплое и сырое. Молочный туман, растекшийся ночью по взлетному полю, нехотя, словно потягиваясь и позевывая от дремоты, начал сползать в долину, к лежащей близ аэродрома реке. Рейс задержали всего на полчаса, но чем-то этот полет в Сан-Диего был все-таки необычным. Шел

двойной счет жизни. В который раз он летел к родителям, но делал это впопыхах. Он то верил дяде, что мать при смерти - тот был человеком военной выучки, бывшим танкистом-сержантом, к панике несклонным, то верить отказывался. И тогда его охватывала досада на мать. Скорее всего, ничего серьезного не произошло, а вот приходится нарушать и без того напряженный ход жизни.

Хотя он давно бросил курить, Филиппу вдруг нестерпимо захотелось затянуться сигаретой, почувствовать на губах терпкий вкус табака. Рейс был для некурящих, и хотя сигарет у него не было, Филипп мысленно чертыхнулся в адрес американских блюстителей общественного здоровья. Он злился на мать. Произошла какая-то путаница в диагнозе, вот и все.

Досада на мать была, впрочем, привычной. Ее сильный и волевой характер подавлял его с детства. Уже взрослым, живя вдаль от отцовского дома, он иногда просыпался оттого, что снилось: он, подросток, дремлет на узкой кушетке в их тесной черновицкой квартирке и сквозь дрему прислушивается, не войдет ли мать и увидит, что он чего-то не сделал по дому. Он в испуге просыпался, досадуя на себя, что в висках уже пробивается седина, а он все еще втайне боится материнского гнева.

Тогда, в отрочестве, когда родители ссорились, он всегда мысленно становился на сторону отца. Еще бы! Тот был единственным кормильцем в семье. Слесарь-кровельщик, он вставал на заре, раньше всех в доме, копошился на кухне, готовя из остатков вчерашнего обеда завтрак. Иногда, проснувшись и все еще лежа в постели, Филипп слышал, что отец старается есть тихо, боится звякнуть вилок или стаканом, чтобы не разбудить жену и детей. Уходил на работу, осторожно прикрыв за собой дверь. Случалось, придя с работы вечером с осунувшимся от усталости лицом, он не находил жену дома. Она уходила к подруге-соседке и проводила там часы в разговорах. Следовал скандал, причем кричала, нередко переходя в плач, мать. Испуганный ссорой, прижавшись лицом к двери, плакал и Филипп.

Он никак не мог понять, отчего мать так рыдала. В ее голосе была какая-то давняя обида, которую отцу, видимо, уже ничем нельзя было загладить. Спустя некоторое время голосившую мать пытался утешить сам отец, и Филипп недоумевал. Как же так? Отец кругом прав. Он мужчина. Трудился весь день. Ему нужен обед. Мать дома весь день. Не ее ли дело позаботиться о муже?

Эти сцены не раз возвращались в памяти Филиппа спустя многие годы, и неприязнь к матери вдруг снова овладевала им.

Была у него и давнишняя тайна, о которой никто в семье не догадывался. В свое время Филипп окончил университет с красным дипломом и, если бы захотел, мог бы не уезжать по назначению, остаться в родном городе. Но привилегией не воспользовался. Сказал дома: выбора нет – надо ехать. Конечно, ему не хотелось продолжать ютиться в маленькой квартире с родителями и братом. Но главной причиной была мать, ее непрощенная, затянувшаяся в его взрослую жизнь, опека. Филипп уже был студентом, а мать с непонятным упорством продолжала наставлять его, следить за каждым шагом. Куда идешь после занятий? С кем дружишь? Найди себе достойных товарищей, эти - шваль... С девочками встречаться тебе еще рано. Не заметишь, как окрутят, будешь потом всю жизнь каяться...

По иронию судьбы, три года спустя именно мать, и никто иной, была причиной его первого короткого и неудачного брака. Срок работы по распределению в Львове подходил к концу. Жить было негде. Квартиры не предвиделось. Оставался один выход - вернуться в Черновцы, под надзор матери. Трудно было даже подумать об этом.

Вот тогда и появилась в его жизни ленинградка Лида, с которой он познакомился летом, на Карпатах, во время турпохода. Она успела побывать замужем, чувствовала себя несчастной, отчаялась выйти снова и сообщила Филиппу, что махнула рукой на свое личное счастье. Предложила просто так, по-дружески помочь ему. Нечего, мол, ему, еврею, делать на антисемитской Украине! Почему бы ни жениться на ней для блезира и переехать в Ленинград, где без прописки не поселишься? Филипп был еще девственником. Летом следующего года, когда он гостил у Лиды, она прилегла на диван, завздыхала, попросила Филиппа потрогать, как стучит ее сердце. Очнулся он через полчаса, смутно понимая, что случилось.

Спустя три года они разошлись.

Через несколько лет он снова женился, но и второй его брак закончился разводом. Вскоре после рождения дочери Леночки начались ссоры с женой Тamarой. Перемежались они лишь короткими перемириями, связанными с праздниками, когда собирались у родителей. Сидя за столом, натужно улыбаясь, чтобы не выдать свои семейные неурядицы, Филипп втайне клялся себе, что терпеть, как отец, всю жизнь не будет. «Хватит, - говорил он себе, - надо прервать порочный круг. Пусть хоть дочь не будет считать войну в семье нормой».

Прошло несколько лет после развода, но заветной формулы, по которой можно заручиться семейным счастьем,

Филипп так и не отыскал. Жил один, снова и снова мысленно возвращаясь в свое супружество, пытаясь понять, где допустил ошибку. Тамара его никогда не любила, это он знал давно. Вышла за него главным образом потому, что хотела ребенка, а время подпирало. Ей уже перевалило за тридцать, когда Филипп подвернулся под руку. Показался надежным отцовским материалом – работающий, непьющий. Вот, пожалуй, и все ее соображения. Понимая все это, Филипп все же не ожидал, что распад семьи окажется таким мучительным. Иногда боль была такой, что, казалось, режут по живому. Он страдал от разлуки с шестилетней Леночкой. При мысли о ней испытывал пронзительную, порой останавливающую дыхание, нежность. Видел он ее, увы, только наездами в Атланту, куда, выйдя снова замуж за местного бизнесмена, переехала Тамара.

Но постепенно боль притупилась. Вернее, Филипп просто привык к ней, к устоявшемуся своему горю, к неполноценному житью – без семьи, без теплоты человеческой жизни рядом. Так, в конце концов, привыкают к длительной зиме за полярным кругом. Что делать, говорил он себе, такова уж моя планида.

По-настоящему расстраивали только разговоры по телефону с родителями. Филипп звонил, как правило, по субботам. Разговоры с матерью были длинными, вытягивающими душу. Отец телефона не любил, был немногословен. Иногда, стыдясь перед сыном, что уступает напору жены, выдавливал из себя упрек:

- Вот мама говорит: «Как же так? На родине жили одной семьей, а здесь – один сын в Гонконге, другой в Бостоне». Одни, как камни... Мы же думали: вот в Америке всем будет хорошо. Дети будут лучше устроены. И мы с ними проведем старость. Будем радоваться внукам. А что получилось?».

Филипп порой не выдерживал, срывался, кричал в трубку:

- Что за местечковые разговоры! Вы же в Америке, а не в Черновцах! Здесь живут не там, где хочется, а где есть работа.

Кричал и в то же время стыдился своего крика. В самом деле, разочарование родителей понять не так уж трудно. На родине жили не легко и вольготно, зато сплоченно. А теперь вся семья оказалась раздерганной по всему свету...

Спустя некоторое время, глядя на беспечно плывущие, подсвеченные солнцем, кипы желтовато-белых облаков, Филипп успокоился, по-прежнему полагая, что там, на земле, все будет, как обычно. Он возьмет напрокат в аэропорту машину, пересечет по скоростному шоссе всегда залитые солнцем сан-диеговские холмы и, добравшись до Ла-Хойи, свернет на знакомую улочку.

Если повезет, найдется место в тени акаций, где он поставит машину. Он поднимется на второй этаж огромного многоквартирного дома, где городские власти выделили малоимущим пенсионерам недорогие, но удобные квартиры.

Чтобы скрыть беспокойство оттого, что сын появился несколько позже обещанного – знал, что Филиппа это всегда раздражало, - отец начнет вслух поражаться, до чего в последнее время запружена дорога из аэропорта. Как это уже случилось с недавних пор, из спальни выйдет, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, мать и, глядя на него, молча заплачет, не вытирая слез с напудренных щек. Он не совсем понимал, почему она плакала. От радости, что видит его? От того, что из-за болезни не может его принять, как считает должным? От жалости к себе? Всегда общительной, ей было трудно сидеть в своей квартире изо дня в день. От приезда к приезду она сдавала, но, несмотря на болезнь, старалась не пропустить ни одной вечеринки или семейного торжества не только родственников, но и друзей и соседей.

Через три-четыре дня, наслушавшись разговоров о лекарствах и процедурах, о том, что сказал один врач и что прописал другой, Филипп поймает себя на том, что мысленно отсчитывает, сколько дней осталось от недельного отпуска, который он обычно брал для визита к родителям. Иногда он не выдерживал и, сославшись на дела, уезжал на день, а то и на два раньше...

Впрочем, на этот раз визит будет коротким и, чтобы сэкономить время, лучше всего из аэропорта поехать прямо в больницу, навестить мать, а уж потом отправиться по обычному маршруту.

В аэропорту Сан-Диего Филипп глянул на телевизионный монитор у входа в зал международных рейсов. Самолет из Франкфурта, на котором был Миша, прибывал вовремя. Филипп решил встретить брата. Дожидаясь, позвонил отцу, чтобы узнать, как проехать в больницу.

Трубку подняла Берта Иосифовна, теща Миши. Филипп этому не удивился. Она жила в том же многоквартирном доме, что и отец с матерью.

- Филипп, это вы? - сказала, как всегда, баском Берта Иосифовна. - Как проехать в больницу? Вы знаете, Филипп, не надо ехать туда. Поезжайте прямо сюда, к папе.

Филиппу это показалось странным. Почему не надо ехать в больницу?

- Филя, - трубку взял отец, - поезжай домой. Прямо сюда.

Пока Филипп соображал, что это значит, раздался голос Бори, дяди:

- Филя, тут все только - вокруг да около... Твоя мама умерла вчера вечером. У нее нашли рак желудка. Встретишь Мишу, давайте прямо сюда.

Филипп повесил трубку. Вокруг него с легким рокотом катились чемоданы. Пассажиры торопились к выходу в город, недовольно обходили его. Умерла? Быть такого не может! Как так, вдруг взяла и умерла? Почему так быстро и неожиданно? Два дня назад во время ночного звонка в Бостон Боря сказал: подозревают рак желудка. Взяли биопсию на анализ. Но подозрение - еще не рак. Из разговоров о болезнях в других семьях у Филиппа сложилось представление, что даже в худших случаях больной раком живет, по крайней мере, несколько месяцев. А тут минуло всего лишь несколько дней, как положили в больницу на обследование - и на тебе?

Хотя он знал, что не ослышался, он не чувствовал ничего, кроме того, что его жизнь в чем-то важном переменялась раз и навсегда. В чем именно, он не понимал. Так странно, должно быть, ощущает себя человек в первый миг, когда его настигла пуля. Все как прежде. Он дышит, как обычно, но из груди брызжет кровь - и он уже знает: еще минута-другая - и жизнь вытечет из него, как вода из пробитой пожарной бочки...

- Do you mind? - раздалось за спиной Филиппа.

Пожилая дама с огромным саквояжем раздраженно глядела на него. Он поспешно посторонился.

Наконец, показался Миша. Высокий, худой, с роговыми очками на носу. Неожиданно для самого себя, завидев его, Филипп тут же выкрикнул через головы пассажиров:

- Она умерла!

- Да? - сказал Миша, подойдя. Он подтянул свой объемистый чемодан поближе и оглянулся. - Ну, что же, все там будем. Рано или поздно... Понимаешь, на прямой рейс уже не было мест. Боря позвонил позавчера утром. Пришлось лететь через Стамбул и Франкфурт. Эти мотания по аэропортам меня доканывают. Устал, как черт.

Филипп молчал. Братья направились к выходу. Филипп зарезервировал машину в фирме «Бюджет», а Миша в фирме «Герц».

- Пока, - сказал Миша расставаясь. - Увидимся у папы.

У Филиппа екнуло внутри. «У папы...» Неужели так и впредь они будут договариваться о встрече? «У папы», а не как всегда, - «у родителей»?..

Когда Филипп вошел в квартиру, Миша уже расположился в кресле у окна, и пил кофе. Отец сидел на диване, непривычно выпрямив спину. Его сжатые кулаки лежали на коленях. Увидев Филиппа, он пробормотал, слабо улыбувшись:

- Она умерла...

- Мне уже сказали...

Подошел Боря. Без слов стиснул руку.

- Я не понимаю, - сказал Филипп сердито. - Ведь только во вторник сделали биопсию.

Он опять не чувствовал ничего, кроме досады на мать. Он понимал, что нелепо сердиться на того, кого уже нет, но расстаться с привычным чувством не мог. Была тут даже какая-то логика наоборот: если он сердится, значит, она все еще жива.

- В среду вечером, - сказала Римма, двоюродная сестра Филиппа. - Результаты анализа сообщили в среду вечером.

- Почему... так быстро?- сказал Филипп, запнувшись, пропустив слова «...она умерла».

- Это темная история, - Боря опередил Римму, приготовившуюся, видимо, дать обширную медицинскую справку. - Рак, рак... Вы слушайте врачей побольше. Так они вам и скажут правду!

Врачей дядя не любил.

Миша, допивая кофе, рассматривал местную эмигрантскую газету. Бросил коротко: «Надо будет дать объявление».

Филипп в рассеянности прошел в ванную. Войдя в нее, вздрогнул: зеркало аптечки было затянута черной шелковой косынкой матери.

Когда он вернулся в гостиную, дядя обратился к братьям:

- Я тут все организовал. Ее из больницы перевезли к Горовицу. Это недалеко.

Похоронная фирма Горовица располагалась в ветхом одноэтажном здании на углу улиц Кlover и Лайлак. Когда они вошли, дядя первым делом спросил долговязого бледнолицего юнца в ермолке, сидящего с безучастным видом за столом:

- Ее уже прибрали?

Тот пожал плечами. Откуда ему знать? Контору обычно открывают позднее. Хозяин позвонил ему домой, велел открыть дверь специально для них и закрыть, когда уйдут. Он придет после трех, можете спросить у него. Ворча, что завтра похороны, а эти бандиты даже не начали приводить покойную в благопристойный вид, дядя кивнул в сторону матовой стеклянной перегородки,

вроде той, за которой в цветочных лавках помещается холодильная камера:

- Она - там. Я подожду на улице.

Филипп и Миша вошли в залитую светом флуоресцентной лампы комнатку. В центре, на низком столике, располагался хлипкий дощатый ящик, а в нем было распластано короткое, не больше полутора метров, тело какой-то старой женщины.

«Неужели это она?» - мелькнуло у Филиппа. «Неужели она такая маленькая?».

Он сел на одну из табуреток, предложенных юношей-посыльным, вошедшим за братьями. Миша уместился рядом.

Филипп не решился сразу взглянуть в лицо покойной. Сначала с опаской посмотрел на ее короткие, выкрашенные хной, волосы. Всю жизнь у матери были красивые длинные косы. Она отрезала их только несколько лет назад, когда заболела и уже не могла за ними ухаживать.

Только затем, затаив дыхание, Филипп отважился перевести взгляд на лицо.

Ему случилось бывать на похоронах. Как правило, лица усопших ничего не выражали. Он даже как-то подумал, что безучастность лица умершего и породило само слово «покойник». Но то, что он увидел сейчас, потрясло его. Из отрывков разговоров между дядей и Риммой он уже знал, что перед смертью мать испытывала едва переносимую боль. Ей кололи морфий, который помогал недолго. Смерть, видимо, наступила внезапно, во время острейшего приступа, и на ее лице запечатлелось то, что она ощущала в последнюю свою минуту. Так застывает лава после извержения вулкана. Брови были сдвинуты к переносице. Зрачки глаз закатились. Зубы стиснулись, закусив губу. Правая рука была согнута в локте, а левая нога - в колене. Казалось, она попыталась встать, но внезапная судорога свела все ее тело. Видимо, мать понимала, что умирает. Зная ее, он был уверен, что умирать ей было не столько страшно, сколько обидно. Силой своей недюжинной воли она до последнего вздоха отчаянно билась с болью, которая была жизнью, и смертью, которая была единственным избавлением от страданий. Она металась между ними, между жизнью и смертью, отчаиваясь сделать свой последний выбор...

Филипп старался сдержаться. Потянулся к коробке с бумажными платочками «клинекс» неподалеку. Взглянув на брата, Миша поспешно прикрыл глаза ладонью. Филипп знал, что тот сейчас попытается выжать из себя слезу. Филипп уже было известно, что до последней минуты мать бредила, никого не

узнавала, все звала своего любимца Мишу. В который раз Филипп убеждался в том, что ни справедливость, ни благодарность, ни любые другие абстрактные понятия – человеческому сердцу не указ. Миша с матерью часто бывал груб. Навещал ее с отцом редко, даже когда жил рядом, в Сан-Диего. Мать звонила Филиппу в Бостон, жаловалась на жестокосердие своего любимца, который мог неделями не давать о себе знать.

Почему брат и к ней, и к отцу относился с прохладцей, Филипп не понимал. Миша окончил институт, мог покинуть родительский дом, но предпочел в нем остаться, найдя удобным жить в относительном достатке, а не начинать самостоятельную жизнь, для молодого человека на первых порах полную лишений. Мать приложила много усилий, чтобы через знакомых найти ему работу в родном городе.

Похороны были назначены на следующий день. Филипп удивился скорости происходящего: прошло всего двое суток, как наступила смерть – и уже похороны? Боря со свойственной резкостью пояснил: того требует религиозный обычай. Помер - и с глаз долой, не мешай живым... Конечно, это была его вольная интерпретация. Не только в России, но и здесь, в Америке, дядя, как, впрочем, и большинство других родственников, посещал синагогу только по большим праздникам. На Рош ха-Шана, Йом Кипур, Песах – вот, пожалуй, и все. Сейчас же все сидели в разных концах гостиной и невпопад говорили друг другу то, что Филипп слышал уже не раз: как неожиданно наступила смерть, отчего рак обнаружили так поздно. Дядя все кипятился и говорил, что не верит ни одному врачу. Он был убежден, что у них только деньги на уме, оттого и тянут резину, чтоб побольше заграбастать.

Отец сидел на краю дивана, смотрел растерянно на говоривших, едва заметно кивал головой, соглашаясь с мнением каждого. Было ясно, что он не очень вникает в суть слов, произносимых вокруг него.

В дверь деликатно постучали. На пороге стоял высокий смуглый господин с благородным лицом и напомаженными волосами в черном, тщательно выглаженном, костюме. Из визитной карточки следовало, что мистер Гаспаретти был распорядителем кладбищенского салона. Боря поспешил извиниться, что забыл предупредить братьев о предстоящем визите. Мистер Гаспаретти почтительно выразил соболезнование и сообщил о цели своего прихода – уточнить детали похорон.

Они присели к столу, и распорядитель стал рассказывать, как будет протекать церемония. Она начнется с компьютеризованного шоу о жизни покойной, для чего требуются

фотографии. Не совсем понимая, что за шоу тот имеет в виду, но, доверяясь импозантной внешности распорядителя, Филипп взялся за дело. Он обрадовался возможности чем-то себя занять, хоть на время унять душевную сумятицу.

Он отыскал в буфете семейные альбомы. Их было не меньше дюжины, туго набитых снимками, в пыльных плюшевых переплетах. В самом старом из них, вывезенном из бывшего Союза, нашлась черно-белая фотография матери в молодости, еще до встречи с отцом. Полные губы, большие серые глаза. По моде начала тридцатых годов ее волосы убраны под искусно приколотый шпильками берет. Ни дать ни взять, Мэри Пикфорд, звезда немого кино. Филипп видел эту карточку не раз. Несомненно, что мать в молодости была красавицей, факт, который каким-то образом, в вечной досаде на нее, он ставил ей в вину... Когда собралось достаточно снимков, мистер Гаспаретти, деликатно кашлянув, протянул папку в кожаном переплете. Это был каталог гробов. У Филиппа екнуло сердце. Неужели все это с ним и в самом деле происходит? Слушая, как на расспросы брата-бизнесмена распорядитель говорит о сортах дерева, определяющих цены на его товар, Филипп недоумевал. Какой гроб ему нравится? Сама мысль, что от него ожидают оценить гроб с эстетической точки зрения, казалось дикой...

Поздно вечером, когда все разошлись, Филипп посидел немного с отцом, который то и дело порывался встать, чтобы вскипятить для него чай. На уговоры не беспокоиться, тот, вздохнув, пожимал плечами, смотрел, сощурившись, в темноту за окном. Молчал.

- М-да... - только и произносил он. – Такое, значит, дело... М-да... Бормотал еще что-то на идише себе под нос, но что именно Филипп разобрать не смог.

Вскоре глаза отца стали слипаться, и Филипп уговорил его лечь. Нужно выспаться. Предстоит тяжелый день. Отец рассеянно посмотрел по сторонам и, понуриив голову, шаркая домашними тапочками, отправился в спальню.

Филипп устроился на диване в гостиной. Выключил свет. На потолке, прямо над его головой, мигали, то и дело перекрещиваясь друг с другом, три световых кольца. Днем Боря успел сбегать в синагогу по соседству и принес поминальные свечи в высоких узких банках. Теперь они стояли на кофейном столике рядом с диваном. В тишине квартиры слышно было лишь тиканье часов под стеклянным колпаком на камине.

Филипп не мог сомкнуть глаз. Было странно осознавать, что в этот поздний час мать лежит не, как обычно, в своей постели

рядом с отцом, а в дощатом, плохо сбитом, ящике, в холодильнике погребальной конторы, с навсегда застывшим в гримасе боли лицом...

Хотя Филипп не верил в потусторонний мир, в привидения и прочую мистику, вдруг оказалось, что его скептицизм был не таким уж стойким. Внутри него все трепетало. Казалось, по всему телу, пронизывая каждый член, шел поток неведомой энергии. Так некогда, в далекую пору детства, когда он с матерью жил в эвакуации во Фрунзе, холодные струи горного ручья, в который он усаживался в знойный день, заставляли его биться в радостном ознобе. Не в силах заснуть, Филипп пытался ни о чем не думать, но сомкнуть глаз все-таки не смог. Он обратил внимание, что кольца света на потолке сплетались и расплетались не как придется, а ритмически, в такт с тиканьем каминных часов. Это его удивило его. Конечно, движение воздуха в комнате могло заставить вспыхивать свечи. Но почему происходит это в ровные промежутки времени?

Пытаясь разрешить эту загадку, он долго и заморожено глядел на потолок, пока мерное скрепление колец не успокоило его. Засыпая, он вдруг подумал о том, что световой пульс как-то связан с матерью. Ее маленькое, скрученное болью, тело, быть может, и лежит в нескольких кварталах от дома, дожидаясь похорон. Но она вернулась в свой дом. Быть может, ненадолго, быть может, на одну только эту, последнюю, ночь. Постепенно, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов, Филипп совершенно уверился в том, что кольца на потолке сокращаются в такт с сердцем матери. Оно еще живо и бьется. Тик-так, тик-так, тик-так. «А сердце у меня здоровое», – часто говорила она. От этой мысли, поразившей его самого, ему стало и страшно и радостно. Он даже привстал с дивана...

На кладбище, у павильона, где выставили гроб, собралось не меньше сотни людей, большей частью Филиппу незнакомых. Они подходили к нему и брату, жали руки. Некоторые в порыве чувств обнимали. Филиппа удивило, как много людей не просто знало его мать, но чувствовало необходимость прийти на ее похороны.

Началась церемония прощания. На сцене появился мистер Гаспаретти, кашлянул в кулак, дал знак служащим. Заиграл невидимый орган, и на колонне рядом замерцал небольшой экран. Возникли титры: «Любовь Шейн 1915-1994». У Филиппа на мгновение перехватило дыхание. Неужели, она действительно умерла!? Ну, конечно же. Что это с ним? Он видел ее вчера мертвой. Вон в глубине сцены стоит с заколоченной крышкой гроб,

тот самый, который он с братом выбрал. Зал полон людей, пришедших на ее похороны. Какие еще нужны доказательства?

Медленно, наплывом, сменяя друг друга, поплыли знакомые снимки. Но сейчас, в окружении сотни людей, знавших его мать, он с удивлением разглядывал эти фотографии. На лице матери не было и следа того тайного напряжения, ожесточения жизнью, которое он помнил с детства. На многих карточках она широко и радостно улыбалась. Вот она несет к столу знакомый расписной, вывезенный с родины, поднос с большим блюдом рассыпчатого плова, ею приготовленного. Ее счастливое лицо сияет. Сдержанной гордостью за жену исполнено лицо отца рядом с ней.... Вот мать со свежееиспеченным тортом. Пять свечек. Должно быть, день рождения Юрика, Мишиного сына, ее внука. Филипп отдавал матери должное только в одном – готовить она была мастерица. Нередко невестки и племянницы просили ее приготовить что-нибудь вкусенькое для их стола. И она с радостью принималась за дело.

Пошли снимки последних лет. На них мать по-прежнему старалась беззаботно улыбаться, но по тому, как неумело она пользовалась тушью для ресниц — у нее уже начали дрожать руки — видно было, что, как она ни бодрилась перед объективом, болезнь уже овладела ей. На бледном лице застыло выражение на мгновение побежденного страха – та насильственная улыбка, которая не могла никого обмануть. Смотреть на эти фотографии было тяжело. Филиппу даже показалось, что они сменялись на экране слишком медленно. Аппарат, что ли, заело? Он заерзал на стуле, пытаясь отыскать глазами мистера Гаспаретти.

Наконец, экран погас. На сцене появился раввин. Подглядывая в бумажку, наскоро пересказал биографию покойной и пригласил на просцениум желающих сказать несколько прощальных слов. Одной из первых подошла к микрофону Римма с опухшим от слез лицом. Сказала глухим голосом:

– Она мне заменила мать.

Это было действительно так. Когда умерла сестра Жанна, мать сразу и рьяно взялась за судьбу племянницы, открыла для нее свой дом, сделала членом семьи.

Римму сменили другие родственники, каждый из них со своим рассказом о душевной щедрости покойной. Затем к микрофону один за другим стали подходить и незнакомые люди. Какая-то пожилая женщина в черном платке вдруг зарыдала:

- Она была моим самым близким человеком. Я могла ей довериться, прийти в трудную минуту. Любочка, миленькая, к

кому я теперь пойду? Ну, скажи мне, дай прощальный совет. К кому?

Слушая этих людей, Филипп вдруг осознал, что близость между его матерью и ними не так уж неожиданна для него. И в прошлой жизни, на родине, с детства он был свидетелем необыкновенной способности матери располагать к себе самых разных людей.

- Тетя Любочка, - прибежали к ним домой девушки-продавщицы из окрестных магазинов, - к нам сегодня после обеда завезут гречку. Приходите, я вам оставлю пару килограммчиков.

Это были не просто щедроты девичьего сердца. Они прибежали к той, к кому могли обратиться со своими вздохами и заботами, с какими не обратишься к родной матери, а тем более – к отцу:

- Тетя Любочка, что мне делать! Я беременна. Мой паршивец не мычит и не телится, когда спрашиваю, как быть. Делать аборт или нет, а? Очень хочется ребеночка. Но страшно. А, тетя Любочка?

Филипп помнил, как ревновал мать, что вечно шушукается с продавщицами. С недоумением замечал, как менялось ее лицо. Дома оно было часто напряженным и властным, а теперь озарялось изнутри непонятным светом.

Вот, оказывается, что тот свет означал... Мать не просто выслушивала тех девушек. Она их любила. Как любила этих пришедших к ее гробу незнакомцев... С внезапным уколом неуместной зависти Филипп подумал о том, что, когда наступит его черед, вряд ли соберется так много народу. Его научные статейки о компьютерной логике затеряются в разливанном журнальном море, а память о матери будет еще долго жить в сердцах этих людей.

Для чего-то обернувшись, Филипп увидел в нескольких рядах от него бывшую жену Тамару с их дочкой Леночкой. Видимо, они прилетели из Атланты прямо к похоронам. Прижавшись к матери, Леночка негромко всхлипывала, держа у глаз скомканный платочек. У него сжалось сердце. Дочь к бабушке была очень привязана. Вдруг вспомнилось, как неодобрительно восприняла мать его развод с Тамарой. Долгое время считала бывшую невестку частью семьи. До Филиппа доходили слухи, что, пока Тамара не вышла снова замуж и не переехала в Атланту, мать пекла на праздники торты и для нее. Давала понять, что прерывать связи не хочет...

Глядя на сцену, Тамара кусала губы, кончик носа покраснел от плача. Она изменилась мало. Черное платье шло ее

белокурым, спадающим на плечи, локонам. Филиппа больно кольнуло, что она даже похорошела за последнее время. Хотя он уже успел внутренне отдалиться от нее, ему вдруг стало жаль, что эта красивая женщина так и не смогла его полюбить. Впервые отпустила обида на нее. Что ж, в конце концов, может, это не ее вина...

Филипп почувствовал, что ему, старшему сыну, надо сказать хотя бы несколько слов. Он часто делал доклады о компьютерных своих программах у заказчиков, говорить на людях привык. Он уверенно поднялся с места, но по дороге к микрофону, почувствовал, что ноги плохо слушаются его, слишком поджимаются в коленях. Уже на сцене он раскрыл было рот, но, к собственному удивлению, ни слова произнести не смог. Не мог наладить дыхание. Воздуха в легких было достаточно, грудь высоко поднималась, но что-то сжало горло и никак не отпускало. Он сделал усилие над собой и, в конце концов, заговорил, но каким-то чужим голосом. Слова выходили перерезанными на куски, словно дождевые черви детской любопытной лопаткой:

- Я... хо...чу.. ска...

Гаркнув несколько малосвязных слов, махнул рукой и сошел со сцены.

В голове шумело. Полчаса спустя он обнаружил, что стоит у разрытой ямы для могилы и с удивлением смотрит на обыкновенное лезвие безопасной бритвы в руках у раввина. Старик бормотал молитву, поднося лезвие к черной ленте на рукаве его пиджака. Как того требовал древний обычай скорби по усопшему близкому родственнику, он надрезал ткань. Филиппу понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, когда и каким образом траурная лента оказалась на его рукаве. Дядя прикрепил ее перед тем, как сесть в машину, отправляясь на похороны.

После похорон все собрались в маленькой квартирке родителей. Боря успел в короткий срок организовать поминки. Филипп обнял Леночку. Подошла Тамара, коснулась губами щеки, сказала быстро: «Соггу». Он понимал, что английский она выбрала неслучайно: чужой язык напоминал о дистанции между ними. Пахнуло ее любимыми духами «Опиум», на мгновение его потянуло к ней, но импульс тут же прошел. Чужая...

Глядя на толпу знакомых и незнакомых людей, Филипп подумал, что мать бы это одобрила. Она любила застолье, свое и чужое, радовалась людям. «Вместе! Я хочу, чтобы вы были всегда вместе», - вспомнил он фразу, которую она часто повторяла. В последний раз она произнесла ее не больше месяца назад, на Песах, в последний раз, когда он видел ее живой. Сейчас, когда ее не

стало, ее слова звучали единственным заветом своим детям и внукам.

Филиппу запомнился тот пасхальный вечер. Еще на родине, в Черновцах, среди их многочисленных родственников давно стало традицией, на которой мать всегда настаивала: в первый вечер каждого большого еврейского праздника собираться в ее доме. Филипп относился к этому, как к причуде, которой, увы, приходится потакать. В тот последний вечер это казалось и вовсе на грани безрассудства. Мать мучил ущемленный нерв. Пальцы сводил свирепейший артрит. Но она и слышать не хотела предложение собраться у одной племянниц. Готовя праздничный обед, она упорно, сдерживая стон, с помощью «ходунка» добиралась до кухни и, с трудом сгибаясь над раковиной, чистила рыбу, фаршировала. На уговоры не перегружать себя, заказать еду в одном из эмигрантских магазинах, отвечала презрительной миной. В своем доме ставить на стол еду, приготовленную чужими руками, было выше ее понимания. От одной мысли ее передергивало. Филипп шел на кухню, пытался ей помочь, но она отмахивалась:

- Я сама... Объяснять каждый шаг - легче самой сделать.

Наконец, наступил вечер. Хотя стол, как всегда, выглядел празднично, мать, придирчиво оглядывая его, все-таки вздыхала от огорчения, что не все так, как должно быть. Не хватило сил.

Все были в сборе. Опаздывал только Миша с семьей. Мать мучилась от неприсущей ей нерешительности. Не знала, как быть. Она хотела пригласить племянницу Таню с семьей, недавно переехавшую по ее вызову в Америку, но боялась, что Миша не одобрит. Любимый сын не терпел Анатолия, Таниного мужа.

Это был и в самом деле на редкость неприятный человек. Хотя ему было под пятьдесят, и он был уже лыс, звали его, как подростка – Толян, прозвище, видимо, приросшее к нему с юных лет. Лодырь и краснобай по природе, он и в прошлой советской жизни существовал в основном за счет расторопной жены. Приехав в Америку, вместо того, чтобы искать работу, умудрился добыть себе американское пособие нетрудоспособным. Когда родственники, в том числе и Филипп, пытались его задеть, спрашивая насмешливым тоном: “Как с работой, Толян?”, отвечал с оттенком скрытого превосходства:

- Куда ни приду - отказывают! И вообще, я считаю унижением моего человеческого достоинства ходить из магазина в магазин, просить работу подсобника. У меня высшее образование...

То, что получать пособие для больных абсолютно здоровому человеку должно быть куда унижительней, никогда даже не приходило ему в голову.

Но за ним числились вещи и похуже. Еще в прошлой, черновицкой жизни, страхась эмиграции, в которой, он знал, с привычной жизнью лодыря придется расстаться, пытаясь выслужиться у советской власти, выступил на местном телевидении и осудил уехавших за рубеж. Дескать, неблагодарные, они оставили заботливую Родину-мать ради погони за длинным рублем, то есть, долларом.

Это была не только мерзость, но и ложь. Собираясь в Америку, никто в их семье не мечтал о манне с небес. Надеялись лишь, что смогут, наконец, жить по-человечески. Бежали от мерзкой власти, от антисемитизма и несправедливостей, от лжи и хамства, от безнадёжности своего существования. Вот от чего все они бежали...

Конечно же, мать прекрасно знала, что собой представляет Толян. Но что было делать? Он стал частью семьи. В отсутствие Миши, мать, как и других родственников, привечала Таню со всем ее обширным семейством в своем доме.

Зазвонил телефон. Миша сообщал, что едет. Задержался из-за звонка мистера Ли из Гонконга, докладывавшего о ходе дел.

- Между прочим, - добавил Миша твердым голосом, - если ты опять пригласила этого мерзавца Толяна, я не приеду. Обещаю тебе - приду, увижу, что он у вас - тут же уеду. Тут же!

И бросил трубку. Мать опустила голову на грудь, и ее плечи затряслись в беззвучном плаче.

Филиппа это удивило. На людях мать никогда не плакала. Была горда. Видимо, болезнь брала свое, и мать начала сдавать.

Сейчас, когда ее не стало, вспомнив тот эпизод, Филипп понял вдруг, отчего она так горько плакала тогда. Понимала, что силы ее оставляют. Она уже не хозяйка в собственном доме. Уже не может настоять на своем, как было всю ее жизнь. Чувствовала, что долго не проживет, что это ее, быть может, последний семейный вечер. И любимый сын лишил ее последней возможности сделать то, что было счастьем ее жизни: собрать родные лица вокруг своего стола. Все без исключения!

Вспомнив это, Филипп почувствовал свою вину. Почему он тогда не вмешался! Надо было тут же перезвонить Мише, попытаться его уговорить. Помнится, заметив слезы матери, он лишь пробормотал поспешно: «Черт с ним, с этим Толяном, пусть приходит», хотя понимал, что его голоса недостаточно. Мишин приговор для матери был законом, обжалованию не подлежал.

На следующий день после похорон Филипп сам того не заметил, как очутился в синагоге, рядом с домом родителей. Он не был религиозен, но направился туда, надеясь услышать какие-то слова утешения. Служба начиналась только вечером. Зал был пуст. Он достал из подвешного ящика на спинке одного из кресел молитвенник в черном, лоснящемся от прикосновения многих рук, потрепанном переплете. Поспешно отыскал поминальную молитву – кадиш. Впился глазами в текст. Он жадно искал слова, которые помогли бы освободиться от гнетущего состояния, в котором он находился, от отвратительного ощущения бесповоротности происшедшего. Он чувствовал теперь вину перед матерью, долгую злую неизбывную вину за свою отчужденность к ней. Теперь все, что она говорила или делала, что прежде досаждало, стало вдруг мелким и несущественным. Вчера на кладбище он впервые осознал всю незаурядность матери, недюжинность ее натуры, необычайную ее доброту, открытость ее сердца к стольким людям. Как мог он всего этого не видеть раньше, когда она была жива! Кадиш разочаровал его. Молитва об усопших вызвала досаду. Ни одно слово не выражало того, что он ощущал, что переполняло грудь, – ни скорбь, ни душевную боль, ни сожаление о смерти родного человека, всегда преждевременной. В тексте были только славословия Богу, его провидению, его доброте и заботе.

Филипп захлопнул молитвенник. Хорошо провидение! За что благодарить? Как можно благодарить за то, что жуткая черная пропасть ни с того ни с сего поглотила мать? Он понимал, что охвативший его ужас не отпускает его, потому что напоминает о неумолимости его собственной смерти. Может быть, назначение молитвы именно в этом - подготовить живущих к неизбежному, напомнить о своей собственной тленности? Эта мысль успокоила его на время.

Отец переносил внезапно обрушившееся на него одиночество тяжело. Подолгу молчал. Филипп попытался понять, о чем тот думает, бродя по квартире, едва передвигая ноги. Он позвонил в Бостон, объяснил Джо ситуацию и, получив внеочередной отпуск, пробыл с отцом еще неделю.

Вернувшись домой, Филипп звонил отцу, пытался через родственников и соседей помочь ему как-то наладить новую жизнь. О том, что было уже делом недель и даже месяцев, отец говорил так, будто речь шла о вчерашнем дне:

– Я пришел после кладбища, - говорил он растерянно. - Вся моя жизнь - как три минуты.... Кто я, что я?.. Один, как

камень, - добавил он с насильственным смешком, преодолевая неловкость того, что говорит о столь сокровенных чувствах.

Филипп старался утешить его, но не знал, как это сделать. Слушая его, вспомнил один из снимков, продержавшихся несколько секунд на экране во время похоронной церемонии. Это была старая черно-белая фотография. На ней мать с отцом – в саду, очевидно, на даче, которую они снимали за городом. Мать - в легком домашнем халате, отец – в пижаме. Оба еще нестарые – отцу не больше сорока, матери и того меньше. Отец смотрит на нее с обожанием, обнимает, она с нежной улыбкой клонит голову на его плечо... И Филипп почувствовал стыд, что пытался быть когда-то судьей в чужой жизни. Даже если это была жизнь собственных родителей.

Понемногу возвращался привычный ритм жизни. Работа, чтение, иногда, поздно вечером, телепрограммы, по выходным с Матвеем в кино или прогулки по лесу. Мать выплывала из памяти в самый неожиданный момент. Однажды в час «пик» блеснуло ветровое стекло встречного автомобиля, мелькнуло улыбающееся лицо молодой женщины, и Филипп увидел мать, радостную, возбужденную какой-то удачей. Когда это было? Он точно не помнил. Тридцать, сорок лет назад? Она еще полна сил, здоровья, энергии, жажды жизни...

В другой раз вспомнилась, казалось бы, совсем забытая картина: он, мальчик, помогает матери развешивать белье во дворе их дома в Черновцах. Подает прищепки. Она – на табуретке. Расправляет на веревке тяжелую мокрую простыню, радостно жмурится от солнца, от ветра, бьющего в лицо.

Вот еще раньше.... Кажется, он еще первоклассник. Отец на работе, он, Филипп, на краю обеденного стола в их маленькой, полутемной квартирке, готовит уроки. На другом краю мать строчит на швейной машинке. Улыбаясь каким-то своим мыслям, напевает, стараясь перекрыть стрекотание, напевает, все больше воодушевляясь, с непонятным ему волнением:

На берегу сидит девица.
Она шелками шьет платок,
Работа чудная такая,
А шелку ей недостает.

По-видимому, это был какой-то довоенный романс, поры девичества матери: Филипп никогда раньше не слышал его. Появившийся из-за моря принц в одежде матроса заслушался грустной песней девы:

Одна сестра моя - княгиня,
Другая - герцога жена,
А я морячкою простою,
Не королевой быть должна.

В конце романа принц влюбляется в трудолюбивую девицу и увозит ее за моря-океаны в свой замок...

Может быть, тут и была разгадка душевной жизни матери? Возможно, была у нее сердечная тайна, о самом существовании которой он, занятый тревогами собственной жизни, раньше и не задумывался. Что мы знаем о тайной жизни сердца другого человека, даже если это сердце родной матери?

Только сейчас, когда матери не стало, из обрывков семейных разговоров постепенно соткалась воедино для Филиппа ее жизнь. Одна из восьми детей в семье бедного раввина в маленьком украинском местечке, чтобы не быть обузой - все-таки одним ртом меньше - вышла рано замуж. Пусть даже за хорошего и работающего парня, но, быть может, совсем не такого, какой виделся в девичьих мечтах. Потом поступила в медицинский институт, но из-за беременности вынуждена была уйти с первого курса. Ждала ребенка, его, Филиппа. Беременность проходила тяжело. Страшно ломило поясницу и тошнило так, что посещать занятия было невыносимо. А вскоре после родов началась война...

Быть может, деятельная, неуемная душа матери втайне томилась тем, что жила чужой жизнью. Не таков ли удел множества людей на белом свете? Возможно, мать не переставала мечтать о более счастливой доле. Но ведь куда хуже жить без мечты, принимать за должное обычный - серый - цвет жизни. Возможно, тяготившая его в молодости материнская опека была страстным желанием матери уберечь его от ложных шагов, направить в счастливое русло судьбу своего первенца. Косноязычие любви... Такова уж ее природа. У подлинной любви плохо поставлена дикция. Она бормочет, мямлит, говорит невпопад, заявляет о себе обвиняками...

Прошло больше полугода. Живя один на огромном расстоянии от близких, Филипп и не заметил, как подкатил день рождения. Год за годом, с тех пор, как он развелся, переживал этот день болезненно, особенно остро ощущал свое одиночество. С утра он напряженно прислушивался, не зазвонит ли телефон. Кроме отца и брата Миши (он все еще жил в Гонконге), никто о нем в этот день не вспомнил. Приятель Матвей был в командировке, на этот раз в Барселоне.

Весь одинокий вечер и большая часть незаметно наступившей бессонной ночи прошли ужасно. Филиппа охватило ощущение страшной заброшенности. Виски стиснула боль, саднило сердце. Казалось, что он всеми забыт, никому до него нет дела. Среди ночи, когда он, наконец, с трудом задремал, раздался звонок. Встрепенувшись ото сна, нащупывая кнопку ночника, Филипп задрожал от волнения. Он знал, кто звонит. Даже не удивился, услышав в трубке не то мычание, не то стон. Так говорят сквозь стиснутые от боли зубы. Филипп отчаянно прижимал трубку к уху, чтобы сквозь треск распознать голос. И хотя он ничего как следует разобрать не смог, он знал, кто звонил. Мама! Больше никому! Она каким-то образом почувствовала нестерпимость его одиночества. Он даже уловил в ее голосе чувство вины, что запоздала со звонком, что просит извинить, принять во внимание обстоятельства...

Слов ее он так и не расслышал, но интонация ее мычания-стона не оставляла сомнения в том, что она пыталась сказать:

- Желаю тебе счастья, сынок.

Филипп понял вдруг, что втайне от себя ждал именно этого звонка, звонка той, которой уже не было. Ждал и боялся его. Ночной звонок мгновенно пропорол пелену каждодневной жизни, полной мелких забот, какими подсознательно отгораживаешь себя от трудной правды. Он снова ощутил боль в сердце. Как бесконечно давно, едва ли не всю свою жизнь, он одинок! Да, он был привязан к первой жене Лиде, думал, что любил Тамару, но только теперь осознал, что потерял их не потому, что они его недостаточно любили, а потому что он сам не умел их любить так, как умела любить мама – без оглядки, без оговорок, без расчета на благодарность.

Теперь ее любовь, преодолев шум жизни, освободилось от косязычия. Очевидно, подлинное имя любви – дар, и в способности так любить и есть залог настоящего счастья.

И вдруг он осознал, что никогда не открыл бы этого для себя, если бы не смерть матери. И это открытие, пришедшееся на день его рождения, стало самым дорогим подарком, какой бы он хотел всякому пожелать.

Благодарность к той, кого уже не было в живых, переполнила его. Не в силах сдержать нахлынувших чувств, сидя на постели, держа на коленях телефонную трубку, из которой уже доносились короткие звуки отбоя, он зарыдал. Прости меня. Ради Бога, прости.

Сначала он устыдился. Надо же, пожилой мужчина, а плачу, как маленький. Но потом понял, что ничего постыдного в

том нет. Он даже ощутил новый прилив сил, как если бы смерть матери обновила его чувства, омолодила их, вернула радость того, что жив.

Несмотря на ночной холод – стояла середина ноября - он вышел, как был, в пижаме, на балкон, долго стоял там, курил сигарету за сигаретой. Стал снова курить на второй день после похорон и вот до сих пор не мог остановиться.

Стояла черная гушевая ночь. Он долго всматривался в мерцающие сквозь кроны деревьев огни города, будто пытался угадать в одном из них заветный приветливый лучик.

Теперь, когда он осознал, как прожила свою жизнь его мать, он был убежден, что этот лучик светит и для него. Нужно только небольшое усилие, чтобы отыскать его в кромешной тьме. Нужно верить, что он есть...

Потом вернулся в спальню, снова улегся в постель, долго ворочался и только под утро, наконец, уснул, твердо веря, что звонок был наяву. И что звонила мама.



Моисей Борода

Три танца Жар-Птицы

(Из цикла "Совершенно невероятные музыкальные истории")



днажды к композитору Х. прилетела Жар-Птица.

Было это жарким июльским днём, солнце палило нещадно, все окна в квартире были открыты, так что откуда, из какого окна она влетела, было неясно. Да и потом – Х., с головой ушедший в работу, появление непрошеной гостьи некоторое время не замечал.

Но потом он как-то вдруг почувствовал, что в комнате, кроме него, рояля, стола и двух стульев, ещё кто-то или что-то есть, поднял от партитуры голову – и увидел, что перед ним стоит ну самая что ни на есть настоящая Жар-Птица – именно такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать: в сверкающем всеми цветами радуги оперении, с длинными, в меру тонкими ногами, обувью – ну, тут уж совсем, правда, на человеческий манер – в белые атласные туфельки. А главное – с совершенно ангельским, не лишённым, однако, некоторой живости и даже дерзости во взгляде женским лицом.

В первое мгновение Х. – ну, не то чтобы опешил, но немного растерялся, посмотрел на гостью долгим взглядом и поправил для порядка очки.

– Ну, чего? – сказала Жар-Птица на чистом русском языке – как ей, впрочем, и полагалось, – не видал, што ли? Жар-Птица и есть! – Голос её был далеко не лишён приятности, хотя и с некоторой дерзинкой.

Х., вообще мало любивший, чтобы ему во время работы мешали, хотел было уже спросить гостью, что ей здесь, собственно, надо и кто она вообще такая, но как-то сразу передумал.

Время было шаткое, и непрошенные гости могли появиться в любое время дня и ночи. Правда, входили они обычно через дверь, а перед этим даже и звонили в звонок, но это были, конечно, детали. Новая власть была на выдумки хитра, фантазии для дневных или ночных визитов к людям у неё хватало, и попасть с ней впросак было плёвое дело. Да и потом: что-то в этой необычной гостье было.

Между тем Жар-Птица прошла лёгкой, танцующей, немного развинченной походкой от окна, где её взгляд Х. застал, к роялю, потом таким же манером обратно, облокотилась крыльями о подоконник, обвела медленным взглядом комнату, почему-то задержалась на стоящей на полочке вазе с цветами, и сказала:

– Нда-а-а, а денег-то у тебя, видать, не густо, голубь!
А?

Х., совершенно ошеломлённый вопросом, неизвестно откуда взявшимся знанием о его финансовых средствах, а главное – этим развязным "голубь", не ответил ничего.

А Жар-Птица, то ли ободрённая впечатлением, которое её реплика произвела, то ли продолжая свою мысль, ещё раз обвела глазами комнату, посмотрела на Х. каким-то особенным взглядом и сказала:

– И хоромы у тебя не тово... не очень. Бедные хоромы-то... Не то што у Игорь Фёдорыча, - протянула она и заговорщически Х. подмигнула.

Х., к этому времени уже поняв, что так просто выставить гостью за дверь не удастся, и, с другой стороны, сильно задетый замечанием о хоромах, спросил запальчиво: Это какого же Игорь Фёдорыча?

Но Жар-Птицу, видимо, не так-то легко было смутить. Тем же самым тоном, слегка то ли растягивая, то ли распевая слова, она сказала:

- Како-ово, како-ово - залато-ово! А и не знаешь будто? Стравинского Игорь Фёдорыча! У него-то хоромы не чета твоим!

А Вы, - Х. решил ни за что на свете не поддаваться этому "ты" - в надежде, что гостья всё-таки обидится и уйдёт, то есть улетит, - а Вы, собственно, откуда знаете, какие у "Игорь Фёдорыча", - он передразнил её тон, - хоромы?

Я-то? – усмехнулась Жар-Птица каким-то особенным смешком. – Я-то уж знаю! Почитай с год у него жила. На всех харчах, между прочим. С полным довольствием!

– Это как же: в птичнике, что ли? – спросил язвительно Х., которого постепенно начинал злить то ли этот тон, то ли

сравнение его с "Игорь Фёдоровичем" – причём явно не в его, Х., пользу.

– В птичнике – это ты живёшь, голубь! – ответила с распевом Жар-Птица. – А я-то – я-то в доме жила. У Игорь Фёдоровича. Квартиру мне отвели. Из трёх комнат – хошь как по бульвару разгуливай! И почитай каждый день в ресторане гуляли. Финьшампань, а то и Клико вдову – слышал, может? – пила! То-то вот! Игорь-то Фёдорович, хоть и скаред, а знал: меня уважить надо, а то...

– Да за что же? За что уважить-то? – прервал Жар-Птицу Х., к стыду своему заметив, что уже как-то поддался тону своей гостью, поправился и спросил строго: Так за что же надо было Вас, как Вы говорите, уважить?

Но Жар-Птица и бровью не повела.

– А за то самое, голубь, за то самое, – сказала она, явно наслаждаясь тем, что её собеседник-таки не сумел поставить её на место. – Ты што же думаешь: Игорь Фёдорович Жар-Птицу свою с головы взял, што ли? Или с курицы, может, списал? – она вызывающе усмехнулась. – Не-ет, голубь, это я ему всё показала! Все танцы, как оно, значит, у нас, у Жар-Птиц то есть, бывает. А он всё потом только на музыку перекладывал. Так-то!

А то стал бы он меня у себя дома держать, по Парижам возить, кошель свой развязывать – как же! Ещё и уговаривал меня всякий раз, штоб станцевала ему, и ждал, пока у меня настроение придёт перед ним танцевать-то!

И то сказать: мужичонка он, конечно, так себе, скупной, даром што денег куры не клюют и все ему кланяются. Ты-то, голубь, поинтересней его будешь, – и она улыбнулась Х. вызывающей улыбкой.

И вдруг без всякого перехода сказала: Присяду, я, што ли? Стоишь тут стоишь, а ты хотя б стул предложил! Эх ты, голубь! Неопытный, видать, ещё! – и, пододвинув стул, села, положив ногу на ногу.

Потом она опять обвела глазами комнату, посмотрела на раскрытый рояль и сказала:

– А хошь, музыку тебя писать научу? Не хуже будешь, чем Игорь Фёдорович, а? Я ведь у него мно-о-огому научилась – даром што Жар-Птица!

Х. от такой наглости совершенно опешил и пролепетал в ответ что-то вроде того, что он в некотором смысле тоже композитор и...

Но тут Жар-Птица его бесцеремонно перебила:

– Ну, ежели композитор, то сыграй мне чего-нибудь. А то ску-у-ушно мне с тобой как-то стало! А я скуку смерть как не люблю.

Х., в котором как-то странно смешались желание понравиться гостье, доказать ей, что он не хуже её "Игорь Фёдорыча", и желание каким-нибудь образом, но возможно поскорее от неё избавиться, сел за рояль и начал играть, краешком глаза следя за реакцией гостьи. Но ничего, кроме качания туфелькой – вроде бы в ритме музыки – и тихого мычания он не заметил. То ли она подпевала мелодии, то ли что-то своё озвучивала – понять было трудно.

Внезапно Жар-Птица слегка зевнула и сказала: А ничего, хорошо, нравится мне даже. А всё ж до Игорь Фёдорыча... – она не договорила.

Х. почувствовал, что если он ещё раз услышит про Игорь Фёдорыча, он схватит первую попавшуюся из лежащих на рояле партитур и даст своей гостье этой партитурой по голове. Он перевёл глаза на то место, где лежали партитуры и увидел, что сверху лежала "Весна священная" – вполне подходящий по увесистости том.

Жар-Птица, как будто что-то почувствовав, сказала вдруг мирным тоном: Ну это ты чего? Никак обиделся? Поскучнел сразу. Экие вы все, композиторы: одному то не скажи, другому это. Ну хошь, развеселю тебя чем – ну вот даже и станцевать тебе могу. А?

– Это что, из репертуара Игорь Фёдорыча? – язвительно спросил Х.

– Да оставь ты Игорь Фёдорыча в покое! – ответила раздражённо Жар-Птица. – Экие вы все право! Он сам по себе, ты сам по себе. Ну, да ладно – она перевела взгляд на свою туфельку и, помедлив, спросила: Так танцевать мне или чего?.. А то ведь и улететь могу: мне это раз-два, – добавила она обиженно.

– Да, да, потанцуйте, конечно, – ответил Х., которому стало вдруг неудобно за свой тон, а особенно за только что возникшее желание прихлопнуть гостью "Весной священной". – Конечно. Буду очень рад.

– Ну што ж, рад так рад, – сказала Жар-Птица, которой, по всему видно, очень хотелось себя показать. – А подыграть мне сможешь?

Не дожидаясь ответа, она встала со стула и попыталась отодвинуть его ногой в сторону, чтобы не мешал. Х. подскочил, взял стул, поставил его на место – и тут впервые увидел лицо своей гостьи так близко.

Чёрт побери: она была на диво хороша! Особенно прекрасны были огромные зелёные, опушённые длинными ресницами глаза. И надо же было ей уродиться Жар-Птицей!

– Ну спасибо голубь. Услужил, – сказала Жар-Птица, от которой не укрылось произведённое ею впечатление. – А то всё сидишь, сидишь. И давай начнём, пожалуй, а то время вроде, – она посмотрела на стенные часы, – к заходу солнца идёт. А я после захода не танцую.

Х. сел за рояль – и тут началось!

Жар-Птица вдруг взметнулась ввысь и распустила хвост, сверкнувший в лучах проникавшего в комнату солнца тысячько изумрудов, потом, медленно опустившись на пол, повела плечами и поплыла, почти не касаясь пола, потом закрутилась с возрастающей быстротой, при каждом движении открывая всё новую и новую игру красок.

Х., в первые секунды ошеломлённый бешеным темпом, быстро нащупал ритм и с удовольствием увидел, что его музыка поспевает за этими волшебными превращениями и сменой красок.

Внезапно Жар-Птица остановилась, как будто в ней кончился какой-то завод, опёрлась, переводя дух, о крышку рояля и сказала: Хух-х-х, утомилась я! Мне б лимонаду сейчас – у тебя нету, небось?

– Есть, вот лимонад как раз есть, сию минуту принесу. Тепловатый, правда, – ответил поспешно Х., ещё под впечатлением танца и своей внезапно возникшей музыки.

Он принёс бутылку лимонада, два стакана, искал, куда это всё поставить, не нашёл, поставил один стакан на рояль, а в другой, глядя Жар-Птице в глаза, стал наливать из бутылки лимонад.

– Ты гляди не пролей, голубь, – медленно произнесла Жар-Птица и усмехнулась, – а то жена заругает. Или не женат ещё? – тон её сделался каким-то уж совсем вызывающим.

Но странно: на этот раз ни "голубь", ни эта раскованная, вызывающая усмешечка гости не казались уже Х. неприятными. Наоборот, всё, каким-то образом объединившись с его только что отзвучавшей музыкой и с танцем Жар-Птицы, вдруг составилось в одну гармоничную картину.

Нет, нет, свою новую музыку он, конечно, не забудет: музыкальной памятью его точно бог не обидел.

Но ему вдруг захотелось, чтобы его гостя осталась бы подольше – со всеми её странностями, с этим самым "голубем" и даже с "Игорь Фёдоровичем". Будет жаль, если она сейчас уйдёт – ну, или улетит – не всё ли равно. А на то, кажется, похоже...

Видимо мысли эти отразились-таки на выражении его лица, потому что Жар-Птица вдруг спросила: Ну чего это ты опять поскучнел, а? Ну, улыбнись же, улыбнись, чего там? Польза, што ли, тебе какая от печали? ...Играть, однако, ты мастак. Это уж точно, – добавила она без всякого перехода. – И под музыку твою мне хорошо танцевалось. Ну ка, давай ещё раз!

Она протанцевала ещё, а потом ещё раз, показывая всё новые и новые пируэты – то бешено вертясь, то подлетая к потолку и внезапно на лету распушивая хвост, то вдруг почти застывая в каком-то трансе. Потом, так же как и в первый раз, она внезапно прервала танец, облокотилась о крышку рояля и совершенно обессиленным голосом сказала:

– Ну всё, голубь, уходилась я. А и тебе отдохнуть надо – сколько музыки насочинял! Голова-то своя, не казённая, её беречь надо. Я постою вот так – ну, или лучше стул мне дай, посижу, в себя приду. А потом, – она усмехнулась и посмотрела Х. прямо в глаза, – мне назад лететь надо.

– Может быть, останетесь? – нерешительно произнёс Х., совершенно выведенный из себя этим взглядом, раздираясь между желанием, чтобы гостя не уходила, и желанием немедленно записать только что возникшую музыку. – Может быть, в самом деле останетесь? – повторил он неуверенно.

Угу, – произнесла Жар-Птица с прежней лёгкой развязностью в тоне, – может, ещё с женой познакомишь. То-то она обрадуется!.. Или – чего это я? – ты ж вроде и не женатый ещё. Ну, женатый-неженатый – это мне без разницы. – Она помедлила. – Нет уж, милый, мне лететь надо, а тебе здесь оставаться.

Она встала со стула, лёгким движением расправила крылья, потом медленно отделилась от пола и не то, чтобы вспрыгнув, а как-то всплыв вверх, перепорхнула на подоконник и уже оттуда сказала:

– А ты того... ничего... хорошую для меня музыку сочинил. Пожалуй, получше Игорь Фёдорыча будешь. – И, чуть помедлив, добавила: А уж покрасивей и подобрее точно. Прощай, голубь, не поминай лихом. Может, когда и прилечу к тебе.

С этими словами она взмахнула крыльями и исчезла, как будто её никогда и не было.

В комнате остался запах каких-то тонких духов – впрочем, может быть, это Х., в душе которого ещё колыхался взгляд опущенных длинными ресницами зелёных глаз, только показалось.

Но так или иначе – он был свободен и мог записать свою только что возникшую музыку – чёрт возьми, он действительно помнил её от первой до последней ноты!

Он медленно подошёл к столу, сел и стал записывать.

– Ну и странная же история! И что это за "Три Танца Жар-Птицы" за такие, откуда их автор выкопал? Ни у какого Х. этих самых танцев Жар-Птицы и в помине нет.

..Впрочем, некоторые говорят, будто бы это вовсе даже и не "Три Танца Жар-Птицы" какого-то неизвестного Х., а "Три фантастических... – И слышать не желаю!

– Ну, как знаете...



Рахель Торпусман

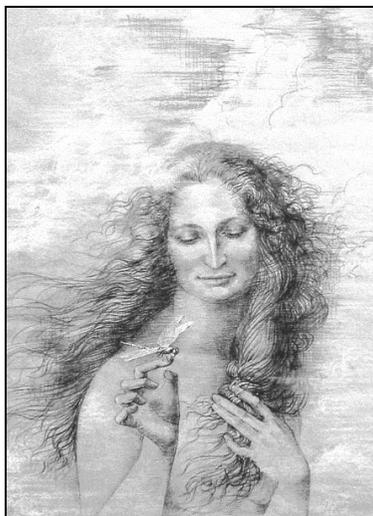
Переводы плюс

Памяти М.Л. Гаспарова

**В оформлении использованы работы
художника Зелия Смехова**



С ФРАНЦУЗСКОГО



Поль Верлен

(1844-1896)

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ



Ловись музыки гипнозу,
Найди нечетный, легкий ритм,
Который в воздухе парит
Без всякой тяжести и позы.

Не ставь перед собою цель
Не сделать ни одной ошибки:
Пусть точное сольется с зыбким,
Как будто в песне бродит хмель! –
Так блещет глаз из-за вуали,
Так свет полуденный дрожит,
Так звездный хаос ворожит
Над холодом осенней дали –

И пусть меж зыблющихся строк
Оттенок, а не цвет, мерцает:
О, лишь оттенок обручает
Мечту с мечтой и с флейтой – рог!

Держись подальше от дотошной
Иронии и злых острог:
Слезами плачет небосвод
От лука этой кухни пошлой!

Риторике сверни хребет,
Высокий штиль оставь для оды,
И рифмам не давай свободы:
Они приносят столько бед!

О, эти рифмы – просто мука!
Какой глухонемой зулус
Наплел нам этих медных бус
С их мелким и фальшивым звуком?

Стихи должны звучать в крови
И на внезапной верной ноте
Взмывать в неведомом полете
В иную высь, к иной любви.

Стихи должны быть авантюрой,
Звенящей в холоде ночном,
Что пахнет мятой и чабром...
Все прочее – литература.

С ИВРИТА



Эли Бар-Яалом

(р. 1968)

СОНЕТ С ПРЕДЫСТОРИЕЙ

Я рассказывал ученикам о великом русском поэте Пушкине, предком которого был юный раб из нынешней Эфиопии, присланный в подарок русскому царю. Не успел я закончить фразу, как один из учеников громко спросил: «Но какой же русский захочет эфиопа в подарок?»

Арапский отрок Ибрагим попал
В турецкий плен, в Стамбуле оказался
И русскому посланнику достался;
Его за тридевять земель послал

Царю Петру в подарок царедворец.
И хоть была дорога далека –
Потомком африканского царька
Стал Пушкин, гениальный стихотворец.

А в нашем богоданном Ханаане,
К несчастью, нет далеких расстояний:
Здесь тесно, каждый каждому – сосед!

Здесь уроженец Северной Европы
В подарок не захочет эфиопа –

Поэтому и Пушкиных здесь нет.
2010

С ГРУЗИНСКОГО



**Акакий Церетели
(1840-1915)
СУЛИКО¹**

Я могилу милой искал –
Но ее нигде не найти!
Безутешно плакал я и повторял:
«Душенька моя, где же ты?»

Роза одиноко росла
Удивительной красоты.
С трепетом сердечным я спросил ее:
«Душенька моя, это ты?»

Спрятался в ветвях соловей –
Там чуть-чуть качались листья.
Ласково спросил я у соловушки:
«Душенька моя, это ты?»

На небе сияла звезда,
Посылая свет с высоты.
В страстном уповании воскликнул я:

¹ Сокращенный песенный вариант. Слово «сулико» – не имя, хотя иногда и используется в качестве имени, но здесь означает просто «душенька».

«Душенька моя, это ты?»

Вдруг мне ветерок прошептал:
«Розой, соловьем и звездой
Стала в этом мире милая твоя,
И она навеки с тобой!»

Вновь открылась жизнь для меня,
Стихла боль, и стало легко,
Ибо наконец-то я нашел тебя,
Душенька моя, *сулико!*

...В 2002 году я с трепетом позвонила редактору литературного приложения Александру Гольдштейну, представилась и спросила, не заинтересуют ли его мои переводы европейской классики.

– Заинтересуют, – ответил Гольдштейн. – Вас цитирует Гаспаров в «Записях и выписках» – значит, заинтересуют.

– Что вы, – сказала я, – там про меня всего полфразы.

– Полфразы от Гаспарова – это рекомендация, – строго ответил Гольдштейн. – Присылайте переводы.

В следующем разговоре Гольдштейн сказал:

– Обязательно напечатаем, но одних переводов недостаточно. Нужна статья о них. Пишите статью.

– Чукча не писатель, – взмолилась я, – чукча переводчик!

– А я – чукча-редактор, – ответил Гольдштейн, – и я требую, чтобы вы это написали.

Статья была написана и опубликована 13 февраля 2003 года вместе с переводами из Байрона, Верлена, Малларме и еще нескольких поэтов.

...А.Л. Гольдштейн, критик и писатель, ухитрившийся получить за одну и ту же книгу и премию «Букер» и «Антибукер», – увы, умер в 48 лет в 2006 году, всего на год пережив Гаспарова.

19.04.03

Дорогая коллега,

спасибо за радость, доставленную страницей Ваших переводов <...> И Малларме, и Верлен получились замечательно – прощаю Вам за это даже то, что Верлен сделан 4-ст. ямбом, хотя все стихотворение написано им ради нечетного 9-сложника. <...> Шекспир хорошо взял планку, поставленную прежними переводчиками, но боюсь, что все же ни сантиметром выше: есть такие истоптанные тексты, от которых трудно даже отталкиваться.

А Байрон получился сантиметром выше. Я очень рад был прочитать Ваше заявление, что лучше переводить уже переведенное. Думаю, что это не для всех: одни в таких случаях стараются «пусть хуже, да по-своему», а другие молча обирают своих предшественников: о классике советского перевода <...> С.Апт со сдержанным чувством говорил: «он переводил только переведенное». Но у нас с Вами, вероятно, похожее чувство меры, и я этому радуюсь. Спасибо за добрые слова в статье: я никогда никого не учил, но здесь готов считаться учителем: своими учителями (в науке) я считаю Б.Ярхо и Б.Томашевского, которых никогда в глаза не видел, и поэтому мне приятно вообразить, что заочное ученичество – самое честное. <...>

Всегда Ваш М.Г.

"Если вы книгоиздатель, может быть, вас заинтересует предложение Рахели Торпусман. Она хочет передать издателю права на книгу "Переводы плюс", в обмен на часть тиража. В этой книге - ее переводы поэзии с десяти языков (и отдельный раздел "С подстрочника"), изящные иллюстрации Зелия Смехова к каждому разделу, мемуары и филологические анекдоты. Книга посвящена памяти замечательного филолога и переводчика М.Л. Гаспарова и содержит также два его письма автору, ранее не публиковавшиеся".



Илья Корман

В строку упала звёздочка

Необычная цензура



«**М**ушкинская ясность» стала общим местом. Бывает, её усматривают и там, где она под вопросом, где вместо неё – проблема.

Например, берут фразу «Гости съезжались на дачу» и начинают говорить ей комплименты: краткая, ясная, выразительная, разом вводит в курс дела. Что ж, комплименты не лгут. Пока не открыт первоисточник.

Подлинная фраза все комплименты ставит под сомнение. Её затруднительно произнести вслух. Она наводит на мысль о цензуре. Она содержит проблему. Короче говоря, подлинная фраза такова:

«Гости съезжались на дачу ***».

Подобными цензурованными фразами пушкинская проза буквально пестрит:

«В одно из первых чисел апреля 181... года».

«Мы стояли в местечке ***».

«Мы проводили вечер на даче у княгини Д.».

«Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил».

Похоже, что Пушкин первым ввёл в русскую прозу цензурование.

Пушкинскую эстафету подхватили и понесли дальше.

Гоголь, «Мёртвые души»: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала...»

Тургенев, «Дворянское гнездо»: «Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О...»

Достоевский, «Идиот»: «В Петербург пожаловал из Москвы один князь, князь Щ., известный, впрочем, человек».

«Бесы»: «... все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы».

Попробуйте-ка, вслед за Шигалевым, произнести вслух, в присутствии двадцати человек:

«187... года»

– да так, чтобы никому и в голову не пришло, что вы произнесли нечто несурзное. Ясно, что Шигалев назвал номер года полностью. Ясно, что Хроникёр (молодой человек, от лица которого ведётся повествование), у которого нет никаких причин брать на себя роль цензора, честно воспроизвёл то, что сказал Шигалев. Но тогда кто же он, этот невидимый цензор, заменивший последнюю цифру года – многоточием?

Примеры можно приводить без конца: русская классическая литература пестрит прочерками, отточиями, звёздочками, сокращениями и прочими следами цензуры – но не той привычной, исходящей от власти и рифмующейся с дурой, а какой-то иной, *внутренней*, в причинах появления и принципах действия которой хотелось бы разобраться.

Что именно цензуруется?

Прежде всего отметим три обстоятельства:

Цензуре могут подвергаться тексты (фрагменты), принадлежащие

а) герою-персонажу (Шигалев, Иволгин и т.д.). Цензуруемый фрагмент может быть речью героя-персонажа (прямой или несобственно-прямой или ещё какой-нибудь), а может – отрывком из его дневника или письма ... и т.д. и т.п.

б) герою-рассказчику (Хроникёр) – то есть, герою, от лица которого ведётся повествование. И опять-таки фрагмент может быть речью, а может – дневником...

в) безличному повествователю. О таких фрагментах часто говорят: «авторский текст». (Строго говоря, безличный повествователь не равен автору, но сейчас для нас это не существенно).

Над ними (как бы *над* их сознаниями, невидимое ими) располагается цензующее сознание. Оно их «видит», но они его «не видят». Они «не знают», что их тексты цензуются. Цензующее сознание – сознание высокого уровня.

Цензуются три вида объектов (если не считать редких и малоинтересных исключений):

а) имена людей (имена в широком смысле, включая сюда фамилии и т.д.),

б) географическо-топографические наименования: губернии, уезды, города, улицы, монастыри и т.д. – словом, пространственные объекты (топонимы),

в) номерá годов.

Другие временные объекты – время года/суток, день недели, месяц, сезон – почти никогда не цензуруются.

Объекты первых двух пунктов можно назвать кратко: имена собственные. Объекты последних двух: хронотопические.

Указанные три вида объектов цензуруются далеко не всегда. Но они составляют три группы риска. Никакой объект не может быть цензуран, если он не входит в одну из этих трёх групп.

То, что «не переводится»

Почему же цензуруются именно эти три вида объектов? Чтобы это понять, рассмотрим следующую абстрактную ситуацию: некий художественный текст, созданный в стране А на языке М, нужно перевести для читателей страны Б на язык Н. В странах А и Б разные системы летосчисления, но внутреннее строение года одинаковое: 12 месяцев с теми же (или с переводимыми) названиями (например, украинский *березень* соответствует русскому *марту*), четыре времени года, семь дней недели и т.д.

При переводе надо учитывать два обстоятельства:

Имена людей и географические названия (короче, имена собственные), как известно, «не переводятся».

О годах. Разумеется, существует формула пересчёта номера года из одной системы летосчисления в другую. Но текст, мы сказали, художественный. Поэтому пользоваться формулой внутри текста нельзя (а в сносках, в примечаниях – пожалуйста), во избежание

а) стилистической безвкусицы. Представим себе, что «Тихий Дон» переведён на арабский язык, причём номера годов «переведены», пересчитаны из христианского летосчисления в «мусульманское» - то есть, года отсчитываются «от Хиджры»;

б) логического абсурда. Если исторический роман описывает далёкую эпоху, то легко себе представить такую реплику героя: «пусть наши внуки, году этак в двести тридцатом до нашей эры, вспомнят...»

Иными словами: номера годов не переводятся!

Таким образом, оказывается, что цензующее сознание может цензурировать только те объекты, которые «не переводятся», то есть являются сущностной характеристикой данного хронотопа, иными словами – хронотопическими объектами. Поэтому цензующее сознание будем в дальнейшем называть хронотопическим сознанием – ХС.

Но почему же из всех временных объектов цензуруется только номер года? Почему именно он «не переводится»?

Это связано с особой структурой художественного времени, которую мы назвали бы линейно-круговой. Представим себе ось лет с насечками годов. На ось насажены круги (годы) – каждый на свою насечку. Каждый круг разделён радиусами на четыре сектора (времени года), каждое время года – на три месяца, и т.д. – вплоть до суток. Пока движение времени совершается в пределах годового круга (как бы циферблата), всё в порядке, но при переходе к следующему кругу (то есть, при сдвиге по оси лет) могут происходить самые удивительные вещи, как это будет показано ниже. Как правило, эти удивительные вещи происходят тогда, когда номер года цензурован или вообще не указан и, вследствие этого, непонятно, в каком месте оси находится текущий круг и какой круг является следующим.

Ось является элементом «внешнего» мира, вот почему номера годов (насечки) образуют группу риска и могут цензоваться. А вот внутренние элементы кругов сохраняют по отношению к оси некоторую автономность, они как бы не являются элементами внешнего мира, в группу риска не входят и, стало быть, не цензуются.

Марсианские города и русская литература

А зачем вообще нужно цензурование? Когда оно применяется? Если воображением писателя создан самодостаточный художественный мир, наподобие сверкающих городов Александра Грина или марсианских городов Брэдбери, то цензурования, скорее всего, не будет. Если же, наоборот, речь идёт о тексте, в котором «всё правда» – например, о путевом очерке – то опять-таки в цензуровании нет нужды, разве что по внелитературным соображениям.

Нужда в цензуровании возникает в двух случаях:

Там, где художественный текст обильно использует имена объектов «реального» мира – и в то же время претендует на автономность по отношению к нему.

Там, где герой по каким-либо причинам чужд своему хронотопу (точнее, его обитателям). То есть он является, по сути, элементом внешнего, «реального» мира. А раз так, то мы оказываемся в условиях п.1.

Почему столь много следов цензурования именно в русской литературе XIX века? Потому что она присвоила себе особый социальный статус. С одной стороны, она не хотела замыкаться в башне из слоновой кости, она хотела «быть с

народом» – что, в частности, означает: обильно использовать имена «реальных» хромотопических объектов. С другой стороны, будучи великой литературой, она хотела таковой оставаться, не опускаясь до очеркистики, а это означает: творить собственный художественный мир.

Сочетание этих разнонаправленных тенденций и вызвало столь острую потребность в цензуровании.

Цензурование и жанр

Полоска бумаги между названием текста и его первой фразой притягивает к себе, как магнитом, разные сознания, не всегда имеющие прямое отношение к тексту. Здесь можно встретить: - посвящение,

- эпиграф,

- благодарность лицам, без помощи которых книга не вышла бы в свет,

- предупреждение о случайности возможных совпадений имён героев с именами реальных лиц и т.д. и т.п.

В «Братьях Карамазовых», например, имеем:

- указатель жанра: «Роман в четырех частях с эпилогом»,

- посвящение: «Посвящается Анне Григорьевне Достоевской»,

- эпиграф из Евангелия,

- предисловие «От автора».

Из всех этих и подобных сознаний нас будет интересовать одно: указатель жанра. Указатель жанра и цензурование очень тесно связаны, поскольку отношения текста с «реальностью» регулируются его жанром и потребность в цензуровании различна в текстах различных жанров.

Рассмотрим два примера. Есть у Достоевского вещь, которая называется «Дядюшкин сон». В подзаголовке присутствует указатель жанра: «Из Мордасовских летописей». Ну, если это летопись, то имена героев цензурованы не будут, ибо летописный жанр цензурования не допускает. Но, с другой стороны, это *Мордасовская* летопись, а один из персонажей – князь – чужд мордасовцам: во-первых, он не живёт в Мордасове (он приезжий); во-вторых, он эксцентричен. Поэтому его имя – и только оно одно – будет, в виде исключения, цензуровано.

А если указатель жанра «Маленького героя» гласит: «Из неизвестных мемуаров», то будут цензурованы имена всех героев (кроме клички лошади), ибо мемуарный жанр вообще, а в деликатной сфере душевных увлечений особенно, предоставляет

«мемуаристу» полную свободу манёвра: какие имена, места и даты сочту нужным цензурировать, те и цензую.

Иногда указатель жанра оказывается выше верхней границы вышеупомянутой полоски бумаги, а именно – в названии текста: «Трёхгрошовый роман», «Сага о Форсайтах», «Легенда об Уленшпигеле», «Рассказ о семи повешенных», «Хроника времён Виктора Подгурского», «Поэма горы».

Разумеется, следует иметь в виду, что на клетке слона может оказаться надпись «Буйвол». Гоголь назвал «Мёртвые души» поэмой. У Галича неправильный, провокационный указатель жанра – сознательный приём: «Баллада о прибавочной стоимости», «Командировочная пастораль» и т.п.

Если указатель жанра отсутствует либо малоинформативен («роман в стольких-то частях»), то он может свои функции влияния на текст передать первой фразе (изредка второй). «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».

Фраза поразительно информативна, и не случайно занимает весь первый абзац, не желая делить его со второй.

Устанавливается режим цензурования имён топографических объектов («в С-м переулке», «к К-ну мосту»).

На какую улицу вышел молодой человек? У неё нет названия, нет имени. Случай умолчания (замалчивания, сокрытия) – см. ниже.

Указаны время суток и месяц (а месяцем определяется и время года), но не указан год – об этой тенденции мы уже говорили. Это тоже умолчание.

Это то, что касается *хронотопических* характеристик. Но ими информативность первой фразы отнюдь не исчерпана. Можно продолжить:

«Каморка», «нанимал», «от жильцов», «переулочек» определяют социальное положение Раскольниковова – и, тем самым, *социальное пространство* романа. Раскольников бродит по кварталам бедности и порока, ибо это предписано первой фразой. Стоит ему нарушить предписание и оказаться на Островах, в зоне благополучия и довольства, как его постигает наказание – мучительный, страшный сон о забитой кляче.

Задан температурно-погодный режим: «в чрезвычайно жаркое время» – важнейшая характеристика хронотопа. От «чрезвычайно жаркого времени» один шаг до духоты, до обморока, болезни, мучительных снов...

Короче говоря, первая фраза способна устанавливать как пространственно-временные, так и иные режимы функционирования хронотопа, его характеристики. (Вот, по-видимому, в чём разгадка того особого, благоговейного, почти мистического отношения к первой фразе, которое распространено среди писателей).

Ставим заплаты

Цензурование – самая наглядная и самая, так сказать, грубая, примитивная функция ХС. Но ХС умеет действовать более тонко.

Дана фраза, содержащая имя хронотопического объекта. Требуется это имя скрыть, не прибегая к цензурованию и с минимальным вмешательством во фразу. Просто выбросить имя недостаточно: пострадает грамматическая структура фразы, пострадает семантика. И тогда вместо имени ставится заплата, трудно отличимая – «по цвету и фактуре» – от окружающего текста. Приведём пару примеров из «Бесов»:

«Отечественной гувернантке *здеших мест* от поэта с праздника». *Здеших мест* – это заплата, чью «фактуру» (стиль) трудно отличить от стиля Лебядкина и Липутина (цитата взята из текста, ими сочинённого). Вместо *здеших мест* должно было бы стоять имя (название) уезда или губернии.

«о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кой-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием *здешего города*» – фактура (стиль) заплаты имитирует стиль Петра Верховенского. Между прочим, название города так и останется скрытым до самого конца романа.

Приступаем к описанию самой интересной, самой важной функции ХС. Благодаря ХС, имена хронотопических объектов и сами объекты способны влиять друг на друга. Если необходимо, для реализации влияния ХС строит сюжеты (каналы влияния).

У Г.Гессе в «Степном волке» Гермина предлагает Гарри угадать её имя, и тот довольно легко угадывает. Имя срастается с объектом. Зная одно, можно угадать другое.

«Разве можно жить с фамилией Фердыщенко?» – спрашивает Фердыщенко князя. Жить можно, но, нося шутовскую фамилию, приходится и самому быть шутом. А сам князь: разве случайно, что он «идиот» и эпилептик? Нет, в этом виноваты его имя и фамилия, образующие недопустимый оксюморон: Лев Мышкин.

У Мармеладова («Преступление и наказание») жизнь горькая, потому что фамилия сладкая. «Капернауум портной» хром, косноязычен и нищ, и это расплата за гордыню его фамилии: «И ты, Капернауум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». У Пселдонимова («Скверный анекдот») длинный горбатый нос из-за «неправильной» буквы в фамилии.

Для того чтобы имя влияло на объект, совсем не обязательно, чтобы объект был человеком. Если в «Бесах» улицу назвали Богоявленской, то как же ей не тонуть в грязи? Если церковь назвали «Рождества богородицы» и в обоих этих словах есть корень «род», «рождать», то икону богоматери не просто ограбят, но впустят за стекло живую мышь – символ разврата и надругательства над сферой деторождения (мышь как символ разврата – см. сны Свидригайлова в «Преступлении и наказании»). В первом сне Свидригайлов видит мышь, во втором и третьем тема разврата звучит уже отчётливо).

Имя объекта может влиять и на другой объект – обычно через его имя, но иногда непосредственно, как в «Хозяйке», где фамилия главного героя (Ордынов) определила национальность персонажа, не имеющего имени (татарин).

Фамилия Настасьи Филипповны – Барашкова. Значит, её зарежут. Кто зарежет? Ну, конечно, Рогожин, с его колючей фамилией. Между именами Рогожин – Барашкова возникает силовое поле, ведутся разговоры об убийце с бритвой, о ноже, нож материализуется – и в конце концов происходит убийство.

Можно, конечно, рассуждать и по-другому: фамилия Настасьи Филипповны – Барашкова. Значит, её съедят. Кто съест? Ну, конечно, князь, ибо его имя – Лев. И действительно, именно после встречи с князем Настасья Филипповна начинает метаться между ним и Рогожиным, и эти метания приводят её к гибели.

Объединяя эти два рассуждения, приходим к выводу: фабула романа определяется треугольным взаимодействием имён Рогожин – Барашкова – Лев.

Почему в «Бесах» толпа забивает насмерть Лизу? По двум причинам. Во-первых, с лёгкой руки Карамзина имя «Лиза» стало страдательным («Бедная Лиза»). Во-вторых, отчество Лизы, Николаевна, является именем Ставрогина, «быть может, непримиримейшего ее врага» – как же можно с такими двумя именами остаться в живых?

Умирает Лиза Труссоцкая («Вечный муж»), умирает Лизавета Смердящая, Лизавету-торговку убивают топором, Лизу в «Записках из подполья» жестоко оскорбляют, трагична судьба Лизы Долгорукой («Подросток»), в «Бесах» упоминается

«Лизавета блаженная», которая «... в ограде у нас вделана, в стену, в клетку... и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год». И только у Лизаветы Прокофьевны (в «Идиоте») судьба относительно благополучна. Дело в том, что – в силу её возраста и социального статуса – её имя всегда сопровождается отчеством. А имя Прокофий (Прокопий) – устойчивое, оно даёт ей поддержку.

Собственно говоря, у Лизы Долгорукой тоже есть отчество – Макаровна, но имя Макар – неустойчивое, ведь Макар Иванович – странник (а странник он потому, что некий другой Макар гонял куда-то телят: перемещался, странствовал). Тем не менее некоторую поддержку оно всё же даёт, и потому судьба Лизы Долгорукой предпочтительнее, например, судьбы Лизы «Записок из подполья».

Слово «раскол» в его первичном значении, содержащееся в слове «Раскольников», определило выбор орудия преступления: топор. Кого же убьёт Раскольников? Конечно, Лизавету, так как её имя – страдательное. Причём убьёт ударом *раскола*, то есть лезвием, а не обухом. Ударом раскола, ибо именно такой удар «заложен в его фамилии». Старуху же Алену Ивановну он убьёт *обухом*, то есть как бы неправильно. И потому: «Ни за что, ни за что не прошу старушонке!».

Но на этом стоит остановиться подробнее.

Открытая дверь

Фамилия «Раскольников» и имя «Алёна» очень плохо сочетаются друг с другом. И потому: старуха, недоверчивая и подозрительная, не хочет открывать Раскольникову. Тому приходится звонить трижды, да ещё и применяя хитрость: «Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь снаружи, прислушивался, притаясь изнутри и, кажется, тоже приложив ухо к двери...

Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтоб и виду не подать, что прячется; потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения».

И после всех этих ухищрений: «Дверь, как и тогда, отворилась на крохотную щелочку, и опять два вострые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты».

Удары наносятся «неправильно»: во-первых, *сзади*; во-вторых, *обухом*.

Из-за этой «неправильности» мысль о старухе не оставляет Раскольникова и мучает его и после убийства (причём эта мучительность не имеет ничего общего с раскаянием). «О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы, другой раз убил, если

б очнулась!»). Во сне Раскольников снова приходит убивать старуху, и снова удары наносятся «неправильно», и вообще всё происходит неправильно: «Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: «боится!» – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой (очевидно, обухом – *И.К.*). Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная... Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота».

С другой стороны, с Лизаветой всё произошло «правильно»: дверь была открыта, и Лизавета вошла беспрепятственно, и Раскольников выбежал ей навстречу и нанёс удар *спереди и остриём* – «открыто и честно». И потому он о ней больше и не думает: «Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!.. Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал?» Взаимное влечение имён «Раскольников» и «Лизавета» определило «правильность» убийства Лизаветы и «неправильность» – Алёны.

Королевские годы

В гоголевских «Записках сумасшедшего» есть внутренний календарь, ибо «Записки» – это дневник. Дневник состоит из записей, а каждая запись – из двух частей: датировки и основного текста.

Сумасшествие Поприщина проявляется в первой же записи, но – лишь в основном тексте (Поприщин слышит разговор двух собачек). Датировка же этой записи совершенно нормальная: «Октября 3.» Правда, обращает на себя внимание, что в датировке отсутствует год, но пока что из этого нельзя ничего заключить.

Такая же ситуация и в десяти следующих записях: сумасшествие в основном тексте, в датировках же отсутствует сумасшествие и отсутствует год.

Итак, одиннадцать записей. Между прочим, десятая и одиннадцатая уже относятся к декабрю. Приближается Новый год, а с ним – переход на следующий годовой круг. Но что значит «следующий», если неизвестен текущий?

И в этот момент сумасшествие Поприщина делает качественный скачок, причём двойной. В основном тексте Поприщин провозглашает себя королём Испании. В датировке же впервые появляется номер года, но – в сумасшедшем оформлении:

«Год 2000 апреля 43 числа.» Таким образом, сумасшествие появляется в датировке *вместе с номером года*.

Однажды проникнув в датировку, сумасшествие уже оттуда не уходит. Но внутри сумасшествия бьётся пытливая мысль: все сумасшедшие датировки суть *эксперименты со временем*, наподобие тех, что в XX веке проводили писатели-фантасты. Например, «Январь того же года, случившийся после февраля» – это нечто вроде «петли времени».

Но по закону дневникового жанра для датировки отводится всего несколько слов. Много ли наэкспериментируешь в нескольких словах?

Поэтому разнообразие сумасшедших датировок быстро исчерпывается: если пятая сумасшедшая датировка гласит: «Числа 1-го.», то уже восьмая повторяет её структуру: «Число 25.».

Ну, раз начались повторы, то надо кончать. И следующая – девятая – с сумасшедшей датировкой запись оказывается последней. В ней сумасшествие снова делает скачок, опять-таки двойной, но на сей раз разнонаправленный: в основном тексте скачок назад, к нормальной и даже проникновенной человеческой речи, в датировке же скачок в прежнем сумасшедшем направлении – к распаду речи.

Но и в распадающейся речи есть кое-какой смысл. Например, слово «года» приняло китаизированную (ведь Испания есть Китай) форму «гдао». Но гораздо важнее другое: в датировке опять присутствует номер года. Пусть совершенно несуразный, но присутствует!

А отсюда следует, что сумасшествие Поприщина делает скачок в тех (и только в тех) записях, у которых в датировке присутствует номер года (новый, прежде не встречавшийся). Иными словами, «градус сумасшествия» меняется *при сдвиге по оси лет*.

Красивая хронология Йоханнеса

Интересно сопоставить хронологию «Записок сумасшедшего» с хронологией романа С.Кьеркегора «Дневник обольстителя». Малокультурный Поприщин, с его речевой неряшливостью и эстетической глухотой, не нашёл ничего лучшего, как начать «Записки» в конце года: 3 октября. Тем самым он обрёл себя на приближение к опасной радиальной черте годового круга, отделяющей 31 декабря от 1 января – черте, пересечение которой означает *сдвиг по оси лет*.

Йоханнес, в отличие от Поприщина, человек высокой, изощрённой словесной культуры, чутко и жадно воспринимающий окружающий мир, причём воспринимающий эстетически.

Посмотрите, как красиво, как симметрично ложится временной сектор «Дневника» на годовой круг: дневник начат 4 апреля, окончен 25 сентября. То есть от начала года (номер которого, кстати, не указан) до первой записи прошло *3 месяца плюс 4 дня*, а от последней записи до конца года – *3 месяца плюс 5 дней*. Смысл этой симметричности очевиден: временной сектор «Дневника» максимально удалён от опасной радиальной черты.

Абстрактная хронология Йозефа К.

У Кафки в «Процессе» нет, казалось бы, никакого календаря. Нет ни года, ни месяцев, ни чисел.

Да, но хронология всё-таки есть. Ну, например, вот такой указатель: «К. сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу». Или другой, сходный с первым: «Всю следующую неделю К. изо дня в день ожидал нового вызова...». Есть и другие, не столь вразумительные, указатели – скажем, такой: «Однажды, к концу дня...». Что значит «однажды»? Где располагается оно – относительно других указателей?

Но при всей нечёткости, зыбкости этих *внутренних* указателей, этих взаимных отсылок – надо признать, что все они заключены в жёсткую *внешнюю* рамку, которая уже ни от каких случайностей не зависит и ничем не может быть поколеблена. Эта рамка образована двумя *внешними* указателями. Первый определяет *начало* романного действия: Йозеф К. арестован в день своего рождения, своего тридцатилетия. Второй определяет *конец* романного действия: Йозеф К. казнён *накануне следующего дня рождения*.

Почему же накануне, а не в самый день рождения? – ведь в день рождения было бы интереснее, зрелищнее, драматичнее?

Потому что в таком случае день рождения был бы на годовом круге отмечен дважды, а это означало бы, что начался *новый* круг – и что произошёл, стало быть, *сдвиг по оси лет*. А при таком сдвиге могут происходить, как мы это видели у Гоголя, разные нехорошие вещи. И потому – *накануне*. Стало быть, отмечены все дни года, и каждый – ровно один раз. Годовой круг завершён, а перехода на другой круг удалось избежать.

Красота и геометрическая «целостность», завершённость этого временного (кругового) «пирога» не уступают красоте симметричного размещения секторального пирога Йоханнеса.

Смерть в Галиции

Герой повести Бёлля «Поезд прибывает по расписанию» предчувствует, что будет убит партизанами. Он читает на карте

названия городов предстоящего ему маршрута – и по звучанию, по «вкусу» каждого названия определяет, будет ли ещё жив в этом городе. Таким способом он находит два соседних (на карте) города, до первого из которых он доедет, а до второго – уже нет. Значит, его убьют между этими городами.

Но почему событие убийства никак не отражено на карте? Там, между этими городами, должен быть ещё один. И действительно, между ними оказывается город, которого нет на карте; город, имя которого – убивает.

«Андреас медленно пробирался по темному вагону, как вдруг слово «скоро» пронзило его, подобно пуле: оно прошло сквозь его плоть, ткани, клетки, нервы».

«Краков» – вдруг возникло у него в мозгу, и сердце на секунду остановилось, будто сосуды стянуло жгутом и кровь прекратила свой бег!.. Краков! Нет, не то. Дальше. Пшемысль. Нет, не то. Львов. Нет, не то! Тогда он пустился бешеным аллюром: Черновицы, Яссы, Кишинев, Никополь! Но при слове «Никополь» ему стало ясно, что для него это мыльный пузырь, такой же, как фраза: «Я поступлю в университет». Никогда, никогда он не увидит Никополь! Теперь он возвратился назад: Яссы! Нет, и Яссы он уже не увидит. И Черновицы тоже не увидит. Львов! Львов он еще увидит, во Львов он прибудет живым. Я помешался, думал он, сошел с ума. Неужели я погибну где-то между Львовом и Черновицами?!»

«Что это за неведомый перегон между Львовом и Черновицами? ... все пространство между Львовом и Черновицами для него белое пятно. Кажется, это пространство называют Галицией... И где-то в тех местах Волинь; темные, угрюмые слова, пахнущие погромами».

«Галиция – темное слово, ужасное слово и все же влекущее. В нем есть что-то напоминающее нож, медленно режущий нож... Галиция...»

«Скоро я умру, думал он, скоро, скоро, и это «скоро» уже не такое расплывчатое, к этому «скоро» я понемногу подбираюсь, уже незаметно ощущал его, обнюхал со всех сторон... Уже знаю, что умру в ночь с субботы на воскресенье между Львовом и Черновицами... В Галиции... в Восточной Галиции – в самом низу карты».

«В слове «Галиция» – кровь, потоки крови, стекающие с ножа. «Буковина» – совсем другое дело, думал он, это слово добротное и надежное. Я умру не в Буковине, а в Галиции, в Восточной Галиции».

«В воскресенье утром между Львовом и Коломыей... Вот и Черновицы уже ушли куда-то далеко-далеко, так же далеко, как Никополь и Кишинев. Понятие «скоро» ещё больше ждалось, ждалось почти до предела. Всего два дня. Львов, Коломыя».

«Нет, рассвета уже не будет, будет тьма кромешная. Вот как! Совершенно точно! Это случится без четверти шесть, в воскресенье утром... между Львовом и... надо посмотреть, какой город находится в сорока километрах за Львовом».

«Какой город, – спросил он неожиданно, – какой город находится в сорока километрах за Львовом по дороге... по дороге в Черновицы?..

– Стрый, – сказала она».

«Стрый... Стрый... Ужасное название, которое звучит, как черта, как кровавая черта, которую проведут у меня на горле! В Стрые меня убьют».

«Стрый... Слово это засело во мне с самого рождения. Хранилось где-то глубоко-глубоко, неузнанное и неразбуженное...

Стрый... Эти несколько букв, это короткое, ужасное и кровавое слово поднялось из глубин моего существа на поверхность и стало расти, подобно мрачной туче, и вот уже туча закрыла все небо».

Во всём этом не то удивительно, что имя убивает (это мы уже видели у Достоевского), а то, что неизвестный объект можно открыть, вычислить по именам известных объектов. Так астроном открывает невидимую планету по возмущениям в орбитах других, видимых планет.

Имена излучают энергию, пространство между именами заполнено силовыми линиями. По перепадам энергий, по искривлениям силовых линий герой Бёлля открыл город-невидимку.

Война против имён

Итак, имя может обладать энергией, причём огромной (напомним, что именем мы называем не только имя собственное, но и номер года). Правильно обращаться с этой энергией – например, строить сюжеты, реализующие взаимодействие имён – очень сложно, для этого нужна если не гениальность, то высокая степень таланта. Да и гению, как Достоевскому, невозможно управиться с именами всех своих хронотопических объектов.

Чтобы облегчить себе работу с энергией имён, ХС использует следующие приёмы (и их комбинации):

Цензурирование.

Редактирование заплатами.

Выбор невыразительного, «инертного» имени. Например, имя города в «Братьях Карамазовых»: Скотопригоньевск. Обычно невыразительные имена у Гоголя: Канапатьяев, Хорпакин, Акакий Башмачкин.

Замалчивание. «Нос»: «Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена...)». Часто замалчиваются номера годов.

Замалчивание может быть объявленным и необъявленным. Замалчивание номеров годов или названия улицы, на которую вышел молодой человек – необъявленное. Замалчивание фамилии цирюльника – объявленное.

Приведём ещё два примера (из «Шинели») объявленного замалчивания: «В департаменте ... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий... Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество... Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом».

«Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде».

Максимальное оттягивание момента появления имени в тексте. «Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова».

Ньютоновское физическое пространство однородно, его характеристики одинаковы во всех точках. «Ему безразлично», есть в нём материя или нет. Ньютоновское время всюду течёт с одинаковой скоростью. Пространство, время и материя существуют как бы независимо друг от друга.

Эйнштейновское пространство значительно сложнее. Оно искривляется вблизи небесных тел, оно заполнено силовыми линиями самых разных полей: тепло- и радиоизлучения и т.д. Время может течь быстрее или медленнее. В эйнштейновской модели Вселенной пространство, время и материя образуют неразделимое единство.

Чем активнее хронотопическое сознание работает в художественном тексте, тем ближе художественное пространство к эйнштейновскому.

В русской литературе название перехода от ньютоновской модели к эйнштейновской первым уловил Пушкин.

Он первым почувствовал энергию, излучаемую небесными телами (хронотопическими объектами), искривляющую художественное пространство, пронизывающую его силовыми линиями взаимодействий этих небесных тел, делающую его неоднородным, многослойным, многомерным.

Пушкинской светлой и гармоничной натуре эта тенденция была чужда, и он бессознательно боролся с нею, причём самым простым способом – цензурованием. Что есть цензура? Что есть звёздочки, поставленные вместо имени? Это затычка, коей затыкают фонтан энергии, бьющий из имени. «Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил». А если бы вместо этих двух звёздочек стояло имя – кто знает, как бы оно повлияло на другие имена, на судьбы их носителей...

«Что в имени тебе моем?» Нет имени – нет проблемы. Тем не менее, проблема была поставлена, хотя и бессознательно. Пушкинское цензура было замечено и подхвачено. *Сила, таящаяся в именах, косвенно признавалась при их сокрытии.* И, быть может, именно поэтому и именно тогда русская литература стала великой.



Михаил Юдсон

Котлован наизнанку

Владимир Вестер. Отель разбитых сердец¹



перед чтением с урчанием от наслажденья поглощенья – аперитив аннотации. Она мелкой пташечкой тонко передает оттенки текста: «Роман – не совсем фантазмагория, а то и вовсе не фантазмагория. Это, с одной стороны, фантастическая документалистика, а с другой – документальная фантастика. Есть в нем и слезы, и любовь, и кошмар, и надежды, и стрельба, и рок-н-ролл, и кино, и портвейн, и сигареты...» Проза капризна – ее коль начал, надо долго не кончать, и Владимир Вестер владеет ремеслом, вестимо. Да и дар с талантом ходят в обнимку, боянят гармонично.

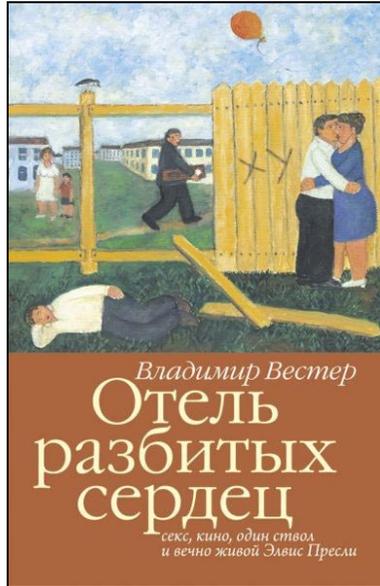
Пространство романа – Москва, город-герой, точнее, героиня книги – «гигантская Москва, никем не понятая до сих пор». Желанная, загадочная... Не зря когда-то один воронежский инженер очертил ее как бабу-девку. Время же действия слегка расплывается, но где-то так наверняка примерно семидесятые прошловековые в разгаре.

Герои наши (о, их аж два!) как раз родились в славном том году, когда дал дуба Лучший Друг детей, отец родной. Лукоморье осиротело, и безвременье без ремня с колючкой, казалось бы, свернулось в свиток – ан великий и могучий народ (в точности по евангелию от Луки Мудищева) продолжал плодиться и размножаться, драть и харить, кирять и квасить, хряпать и бухать – жить себе потихоньку во все лопатки. Разливанное хрущевье нечувствительно сменилось коленвальной брежневкой – это и есть питательная среда обитанья персонажей книги.

Давным-давно жили-были в застойно-застойном Москве-городе друзья-приятели – двадцатилетки Николай Армяков (от его имени слово молвится) и Александр Тьквин. Коля вкалывал на

¹ – М.: Зебра Е, 2012. – 384 с. ISBN 978-5-905629-19-8

стройке помощником геодезиста, с любовью к ближнему таскал по грязи хитрый инструмент астролябию – через звезды к терниям! А Саша был высший партийный школяр, раздолбай-студиозус ВПШ.



Пили ребята дружно и крепко (но не мешая!) портьешок с водкой, закусывали пельменями да шпротами, обменивались шутками-остротами. Бранили, не без того, пресную совковую действительность. Мечтали о прекрасном новом мире, о жизни, брезжущей, брызжущей снаружи, из-за проржавелого занавеса. Глядишь, и выловится рыбка из пруда – золотая шпротина! – и сказка станет былью, и на месте строительного пустыря воздвигнется, как из волшебного блюза Пресли, «Отель разбитых сердец» – огромное фешенебельное здание с множеством шпилей, колонн и горельефов, с висячими зимними садами и сверхскоростными бесшумными лифтами, и будет там девятьсот девяносто девять этажей («А почему не ровно тысяча?» – «Один этаж для отдаленных потомков. Сами достроят»). Короче, по выражению автора, – «вместилище снов, Дом Мечты».

У Андрея Платонова в «Котловане» инженер Прушевский блаженно размышлял, что скоро построят «в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». На три года пожизненной «химии»! Туда, между прочим, всю дорогу грозили сплавить Александра Тыквина, верным кафкианским путем господина К.

У героев Вестера, с их низкопоклонством перед Западом, и труба пониже, и мечты пожиже – прихилил ты, паренек, в Отель разбитых сердец, а там уж ждут Элвис Аарон Пресли и Норма Джин Бейкер (она же Мэрилин Монро), как Дед Мороз со Снегурочкой, и они тебя хватят под руки, и по белой лестнице поведут, глядь, в светлый рай! В утопический капитализм Тыквины, в кока-кольный фаланстер Армякова – где девочки танцуют голые, а дамы в соболях! «И музыка, естественно, танго и рок на всю катушку. Водка по три рубля за один гепталитр и не менее ста двадцати сортов».

Эх, так и вижу этих двух прикольных друзей, Сашу и Колю, в партшколе и дома, в пиршественном застолье (читатель, третьим будешь?) – явственно обоняю стол яств, чутко вслушиваюсь в платоновский их философический диалог – Хармс на Ионеско едет и Беккетом погоняет! «Шпро-тики! – восторженно кричал он, собираясь в самом ближайшем будущем наколоть пару штук на зубья моей алюминиевой вилки. – Вот это да! Вот тебе и мелкая советская рыбешка в тонкой золотистой шкурке! А как в жестяную баночку аккуратно уложены!.. И ведь сколько их там, ни хера не догадаешься! Пока жизнь не проживешь, пока банку нижиком не вскрыешь. Вот задача! На все века! Для всех народов!» И еще у Саши Тыквины была заветная фраза, обращенная к другу Коле: «Не о том, чувак, ты в душном кабаке поешь!» Хотя сроду герой наш нигде не пел, даже по утрам в общем клозете – понятно же, что это о жизни-жестянке поломатой, катящейся не в ту степь.

Кстати, вставлю немного о степени литературного родства. По моим ощущениям, Николай Армяков вышел пусть и не из платоновского моря (инженер Николай Вермо), но возможно выбрался из соплеменного «Котлована» – та же, что у Вощева, «задумчивость среди общего темпа труда», и мельком, помните: «Жачев заставил мужика снять армяк», «Чиклин нашел пропадающий на дороге армяк». Я тут не в том смысле, что пустите поесть-переночевать странноприимно, и что может собственных Платонов – просто читать странно и приятно, прямо в самом начале: «Под утро убедился: опять мне две алюминиевые вилки мыть и оба стакана граненых! А также в том, что надо бы пару раз растянуть резиновый эспандер на заре». Таков зачин романа – и уже прилипаешь, как к золотому гусю, только страницы летят, хлопаешь залпом, влет, текст так устроен – сам течет, заглатывается, а не цедится. И архитектурно книга выстроена отнюдь не самоварно, а вполне золотисто сечется – глав, как положено, двадцать две, хорошее каноническое число, аки

букв в библейском алфавите, из которых Единый, с перебором, создал мир – да в ябл!.. очко!

Юный Николай Владимирович Армяков, пятьдесят третьего года рождения, живущий на третьем этаже пятиэтажки в двенадцатиметровой комнатухе коммунальной квартиры – великий мечтатель. Да, он всего лишь подручный геодезиста с зарплатой семьдесят пять рублей (а портвейн, учтите, по рубль сорок семь, а водка вовсе сакральна – три шестьдесят две), и в жилище у него только скрипящий шкаф, фикус в горшке и бугристый диван – но как он умеет мечтать, возлежа после дневных трудов на данном диване! На вид диван, как учили Стругацкие в те же годы, а на деле – дивный транслятор желаний. Так и вымечталось – сменять одомашненный тоталитаризм на дикий капитализм, шило на мыло.

У классика бессмысленно копали котлован – символ мрачный и глыбкий, и закончил он рукопись в апреле 30-го года, когда уже было понятно, что эфирный тракт переходит в лагерный этап. У Владимира Вестера в развитом социализме старательно, с перевыполнением граненого, строят замок на песке, прокладывают светлые воздушные пути – возводят котлован наизнанку. А рефрен – «один хрен!» Ведь куда ни кинь взгляд – огненная заветная надпись, заборная «аббревиатура из трех букв», как любит приговаривать автор. Поэтому и Отель Разбитых Сердец начинает восприниматься читателем как ОРС – отдел рабочего снабжения. Да знаем, знаем, из какого сора... Все одно вокруг – огромный муравейник, и ты должен обрыдло тащить свое бревно-соломинку: «Плотная и влажная толпа, тяжелая от поклажи и мыслей».

Впечатляет бредовая бригада на трудовой вахте Коли Армякова – Михалыч, Шумелыч, Бубнилыч, Мочалыч, а то и просто Малафейкин, и божи плотники Смирнов с Кузякиным, и знойно-белокурая кадровичка Наталья Николаевна (мечта поэта!), и командир-начальник, отставной контуженный полковник Сергей Львович с его ежечасным рыком: «Какого члена?!..» Вся эта гвардия алконавтов-трудоголиков неустно сандалила и закладывала за воротник, смолила вонючее и сушила промокшее, громко обсуждая в каптерке, «с какого конца лучше всего взяться рыть лопатами – с юга на север или с запада на восток».

А на дому Колю поджидала привычная котловонь коммуналки – несет жареной навагой, в кухне развешено исподнее, бродит сосед дядя Петя Сандальев в фиолетовой майке (хорошо, не в хитоне), посылая всех «в кочегарку», и одна отрада – отворится дверь и ворвется с весельем и отвагой друг Тыквин, и

сунет под нос «часики-котлы с двумя дополнительными циферблатами» и вскричит: «Время, вперед! Доставай и откупоривай!»

И пусть за окошком тогдашняя Москва – стеклянные пельменные и прогорклые шашлычные, но с надеждой взматывается ввысь Хрустальный дворец! И две вилки алюминиевые здесь совсем не зря – аллюзии из четвертого сна Веры Павловны... И с любовью распускается в комнатенке героя приبلудный «цветок любви» лимитчицы из Подмосковья – и запах уже не наваги, а вагины...

Печально заканчивается тот призрачный медлительный эон – ускорением и перестройкой, хватай-мешками, базар-вокзалом. «Слышно было, с какой хриплой тоской кричат сцепщики на «страшных путях сообщений». Сколько лет тому!» Прощай, Котлован!

Когда, значит, пробило полночь и распалась Империя Советов, покинул Александр Петрович Тыквин свой домик Тыквы и стал ездить в каретах – разбогател на перепродаже пустырей под строительство – эх, подфартило! А друг его закадычный Николай Владимирович Армяков так и ищет утерянное время под фонарем – во, карма! – пишет свои «хаотические заметки». Ох, замечу, хаос тут не от сохи, текст исполнен лада и искусно выстроен – перед нами своеобразный «Дневник Коли Армякова», с калейдоскопной повторяемостью, переплетаемостью, перетекаемостью звуков и знаков. Помните, в «Аэлите» была поющая книга – листаешь, листаешь – и вдруг начинает звучать некая музыка. Так и здесь – со страниц струится минорно осеннее сожаление, что свалила молодость, да и зрелость уже на закате, а все не о том, чувак, поешь ты в Душном Кабаке, в ДК по имени жизнь, и так трогает старосветское «чувак» – типа «сударь»...

Конечно, и двоемыслие при чтении скрипит иголочкой – однозначно! Из одного угла, автор ностальгически вздыхает, элегически грустит о конце прекрасной эпохи, заводит пластинку о позолоченном веке шпротиков и ювенильном море портвейна – а с другого облака, он измывается над сенильным скотским хутором, над горемычными горельефами и зияющими высотками, «Ебанск им в кочегарку!» – как послал бы дядя Петя Сандальев. Это в «Котловане» бедного Льва Ильича шерстили за двурушничество – почему, мол, и Ильич, и Лев? Уж что-нибудь одно!..

Но мы люди к дуализму привыкшие, нам что манновская пирамида, что голдингский шпиль – был бы человек, в смысле стиль хороший. А коли так, то и книга приживется в верховьях извилин, на книжной полке котелка, где Коля Армяков и Саша

Тыквин – два ангела на двух велосипедах – будут кружить, накручивать бесконечные восьмерки, напевая старый, чуток обрюзгший, но столь же сладкий блюз «Отель разбитых сердец» – стало быть, надо жить и исполнять свои желания.



Виталий Аронзон

Десять дней на Аляске

Путевые заметки

Veni, Vidi, Vici

Пришёл, увидел, победил.

Юлий Цезарь



итатель, который прочитает очерк, надеюсь, пополнит свои знания о самом большом, 49-м штате Америки. В основу очерка положены личные впечатления автора о десятидневном путешествии, о встречах с людьми и удивительной природой национальных парков и городами в центральной и южной частях Большой Земли - Grand Land, как её называют индейцы.

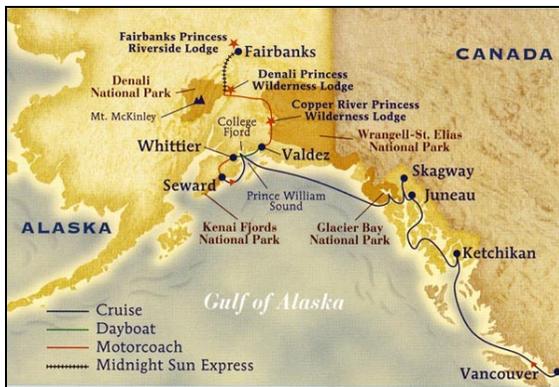
Сидя в самолёте, который рано утром вылетел из Балтимора, я задал себе уже в который раз мучивший меня вопрос: «Зачем я завлѣк своих друзей в путешествие по северному углу страны, где им будет не так комфортно, как в поездках на Карибские острова, в Западные штаты или в Европу». Есть же у меня опыт многолетних командировок в Сибирь, на Дальний Восток и на Север России. Какой уж был там комфорт? И тут же себе отвечаю: «Правильно сделал. Пусть сами оценят незабываемую, строгую и часто суровую красоту Севера».

Из разговоров северян и по своим впечатлениям знаю, как притягивает, манит красота северных снежных гор, бескрайность лесов и тундры, туманы над болотами летом и безмолвие снежных полей зимой. Часто в погоне за льготами и большими деньгами мои знакомые и коллеги по работе и учёбе уезжали из ленинградских и московских насиженных мест на Север и оставались там на долгие годы.

Посмотрю, что скажут мои друзья, когда мы приземлимся через десять дней в ставшем нам родным Балтиморе.

Сделав две промежуточные посадки и трижды меняя самолёт, больший на меньший, через 14 часов после вылета из

Балтимора мы вышли из самолёта в Fairbanks. Был по местному времени вечер, но солнце стояло высоко, упоительно нежно грело, и не было жаль, что мы утром покинули по-августовски душный родной город. В уютном современном аэропорту нас встретили представители компании Princess Tour, и через несколько минут, после короткой поездки на автобусе, мы расселились в комфортабельной гостинице в глубине сосновой рощи на берегу реки Chena.



Наш маршрут – Нам выпало увидеть край земли

По привычке, выработанной годами, не ложиться спать по приезде на новое незнакомое место, а идти смотреть ближайшие окрестности, зову друзей гулять. А нам завтра вставать в 6 утра и начинать плановый тур! Однако никаких возражений - все согласны. Солнце по-прежнему ярко светит, и нет никакого намёка, что календарный день на исходе. Простая мысль, что мы у Полярного круга на 65°с.ш. и сопутствует нам полярный день, на удивление, приходит не сразу. Учили ли мы географию в школе? И тут же за этой мыслью вспомнились рассказы Джека Лондона, клондайкская лихорадка, как русские продали Аляску Америке, что русская Чукотка совсем близко, а её губернатор - олигарх Абрамович, а также вспомнились путешествия Беринга и что пролив Беринга – бывшая перемычка между Американским континентом и Азией, через которую, возможно, произошло заселение Американского континента азиатскими племенами...

Все эти сведения наперебой пересказывали друг другу, любуясь на спокойное течение широкой реки. Из-за изгиба речного русла показался колёсный пароход. Наверное, всё же не

пароход, а судно с дизельным двигателем. Но кто знает: может быть, здесь, на краю континента, с золотоискательских времён сохранился пароход-динозавр. Позже прочитали, что туристические компании предлагают туры по Аляскинским рекам Чена и Тапана на таком настоящем пароходе. Вполне современно. Не ищем больше золото, а ищем туристов!

Свернули по грунтовой дороге в ближайший лес, но быстро его покинули. Комары! Возвращаемся к реке.

*В тайге звенит знакомый гул мошки,
на глаз накинлись войска лихих волнушек,
по тихой глади северной реки скользит каяк...
и ухо ворожит лесной мотив от кваканья лягушек.*

И действительно, вода тёплая, волнушки, как желто-розовые цветы, рассыпались по поляне, а по реке, перегоня друг друга, пронеслись каяки, которые мы бы хотели назвать байдарками. Однако каяк отличается от байдарки. Это эскимосское каноэ (обычно для одного гребца), сделанное из шкуры тюленя, которая натянута на деревянный или костяной каркас. Палуба полностью закрыта, за исключением небольшого люка (дыры), в которую залезает «наездник».

Много лягушек, которые трудолюбиво квакают и, наверное, будут мешать спать. Усталость даёт о себе знать, да и неразумно было бы проспать завтрашнее путешествие в национальный парк Denali.

Утро ничем не отличалось от вечера. Солнце по-прежнему ярко сияло, но только с противоположной стороны. Спали при неплотно задёрнутых шторах. Мы с женой ленинградцы-петербуржцы и привыкли к белым ночам, больше того, скучаем летом без них. А южане, приезжавшие в июне-июле в Ленинград, говорили, что в белые ночи плохо спится. Нам спалось хорошо.

7 часов утра. Выходим из гостиницы и видим длинную вереницу автобусов, стоящих в два ряда, чтобы отвезти туристов на железнодорожный вокзал. Предстоит четырёхчасовая поездка от Fairbanks до национального парка Denali. Организация тура не предполагает путешествие в специально организованных группах, поэтому у нас не было постоянных коллег-туристов. Каждый из нас получал при прибытии на новое место конверт, в котором содержалась программа пребывания и номера автобусов, которые либо возят на экскурсии по выбору, или перевозят из одного пункта следования в другой. Удобно. Всё ясно и никому с

волнением не надо задавать вопросы: «Где? Куда? Когда?» Поэтому без вопросов мы садимся в свой автобус.

Точно в 7:15 отправляемся, и водитель-экскурсовод начинает свой рассказ о Fairbanks. Это уместно, так как город, из-за позднего прилёта, мы посмотреть и исследовать не успели. Узнаём, что Fairbanks - изначально бывшая торговая точка (по памяти: в русских книгах такие торговые точки называли факториями), основан всего 102 года назад именно в этом месте капитаном Е.Т. Barnette, потому что река Chena выше по течению мелководна и мало пригодна для торгового судоходства. Но годом позже (1902 г.) в окрестностях фактории нашли золото, и город захлестнула волна золотоискателей. Вторая страница в истории фактории была связана с прокладкой Аляскинского хайвэя, который был нужен для связи Аляски с метрополией и военным строительством в этом штате в годы Холодной войны. И наконец третья – в шестидесятые годы (1968 г.) – в связи с открытием нефтяных месторождений на берегу Арктического Океана (или Северного Ледовитого, как было написано на советских картах) в заливе Prudhoe Bay. Но об Аляскинском нефтепроводе расскажу позже, когда мы до него доберёмся.

А откуда взялось название Fairbanks? Ещё в самолёте я пытался решить эту лингвистическую загадку. Fairbanks состоит из двух английских слов Fair и Banks. Ярмарка и Банки? Или иначе: честные, законные берега? Откуда это сочетание? И должно ли оно что-то означать? Оказалось, что никакого исследования проводить не нужно – это имя сенатора Charles Warren Fairbanks от штата Индиана, позже вице-президента в администрации президента США Теодора Рузвельта.

Напряжённно слушаем водителя (в разных штатах есть свои особенности в произношении), а за окном привычная одноэтажная Америка. Есть и уютные дома-коттеджи, торговые молы и банки с примелькавшимися названиями, прекрасная асфальтированная дорога со светофорами. Где мы? На Аляске или в Оклахоме, жители которой сидят рядом с нами в автобусе и два дня будут путешествовать с нами по одному и тому же маршруту? Проезжаем Downtown. На площади перед Convention Center памятник аборигенам «Unknown First Family (Неизвестная Первая Семья)»- звучит как аналог памятника Неизвестному Солдату. Ещё пара кварталов и вокзал.

Автобус подъезжает не к зданию вокзала, а прямо к двухэтажному вагону – нашему пристанищу на следующие несколько часов. Но не просто к вагону, а дверь в дверь. Пассажиру надо сделать только пару шагов, чтобы войти в вагон.

Какая забота! Но она оправдана: продуманная, спокойная и безопасная схема. С этим ещё не раз мы будем сталкиваться и удивляться. Но к хорошему привыкаешь быстро.

Железная дорога, по северной части которой нам предстоит ехать в течение нескольких часов, единственная на Аляске. Она соединяет незамерзающий порт Seward на берегу залива Воскресение (Resurrection Bay), фиорда, глубоко врезанного в берег морского Аляскинского залива (Gulf of Alaska), – и Fairbanks, город на центральном плато, в котором мы находимся и который де-факто является географическим центром Большой земли (Grand Land).

Устраиваемся в вагоне у зеркальных окон на втором этаже. Завтракаем. Напитки, чай, кофе, еда к вашим услугам, но за ваши деньги. Питание туристов не включено в наземную часть тура. А цены? Они сумасшедшие: стакан чая \$1.75. Но что прикажете делать? Ответ простой - слушать объяснения экскурсовода по радио, что не просто, если свободно не владеешь английским языком, или читать информационные брошюры, или... смотреть в окно.



Из окна поезда: тундра, строй полярных елей

За окном почти сразу исчезает город, и фотографы пристраиваются к окнам, чтобы запечатлеть аляскинский пленэр. Не могу охарактеризовать открывающуюся картину: тайга или тундра? На горизонте цепь аляскинских гор (Alaska Range), вблизи живописные болота и рощи полярных елей, переходящие в большие массивы леса. Полярная ель напоминает стройную, грациозную девушку, а когда их много – незабываемый по красоте

танцевальный ансамбль или парад войск, где превалирует порядок и стройность.

Пару часов картина не меняется, и, пользуясь «перерывом», читаю брошюру об аляскинской железной дороге. Толчком для строительства дороги послужило, конечно, золото, открытое на реке Юкон в 1898 году, а затем и открытие месторождений угля и меди. Назначение дороги - соединить богатый промысловый район с портом.

В строительстве дороги были драматические моменты: дороговизна и трудности строительства в условиях севера сделали необходимой национализацию железнодорожной компании Alaska Northern Railway Company и передачу её в ведение правительства Соединённых Штатов. Строительство «Government Road» началось в 1915 году. Однако Конгресс то утверждал финансирование дороги, то отказывал.

В 1923 году президент Хардинг присутствовал на церемонии завершения строительства. Хардинг надеялся, что путешествие на Аляску поднимет его популярность и престиж. Дело в том, что его президентство с первого до последнего дня было связано со скандалами, в которых было замешано его окружение. В поездке он заболел и позже в Сан-Франциско умер. Историки до сих пор спорят о причине смерти: была ли вызвана болезнь нервным расстройством или гриппом, или инфарктом, или отравлением?

Железная дорога способствовала развитию региона, а в годы Второй мировой войны была достроена окончательно и обеспечила снабжение военных объектов. В послевоенные годы она была реконструирована, а после сильнейшего землетрясения восстановлена. Большую роль дорога сыграла при сооружении нефтепровода.

В январе 1985 года, после трёх лет переговоров, федеральная администрация возвратила дорогу компании Alaska Railroad Corporation. В дальнейшем предполагается развитие приватизированной дороги, чтобы соединить Аляску с Канадой.

Пока читал газеты и брошюры, горы плотнее придвинулись к поезду, и вот мы уже ползём над крутым ущельем, где бьётся и кипит золотиносная река Nenana River. В одном месте она сливается с Tanana River.

Город Nenana, первый на нашем пути, лежит на берегу этих двух рек и происходит, как и река Nenana, от индийского слова Nenashna, которое означает: лагерь между двух рек. Стараюсь всё время обращать внимание на происхождение названий, от понимания имён возникает сопричастность к истории

и романтике освоения неизведанного. Волей-неволей приходится применять английское написание географических имён - под рукой нет русской карты.

На небольшом острове видны корпуса горного завода. «Промывают золотоносную породу», – соображаем коллективным разумом. Мы едем в предпоследнем вагоне и на поворотах из окна можем видеть «голову» поезда. Наш поезд напоминает издаലെка вагоны детской железной дороги. Романтика!

Поезд вползает в гору, преградившую путь, и выныривает из неё на несколько минут, чтобы снова погрузиться в другую. Мы не страдаем клаустрофобией, но туннели скучны и...опасны? Не так уж давно мы читали о катастрофе в альпийском туннеле. Слава Богу, наши туннели короткие. Если с самолёта смотреть, то, наверное, можно увидеть и голову и хвост змеи-поезда, пронзающего гору. Но мы не на самолёте, а на высокой горе, и внизу показывается городок, где проведём сегодняшний день и ночь.

Городок - это ворота Denali National Park and Preserve, парка и заповедника, простирающегося по огромной территории в 24281 кв.км. В Denali находится и самый высокий горный пик Америки Мак-Кинли (McKinley) 6195 м, а также горы в 5000 м (Foraker), 4000 м (Silverthronе) и 3500 м (Russel). Наиболее известна гора Мак-Кинли, которую индейцы племени Athabascan называют Denali, или Великая гора, или Самая высокая гора. Гора имеет два пика: Южный – более высокий и Северный – в 3,5 км от Южного. Большая часть этих пиков покрыта льдом и снегом весь год. Облака закрывают вершины летом в течение 75% времени. Но нам повезло, и мы увидели пики во всей их красе. Но в этом пояснении я забежал вперёд.

Нас привезли в туристический центр. Здесь гостиницы, рестораны и станции отправки автобусов, вертолётов и лодок по выбранным маршрутам. Только плати и все прелести национального парка перед тобой.

Мы же отказываемся от оплаченной экскурсии по парку (входит в программу тура), а выбираем дорогую по стоимости 10-ти часовую поездку по тундре, по которой проложена единственная в парке 91-мильная грунтовая дорога. По ней мы проедем от въезда в парк до точки, из которой открывается вид на замечательную панораму Аляскинских гор (Alaska Range) и гору Мак-Кинли.

*А мы пошли звериною тропою
туда, где плачут летом ледники,*

*чтоб любоваться снежной горой
Мак-Кинли, по-индейски Denali*

Устали очень, но не пожалели. Наш водитель, экскурсовод-биолог, ежегодно приезжает в Denali. Он возит экскурсии и, кроме того, выполняет научную работу по изучению популяции медведей-гризли, которых мало осталось на земле. Мы думали, что гризли - это чёрные медведи. Ошибались! Они коричневые.

И вот первая встреча с гризли. Медведица с детёнышем идёт по дороге навстречу нашему небольшому автобусу. Водитель тормозит, останавливаемся, и примолкшие, затаив дыхание, как заправские охотники, но... с фотоаппаратами и биноклями, ждём приближения медведей. Их наше присутствие не смущает. Они медленно огибают автобус (мы им не интересны!) и спускаются с придорожного пригорка в кустарник. Там ягоды, трава и корни – основная пища медведей. За один день медведь может съесть до 2 тысяч ягод. Не пренебрегают медведи и мясом: охотятся на лосей и оленей. В Denali популяция медведей составляет 300-350 особей. Поэтому встреча с ними на огромной территории парка – редкость.



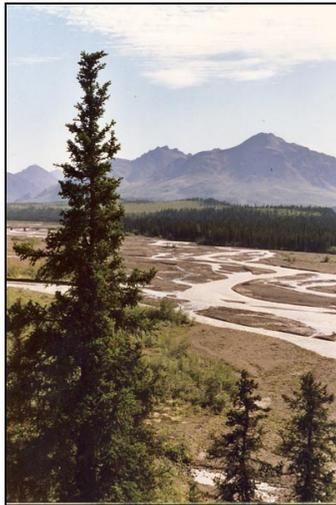
Медведица идёт на встречу с нами

Вспомнилась другая встреча с медведем в лесу на Псковщине, когда мы с женой собирали грибы, которая, к счастью, кончилась благополучно. Медведь, услышав крик жены, бросился наутёк. Я успел увидеть только его спину.

На Аляске туристская судьба многократно дарила нам встречи с обитателями парка: дорогу пересекала пушистая рыжая лиса, постоянно поодиночке попадались в поле зрения олени и лоси, а кое-кто через бинокль видел на вершинах холмов белоснежных горных козлов. Волков не видели, но экскурсовод рассказывал о конкуренции между волками и гризли в охоте на животных. В брошюре, подаренной нам биологом, есть фотография схватки волка и гризли за обладание останками оленя.

Постоянно меняющийся рисунок горных кряжей, долин с разноцветной растительностью, рек, то бурных, то спокойных, рощ полярных елей, скал удивительного цвета, от чёрного до ярко-жёлтого, – держал в напряжении в течение всей прогулки. Пиком прогулки, конечно, был другой пик – Мак-Кинли. Но о нём я уже поторопился рассказать выше.

По дороге разговорились с участниками экскурсии. Среди них оказалась и русскоязычная пара из Канады. Обменялись впечатлениями от увиденного и сошлись во мнении, что природа Аляски восторгает так же, как и природа Британской Колумбии и Альберты – провинций Канады, которые мы посетили в прошлом году. Тогда нам казалось, что концентрация красоты в этих провинциях невероятна. Но есть ли вообще критерий красоты?



Аляскинский пленэр

Второй «рабочий» день начался ранним утром. Из программы путешествия было известно, что этот день трудный.

Предстояло провести его в пути с остановками каждые два-три часа. Было тепло, и мы с радостью увидели, что нас ждёт комфортабельный автобус с кондиционером. Вчерашний автобус по Denali не был комфортным – обычный школьный автобус.

Водитель, красивый и стройный великан, с окладистой белой бородой, уроженец Миссури, также, как наш экскурсовод по Denali, приезжает летом каждый год на Аляску для заработка, но он не учёный, а пенсионер.

От Denali на юг в Анкоридж (Anchorage) ведёт George Park Highway, но скоро наш автобус круто сворачивает с него на восток. Дорога Denali Highway грунтовая, но не пылящая, проходит по совершенно безлюдной долине. Только дважды нам встретились крохотные деревни из нескольких домов как места для промежуточных остановок охотников и путешественников на автомобилях и в машинах-домах, а также таких, как мы, участников туров. В этих деревнях можно приобрести еду, купить сувениры и размять затёкшие от долгого сидения ноги.

Деревни автономны. Имеют собственные источники энергии и системы связи. Дома отапливаются дровами. Мы смогли здесь поесть мороженое и прикупить сувениров, а также наблюдать колку дров механическим топором – XXI век!



Механический топор. Лесничий занят заготовкой дров

Сувениры подчас необычны. Изделия сделаны из бивней моржей, которые пролежали в земле тысячи лет и, по сути дела, являются ископаемыми. Материал сувенира пористый, необычайно лёгкий и удивительного серо-голубого цвета. Изделия

дорогие. Этим промыслом занимаются эскимосы. Соблазн приобрести велик.

Покупки послужили поводом поговорить с экскурсоводом о народах, населяющих Аляску.

Во-первых, это индейцы, которые в основном живут на островах и вдоль юго-восточного побережья. Многие занимаются промыслом рыбы и охотой.

Другой крупной популяцией являются эскимосы. Они пришли на Аляску из Азии около двух тысяч лет назад и расселились по берегу Арктического океана и Берингова моря. Они невысокого роста с бронзово-коричневой кожей. Некоторые из них думают, что они индейцы. Эскимосы хорошо адаптированы для жизни в условиях Севера. В школьных учебниках моей юности были фотографии их жилищ из льда и кожи животных. Но теперь такие жилища, как и прежний образ жизни эскимосов и индейцев, – достояние истории, по крайней мере, на современной американской Аляске. Слово Eskimo означает «судок сырого мяса», но смысл этого слова сегодня также потерял своё значение. Охота и рыболовство, как и у индейцев, древний промысел этого народа.

А что же вокруг по дороге? Справедливости ради, надо отметить однообразие пейзажа. Сделали много снимков. Однако долина с реками и озёрами и окружающими её горами великолепна, но и от красоты устаёшь.

*В зените дня свернули круто к югу.
Пейзаж всё тот же: горы, реки, лес.
Жилья не видно. Взгляд скользит по кругу
и тщетно ищет северных чудес.*

Путь наш теперь по Richardson Highway, который соединяет знакомый нам Fairbanks с Valdez, городом на берегу залива Prince William Sound. Здесь впервые мы увидели трубу аляскинского нефтепровода. Блестящая на солнце лента, которая тянется вдоль шоссе, будет сопровождать нас на всём пути до Valdez.

С этим трубопроводом связано моё первое посещение Аляски несколько лет тому назад. Тогда с группой инженеров-нефтяников из России, по приглашению компании Alyeska (древнее индейское название страны), я ознакомился с этим уникальным сооружением, которое называли «стройкой века». Назначение трубопровода – перекачивать нефть с месторождения, открытого в 1968 году на берегу Арктического океана в заливе Prudhoe Bay, в незамерзающий глубоководный (глубина – около

270 м) порт Valdez, из которого танкеры доставляют нефть в порты Соединенных Штатов.

Почему эту «трубу» назвали стройкой века, зачем её построили, когда есть арабская нефть и известно, что Америка не стремится к разработке своих природных источников сырья, сохраняя богатство страны для будущих поколений и оберегая природу?



Труба – изобретение века, коль нефти захотел, то из трубы налей

Во время ближневосточной войны 1973 года арабские страны-экспортёры нефти наложили эмбарго на поставку нефти Америке и Голландии в отместку за поддержку Израиля. Цены на нефть возросли в четыре раза, и стало очевидным, что нефть будет сильным средством давления на страны-покупатели.

В 1974 году американский Конгресс принимает решение о строительстве нефтепровода, которое началось в апреле 1974 года и закончилось в июне 1977 года. Первый танкер с нефтью отправился из Valdez в августе. К этому времени эмбарго уже не существовало, и тогда казалось, что Америка заложила фундамент своей нефтяной независимости от арабского мира.

По политическому давлению Америки на Израиль, который в одиночку противостоит арабскому окружению и ненависти, мы видим насколько эфемерна эта «независимость».

Строительство (\$8 млрд) потребовало от проектировщиков поиска оригинальных решений. Ещё нигде не прокладывался нефтяной трубопровод по такому сложному горному рельефу в условиях арктического климата (через три горных хребта и 800 рек), в сейсмической зоне, по территории, на

75% с вечной мерзлотой. Надо было не только позаботиться о перекачке нефти, но и об охране уникальной окружающей среды: обеспечить сохранность нефтепровода при землетрясениях (исключить утечку нефти), предотвратить оттаивание вечной мерзлоты (тепло от трубы не должно привести к оседанию почвы и изменению климата) и не препятствовать миграции животных. Все эти условия были выполнены.

Конструкции нефтепровода поражают простотой и изящностью решений: высокие опоры от 1,5 до 5 метров обеспечивают проход по ним крупным животным; специальные теплоотводящие стержни защищают вечную мерзлоту от оттаивания; зигзагообразные участки трубы предохраняют трубопровод от землетрясений и резких колебаний температуры, изменяющих его линейные размеры. Диаметр трубы 1205 мм. Длина 800 миль.

Автоматическая система управления прогнозирует величину потока нефти в любом сечении трубы и сравнивает её с фактическим потоком, позволяя тем самым мгновенно узнавать об утечке нефти. За многие годы эксплуатации нефтепровода таких случаев не было, но если бы были, система клапанов мгновенно перекрыла бы повреждённый участок.

На станциях перекачки нефти (их 11) принят вахтовый метод обслуживания. Персонал находится на станции две недели. Быт коммунистический. От каждого по способностям – каждому по потребности. На станциях, кроме трёх систем аварийной связи, включая спутниковую, имеются вертолёт, пожарные машины и машины скорой помощи. В бытовых помещениях исключительная чистота и порядок. Питание великолепное. Это утверждаю по собственному впечатлению.

Месторождением на Prudhoe Bay владеют несколько нефтяных гигантов, и все пользуются этой одной трубой. Поэтому на отгрузочном терминале в Valdez сконструирована уникальная по точности установка по учёту нефти, загружаемой в танкер, чтобы «не обидеть» производителей при их расчётах друг с другом.

Туристам, конечно, все секреты трубы не показывают и не рассказывают, но дают возможность в одном месте на трассе подойти к конструкции и сделать фотографии на память.

Я увлёкся рассказом об уникальной трубе, а нам надо продолжать путешествие. День закончился прибытием в гостиницу на берегу реки Copper River в пределах ещё одного национального парка Wrangell – Saint Elias National Park and Reserve.

Wrangell – Saint Elias National Park – самый большой национальный парк Америки. Он больше, чем штаты Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, вместе взятые; 9 из 16 самых высоких горных вершин страны находятся на территории парка. Площадь парка – 13 миллионов акров. Парк лежит между двумя горными хребтами Chugach Mountains и Wrangell Mountains. Экскурсионное путешествие по парку занимает 13 часов. Таким резервом времени мы не обладали и вынужденно отложили изучение парка до следующего года. Наше знакомство с ним ограничилось любованием снежными вершинами горных пиков. На закате дня и на рассвете «сахарные головы» трёх вершин Mount Drum (4 км), Mount Wrangell (4,5 км) и Mount Stanford (свыше 5 км), освещённые солнцем, ностальгически напомнили Кавказ и двуглавый Эльбрус.

Третий день застал на пути к Valdes. По мере приближения к перевалу Thompson Pass через Chugach Mountains туман, сопровождавший нас большую часть пути, стал настолько густым, что исчезло представление о движении по дороге, казалось, плывём в сюрреалистическом пространстве. Погодой в этих местах командует древний ледник.

Солнце поднялось выше, туман рассеялся, и мы вскоре увидели гигантский бело-голубой язык ледника, парящий и ползущий в созданное им же озеро.



Древний ледник

Ледники бело-голубого цвета с длинным языком, достигающим океанской воды, покрывают более чем 75 тысяч квадратных миль территории США, и большинство из них находится на Аляске. Ледники рождаются за счёт снега,

выпадающего зимой, который затем летом несколько успеваёт растаять. Так как ледник получает снежную пищу год за годом, то нижние слои снега прессуются и, не выдерживая давления новых порций, начинают движение по склону.

Осталось разобраться почему снег голубой? Ледниковый лёд абсорбирует все цвета светового спектра, кроме голубого, который отражается и делает ледник в глазах наблюдателя бело-голубым.

Эта наша первая встреча с ледником задержала экскурсию. Только внезапно начавшийся дождь позволил загнать туристов в автобус к полному удовольствию водителя, который торопился, чтобы вовремя доставить нас в порт для пересадки на корабль-катамаран.

Спускаясь с гор, проехали по глубокому каньону Keystone Canyon, который вполне оправдывает своё название. По дну каньона течёт быстрый «кипящий» поток. Великолепное зрелище - мрачное и грандиозное. И, наконец, Valdes.

Осмотр Valdes не было, но я был здесь раньше и имел об этом городе представление и поделился о нём с друзьями.

Valdes называют Швейцарией Аляски. Он был основан в 1898 году как самый северный незамерзающий порт для переброски товаров золотоискателям, хотя для доставки товаров надо было преодолеть труднопроходимый ледник. Сейчас Valdes известен, в первую очередь, своим терминалом для отгрузки нефти. В его танках хранится около 9,18 миллионов баррелей сырой нефти. Время загрузки танкера, включая его швартовку, откачку балласта, загрузку нефтью и отплытие составляет 18 часов. Это рекордная цифра. Танкеры эскортируются специальными судами для предотвращения катастроф в пределах залива.

Всемирную известность город приобрёл в марте 1989 года, во время катастрофы танкера Exxon Valdes, наскочившего на риф и получившего пробоину. Тогда в залив вылилось 11 миллионов галлонов нефти. Тысячи волонтеров со всего мира приняли участие в устранении последствий крупнейшей экологической катастрофы.

*Прошли перевал и спустились к заливу.
Закончился долгий наземный маршрут.
Теперь – Океан, он не грозный по виду,
так Тихий с Великим по-братски живут.*

Корабль-катамаран – небольшой паром, который перевозит жителей двух прибрежных городов через залив. На

палубе холодно, и общаться с природой уютнее через стекло, поэтому туристы прильнули к окнам в закрытых салонах.

Первым залив Prince William Sound посетил знаменитый капитан Кук в 1778 году. Он назвал залив в честь английского принца. Исследовал же залив и его берега George Wancouver, именем которого назван канадский город-порт и остров. Площадь залива 10 тысяч квадратных миль, включая фиорды, протоки и острова, а также 100 000 ледников. Самый большой и известный Columbia Glacier имеет в ширину 4 мили и свыше 200 футов (около 70 м) высоты по переднему фронту.

Плывём среди ледяной шуги, попадают крупные хрустально-белые и грязно-чёрные льдины, оторвавшиеся от ледников. Нельзя забывать, что мы видим только одну десятую поверхности льдины над водой, и наш капитан это тоже помнит. Корабль ловко «увёртывается от небольших айсбергов». Через бинокль можно наблюдать на берегу стада морских львов, а в воде – головы тюленей. Много островов. В протоках видны рыбацкие суда. Путина. Лов лосося (в Америке мы привыкли его называть salmon).

По радио объявили, что с капитанского мостика виден кит, но мы его своими фотоаппаратами засечь не успели.



Залив Prince William Sound. Ласковый, когда он без тумана

Через 2,5 часа причалили в порту Whittier, маленьком рыбаковом городе. Под мелким, но плотным дождём пересели в автобусы и сквозь гору по узкому туннелю перебрались на шоссе, ведущее в города Анкоридж и Seward. Это был довольно скучный отрезок путешествия. Некоторое развлечение доставил зоопарк, где в открытых вольерах паслись бизоны, олени, лоси и медведи, нуждающиеся в помощи людей. После встреч с этими животными

на просторах национальных парков зоопарк вызывал неприятие несмотря на его гуманное назначение.

*Не по душе мне этот зоопарк,
в краю лесов и заповедных парков,
где те же звери бродят без дорог
и не приемлют от людей подарков.*
Несвобода имеет свой горький вкус.

Океанский лайнер Sun Princess принял нас на исходе дня. На корабль прошли без задержки, благодаря тому, что все формальности исполнили на пароме. Каюты оказались небольшими, но со всеми удобства для современного путешественника.

Sun Princess, большой круизный корабль длиной почти в треть километра с 15 палубами, вмещает около трёх тысяч пассажиров и членов экипажа. Есть два ресторана, два буфета а ля шведский стол, несколько баров, кафетериев, два киноконцертных зала, аукционные залы, где продаются картины, размещённые на стенах салонов, игровых комнат и в коридорах, а также два бассейна, прогулочная палуба и прекрасно оснащённые спортивные залы для сохранения формы после искушений корабельной кухни.

Поздно вечером корабль отчалил. Ночь и день проведём в плавании. Будем знакомиться с красотами залива Glacier Bay – ледниками, которые рушатся и сползают в воду. Залива достигли утром, обогнув остров Chichagof Island, через пролив Icy Strait (я перевёл название как ледяная щель). Первым этот узкий пролив прошёл капитан George Wancouver в 1794 году, но в то время Glacier Bay был маленьким «зубом во рту ледяных кряжей» St.Elias и Fairweather Британской Колумбии, провинций Канады. Почти через 100 лет, другой моряк-исследователь Joun Muer заново открыл Glacier Bay и нашёл, что залив на 40 миль отодвинулся от пролива Icy Strait. Сегодня это расстояние выросло до 60 миль.

В самом северном углу кармана Glacier Bay мы достигли ледника Margerie Glacier, который сползает с этих гор. Margerie Glacier туристы посещают с 1880 года.

Белоснежный Margerie Glacier ледяной стеной, как будто иссеченной рубцами, обращён к воде. Вид захватывающий. А когда глыбы льда отрываются от материнского тела, подточенные водой и летним солнцем, и плюхаются в океан, раздаётся не только гром от всплеска воды в виде фейерверка белесо-голубых

струй, но и восторженный крик наблюдателей удивительного зрелища.

*Дрейфуем, ждём, когда обвалится ледник,
который миллионы лет к воде сползает
и ластится к любимой, телом к ней приник,
она ж в ответ его целует и ласкает.*

Корабль долго дрейфует вдоль ледника, давая возможность фотографам поймать отрыв льда от ледниковой крепости. Ждать этого момента иногда приходится долго, а иногда несколько взрывов раздаются в течение одной минуты.



Ледник Margerie Glacier

Поздно вечером вышли из залива, и Sun Princess взял курс на порт Skagway – воротам к золотым полям Аляски для тысяч старателей, которые хлынули на Аляску и в провинцию Юкон (Канада) в надежде на быстрое обогащение. А всё началось с августа 1896 года, когда George Washington Carmack и его два индейских компаньона Skookum Jim и Tagish Charlie нашли золото в притоке Klondike River на канадской северной территории Юкон (Yukon).

Skagway открывал кратчайший путь на Клондайк, но не самый лёгкий. Около 100 лет назад маршрут по короткой, но трудной тропе через Белый перевал (White Pass) был основным для бессчётного числа золотоискателей. Многие из них погибли на этой коварной тропе. За первый год золотой лихорадки через город прошли 30 000 старателей. Среди них был и Джек Лондон.

Для Skagway золотая лихорадка была благом, и в 1898 году он был самым большим городом Аляски с населением в 20

000 человек. В городе построили много отелей, салунов, танцевальных залов и игорных домов. Но когда через два года золотая лихорадка пошла на убыль, Skagway быстро потерял своё значение. Сейчас осталось 1000 постоянных жителей. Город живёт за счёт туристов и бережно хранит реликвии прошлого: постройки времён золотой лихорадки и паровоз исторической железной дороги, ведущей на White Pass.

Нам не удалось насладиться городом удачи, так как шёл дождь, но мы всё же прошли по его главной улице Broadway и сделали снимки на память.

Корабль по-прежнему лавирует между островами в узких проливах, но неуклонно движется к югу. В открытый океан не выходим. Маршрут вдоль западного побережья Аляски среди фиордов носит название Inside Passage (Внутренний проход). Следующая однодневная стоянка в Juneau – столице Аляски.

В 1880 году два геолога Joe Juneau и Richard Harris с помощью индейских проводников мучительно долго искали золото в этих местах: взбирались на горы, пересекали стремительные ручьи и преодолевали неисчислимые трудности. Однако в ущелье Серебряный лук (Silver Bow Basin) они всё же нашли золото.

На месте их открытия возникла третья в мире по богатству «золотая шахта». К концу второй мировой войны в ней добыли золота более чем на 150 миллионов долларов. Шахта истощилась, и её закрыли. Однако город, основанный Joe Juneau, стал столицей штата. В нём живет 30 000 человек. Курьёз, но по площади территории, которая относится к городу, он один из самых больших городов мира - 3 248 квадратных миль. Только аляскинские города (новый курьёз!) Keruna, Sweden и Sitka превышают площадь Juneau.

Два любопытных факта сопутствуют рассказу об истории города. Его первоначальное название – Harrisburg, по имени одного из первооткрывателей прииска. Richard Harris был единственным, кто мог писать и составить заявку об открытии. Однако, имя Harrisburg не привилось. Во время одной большой забастовки на прииске толпа из 300 бастующих создала палаточный лагерь и назвала его Rockwell. Это было вторым именем города. Но и оно продержалось недолго. Вскоре его стали называть Juneau по имени второго открывшего золото геолога, и это название сохранилось до нашего времени. Второй факт связан с тем, что Joe Juneau и Richard Harris не стали богатыми людьми благодаря своему открытию. Joe Juneau разорился и умер в

канадском Юконе. Денег хватило только, чтобы отправить тело и похоронить его в городе, который он основал.

Juneau не показался нам привлекательным: типичный небольшой столичный город со всеми атрибутами губернаторской власти. Туристы могут посетить музей и историческое здание Сената.

После отплытия из Juneau в проливе Stephens Passage на корабле произошло чрезвычайное событие. Заболела одна из пассажирок, и потребовалась её срочная эвакуация. По радио объявили о случившемся и сказали, что вызван вертолёт из Juneau, который заберёт больную для операции. Пассажиров просили не посещать верхнюю кормовую палубу, на которой служба безопасности корабля будет готовиться к приёму вертолёта.

Через полчаса прилетел вертолёт. Естественно, что толпа пассажиров с настроенными фотоаппаратами и камерами ждала его появления! Сенсация!

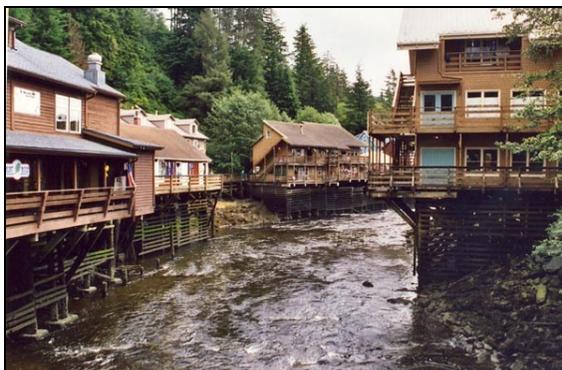
Некоторое время вертолёт завис над палубой, потом из его чрева появилась люлька, которую спустили на тросе. Больную погрузили в люльку и через минуту подняли в вертолёт. Вертолёт улетел, а позже радио оповестило о благополучно сделанной операции и что жизнь больной вне опасности. Любопытно, что при отправке больной вблизи борта корабля стояли четыре аквалангиста, готовых вмешаться в ситуацию, если бы люлька сорвалась в воду.

В течение всей процедуры ожидания вертолёта и эвакуации больной корабль не останавливал движения. Среди островов, мимо которых проходило судно, был и остров Баранова, на котором в 1804 году Александр Баранов, торговец пушниной, основал поселение на месте древней индейской деревни Tingit, назвав её Новый Архангел. Поселение уже насчитывало 3000 жителей, в то время когда Сан-Франциско был всего лишь миссионерской деревней. Теперь поселение носит название Ситка, и в нём бережно сохраняется место Castle Hill (Замок на холме), где размещалась контора Баранова и где произошла в 1867 году церемония передачи владения Аляской от России Соединённым Штатам Америки.

А на рассвете в дымке появляется Ketchikan. Этот порт – центр рыбной промышленности Аляски. Здесь находится большинство предприятий по консервированию лосося. И это хорошо чувствуется: запах рыбы стойко присутствует в воздухе. Гавань наполнена рыболовецкими судами. Сотни рыбаков и

рабочих приезжают в эти места на время путины из разных мест Америки и Канады для ловли лосося и работы на фабриках.

Много и рыбаков-любителей. С одним из них мы летели в самолёте, и он рассказал, что каждый год прилетает сюда рыбачить. А на вопрос, что он делает с пойманной рыбой, получили ответ, что есть сервис, который принимает от рыбаков рыбу и отправляет её по указанному адресу в замороженном, охлаждённом, разделанном или оригинальном виде. Никаких проблем. Только лови!



Kitchigan

Индейцы племени Tingit в этих местах с древних времён ловят рыбу. В реках и протоках в разное время года мечут икру пять видов лосося. Индейцы называют нерест Kitchsk-hin, что означает «метание икры». Отсюда и название города. Как и многим начинаниям на Аляске, толчок к развитию города оказало открытие золотых и медных приисков. Позже в окрестностях возникли и предприятия по обработке древесины и выработке целлюлозы. В годы Второй мировой войны Ketchikan был базой военно-морского флота. Сейчас в городе 8500 жителей. Много индейцев, и имеется небольшая еврейская община, около 300 семей (подтверждения этой цифры в справочной литературе автор не нашёл).

Теперь о том, что мы увидели в городе. В первую очередь, это тотемы, многометровые столбы с вырезанным и раскрашенным орнаментом, повествующим о племени, которому принадлежит столб. Такой столб, своеобразная летопись о жизни племени или семьи, возник во времена, когда индейцы не имели письменности. Но традиция рассказа о племени с помощью тотема сохранилась до наших дней. Значение тотема не ограничивается,

однако, функцией носителя истории. Тотемы создавались и как талисманы для защиты от грозных сил природы или врагов.

Второй достопримечательностью был ход лосося на нерест. Рыба заполнила протоки настолько, что слова «как сельди в бочке» будут наиболее точным определением того, что мы увидели.



Экзотика! В протоке видим рыб. Лосось идёт на нерест

Большие рыбыны, головы которых были направлены только в одну сторону, сторону противоположную течению, стояли в воде, готовясь к прыжку через двухметровый порожистый пережат. И вдруг, этот момент невозможно предугадать, большая серебристая рыба взлетает и перепрыгивает бурный стремительный водосток. За ним, на другой стороне водостока, она уже без сил и стоит в воде без движения. Но отдохнуть надо – впереди новый водосток, и так до места нереста – колыбели своего рождения. Можно часами наблюдать этот удивительный инстинкт. Но борьба за потомство не проходит для рыб без потерь, многие из них гибнут.

Гуляя по городу, в котором много сувенирных и ювелирных магазинов, разговорились с хозяином одной лавки. Узнали, что его семья приехала на Аляску их Хельсинки ещё в позапрошлом веке, в период золотой лихорадки. Бизнес у него потомственный. В Хельсинки он никогда не был, поэтому мне доставило удовольствие похвалить город его предков, где я бывал. Хозяин же в ответ захотел тоже что-то сделать приятное и спросил, не будет ли нам интересно узнать, что сейчас в Ketchikan гостит Роман Абрамович – губернатор Чукотки, а его чёрная яхта стоит неподалёку от нашего корабля. Нам, естественно, это было

интересно, и мы в подарок получили газету со статьёй об Абрамовиче.

Чёрная яхта действительно стояла близко, и удалось разглядеть на её борту вертолёт. Владелец яхты в поле зрения бинокля не попал. Мелькнула мысль, что ему в критической ситуации не долго плыть до Америки.

Можно ещё многое рассказать о Ketchigan, но настало время подвести итог путешествию.



Наша группа. Автор – четвёртый слева



Ванкувер

Последняя ночь нашего путешествия порадовала фантастической красотой вечернего заката. Смена красок, невероятные оттенки, резко обозначенные очертания облаков и

призрачные, скрывающиеся в вечерней дымке берега и острова были чудным подарком – эпилогом путешествия.

*Закаты и восходы. Тишина.
Лишь метроном от дизеля считает:
какая миля пройдена.
Плывём. И суета куда-то уползает.*

Утро встретило ещё одним подарком: панорамой канадского Ванкувера в лучах восходящего солнца.

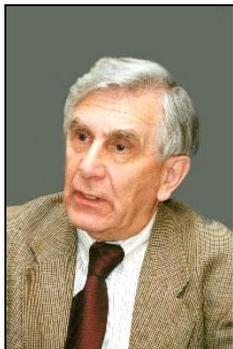
*Рассвет. Ванкувер. Не нужны слова,
чтоб видеть, как красив канадский город.
Мы здесь проездом и, ступив едва
на берег ласковый, ...прощаемся надолго.*

Примечание:

Исторические и географические сведения почерпнуты из нескольких путеводителей и объяснений экскурсоводов, записаны автором и переведены им на русский язык.



Об авторах



Габриэль Мерзон – российский физик, доктор физико-математических наук



Леонид Нейфах – архитектор и художник.



Василий Демидович – российский математик, доцент механико-математического факультета МГУ.



Григорий Никифорович – биофизик, литератор.



Артур Штильман – скрипач, автор книг о музыкантах.



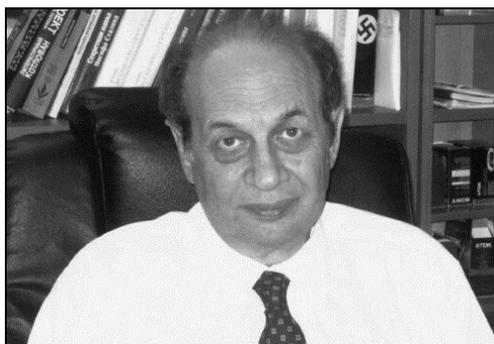
Надежда Кожевникова – русский литератор, живет в США.



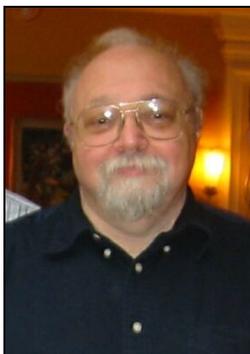
Борис Рохленко – израильский журналист



Галина Подольская – академик Израильской независимой академии развития наук, доктор филологических наук, искусствовед



Семен Резник – писатель, историк, журналист. С 1982 года живет в США.



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Геннадий Несис – доктор педагогических наук, профессор, международный гроссмейстер ИКЧФ, сеньор-тренер ФИДЕ, международный арбитр, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, литератор, журналист.



Алла Цыбульская – театровед, журналист



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Ася Лapidус – математик, литератор.



Зоя Мастер – музыкант, литератор



Нина Воронель – писатель, переводчик.

Анатолий Абрамов – физик, эколог, публицист



Анатолий Добрович – врач по профессии, поэт.



Борис Юдин – поэт и прозаик.



Александр Костюнин – член Союза писателей России,
фотохудожник



Алексей Борычев – поэт.



Михаил Ландбург – прозаик, тяжелоатлет. Член Союза
русскоязычных писателей Израиля.



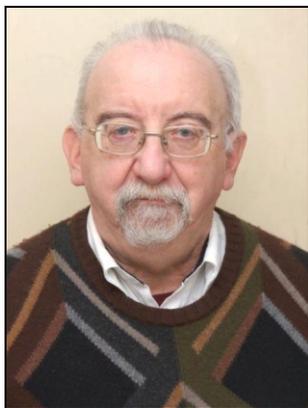
Эмиль Дрейцер – профессор русской кафедры колледжа им. Томаса Хантера (Городской университет Нью-Йорка). Трижды лауреат литературной премии Совета по Делах Искусств штата Нью-Джерси.



Моисей Борода – композитор, писатель, поэт.



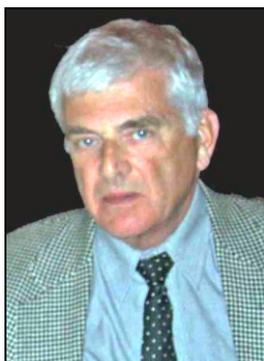
Рахель Торпусман – поэт, переводчик, журналист.



Илья Корман – поэт, литератор.



Михаил Юдсон – литератор.



Виталий Аронзон – кандидат технических наук.
Публиковался в периодических изданиях США и России.

Журнал «Семь искусств», январь 2013
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2013, 494 стр. 22,6 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины